АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

3

ИХЛ

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ТРЕТИЙ

■

НЕВЕСТА
ПОВЕСТЬ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

БЛАЖЕННЫ ЛИ НИЩИЕ ДУХОМ?
КНИГА ПУБЛИЦИСТИКИ
СТАТЬИ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975

Р 2
Ч 16

Художник
А. ЦВЕТКОВ

Чаковский А.

Ч 16 Собрание сочинений. В 6-ти томах. Т. 3. Невеста. *Повесть.* Литературные портреты. Блаженны ли нищие духом? *Книга публицистики.* Статьи. Худ. А. Цветков. М., «Худож. лит.», 1975.

512 с.

В том входят повесть «Невеста» — о молодых строителях коммунистического общества, литературные портреты «Мартин Андерсен-Нексе» и «Анри Барбюс», книга публицистических статей 50—60-х годов «Блаженны ли нищие духом?», посвященная актуальным проблемам идеологической борьбы (в нее включена также статья о Н. Островском «Сталь пламенеет»). В томе также помещено интервью А. Б. Чаковского журналу «Вопросы литературы» о романе «Блокада».

Ч $\frac{70302-244}{028(01)-75}$ подписное Р2

Ч $\frac{70302-244}{028(01)-75}$ подписное

НЕВЕСТА

1. СУД

Ей сказали: «Второй этаж. Зал номер шесть».

Медленно, стараясь отдалить страшную минуту, Валя поднималась по лестнице. На нижней и верхней площадках, у перил, стояли люди. Они курили; курить разрешалось только здесь. Одни разговаривали нарочито громко, другие вполголоса, как в больнице.

На втором этаже Валя открыла дверь, на которой висела квадратная картонка с цифрой «6».

Она пришла раньше всех. Выкрашенные в коричневый цвет скамьи с низкими спинками были еще пусты.

Валя села в последнем ряду и откинулась на низкую, неудобную спинку. Прямо перед ней на чуть приподнятой над полом площадке стоял стол, покрытый зеленым сукном. За ним возвышалось три кресла. Самое высокое в центре и два пониже по сторонам. Они тоже были выкрашены в коричневый цвет — три пустых кресла с изображениями советского герба на длинных прямоугольных спинках.

Валя долго смотрела на эти пустые кресла и лишь потом заметила чуть поодаль, слева, трибуну, а у боковой стены — четыре стула, огороженные коричневым деревянным барьером.

Два других стола, составленные вместе и стоявшие перпендикулярно к тому, покрытому зеленым сукном, не привлекли ее внимания. Коричневый барьер, низкие скамьи, кресла с неестественно высокими спинками и гер-

бами на них — все это Валя видела впервые в жизни. А обыкновенные канцелярские столы и такие же простые стулья возле них были привычны и, казалось, попали сюда случайно. Так же как и другой, маленький столик у окна.

Здесь, в этом зале, был особый мир, ничем не связанный с предыдущей жизнью Вали. Словно она оказалась в каком-то ином, четвертом измерении. И то, что в открытое окно доносился городской шум и были видны знакомые дома и что она, Валя, существовала как бы одновременно в двух мирах, лишь подчеркивало тревожную необычность места, где она сейчас находилась.

Валя плохо представляла себе то, что должно было скоро произойти. Она знала лишь, что это должно случиться здесь, в этом зале.

Высокие кресла с гербами и четыре стула, отгороженные барьером, гипнотизировали ее. Кроме них, Валя не видела ничего. Она не замечала, как открывалась и закрывалась дверь, в которую сама недавно вошла, как появлялись на пороге люди и, потоптавшись, уходили обратно или рассаживались на скамьях.

«Здесь будет сидеть он. А здесь — судьи»,— думала Валя, переводя взгляд от стульев за барьером на кресла с высокими спинками.

Зал был по-прежнему почти пуст. Человек пять-шесть, не больше. «Зачем они пришли? — думала Валя.— Какое им дело? Толстый мужчина с красным лицом и круглой, как шар, головой, пожилая женщина с пестрой хозяйственной сумкой, инвалид на костылях... Зачем они пришли? Кто они ему?.. Родственники?»

Но у него не было родственников. Не было близких. Никого, кроме нее. Она знала это. Зачем же они пришли?..

Снова открылась дверь, и в зале появился высокий, бравый милиционер. И тут Валя увидела Володю. Он шел за милиционером, низко опустив голову.

Вале показалось, что за эти четырнадцать дней Володя неузнаваемо изменился. Он был в хорошо знакомом ей потертом коричневом пиджаке с чуть отгибающимся правым лацканом. Валя сразу узнала темно-желтый трикотажный галстук, который еще в прошлом году подарила ему... И тем не менее Володя выглядел совершенно иначе, чем раньше. Всегда он держался очень прямо, а теперь горбился, будто нес на плечах невидимую тяжесть. У него

всегда было тонкое и худое лицо, но теперь оно резко осунулось, и казалось, от этого стали особенно заметны его густые, почти сросшиеся на переносице брови. В походке Володи, в выражении его лица, во всем его облике чувствовались усталость, безразличие ко всему, что происходило вокруг. Он был так разительно не похож на того, прежнего Володю, которого Валя знала и любила, что сердце ее сжалось от боли.

— Сюда,— громко сказал милиционер, первым проходя за коричневый барьер.

Володя, не поднимая головы, прошел следом и сел на стул рядом с милиционером. Только теперь Валя заметила, что за Володей шел парень, которого она никогда раньше не видела. Шествие замыкал еще один милиционер. Незнакомый парень опустился рядом с Володей. Второй милиционер занял последний стул.

Открылась дверь, на этот раз боковая,— Валя не заметила ее раньше,— и оттуда торопливо вышла девушка. Она остановилась возле маленького столика и, не глядя в зал, сказала вполголоса:

— Суд идет, прошу встать.

Первой шла невысокая пожилая женщина. Идущий за ней средних лет мужчина с угрюмым лицом нес толстую папку. Шествие завершал пожилой человек, почти старик, низкорослый, узкогрудый, в старомодных очках в светлой металлической оправе.

Они подошли к креслам с высокими спинками, и тот, что нес папку, сказал:

— Прошу сесть.

Затем судьи как-то разом опустились на кресла: мужчина с папкой — в центре, женщина и старик в очках — по сторонам.

— Судебное заседание народного суда Калининского района, Зареченской области объявляется открытым,— негромким, глуховатым голосом произнес судья, сидевший в центре.— Слушается дело по обвинению Харламова Владимира Андреевича по статье 211 и Васина Вячеслава Федоровича по статье 108 Уголовного кодекса...

Валя попыталась вникнуть в смысл слов, которые негромко произносил судья. Однако главное для нее заключалось не в том, чтобы понять слова судьи, а в том, чтобы Володя увидел, обязательно увидел, что она, Валя, здесь.

Вцепившись руками в спинку передней скамьи, она подалась вперед в надежде, что Володя обернется. Слова судьи по-прежнему едва доходили до ее сознания. Она не заметила, как за канцелярскими столами, стоявшими перпендикулярно к судейскому, появились какие-то люди. Все ее внимание было приковано к человеку, который, низко опустив голову, сидел за барьером.

«Он похудел, осунулся! — думала Валя.— Как он жил там, в милиции или тюрьме, все эти четырнадцать дней? Думал ли обо мне, верил ли, знал ли, что я приду? Ну подними же голову, Володя, посмотри на меня, ведь я тут, совсем близко, почти рядом с тобой...»

— Подсудимый Харламов,— раздался громкий голос судьи.— Встаньте! Ваши фамилия, имя, отчество?..

Володя встал, с недоумением пожал плечами и тихо ответил:

— Харламов...

— Отвечайте суду ясно и полно: фамилия, имя, отчество, возраст, кем работаете.

— Харламов Владимир Андреевич, двадцать три года, электромонтер пятого участка Энергостроя,— механически, словно не понимая, к чему все эти вопросы, ответил Володя.

— Отвечать надо ясно и полностью,— не повышая голоса, заметил судья.— Подсудимый Васин...

Сидевший рядом с Харламовым невысокий, уже полнеющий молодой человек вскочил, как только судья назвал его фамилию.

Он стоял, вытянувшись во весь свой небольшой рост, руки по швам, и торопливо отвечал:

— Васин. Вячеслав Федорович. Двадцать пять лет. Шофер автобазы пятого участка...

На вопрос, есть ли у него ходатайства, Васин поспешно ответил:

— Не имею. Полностью доверяю суду.

Все остальное доносилось до Вали как бы издалека. Она едва слышала, как судья объявлял состав суда, спрашивал подсудимых, доверяют ли они этому составу, называл фамилии прокурора и адвокатов, снова спрашивал подсудимых, имеются ли у них отводы, разъяснял им их права...

Многое из того, что говорил судья, Валя пропустила мимо ушей. Но ее внимание привлек вопрос, обращенный к Володе:

— Подсудимый Харламов, вы согласны, чтобы вас защищала адвокат Голубова?

— Меня? Адвокат? — с удивлением и, как показалось Вале, с горечью переспросил Володя.— Не нужно мне никакого адвоката.

Судья поочередно наклонился к пожилой женщине, к старику и объявил, что ввиду отказа обвиняемого Харламова от адвоката суд, совещаясь на месте, определил освободить товарища Голубову от участия в судебном процессе.

Молодая, с высоким пучком волос женщина поднялась из-за стола, стоявшего перпендикулярно к судейскому, торопливо сложила бумаги в светло-желтую папку и вышла из зала.

«Почему? Почему он отказался от защитника?» — с тревогой подумала Валя, но в это время снова раздался голос судьи:

— Имеется просьба общественных организаций пятого участка Энергостроя о допущении Круглова Григория Степановича в качестве общественного защитника Васина. Мнение прокурора? Адвоката?..

Никто не возражал.

Судья снова наклонился по очереди к обоим своим соседям, чуть шевеля при этом губами, и объявил:

— Суд, совещаясь на месте, определил: допустить в качестве общественного защитника... Вы защищаете одного Васина?

Круглоголовый, с красным лицом мужчина, сидевший на первой скамье, привстал и поспешно ответил:

— Точно. Одного Васина.

— Хорошо. Суд допускает в качестве общественного защитника... — судья заглянул в свои бумаги,— Круглова Григория Степановича. Товарищ Круглов, займите место здесь.— Он кивнул на свободный стул, стоявший возле канцелярских столов.

«Васина... — повторила про себя Валя.— Одного Васина». Кажется, судья еще раньше назвал имена адвоката, который будет защищать Васина, и прокурора. Наверное, это они и сидят за канцелярскими столами: молодой человек, аккуратный, в темном костюме, в белой сорочке с галстуком, несмотря на жару, и небрежно одетая грузная женщина с туго набитым портфелем на коленях.

А кто же будет защищать Володю? Вале захотелось крикнуть: «Я, я буду его защищать! Ведь они не знают его, не знают! А я знаю. И я должна его защищать!»

Но она и сама понимала, что это невозможно.

— «15 августа 1964 года,— читал судья,— шофер пятого участка Энергостроя Васин Вячеслав Федорович получил задание выехать па машине ГАЗ-51, горзнак АТ 08-51, на загородную базу снабжения и привезти по наряду электрический кабель. В помощь ему был выделен электромонтер Харламов Владимир Андреевич. Они выехали из города, согласно отметке на путевом листе, в восемнадцать часов двадцать минут. Шел дождь...»

«В восемнадцать часов двадцать минут,— повторила про себя Валя.— Наверное, тогда еще он думал, что успеет... Мы договорились встретиться без двадцати девять. У него было еще больше двух часов в запасе».

— «...При выезде на Воронинское шоссе,— продолжал судья,— Харламов, находившийся в кабине вместе с Васиным, попросил последнего передать ему руль, ссылаясь на то, что он, Харламов, имеет удостоверение на право управления автомашинами, которое получил в 1962 году после окончания автошколы...»

Теперь Вале казалось, что она сидит рядом с Володей в кабине грузовика и видит перед собой темную ленту шоссе. Дождь стучит по ветровому стеклу — да-да, в тот вечер шел дождь,— и «дворник» неустанно чертит на стекле свой полукруг. Володя сидит за рулем (она никогда не видела его за рулем, хотя знала, что когда-то он действительно учился в автошколе).

— «Допрошенный в качестве свидетеля, а затем обвиняемого Васин Вячеслав Федорович признал себя виновным в том, что передал управление машиной лицу, не вписанному в качестве водителя в путевой лист...»

Валя слушала ровный голос судьи, а перед глазами ее бежала бесконечная темная лента шоссе, и она уже не видела ветрового стекла; ей казалось, что дождь бьет ей прямо в лицо, как тогда, когда она стояла у входа в кино...

«Володя, Володя,— мысленно повторяла она,— скажи, так ли все это было, как говорит сейчас судья, которому ты безразличен: ведь он же никогда не видел тебя раньше и никогда не увидит потом... Ну посмотри на меня, Володя! Неужели ты не знаешь, не чувствуешь, что я здесь, здесь, здесь, ну, посмотри и скажи мне, молча, про себя

скажи, как все это было на самом деле, и я пойму, сразу пойму, как всегда понимала тебя, даже когда ты молчал, когда скрывал, что у тебя на душе... Ну посмотри же на меня, Володя, и я все-все сразу пойму...»

— «Таким образом,— звучал ровный голос судьи,— установлено, что Васин Вячеслав Федорович, не имея на то законного права, передал руль управления автомашиной ГАЗ-51, горзнак АТ 08-51, Харламову Владимиру Андреевичу и последний, следуя по Воронинскому шоссе, на сорок втором километре совершил наезд...»

Судья, видимо, был близорук. Он обеими руками держал раскрытую папку почти у самых глаз. Поэтому Валя не видела выражения его лица и только слышала ровный, бесстрастный голос.

— «...совершил наезд на следовавшего в том же направлении на велосипеде гражданина Саврасова Дмитрия Егоровича, 1948 года рождения, причинив ему телесные повреждения, опасные для жизни...»

«Что делать, что делать?! — твердила Валя.— Какое несчастье! Как же все это могло случиться?..»

О том, что произошло несчастье, Валя знала раньше. Прежде всего она побежала к Володе на работу. Ее направили к следователю Пивоварову.

— Человека сбил,— сухо ответил на все ее вопросы следователь.

Валя попыталась выяснить, как и при каких обстоятельствах это случилось и каким образом Володя очутился за рулем машины. Но Пивоваров ответил:

— Никаких вопросов, пока идет следствие. Ясно?

Все эти дни Валя была уверена, что произошло страшное недоразумение. Но теперь, здесь, в этом зале, впервые услышав официально произнесенные слова обвинения, она поняла, что дело гораздо серьезнее, чем она думала...

— «Вечером 15 августа в районе Воронинского шоссе пошел дождь, в связи с чем асфальтовое покрытие проезжей части находилось в мокром состоянии...»

«Дождь, дождь, дождь...» Это слово почему-то задержалось в сознании Вали, и она все время повторяла его про себя.

— «Это обстоятельство в силу требований статьи... Правил движения по дорогам СССР... накладывало на водителя, в данном случае на Харламова В. А., повышенную ответственность за безопасность движения, ибо останавливать автомашину путем торможения на мокром асфальте гораздо труднее, чем на сухом...»

Вале казалось, что громоздкие, тяжеловесные фразы судьи окружают Володю чем-то похожим на частокол, отделяют, отгораживают его от мира других человеческих слов, от всего, что живет там, за окном этого зала.

— «Однако Харламов такой ответственности не проявил,— чуть повысив голос, продолжал судья,— и на сорок втором километре Воронинского шоссе, совершив наезд на Саврасова Д. Е., не остановился и следовал дальше, пока на сорок третьем километре шоссе не был задержан постовым милиционером...»

«Наезд, наезд...» Теперь Валя твердила это слово. Значит, так называется несчастье, когда машина сбивает человека, и он лежит с разбитой головой, с переломанными ногами.

«Вот как бывает в жизни,— думала Валя,— все хорошо: светит солнце, дорога видна, и вдруг дождь, темнота, и все летит в сторону, вкривь и вкось... Наезд! Но что с этим Саврасовым? Почему судья ничего не говорит о нем? «Телесные повреждения, опасные для жизни...» Как это понимать? Жив ли он? Сколько ему лет? Шестнадцать? Боже мой, почти мальчик... Неужели все это правда? Неужели Володя сшиб его и даже не остановил машину?..»

— «Допрошенный в качестве обвиняемого Харламов показал, что не видел велосипедиста, а также наезда на него, слышал лишь негромкий удар и, будучи в этот момент ослепленным светом фар встречной машины, решил, что звук удара явился следствием попадания камня из-под колеса машины в крыло. Под влиянием неопровержимых фактов, предъявленных Харламову во время осмотра места дорожного происшествия, последний на предварительном следствии целиком признал себя виновным... Тяжесть причиненных Саврасову телесных повреждений установлена судебно-медицинской экспертизой. В настоящее время Саврасов находится на излечении в Калининской районной больнице...»

«Жив!» — наконец перевела дыхание Валя. Она снова уставилась на Володю, мысленно уговаривая его хотя бы посмотреть в ее сторону. Но Володя по-прежнему не видел ее. Он глядел в окно, глаза его были широко раскрыты и неподвижны.

Судья сделал короткую паузу и перевернул страницу.

— «Допрошенный в качестве обвиняемого Васин В. Ф. показал, что он передал Харламову управление машиной по настойчивой просьбе последнего, предъявившего ему, Васину, удостоверение на право вождения автомашины и сказавшего при этом, что имеет опыт вождения. Виновным себя в том, что он незаконно передал Харламову управление автомашиной, Васин целиком признал...»

Когда судья упоминал имя Васина, тот покорно и согласно кивал головой.

Валя вспомнила: еще в детстве кто-то говорил ей, что, если смотреть на человека долго и пристально, он обязательно почувствует на себе взгляд и обернется. Она попыталась сосредоточить всю свою волю и пристально глядела на Володю. Но он так и не повернул головы.

Думая только о Володе, Валя пропустила многое из того, что читал судья. Она услышала лишь заключительную фразу:

— «...подлежит рассмотрению в народном суде Калининского района, Зареченской области»,— и увидела, как судья захлопнул свою папку и положил ее на стол перед собой.

2. ВОЛОДЯ

— Подсудимый Харламов, встаньте! Вы должны смотреть на судью, когда к вам обращаются, а не в окно.

Володя медленно повернул голову к судье.

— Вам ясно, в чем вас обвиняют? Признаете себя виновным?

— Да,— тихо ответил Володя.— Видимо, я в самом деле сшиб... В этом я виноват.

— Зачем вы попросили Васина передать вам руль управления?

Володя молчал. «Ну, отвечай же, отвечай,— мысленно молила его Валя.— Почему ты молчишь?»

— Вы намерены отвечать, Харламов? — чуть повышая голос, спросил судья.

— Да.

— Вам задан вопрос, и вы должны...

— Что же мне теперь говорить? — с той же затаенной горечью спросил Володя.

— Вопросы суду не задают,— строго, но не повышая голоса, сказал судья.— А говорить надо то, что вы считаете существенно важным. Отвечайте на вопросы суда честно и правдиво. Ясно?

Володя молчал.

— Итак, зачем вы попросили руль?

Володя, казалось, задумался и ничего не ответил.

— Вы же понимали,— продолжал судья,— что, уговаривая Васина передать управление автомашиной, вы сами нарушали закон и толкали на преступление Васина! Закон-то вам известен?

— Да,— тихо произнес Володя,— закон мне известен...

— Вот видите! А вы как поступили? Разве можно нарушать закон?

— Я всегда считал, что закон нарушать нельзя,— задумчиво и словно отвечая самому себе сказал Володя.

— Однако вы его нарушили! Почему?

Несколько мгновений длилось молчание.

— Все это теперь ни к чему,— вздохнув, сказал наконец Володя.

— Подсудимый,— вновь повысил голос судья,— помните, что в ваших интересах говорить суду правду. Это вам ясно?

— Мне все ясно,— ответил Володя, помолчал немного и добавил: — Решительно все.

— Послушайте, Харламов,— чуть наклоняясь в его сторону, сказал судья,— я не могу понять вашего поведения. Если вы признаете себя виновным, то скажите об этом суду ясно и просто. Если же нет, то защищайтесь! Вам, очевидно, разъясняли еще на следствии, что советский закон предоставляет обвиняемому широкие права. Я еще раз задаю вам вопрос: зачем вы взяли руль?

— Спросите у Васина,— глухо ответил Володя.

— Допрос Васина впереди. Сейчас суд задает вопросы вам. Итак?..

Володя по-прежнему молчал.

— Хорошо,— сказал судья,— будем считать, что свой легкомысленный поступок вы ничем не можете объяснить. Тогда ответьте на другой вопрос.— Он полистал дело, па-

шел нужную страницу и, придерживая ее указательным пальцем, продолжал: — На предварительном следствии вы показали, что, услышав звук удара, спросили Васина, что бы это могло значить. Верно? Когда же вам зачитали показания Васина, в которых он этот факт отрицал, вы не пожелали ничего возразить. Почему?

— Понял, что... бесполезно,— как бы нехотя ответил Володя.

— То есть как это бесполезно? — удивился судья.— Если вы слышали звук удара во время наезда и спросили Васина о причине, значит, вы самого факта наезда не видели. Видимо, это вы и хотели доказать на следствии. Ведь так?

— Я не видел наезда.

— Но это надо доказать! На следствии Васин заявил, что вы к нему не обращались. Следователь дал вам очную ставку с Васиным. Читаю лист дела шестнадцатый: «Протокол очной ставки. Начата в 12 часов 30 минут, закончена в 12 часов 40 минут 17 августа 1964 года. Я, следователь Калининского райотдела милиции Пивоваров, на основании и так далее... произвел очную ставку между Харламовым Владимиром Андреевичем и Васиным Вячеславом Федоровичем...» Вы помните все это?

— Забыл.— Володя безнадежно махнул рукой.

— Тогда я вам напомню. Читаю дальше. «Вопрос к Васину: — Спрашивал ли вас Харламов что-либо относительно звука удара по крылу автомашины во время следования по Воронинскому шоссе? Ответ Васина: — Нет, не спрашивал».

Судья поднял голову, держа указательный палец на той строке, которую только что прочел.

— Итак, Харламов, выдвинутая вами во время следствия версия, будто вы не видели наезда, ничем не подтверждается.

— Какая «версия»? — с недоумением спросил Володя.

— Не делайте вид, будто не понимаете. Вы пытались сослаться на свое якобы обращение к Васину, чтобы доказать, что не видели наезда, хотя и слышали какой-то звук. Так? Подсудимый Васин! Обращался к вам с таким вопросом Харламов?

— Там все написано,— ответил Васин, вставая.

— Вы подтверждаете то, что говорили на очной ставке?

— Подтверждаю.

— Подсудимый Харламов! Как следует из протокола следствия, вы не сумели ничего возразить Васину. Верно?

Володя молчал.

— Разрешите? — Это сказал прокурор, поднимая голову с аккуратно расчесанными на пробор волосами.— В деле имеется,— продолжал он медленно и очень четко,— характеристика, выданная по просьбе следствия с места работы подсудимого Харламова. Я прошу суд огласить ее. Полагаю, что при определении общего облика подсудимого этот документ имеет немаловажное значение.

Судья торопливо полистал дело и прочел:

— «Справка отдела кадров Энергостроя. Харламов Владимир Андреевич, 1941 года рождения, работает на 5-м участке Энергостроя с 1962 года в качестве электромонтера. Как работник проявляет себя с отрицательной стороны, груб, недисциплинирован, не пользуется уважением со стороны товарищей...»

— Вот так, Харламов,— укоризненно покачав головой, сказал прокурор.— Надеюсь, вы не будете отрицать, что все это правда? Как же вы дошли до жизни такой? Почему взяли руль? Почему на следствии заявили, что спрашивали Васина об ударе?

Володя молчал.

— Подсудимый Харламов! — громко сказал судья.— Вы намерены говорить суду правду?

— Правду?.. — переспросил Харламов таким тоном, словно впервые услышал это слово и не понимает его значения.— Вас действительно интересует правда?

— Подсудимый Харламов,— резко заметил судья,— ведите себя прилично и с уважением к суду! Совершенно очевидно, что суд хочет выяснить правду, и вы находитесь здесь для того, чтобы давать правдивые показания. Вам ясно?

Володя опять промолчал.

— Стыдно, Харламов! — сказал судья.— Вы обвиняетесь в тяжелом преступлении. По вашей вине находится при смерти человек. Вам это известно?

— Да.— Володя опустил голову.

— Перед вами за этим столом,— продолжал судья,— сидят взрослые, опытные люди. Двое из нас могли бы быть вашими родителями. И как же вы себя ведете? Вам должно быть стыдно!

— Да,— тихо сказал Володя.— Мне очень стыдно...

— Ну, вот так.— Судья удовлетворенно помолчал.— Скажите, у вас есть родители?

— Нет.

— Где они? Разошлись, умерли?

— Умерли.

— При каких обстоятельствах? — впервые подала голос пожилая женщина, сидевшая слева от судьи.

— Отец погиб. На фронте. Мать умерла... Давно.

— Вот видите! Отец погиб на фронте! — воскликнул судья.— Вам двадцать три года, возможно, вашему отцу было немногим больше, когда он пошел на фронт.

— Ему было сорок лет,— сказал Володя.

— Это ничего не меняет. Миллионам людей было меньше лет, чем вам сейчас, когда они пошли сражаться за Родину. Они проливали свою кровь за то, чтобы вы, Харламов, могли жить счастливо! Надеялись, что вы оправдаете их доверие! А разве вы его оправдали? Разве вы оказались достойным вашего отца?!

Лицо Володи резко побледнело. Валя увидела, как он пригнулся, словно от удара. Но в следующее мгновение выпрямился и впервые за все это время высоко поднял голову.

Судья будто не заметил внезапной перемены, которая произошла с Володей.

— Видимо, вам безразлична память о вашем отце,— продолжал он укоризненно,— вам все равно, за что он погиб...

— Вы не смеете так говорить! — неожиданно звонко воскликнул Володя, сжимая руками барьер.

Милиционер предостерегающе протянул к нему руку.

— Подсудимый Харламов! — сказал судья, и лицо его покраснело.— Я снова предупреждаю вас: ведите себя прилично!.. Почему это я не смею так говорить? — произнес он уже более спокойно.— Советская власть создала для вас все условия... Вы имели все возможности жить и работать, как подобает молодому советскому человеку... А что же получилось на деле? Слышали, как вас характеризуют на производстве?..

Он полистал страницы дела, как бы для того, чтобы еще раз убедиться в правоте своих слов.

— Когда я сказал, что вам все равно, за что погиб ваш отец, вы возмутились,— продолжал судья уже своим обыч-

пым, ровным голосом.— А ведь я могу сказать и другое. И с не меньшим основанием. Предположим, что вы, такой, каким являетесь сейчас, жили бы тогда, накануне войны. Разве вам, безответственному, недисциплинированному человеку, можно было бы доверить оружие? Разве на вас можно было бы положиться? Что бы вы делали, если бы перед вами стоял враг?..

— Если б передо мной стоял враг,— медленно, отчетливо произнося каждое слово, сказал Володя,— я бы знал, что надо делать.— Он помолчал.— А если... друзья?

— Не понимаю,— пожал плечами судья.— Поясните свою мысль.

Володя молчал.

— Вы все время либо молчите, либо говорите как-то туманно и не по существу.— В голосе судьи послышалось раздражение.— Советский суд предоставляет подсудимому право сказать все, что обвиняемый считает нужным. Суд учтет все ваши показания и будет действовать совершенно беспристрастно. Если у вас есть что сказать по существу дела,— говорите.

— Здесь? — с горечью спросил Володя.— За этим барьером?

— Вы оказались за барьером по собственной вине. Никто вас не заставлял брать руль у Васина и сбивать человека. Ведь все это было?

— Было.

— Вот видите. Таковы факты. А вы пытаетесь запутать суд туманными, многозначительными фразами. Стыдно так вести себя, Харламов! Садитесь!

«Володя, Володя,— мысленно воскликнула Валя,— что ты наделал, зачем? Сколько раз я тебе говорила... Сколько раз умоляла тебя подумать о себе, обо мне... Ведь ты соглашался со мной, обещал стать сговорчивей, мягче, и вот теперь снова... Зачем? Ты восстанавливаешь против себя суд, а твоя вина ведь и без того велика...»

— У меня есть вопрос,— сказал старик в старомодных очках, сидевший по правую сторону судьи. До этого он не произнес ни слова.

— К кому? — спросил судья.

— К Харламову. Меня все же интересует, почему вы, Харламов, сказали судье, что забыли очную ставку с Васиным? Почему? Встаньте, пожалуйста.

— Потому что я... хотел забыть ее,— усталым и снова безразличным голосом ответил Володя, вставая.— Все эти дни я старался забыть ее...

— Вам было стыдно, что вас уличили во лжи? — спросил судья.

Глаза Володи мгновенно блеснули.

— Вы уд-дивительно п-правильно поняли меня,— чуть заикаясь, ответил он.

— Харламов, еще раз предупреждаю, измените свою манеру отвечать. У вас имеются вопросы к Васину?

— Пожалуй, да,— ответил Володя.— Скажи, Слава, когда состоится твоя свадьба?

Судья с недоумением уставился на Володю.

Васин молчал.

— Наверное, скоро? — продолжал Володя.— Ты говорил, ее Катей зовут... Что ж, желаю вам счастья.

«Какая Катя? При чем тут свадьба?» — с удивлением спрашивала себя Валя.

Васин по-прежнему молчал, но его рыхлое, одутловатое лицо налилось кровью.

— Что все это значит? — вмешался судья.— Какое это имеет отношение к делу?

— Вероятно, никакого,— тихо ответил Володя.

— Тогда к чему все эти вопросы?

Володя промолчал.

— У меня есть еще один вопрос к Харламову,— снова сказал старик в очках.— С производства вам дали резко отрицательную характеристику. Хотелось бы узнать, применялись ли к вам меры воспитательного характера?

— Применялись,— коротко ответил Володя, и в голосе его Вале снова послышалась все та же затаенная горечь, как в начале допроса.

— Какие?

Володя не ответил.

Женщина, сидевшая слева от судьи, вновь подала голос.

— Подсудимый Харламов,— сказала она,— вы, видимо, не понимаете, что вам хотят добра, когда просят правдиво отвечать на вопросы. Я просто понять вас не могу!

Володя внимательно посмотрел на нее.

— Я и сам многого понять не могу,— тихо сказал он.— Только я очень прошу... — голос его неожиданно за-

звенел,— очень прошу не желать мне добра... Мне уже многие этого желали...

Он безнадежно махнул рукой.

— Разумеется,— подхватил судья,— вам все хотели добра! Только вы, если судить по характеристике с производства и по тому, что случилось на Воронинском шоссе, не очень-то прислушивались к людям! Садитесь, Харламов. Подсудимый Васин!

Ответов Васина Валя почти не слушала. До ее сознания доходило лишь, что отвечал он вполголоса, коротко и с удивительной готовностью. Да, он глубоко виноват, что передал руль. Нет, он не слышал никакого удара. Да, они были в дружеских отношениях с Харламовым. Нет, он задумался, не следил за дорогой. Да, он полагает, что человек, который сидит за рулем, не может не заметить наезда, даже если темно и идет дождь...

Все это по-прежнему доходило до сознания Вали как бы издалека. Она лишь смутно чувствовала, что точные, спокойные ответы этого полнеющего парня с покорным выражением на лице были во вред Володе, что на их фоне Володя выглядел еще хуже, еще непригляднее...

Вале хотелось встать и крикнуть, что все это не так, что Володя совсем не такой, каким кажется здесь, на суде. Он гордый, самолюбивый, замкнутый, его не так просто понять, но он хороший, честный, прямой!

Да, его вина велика. Да, он виноват в том, что сшиб этого мальчика, но в характеристике все неправильно: он не такой, не мог быть таким...

Потом слово взял прокурор. Он охарактеризовал Харламова как наглого, самоуверенного человека, для которого закон не писан, как недисциплинированного, негодного работника.

Валя сидела не шевелясь. Этот нарядно одетый, гладко причесанный молодой человек, видимо, хотел доказать, что Володя — преступник, который сбил человека, видел это и спокойно, как ни в чем не бывало продолжал вести автомашину все дальше и дальше от места преступления.

Затем прокурор перешел к Васину. Он сурово осудил его за передачу руля, подчеркнул, что этот безобразный поступок привел к несчастному случаю, говорил о необходимости резкого повышения дисциплины среди работников транспорта, но вместе с тем противопоставлял Харламову

хорошего производственника Васина, человека, который до конца осознал всю тяжесть своего проступка.

Потом выступали общественный защитник — человек с круглой, как шар, головой — и адвокат — грузная женщина с туго набитым портфелем. Оба они защищали Васина. Имя Харламова они упоминали лишь для того, чтобы, подобно прокурору, подчеркнуть вину Володи. Общественный защитник сказал в заключение, что примерный производственник Васин собирается жениться, строить хорошую советскую семью и что суд при определении меры наказания должен принять во внимание и это чисто человеческое обстоятельство...

3. ВАЛЯ

— «Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики народный суд Калининского района... в составе... в открытом судебном заседании...»

Держа обеими руками лист синеватой бумаги, судья медленно читал уже знакомые Вале слова.

Они, эти слова, как будто кружились около ее ушей: «Воронинское шоссе... передал руль.... наезд... тормозной след...» И снова: «шоссе... руль... наезд...»

«Дальше, дальше!» — мысленно поторопила судью Валя, но тут же спохватилась и также мысленно воскликнула: «Нет, нет, подождите!..»

Она не отрывала глаз от синеватого листка. В эти мгновения Валя не видела ни народных заседателей, ни адвоката, ни прокурора, ни даже Володю. Только этот листок бумаги, на котором была написана его и ее судьба.

— «На основании изложенного, с учетом личностей подсудимых, суд приговорил...»

Голос судьи звучал все громче, а читал он все медленней, но Вале казалось, что судья торопится, страшно торопится, не сознавая, как много зависит от того, какие слова он сейчас произнесет...

— «...Васина Вячеслава Федоровича — к одному году исправительных работ по месту службы с удержанием ежемесячно двадцати процентов из его зарплаты в пользу государства...»

Судья секунду помолчал, но Вале показалось, что наступила тяжелая, непроницаемая тишина, а следующие

слова прозвучали так, будто их неожиданно произнесли над самым ее ухом:

— «Харламова Владимира Андреевича — к лишению свободы в исправительно-трудовой колонии сроком на два года».

Как будто кто-то резко толкнул Валю вперед. Она вдруг ощутила в себе силу. Ей захотелось броситься к покрытому зеленым сукном столу, за которым стояли судьи, и вырвать этот ненавистный синеватый листок...

Но Валя осталась на месте и неожиданно для всех, кто находился в зале, неожиданно для самой себя крикнула громко, во весь голос:

— Нет, нет!! Это несправедливо!..

Все обернулись к ней. Теперь все смотрели только на нее — судьи, прокурор, защитники, люди, сидевшие на передних скамьях...

Но Валя не видела никого, кроме Володи. До сих пор он, казалось, не знал, что она поблизости, а теперь резко повернулся к ней. Какое-то мгновение они глядели друг другу прямо в глаза. И по выражению его глаз Валя поняла: Володя знал, с первой минуты знал, что она здесь, в этом зале...

Валя бросилась вниз по лестнице. Она надеялась еще раз увидеть Володю, перемолвиться с ним хоть одним словом...

Но было уже поздно. Выбежав на улицу, Валя увидела, как отъезжает покрытая черной, местами облупившейся краской тяжелая тюремная машина. Валя хотела догнать ее, остановить. Не может быть, чтобы ей не разрешили сказать Володе несколько слов, ну хоть одно слово. Но машина все ускоряла ход. Черное решетчатое окошко в ее задней двери уже казалось сплошным темным пятном. Наконец машина-фургон завернула за угол и исчезла.

Куда они повезли Володю? В милицию? В тюрьму? Она сейчас же пойдет туда. Ей разрешат увидеться с Володей, поговорить с ним. Ведь он же не государственный преступник, не бандит, не вор! Они не могут запретить ей увидеть его. Но где же эта тюрьма? Вернуться в суд, спросить? Но у кого?..

Валя беспомощно огляделась. По противоположной стороне улицы медленно прохаживался милиционер. Она подбежала к нему и срывающимся голосом крикнула:

— Скажите... как попасть в тюрьму?

— Че-го?! — удивленно протянул милиционер.

— Нет, нет... Я не так выразилась,— волнуясь и не находя нужных слов, сказала Валя.— Просто я хочу повидать человека...

— Какого человека? — все так же удивленно переспросил милиционер.

— Ну... человека! — беспомощно повторила Валя.— Его только что повезли в тюремной машине. Может быть, вы видели?..

— Хулиганство? — осведомился милиционер.

— Что вы! Он очень хороший человек.

— Хороших людей в таких машинах не возят,— назидательно сказал милиционер.

— Ах, вы не знаете, вы же ничего не знаете! — с отчаянием воскликнула Валя.— Я хотела спросить, как получить пропуск в тюрьму. Думала, вы объясните...

— Да куда его повезли-то? И откуда? Из суда, что ли? — теперь уже деловито спросил милиционер.— И кто он вам? Отец, муж, брат?

— Муж! — с вызовом крикнула Валя и пошла по улице, ничего не видя перед собой.

«Что же делать, что делать? — мысленно спрашивала себя Валя.— Вот я иду, сама не зная куда, а его везут в черной тюремной машине. Потом его отправят далеко, наверное, за сотни, за тысячи километров отсюда...»

Ей показалось, будто и ее везут в этой страшной машине. Как Володя сможет жить вдали от всего, что его окружало? Не иметь права пройти по улице, остановиться у киоска с газированной водой, сесть на скамью в сквере, задержаться у витрины магазина, пойти в кино, в библиотеку, договориться о вечернем свидании... Не иметь права учиться или делать ту работу, которую любишь... Вот на что они обрекли Володю! Два года!.. Что это значит? Тюремная камера-одиночка? Нет, судья сказал: колония. Как там живут? Ведь у нас нет теперь таких страшных лагерей, о которых так много писали! И все-таки: заключение, колония! А она здесь, на свободе, и ничем не может ему помочь. Как же она будет жить дальше? Как придет домой, как ляжет спать, как проснется, зная, что Володя в тюремной камере и что ни днем, ни вечером, ни сегодня, ни завтра она не увидит его? Что же делать, что делать?!

Валя вздрогнула, почувствовав, что кто-то прикоснулся к ее плечу. Она обернулась, не замедляя шага, и увидела невысокого лысого старика в очках. Он тяжело дышал, видимо, от быстрой ходьбы. Валя где-то видела его. Но где? Ах, это же один из народных заседателей, тот, что сидел справа от судьи.

— Да остановитесь же наконец! — с трудом сказал старик. Его все еще мучила одышка.— Я хочу кое-что у вас спросить.

— Поздно! — с горечью ответила Валя, не останавливаясь.— Вы уже свое дело сделали.

— А я вам говорю, подождите! — настойчиво раздалось за ее спиной.— И не бегите так. Мне уже не двадцать лет.

Невольно подчиняясь этой настойчивой интонации, Валя замедлила шаг.

Она негодовала на себя. Какой у нее может быть разговор с одним из тех, кто осудил Володю?

— Что вам от меня нужно? — неприязненно спросила Валя.

— Прежде всего мне нужно, чтобы вы остановились. Может быть, присядем? Вон там хотя бы.

Старик показал рукой в сторону небольшого сквера и добавил:

— Моя фамилия Митрохин. Я был народным заседателем по делу... Ну, да вы сами знаете. Пойдемте.

Он мягко подтолкнул Валю в сторону сквера.

Хорошо. Она пойдет с ним. Сядет на скамейку и выскажет все, что думает об этом жестоком, несправедливом приговоре...

Они молча шли по узкой аллейке сквера. Песок, смешанный с галькой, поскрипывал под ногами. На одной из скамеек сидел долговязый парень в ковбойке с засученными рукавами и что-то наигрывал на гитаре. Валя не слышала ничего — ни скрипа песка, ни звуков гитары.

«Ну, начинайте же, спрашивайте, задавайте свои вопросы. Я отвечу вам. Я все скажу, все, что думаю, ничего не побоюсь!..»

— Вот здесь и присядем,— сказал Митрохин, кивая в сторону свободной скамейки.

Они сели. Митрохин снял очки, не спеша протер их большим пестрым платком, снова водрузил на место и, чуть сощурившись, с явной иронией спросил:

— Вы знаете разницу между судебным заседанием и... ну, скажем, школьным собранием?

— При чем тут школьное собрание? — Валя сделала движение, чтобы встать.

— Нет-нет, пожалуйста, не уходите! — поспешно воскликнул Митрохин.— Я просто хотел сказать, что суд — учреждение серьезное и кричать там нельзя.

— А осуждать невиновных можно?! — возмущенно сказала Валя.

— Ах, какие страсти-мордасти! — покачал головой Митрохин.— Конечно, под суд только невиновные и попадают. Но, между прочим, я и собирался вас спросить: почему вы считаете, что приговор несправедлив?

— Почему?! — громко переспросила Валя. У нее перехватило дыхание. Ей захотелось высказать все разом. Пусть этот старик поймет, в каком несправедливом деле он только что участвовал, пусть все эти судьи, заседатели, прокуроры узнают, что послали в тюрьму настоящего человека — да-да, настоящего!

Митрохин, сощурившись, выжидающе смотрел на Валю, и она поняла, что не произнесла вслух еще ни одного слова.

— Как вас зовут? — неожиданно спросил Митрохин.

— Валентина! — автоматически ответила Валя.— Ах, простите, у вас ведь полагается отвечать иначе,— с иронией добавила она.— Хорошо, отвечу по-вашему: Валентина Николаевна! Двадцать лет! Студентка пединститута! Ясно? Может быть, еще и адрес нужен?

— Да нет, адрес пока не нужен,— с легкой усмешкой ответил Митрохин.— И все-таки, Валентина Николаевна,— он произнес ее имя и отчество медленно, с чуть насмешливой, но в то же время ласковой интонацией,— я так и не понял, почему вы считаете приговор несправедливым? Может быть, вы знаете об этом деле что-нибудь такое, чего не знал суд?

— Я знаю Володю, и мне этого достаточно, чтобы...— начала Валя, но Митрохин прервал ее.

— Позвольте! — сказал он строго и на этот раз с укоризной.— На шоссе сбит человек. Шестнадцатилетний юноша, почти мальчик. Он тяжело ранен. Несколько дней был при смерти. Только теперь врачи смогли сказать, что его жизнь вне опасности. По вине Харламова мать едва не

лишилась единственного сына. Ведь все это правда! Вы согласны?

Валя молчала. Как и во время суда, она чувствовала, что вокруг нее замыкается кольцо тяжелых и неопровержимых фактов.

— И, несмотря на все это, вы считаете приговор несправедливым?

— Да,— тихо ответила Валя.

Девушка в несвежей белой куртке везла по аллее тележку с мороженым.

— Мороженое, эскимо, шоколадное, сливочное, пломбир... — произнесла она скороговоркой.

— Хотите? — спросил Валю Митрохин, и голос его, только что строгий и резкий, прозвучал по-стариковски добродушно.

Валя отрицательно покачала головой.

— Дайте одно,— попросил Митрохин.

Девушка откинула крышку, из ящика повалил густой белый пар.

— Шоколадное? — Вопрос относился скорее к Вале, чем к Митрохину.

— Эскимо,— ответил Митрохин.

Затем полез в карман, вытащил потертый старомодный кошелек, расплатился и, глядя вслед девушке-мороженщице, сказал с улыбкой:

— В мое время это называлось «чмок на палочке». Возьмите!

Он протянул Вале мороженое. Она не шелохнулась.

— Ладно,— сказал Митрохин,— пусть полежит.

Он положил завернутое в серебристую бумагу эскимо на край скамьи.

— Итак, по-вашему, приговор несправедлив? — произнес он как бы про себя.— Вы, следовательно, знали обвиняемых?

— Только одного. Володю...

— Володя, если мне память не изменяет,— это Харламов. Он... ваш родственник?

— Нет,— тихо ответила Валя.

— Вы давно его знаете?

— Около года.

— Срок не очень большой,— заметил Митрохин, и в голосе его Вале снова послышалась усмешка.

— Мне кажется, мы знакомы всю жизнь,— поспешно сказала она.— Не могу представить себе, что было время, когда я его не знала.

Она опустила голову, чтобы Митрохин не видел ее слез.

— Не надо плакать,— мягко сказал Митрохин.— В жизни случаются ситуации, которые требуют... мужества. Почему же все-таки вы не согласны с приговором?

— Он... хороший человек.

— Возможно. Но это надо доказать, понимаете? Нужны факты! Я думал, они у вас есть.

Митрохин произнес эти слова с участием, поразившим Валю. Она посмотрела на него широко раскрытыми глазами.

«Что делать, что же делать?! — с отчаянием повторяла она про себя.— Видимо, этот человек действительно заинтересовался судьбой Володи. Наверное, он мог бы помочь ему. Мне надо убедить его, найти верные слова... Но ему нужны не слова, а факты... Факты!»

— Послушайте, Валентина Николаевна,— медленно произнес Митрохин,— не может же быть, чтобы вы совсем ничего не знали. Не верится, чтоб вы крикнули в суде просто так, ни на что не опираясь. Постарайтесь вспомнить. Скажите, вы видели Харламова в день... когда было совершено... Ну, в тот день?

«В тот день!..» Нет, Валя не видела Володю в тот день. Это была среда, ровно две недели назад. Он не пришел, как было условлено, к кинотеатру. Днем раньше они договорились, что Валя заранее возьмет билеты на девятичасовой сеанс. Шел «Развод по-итальянски», и билеты было трудно достать. Валя знала, что Володя попадет в город только вечером, после работы, купила билеты днем, а вечером, без двадцати девять, уже стояла у входа в кинотеатр «Прогресс».

Накрапывал дождь.

У Вали то и дело спрашивали «лишний билетик», а Володя все не приходил.

Дождь усилился. Милиционер на перекрестке поднял воротник длинного, сразу ставшего блестящим плаща. Далекий, освещенный изнутри циферблат электрических часов, прикрытый пеленой дождя, теперь напоминал лунный диск. Было уже без пяти девять, но Валя все еще на-

деялась, что Володя придет. Очередной сеанс окончился. Выходившие из кино люди поднимали воротники пиджаков, плащей, прикрывали головы сумками, портфелями, газетами, шумно обсуждали картину. «Вот и верь бабам,— донесся до Вали мужской голос.— Он за нее на преступление, а она того матроса ногой щекотит, а? Ты видел, как она его ногой?..»

Валя продала билеты, когда сеанс уже начался, и потом еще некоторое время стояла у кинотеатра в надежде, что Володя все-таки придет.

В половине десятого она поняла, что он не придет. Домой пошла пешком, хотя на трамвае или автобусе могла бы доехать за пятнадцать минут, а ходу было минут сорок пять, не меньше. Но Вале не хотелось приходить домой рано, и, хотя дождь усилился, она замедляла шаг, стараясь подавить растущее чувство тревоги.

«Разумеется,— успокаивала себя Валя,— его могли задержать на работе, он мог поздно освободиться и решить, что к девяти все равно не доберется». Но чувство тревоги не проходило. Оно возникало каждый раз, когда Володя опаздывал. Она не тревожилась за него, только когда они были вместе.

Они часто бывали вместе. Почти каждый день. Из недели в неделю. Из месяца в месяц. Почти год.

Володя не появился и на следующий день, в четверг. Обычно они договаривались, что если встреча почему-нибудь не состоится, то они увидятся завтра. На этот раз они должны были встретиться в среду в девять у кино или в четверг в восемь у почты.

В четверг она ждала его до половины девятого.

В пятницу позвонила ему по автомату, хотя знала, что вызвать к телефону человека, работающего на линии, почти невозможно. В свое время Володя дал ей телефон диспетчера, но просил звонить только в крайнем случае.

Но ведь это и был крайний случай!

— Нету Харламова,— ответил диспетчер.

— Он на линии? — спросила Валя.

— Да нет,— усмехнулся диспетчер,— он свою линию уже перешел.

«Ну вот,— сказала она себе.— Вот это и случилось». Стараясь говорить как можно спокойнее, она спросила:

— С ним... что-нибудь произошло?

Диспетчер ответил, что Володя арестован.

Валя повесила трубку и долго не могла оторвать от нее руку.

Потом побежала в милицию. Ее направили к следователю.

— Нет,— ответила Валя Митрохину,— в тот день мы не встретились.

— А этого... Васина, вы знали?

Валя покачала головой.

— Но он, судя по всему, был другом Харламова. Иначе зачем бы Володя стал просить у него руль? Представьте себе,— Митрохин чуть придвинулся к Вале и поднял указательный палец,— едут в кабине грузовика два человека — шофер и сопровождающий. Первый раз видят друг друга. Ни с того ни с сего сопровождающий просит передать ему руль управления, а шофер покорно соглашается. Выглядит странно, правда? Может быть, Харламов в разговорах с вами когда-нибудь все же упоминал имя Васина?

Валя подумала немного.

— Нет. Никогда.

— И вы не знаете, что означали слова Харламова насчет свадьбы?

— Понятия не имею.

— Почему ваш Володя так странно вел себя на суде? — продолжал спрашивать Митрохин.

— Не знаю...

— Но вы согласны, что он вел себя странно? На предварительном следствии показал, что слышал звук удара при наезде на велосипедиста, хотя самого наезда в темноте не видел. Так? Далее, он показал, что спросил Васина...

— Конечно, конечно!—торопливо воскликнула Валя.— Ведь если бы он видел, как наехал на человека, и захотел сделать вид, что не видел, зачем бы ему было спрашивать Васина?

— Логично,— согласился Митрохин,— но вы забываете об одном обстоятельстве. Решающем. Васин все это отрицает. Говорит, как вы помните, что Харламов к нему не обращался.

— Но почему суд поверил ему, а не Володе?

— Да потому, что ваш Володя вел себя и на очной ставке и на суде по меньшей мере глупо! — громко, как

будто в нем что-то прорвалось, воскликнул Митрохин.— Надеюсь, это-то вам очевидно?

— Я не верю ни одному слову Васина,— сказала Валя.— Он все врет.

— Почему же тогда Харламов не разоблачил его на очной ставке или на суде? — снова спросил Митрохин.

Вале захотелось крикнуть: «Не знаю! Ничего не знаю! Я убеждена только в одном — в том, что Володя — честный человек, что его нельзя судить так строго, что это жестоко, понимаете, жестоко!..»

Но она сдержалась.

— Я тоже удивляюсь, почему он так себя вел,— ответила Валя, стараясь говорить спокойно,— и тем не менее убеждена в его правоте... То есть не в правоте,— поспешно поправилась она,— он, конечно, виноват... Но такой человек, как Володя, не мог оставить раненого на дороге и уехать. Понимаете, не мог!

— Вам кажется, что не мог,— пожал плечами Митрохин,— а вот судя по характеристике с места работы...

Валя молчала. Эта характеристика и для нее самой была полной неожиданностью.

— Не знаю, в чем тут дело,— тихо сказала Валя, делая усилие, чтобы не заплакать.— Я понимаю, вам нужны факты, документы с печатями!.. У меня их нет. У меня ничего нет. Но я знаю, твердо знаю: Володя не такой, как написано в этой бумажке.

— Но почему он не защищался в суде?

— А почему Васина защищали два адвоката, а Володю ни один? Это, по-вашему, справедливо?

— Общественного защитника выделили на производстве. Ему было поручено защищать Васина. Не Харламова, а Васина. Кроме того, был еще адвокат. Каждый обвиняемый имеет право на адвоката.

— А Володя?

— Разумеется, и он тоже. Харламову был предложен адвокат. Но он отказался. Вы это слышали. Конечно, подсудимый может защищаться и сам. Некоторые даже считают, что они сделают это лучше адвоката. А как вел себя ваш Володя? Разве он защищался? Топил он себя, вот что! Вы согласны?

— Да,— тихо ответила Валя.

— В чем же все-таки дело?

Она молчала.

— Видите ли,— тяжело вздохнув, продолжал Митрохин,— я ведь, собственно, никакой не юрист. Пока не вышел на пенсию, не имел к юриспруденции никакого отношения. Народный заседатель — это выборное. Так сказать, партийное поручение. Когда вы крикнули, что приговор несправедлив, я подумал: может быть, вам известны какие-нибудь факты, которые могут пролить, как говорится, свет...

Он замолчал, вопросительно глядя на Валю.

4. Я ВСЕ ВЫДЕРЖУ

«Вот и все,— подумала Валя.— Сейчас он поднимется и уйдет. Наверное, он хороший человек. Только показался мне таким сердитым. А на самом деле хороший. Хотел помочь Володе. Думал, я что-то знаю...»

До ее слуха донесся тихий звук гитары. Долговязый парень в ковбойке медленно шел по аллее, перебирая струны. Подойдя поближе, он с недоумением оглядел сидевших рядом лысого старика в очках и стройную молоденькую девушку с копной белокурых волос. Девушку он оглядел особенно пристально — от ее больших, покрасневших, заплаканных глаз до загорелых ног в простеньких, поношенных босоножках.

Потом слегка пожал плечами, взял два-три аккорда чуть погромче, чем раньше, и так же медленно прошел мимо.

Валя с горечью подумала, что, в то время как этот парень бренчит на своей дурацкой гитаре, Володя сидит за решеткой. А Митрохин снисходительно и беззлобно сказал себе: «Опять вошла в моду гитара. Любопытно! В наше время она считалась символом мещанства».

— Из какой семьи ваш Харламов? — спросил он после некоторого молчания.

Валя посмотрела на Митрохина с благодарностью. Нет, он не собирался уходить. Значит, у нее еще есть время. «Что же мне сказать о тебе, Володя? Почему ты так мало, так скупо рассказывал мне о себе? Может быть, думал, что не пойму? Что я еще девочка и совсем не знаю жизни? Но ведь ты всего на три года старше меня. И я все поняла бы, все, потому что люблю тебя... Помнишь, ты как-то спросил: «За что ты любишь меня?» Чудак! Разве можно отве-

тить «за что»?.. Наверное, за то, что ты такой, как есть. За то, что ненавидишь ложь. За то, что все так близко принимаешь к сердцу... Нет, я не могу ответить, за что люблю тебя. Просто, просыпаясь утром, я радуюсь, что ты есть. А когда расстаюсь с тобой, мне кажется, что жизнь кончилась и начнется снова тогда, когда я опять тебя увижу. Вот и все.

Вот и все... — с горькой усмешкой повторила Валя.— Как много это значит для меня и как мало для тех, от кого зависит сейчас твоя судьба».

Торопливо, все еще боясь, что Митрохин встанет и уйдет, Валя стала рассказывать ему, как познакомилась с Володей.

Это случилось в конце прошлого года.

Нет, слово «познакомились» меньше всего годилось для тех обстоятельств, при которых произошла их первая встреча.

Комсомольское собрание затянулось, и Вале пришлось возвращаться домой поздно вечером. На трамвайной остановке толпилось много народа, и Валя решила пройти несколько кварталов пешком, чтобы сесть на автобус.

Весь день с самого утра сыпал мокрый снег, фонари слабо мерцали на большом расстоянии друг от друга, на улице было пустынно. Последнее время Валя редко возвращалась из института одна — обычно за ней заходил Андрей. Надо было и на этот раз попросить, чтобы Андрей зашел за ней и проводил до дома.

Ей, Вале, тогда очень нравился студент энергетического института Андрей Бобров. С ним было легко и просто. Он ничем не нарушал ее привычную, ясную жизнь. Он был умен и весел, играл на гитаре, пел песенки — иногда смешливые, иногда иронически-грустные. Казалось, никакой вопрос не мог застать его врасплох...

Когда Валя спрашивала себя, какой он, то обычно отвечала одним словом: «современный». Это включало в себя не только стиль одежды, походку, прическу, но и манеру поведения — спокойно-невозмутимую, иногда добродушную, иногда насмешливую, ироническое отношение к проблемам, которые принято считать «сложными», любовь одновременно и к джазу и к Баху, к фильмам, где «поток жизни» заменял сюжет, и еще многое такое, что Валя не смогла бы точно определить.

Сама Валя не считала себя «современной», хотя тоже любила джаз, хорошую одежду и старалась не пропускать заграничные кинофильмы. Тем не менее Андрей ей нравился. Однако иногда ей приходила в голову мысль, что в нем нет ничего, как она говорила себе, «неожиданного». Он никогда не мог сказать такого, что заставило бы ее волноваться, думать, решать... Она любила книги, которые Андрей считал старомодными. Его интересовала только научная фантастика.

Правда, споры о вкусах возникали у них очень редко. Андрей вообще не любил спорить до тех пор, пока вопрос не касался кибернетики, научной фантастики или фильмов итальянца Антониони.

Валя сознавала, что у нее с Андреем не так уж много общего, но он все-таки нравился ей. Ведь Андрей был первым человеком, который объяснился ей в любви, и Валя знала, что он действительно ее любит.

Теперь она торопливо шагала по скользкой грязи, покрывшей тротуар, прятала лицо от резкого, холодного, осеннего ветра и думала о том, как было бы хорошо, если бы Андрей шел рядом.

Тех двух парней, что стояли в светлом кругу фонаря, Валя заметила не сразу. Оба они были высокого роста. Один в коротком, едва дохсдившем до колен пальто, другой в кожаной куртке. Издали они показались Вале одинаковыми — худощавые лица, чуть сощуренные глаза, плотно сжатые губы. Ветер играл волосами на их непокрытых головах. Парни молча и пристально смотрели на приближавшуюся Валю.

Валя подумала, что лучше бы ей перейти на другую сторону улицы, но вместо этого лишь ускорила шаг, стараясь держаться ближе к стенам домов.

Парни стояли неподвижно, пока Валя не поравнялась с ними. Затем неожиданно и словно по команде вышли из светлого круга.

Валя поспешно сделала шаг в сторону, но тот, что был в кожаной куртке, преградил ей путь, и она растерянно отступила. Парень приблизился к ней вплотную и, почти не разжимая губ, процедил:

— Ну... зачем же паника?

Валя заглянула в его лицо, и ей стало страшно. В эту минуту она не думала о том, что может произойти, что могут сделать с ней эти парни, ей просто стало жутко при

виде маячившего перед нею бледного, заслонившего весь мир лица. Оно напоминало маску — гладкое, с туго натянутой кожей и слегка выдающимися скулами, с похожими на одну тонкую, прямую линию злыми губами, с глубоко посаженными, казалось, мертвыми глазами.

— Что вам от меня нужно? — испуганно воскликнула Валя.

Парень в коротком пальто схватил Валю за локоть, резким, сильным движением притянул к себе и сказал:

— Уймитесь, волнения, страсти... Двое молодых бизнесменов желают пригласить леди на тур вальса.

Валя рванула руку, но парень держал ее, как в тисках.

— Естественная реакция молодой леди на столь старомодное приглашение,— с усмешкой сказал парень в кожаной куртке. Он стоял теперь за Валиной спиной.—Вальс— это звучит несовременно. В нашем кругу предпочитают твист. О'кей, леди?

Он чуть расставил руки и сделал несколько покачивающихся движений на полусогнутых ногах.

— Отстаньте от меня! Пустите! — с отчаянием крикнула Валя, снова делая попытку вырваться.

В этот момент раздался чей-то резкий, повелительный голос:

— Отпусти руку. Ну!..

Валя почувствовала, что пальцы, сжимавшие ее руку, ослабли, и увидела в двух шагах от себя молодого человека в темном плаще и надвинутой на лоб кепке. На вид ему было лет двадцать пять. Он был такого же высокого роста, как и те, которые напали на нее.

Парень в кожаной куртке сделал шаг вперед и, побычьи наклонив вперед голову, сказал:

— Справедливости ради, хочу предупредить, что являюсь поваром, специалистом по отбивным котлетам. Могу и с гарниром.

Он сжал кулак и стал медленно поднимать руку.

Но тут произошло нечто неожиданное. Парень в плаще сделал быстрый шаг вперед. Валя заметила короткое, еле уловимое движение его руки, и в следующее мгновение тот, в кожаной куртке, повалился на тротуар.

Тотчас же вскочив на ноги, он вместе со своим приятелем набросился на парня в плаще, который стоял, прижавшись к стене и стараясь защититься от града ударов. Они дрались молча, было слышно только их учащенное дыха-

ние. То один, то другой падали в грязь, вскакивали и снова сплетались в огромный, мечущийся по тротуару клубок.

Парня в плаще уже дважды сбивали с ног, но он снова и снова выбирался из-под навалившихся на него тел и отвечал короткими, резкими ударами.

Наконец его сбили с ног в третий раз, и тогда Валя, сама не сознавая, что делает, бросилась на помощь. Ее оттолкнули, она упала, но тут же вскочила и услышала уже знакомый повелительный голос:

— Уходите! Бегите! Ну!.. Кому говорю!

Валя побежала. Она надеялась, что увидит милиционера, прохожих, кого-нибудь, кто мог бы прийти на помощь. Но улица в этот час была пустынна.

Валя нашла милиционера, лишь пробежав два квартала. Когда они вернулись на место происшествия, здесь уже никого не было.

Несколько дней после этого ее мучили угрызения совести. Валя понимала, что все равно вряд ли могла бы помочь защитившему ее человеку, но ей не давало покоя сознание, что она убежала, бросила его в то время, как он отбивался от натиска двух разъяренных хулиганов.

Теперь по дороге в институт и возвращаясь домой она всматривалась в лица прохожих со смутной надеждой, что встретит своего защитника. Однажды ей показалось, что он обогнал ее, она ускорила шаг, но тут же убедилась в своей ошибке.

Мало-помалу происшествие стало забываться.

...В педагогическом институте, где училась Валя, был праздничный вечер. Валя, как обычно, танцевала с Андреем. Настроение было радостное, приподнятое: только что очень успешно для нее закончилась зимняя экзаменационная сессия, начинались каникулы...

Оркестр умолк, но лишь на мгновение, и почти без паузы заиграл нечто среднее между твистом и медленным фокстротом. Андрей озорно улыбнулся, откинул Валю на расстояние вытянутой руки, как бы приглашая перейти от плавных па слоуфокса к подчеркнуто угловатым, размашистым движениям современного танца. Валя приняла вызов.

Все знали, что дирекция института и комсомольская организация не одобряют этой манеры танцевать. На институтских вечерах кто-нибудь из преподавателей или комсомольских активистов мог подойти к увлекшейся мод-

пыми ритмами паре и тихо, сквозь стиснутые зубы произнести:

— Танцуйте п-прилично...

И тем не менее ни один танцевальный вечер не обходился без того, чтобы хоть одна пара не попыталась, несмотря на все запреты, покачаться в ритм музыке на широко расставленных ногах или «потанцевать врозь», двигаясь на расстоянии друг от друга и подняв полусогнутые руки с раскрытыми ладонями.

Особенно лихо исполняли современные танцы студенты-энергетики, а Андрей, пожалуй, лучше всех.

Валя уже развела полусогнутые руки, как бы отталкивая воздух ладонями, как вдруг... увидела того самого парня.

Он одиноко сидел на одном из стульев, стоявших вдоль стены.

Валя резко остановилась, когда Андрей старался перегнуться, как бы пытаясь прикоснуться затылком к полу.

— Ты что? — спросил он, поспешно выпрямляясь и с недоумением глядя на Валю.

— Ах, подожди, подожди, Андрюша! — уже пробираясь между танцующими парами, на ходу бросила Валя.

Она подбежала к парню и с радостной улыбкой воскликнула:

— Здравствуйте! Вы меня помните?!

Тот удивленно, явно не узнавая, посмотрел на Валю, потом медленно встал.

— Вижу, вижу, что не узнаете! — смеялась Валя.— А я даже поблагодарить не смогла. Вернулась с милиционером, а вас уже след простыл. Теперь вспомнили?

Парень еще раз удивленно вгляделся в ее лицо, потом улыбнулся и сказал:

— Теперь узнал!

— Наконец-то мы встретились,— все так же весело тараторила Валя.— Теперь я хоть «спасибо» могу вам сказать! Если бы не вы, не знаю, что бы со мной тогда было. Вас как зовут?

— Владимир,— несколько смущенно ответил парень.

— А меня — Валя. Пойдемте танцевать.

Не дожидаясь ответа, она схватила Володю за руки.

— Я... плохо танцую,— пробормотал Володя. Но Валя уже вела его в ритме танца.

— Это чепуха, все люди теперь умеют танцевать! —

оживленно говорила она.— Вам, наверное, здорово тогда досталось? Какие подонки! Напасть вдвоем на одного!..

— Так ведь это же я на них напал,— улыбнулся Володя, мучительно пытаясь двигаться в такт музыке, он и впрямь совсем не умел танцевать.

От взгляда Вали не укрылось, что заправские танцоры смотрели на них, иронически улыбаясь. Некоторые с шутливой опаской глядели под ноги Володе и сторонились с преувеличенной поспешностью.

Андрей стоял у стены, поджидая Валю, и с недоумением разводил руками.

Наконец Володя остановился и решительно сказал:

— Нет. Не могу. Не умею.

Он пошел через весь зал к своему стулу, а Валя шла за ним, негодуя на себя за то, что все так глупо получилось и что по ее вине Володя оказался в смешном положении.

— Знаете что? — неожиданно сказала она.— Давайте выйдем из зала. Здесь страшная толкотня и очень душно.

Володя недоверчиво посмотрел на нее, покачал головой и ответил:

— Да нет, зачем же... Танцуйте.

— Но я не хочу. Понимаете, не хочу. Надоело! — настойчиво возразила Валя.— И наконец,— добавила она шутливо,— вы гость. Ведь, насколько я понимаю, вы не учитесь в этом институте? Значит, вы наш гость и, кроме того, мой спаситель. Я должна вас развлекать.— Она улыбнулась.

— Меня не надо развлекать,— ответил Володя. Он видел, что за ними все еще наблюдает много насмешливых глаз, и невольно нахмурился.

— А про тот случай, пожалуйста, забудьте,— добавил он.— Каждый на моем месте...

— Но на вашем месте оказались именно вы,— прервала его Валя.

— Просто начитался газетных статей,— сказал Володя, на этот раз с легкой улыбкой,— тех самых: «Не проходите мимо».

— Я вас тогда и разглядеть-то как следует не успела.

— Я вас тоже.

— Вот и прекрасно. Давайте выберемся из толчеи и разглядим друг друга.— Валя потянула Володю за рукав и пошла к выходу.

...Через несколько минут она уже знала о нем все, что ей хотелось узнать. Володе двадцать три года, он работает монтером на Энергострое, живет в общежитии, а сюда, на институтский вечер, попал случайно: предложили билет в завкоме.

Оказавшись среди студентов, хорошо знавших друг друга, Володя, конечно, чувствовал себя одиноко, к тому же он плохо танцевал, а тут еще Валя заставила его продемонстрировать это перед всеми.

Однако теперь, когда они оказались вдвоем в пустынном коридоре, Володя постепенно оттаивал.

— Все-таки это было очень рискованно с вашей стороны — вступать в драку с двумя хулиганами,— сказала Валя, снова возвращаясь к тому происшествию.

— По правде говоря,— неожиданно рассмеялся Володя, и смех его прозвучал звонко, совсем по-ребячьи,— они меня тогда порядочно отделали.

Только теперь Валя заметила шрам на виске Володи.

— Повернитесь-ка,— сказала она,— сюда, к свету.

Неожиданно для самой себя она крепко охватила голову Володи и заставила его наклониться. Стал ясно виден длинный, наполовину прикрытый волосами рубец.

— Чем же это они? — воскликнула она.— Камнем?

— Признаться, забыл спросить,— выпрямляясь, ответил Володя,— сам до сих пор интересуюсь.

Валю охватило острое чувство жалости.

— Они бы не тронули вас, если бы вы продолжали идти своей дорогой.

— Вы думаете, мне следовало идти своей дорогой?

— Нет, конечно! Я глупость сказала. Но многие на вашем месте, может быть, даже ускорили бы шаг. Не захотели бы вмешиваться.

— А я презираю тех, кто не вмешивается. Кто шаг прибавляет.— Володя нахмурил свои густые, почти сросшиеся на переносице брови.

— Вы, наверное, жалеете, что пришли к нам на вечер? — неожиданно спросила Валя.

— Почему же? Ах, понимаю. Танцую я действительно скверно.

— Вас это огорчает?

— До сих пор как-то не думал об этом. Что ж, сказать по правде, огорчает.

— Но это так просто! Я вас в два счета научу!

— Расплатиться хотите? — с грубоватой иронией спросил Володя. Но, увидев, что Валя нахмурилась, поспешно добавил: — Это я так, в шутку. Только мне еще не до танцев.

Вале показалось, что в его словах прозвучала досада.

— Вы где-нибудь учитесь? — спросила она.— Может быть, на вечернем?

— Нет,— покачал головой Володя,— не получается...

— Собираетесь?

— Как говорится, есть такая мечта...

— А знаете, я была убеждена, что мы встретимся,— сказала Валя.

— Почему?

— Не знаю. Так должно было быть. По справедливости.

— Верите в справедливость?

— А вы?

— Если не верить, то и жить не стоит.

Они помолчали немного.

— Шрам не болит? — спросила Валя.

— А знаете что,— не отвечая на ее вопрос, с улыбкой сказал Володя,— пожалуй, вдвоем тогда пришлось бы всетаки легче.

— Думаете, от меня был бы толк? — с сомнением спросила Валя.

— Да нет, не в том дело. Я правильно сделал, что заставил вас уйти. Но, понимаете, когда человек видит, за кого дерется, он сильнее становится. Верно?

— Валя, куда ты пропала? — раздался позади них громкий голос.

Валя обернулась и увидела Андрея. Он стоял в двух шагах от них, заложив руки в карманы и чуть приподняв плечи.

Сама не зная почему, Валя смутилась, но тут же почувствовала досаду на себя и сказала с оттенком раздражения:

— Что ты, Андрюша? Что тебе?

Андрей еще выше приподнял плечи, всем своим видом выражая недоумение, и обиженно переспросил:

— Что мне? Собственно, ничего. Ты исчезла, и я...

— Никуда я не исчезла,— почти резко ответила Валя.— Просто встретила Володю... Андрюша, познакомь-

ся,— уже другим тоном сказала она,— это Володя, тот самый!

— Тот самый? — переспросил Андрей, на этот раз чуть иронически.— Извини меня, но я, кажется, никогда не слышал...

— Да, да, конечно! Я ведь и сама раньше не знала, как его зовут! Это тот самый Володя, который вступился за меня тогда, помнишь, на улице...

Андрей улыбнулся, подошел к Володе и с размаху протянул ему руку:

— Историческая битва? Как же, знаю!

Они обменялись рукопожатием.

— Вы учитесь?

— Володя работает на Энергострое. На наш вечер попал случайно,— сказала Валя, и в голосе ее снова послышался оттенок досады. Она сама не понимала, что ее раздражает. Может быть, то, что Андрей разговаривал с Володей равнодушно-снисходительным тоном.

— Если бы не Володя, не знаю, что бы тогда со мной было,— сказала Валя подчеркнуто громко.

— Да, да, разумеется,— согласился Андрей. Он положил руку на Валино плечо и слегка привлек ее к себе.— Мы с Валей очень благодарны вам. Это хулиганье совсем распоясалось. Насколько я помню, Валюша, их было двое, а вы,— он снова обратился к Володе,— один?

— Статистикой не занимался,— сухо ответил Володя.

— Ну, разумеется,— торопливо повторил Андрей,— но так или иначе, большое вам спасибо. Честно говоря, я до сих пор не могу себе простить. Не дождался тогда Валюшу, чтобы проводить. Очень жалею, что не оказался на вашем месте.

— Я тоже,— с едва уловимой усмешкой сказал Володя.

Андрей снял руку с Валиного плеча и несколько растерянно спросил:

— В каком смысле?

— В самом прямом. Если бы на моем месте оказались вы, вам и пришлось бы драться.

Валя внимательно глядела на Володю. Лицо его приобрело угрюмое выражение. Задорно-мальчишеские нотки, совсем недавно звучавшие в его голосе, исчезли.

— Вы жалеете, что вступились за Валю? — уже с явным недружелюбием произнес Андрей.

— Ну вот что,— вмешалась Валя,— прекратим этот никчемный разговор.

Она не на шутку рассердилась на Андрея. Какое право он имеет разговаривать с Володей таким тоном? И зачем он на глазах Володи уверенно-хозяйским движением привлек ее к себе, как бы подчеркнув этим свое право говорить от имени их обоих?

Она демонстративно взяла Володю под руку и сказала, ни к кому в отдельности не обращаясь:

— Пойдемте танцевать.

— Спасибо,— сказал Володя, осторожно освобождая руку,— но мне пора.

Не попрощавшись, он пошел по коридору.

Валя надеялась, что Володя хоть обернется, но он не обернулся.

— Идем, Валюша,— мягко, но настойчиво сказал Андрей, увлекая ее в зал.

Оркестр играл танго, Андрей уже от двери повел Валю в танце, чуть прикасаясь руками к ее плечу и талии. Валя сделала несколько движений и вдруг поняла, что не хочет танцевать, не хочет оставаться в этом зале, не хочет видеть Андрея...

Она коротко сказала: «Не хочу больше, не буду!» — и бросилась к выходу в надежде, что ей еще удастся догнать Володю. Разом окинула взглядом коридор во всю его длину, но никого не увидела. Побежала в конец коридора, распахнула дверь, на нее подуло холодным, зимним ветром. Володи нигде не было.

Валя медленно пошла обратно и вдруг увидела его. Он сидел в нише на подоконнике и курил. «Неужели ждал меня? — подумала Валя.— Неужели чувствовал, что я приду?»

Она подошла к нему и тихо сказала:

— Как хорошо, что вы не ушли!

Не сговариваясь, они оделись и вышли на улицу. Валя даже не сказала Андрею, что уходит.

Почему, как это случилось? Валя не смогла бы ответить на этот вопрос даже самой себе. Может быть, ей хотелось еще раз поблагодарить Володю. Может быть, она надеялась загладить обидно-пренебрежительный тон Андрея. Может быть, ей нужно было что-то спросить...

Да, все это было именно так, но главное заключалось не в этом. Просто у нее возникло непреодолимое желание снова быть с Володей, видеть его, говорить с ним. С этого все и началось.

— У него была трудная судьба,— медленно продолжала Валя.— Отец погиб на фронте. Мать умерла, Володе было тогда пять лет. Его отдали в детский дом. Там он жил, учился в школе... Учился вроде хорошо, но учителя его почему-то не любили. И он их не любил... Не всех конечно...

— Как это понимать? — спросил Митрохин.

Валя пожала плечами.

— Не знаю... Ему казалось, что они не всегда действуют по... правде... Так он мне говорил. Потом хотел стать инженером-электриком. По радиотехнике. Об этом он мечтал еще в школе. Провалился на экзаменах в институт. Пошел на курсы шоферов: деньги надо было зарабатывать. Но шофером работать не стал: объявили набор на курсы электромонтеров. Ведь это его мечта была — электротехника... Окончил курсы и пошел работать на Энергострой...

— Подождите, Валентина Николаевна,— прервал ее Митрохин,— все это уж очень похоже на анкету. Вот вы сказали, что учителя не любили его и он их не любил. Потому, дескать, что они... словом, что-то насчет правды. Как это понимать?

«Ах ты, боже мой,— подумала Валя,— неужели я упомянула об этом! В конце концов я и сама толком ничего не знаю. А он еще подумает невесть что».

— Я и сама этого не понимаю,— поспешно сказала Валя.— Думаю, просто так, чепуха...

— Какой у него характер? Он всегда ведет себя так, как вел на суде?

— Нет, нет, что вы! Правда, Володя — человек очень резкий и... я не знаю, как это назвать, не упрямый, нет, а упорный! Если считает что-то правильным, его трудно переубедить. А на суде... Да, на суде он вел себя странно.

— Он рассказывал вам о своей работе, о том, как относятся к нему товарищи, администрация?

— Нет. То есть рассказывал, конечно, только не то, что вы думаете. Впрочем, я знаю, у него на работе были неприятности. Я всегда чувствовала, когда у него что-нибудь не так.

— Вот видите,— сказал Митрохин,— значит, в характеристике написано верно! Он рассказывал вам, какие именно неприятности?

«Что-то я не то говорю, совсем не то!» — лихорадочно думала Валя.

— Вы меня неправильно поняли,— снова заторопилась она.— Просто Володя все принимал очень близко к сердцу. Помню, как-то он мне сказал: «Не пойму я некоторых людей. Кажется, чего бояться? В тюрьму за правду не сажают, с работы не увольняют. Веди себя честно... Так нет. Что-то еще сидит в некоторых людях... Своя рубашка ближе к телу».

— Так, так... — задумчиво проговорил Митрохин. Он помолчал немного.— Еще один вопрос. Последний. Вы его... очень любите?

— Очень! — громко произнесла Валя и высоко подняла голову.— И я уверена, понимаете, уверена, что его дело должно быть пересмотрено!

— Только потому, что вы его любите? — спросил Митрохин с добродушно-иронической усмешкой.

— Нет! — воскликнула Валя.— Потому что этот приговор несправедлив. Я верю в Володю!

— Что ж,— медленно покачал головой Митрохин,— в старину говорили: вера горами движет...

— Вы... поможете ему чем-нибудь? — с надеждой спросила Валя.

— Я? — переспросил Митрохин.— Но что же я могу сделать? Ведь нет же никаких фактов!..

— Значит, никто ему не может помочь? — упавшим голосом произнесла Валя.

— Почему же никто? Есть прокуратура, да и сам он имеет право обжаловать приговор в городской суд. Конечно, если есть повод для обжалования.

— Если есть повод...— безнадежно повторила Валя и торопливо встала.

— Подождите! — Митрохин вытащил из кармана потрепанную записную книжку и карандаш.— Дайте-ка мне на всякий случай ваш адрес. И телефон, если есть.

Думая о другом, Валя механически назвала улицу, номера дома, квартиры и телефона.

— До свидания... Валя! — сказал Митрохин, в первый раз обращаясь к ней по имени.— И возьмите свое эскимо. Ну, возьмите!..

Наступил вечер. Валя медленно шла по улице.

«Теперь уже поздно,— говорила она себе,— все учреждения закрыты. Завтра с утра пойду добиваться свидания... Но куда идти? Какая глупость — я не спросила Митрохина о самом главном: кто может разрешить свидание с Володей? Теперь не знаю, к кому обратиться. Впрочем, как же так? Ведь есть следователь Пивоваров. Неприятный человек. Ну и что из того, что неприятный? Попрошу свидания с Володей, и только. Имеет ли он право отказать? Если откажет, пойду дальше. Спрошу Пивоварова, кто его начальник. Добьюсь свидания с Володей во что бы то ни стало!..»

Неожиданно Валя снова услышала за спиной приглушенные звуки гитары.

Долговязый парень в ковбойке шел по мостовой, у самой кромки тротуара, чуть наклонив голову, словно прислушиваясь к тем звукам, которые издавала гитара под его рукой.

Валя сразу поняла, что он ждал ее и теперь шел за ней по пятам, но она даже не рассердилась. Ей просто стало еще грустнее.

«Володя, Володя! — мысленно твердила Валя.— Почему ты так упорно не хотел взглянуть на меня? Ведь ты знал, что я в зале, я поняла это по твоим глазам, когда ты наконец обернулся. Тебе было стыдно? Или ты беспокоился за меня? Боялся, что я не выдержу и брошусь к тебе?.. Может быть, ты думаешь, что я откажусь от тебя, поверю тому, что говорили на суде? Но почему ты не защищался, почему?!»

Нет, она никогда не видела его таким, как на суде...

Она стала припоминать все их встречи.

Валя до сих пор не знала таких людей, как Володя. Она привыкла к Андрею, к его легкой, остроумной, слегка иронической манере разговаривать. Вале нравилась эта манера, хотя все, что он говорил, было для него как-то необязательно, словно он мог говорить и нечто совсем другое.

С Володей все было иначе. Он говорил только то, чего не мог не сказать. Все, что он говорил, было для него как бы вопросом жизни и смерти.

Он умел быть веселым, иногда по-мальчишески веселым и никогда не думал о том, какое впечатление это произведет на окружающих. Но чаще всего он бывал задумчив, серьезен, углублен в себя.

Теперь Вале казалось, что Андрей придумал себе некую индивидуальность, определяющую, по его мнению, тип «современного» человека. Володя же всегда был Володей, естественным, порывистым, неизменно убежденным в своей правоте. Захоти он завтра стать другим, из этого ничего не получилось бы. Был ли он скрытным? Да, пожалуй. Но только тогда, когда дело касалось его самого.

Уже с первой встречи Валя почувствовала, что Володя страдает оттого, что не попал в институт. В студенческой компании он, видимо, чувствовал себя невеждой, недоучкой...

Но дело было не только в этом. Постепенно Валя поняла, что Володя замыкался всякий раз, когда ему приходилось соприкасаться с неискренностью. В особенности он страдал тогда, когда знал, что тот или иной человек говорит неправду сознательно. Ему становилось мучительно стыдно за этого человека, как будто лгал он сам, Володя, и все вокруг понимали это.

Когда Валя шла на свидание с Андреем, она наперед знала, в каком он будет настроении, какими словами встретит ее, о чем они будут говорить. Андрей точно уводил ее по гладкой, посыпанной песком дорожке в простой и беззаботный мир, где все было привычно и знакомо.

Встречаясь с Володей, Валя всегда испытывала смутное чувство тревоги. Она никогда не знала, о чем он будет говорить с ней. Но всякий раз он вел ее в незнакомый мир, где на каждом шагу возникали все новые и новые сложности, в которых необходимо было тотчас же разобраться...

Теперь Валя чувствовала, что может и хочет жить только в этом мире и никакого другого ей не надо.

Она невесело усмехнулась: какое это может иметь значение?.. Как доказать, что Володя другой, совсем не тот, что был на суде? Нужны факты. Только факты. И нельзя забыть, что по вине Володи чуть не погиб человек.

«Что ж, здесь Митрохин был прав. Ты в самом деле виноват, Володя. Но ведь они хотят доказать не только то, что ты виноват, они утверждают, что ты вообще плохой человек. А я в это не верю. Слышишь, Володя, не верю!.. Как же мне убедить тех, кто осудил тебя, от кого зависит твоя дальнейшая судьба, как заставить их поверить, что ты другой? Ведь и Митрохин убежден, что ты виноват!

Наверное, он неплохой человек, этот старик. Хотел помочь тебе. Но я ничего не смогла ему сказать, кроме того,

что люблю тебя, верю тебе. Нет, я его ни в чем не убедила. Да и как я могла его убедить, если ты так странно вел себя на суде, не защищался, не уличал других во лжи? Ведь я знаю, ты ненавидишь всякую несправедливость, считаешь, что в наше время она не может победить. Почему же ты так непонятно говорил в суде, когда люди оказались несправедливы к тебе самому?

Но ничего! Мы увидимся, и ты расскажешь мне все то, что не хотел рассказать суду. Я чувствую, ты что-то скрываешь. Я уговорю тебя сказать мне всю правду. Ради тебя самого. Ради нас. Ради справедливости!..»

Только сейчас Валя почувствовала, что рука ее крепко сжимает что-то. Всю дорогу она шла, зажав в пальцах деревянную палочку эскимо.

Мороженого на палочке уже почти не осталось, оно растаяло, остатки его тоненькими мутными струйками стекали по мокрой, обмякшей бумаге.

Валя с трудом разжала затекшие пальцы.

Она не заметила, как подошла к набережной. К реке вела широкая лестница. В теплые летние вечера здесь обычно собиралась молодежь. Юноши и девушки рассаживались прямо на ступенях, пели песни и любовались рекой. Сегодня здесь тоже было людно.

Вале захотелось подойти к тому месту, где они не раз сидели с Володей. Обычно они спускались к воде и устраивались на самой нижней ступеньке.

Валя с трудом, медленно обходя усеявших лестницу людей, пробралась к заветному месту и села на прохладную гранитную ступень.

Светлые пятна прибрежных фонарей покачивались в воде, вдали шел пароход, он сиял огнями, и оттуда доносилась, словно плыла по воде, тихая музыка. И Валя с новой силой ощутила свое одиночество. Всего каких-нибудь две-три недели назад она сидела здесь с Володей. Все было так же, как сейчас. Так же отражались в тихой воде фонари, так же шел ярко освещенный пароход, так же позвякивали цепями стоявшие на причале лодки... Сейчас все точно так же, как тогда. Только Володи нет!

Валя поняла, что напрасно пришла сюда. Никогда больше она не подойдет к этой лестнице — до тех пор, пока они снова не будут вместе.

Она встала и пошла наверх, стараясь не оглядываться.

Чем ближе Валя подходила к своему дому, тем медлен-

нее становился ее шаг. Она замедляла его незаметно для самой себя, но, войдя в переулок, в котором жила, уже сознательно свернула в другую сторону.

Если бы кто-нибудь спросил Валю, почему она это сделала, она ответила бы, что хочет еще немного побыть одна, наедине со своими мыслями о Володе.

Но ей трудно было вернуться домой еще и по другой причине. Она не хотела сейчас думать об этом. Она просто не в состоянии была одновременно думать о Володе и о том, почему ей так трудно, почти невозможно вернуться домой...

Стемнело. Зажглись фонари дневного света — их установили совсем недавно, и жители говорили, что теперь улицы их родного города стали совсем как московские.

А Валя все шла и шла.

Ей казалось, что если она будет вот так идти и идти, то в конце концов уйдет от всего того, что по-прежнему стояло перед ее глазами, преодолеет коричневый барьер, отделяющий ее от Володи, и окажется рядом с ним, совсем рядом. И тогда все исчезнет: и судейский стол, и стулья с высокими спинками, и тюремная машина, которая, казалось ей, все еще маячила где-то впереди. И они будут вместе, вместе навсегда.

«Что-то со мной происходит неладное»,— подумала она и вдруг всем своим существом ощутила, что сегодняшний день резко разделил ее жизнь на две части: то, что было раньше, и то, что наступило теперь. Та жизнь, которой она жила до сих пор,— ясная, понятная, легкая, без непреодолимого горя, без мучительной необходимости выбирать единственно верные решения,— кончилась, бесповоротно и навсегда. Для нее началась новая, трудная и тревожная жизнь. Сколько бы она ни шла, пытаясь убежать от всего того, что видела и пережила сегодня, ей все равно никуда не уйти. Вернуться в прошлое невозможно.

На мгновение Вале стало жалко себя и жутко от охвативших ее смятения и тревоги. Но уже в следующую минуту она сказала себе: «Ничего! Выдержу. Все выдержу. Не бойся, Володя. Ты не один».

Она резко повернулась и направилась к своему дому.

Теперь Валя шла быстро, почти бежала, стремясь уже не отдалить, а приблизить встречу, которой боялась с того самого момента, как рассталась с Митрохиным.

Встречу с отцом.

5. КУДРЯВЦЕВ

Николай Константинович Кудрявцев был убежден, что смысл его жизни — забота о благе людей и он лучше их самих знает, что им на пользу и что во вред.

Это убеждение возникло в нем еще в школьные годы. Он был попеременно то секретарем комсомольской организации, то председателем учкома. Его выбирали всегда. Без любви, но подавляющим большинством голосов. Этим как бы признавалось бесспорное превосходство Коли Кудрявцева, которое состояло в том, что он был начисто лишен слабостей, естественных для ребят его возраста. Почти каждый из его сверстников мог не выполнить общественного поручения, опоздать с выпуском очередного номера стенной газеты, предпочесть футбол или каток комсомольскому собранию, покривить душой, чтобы выгородить провинившегося товарища. Ничто подобное не было свойственно Коле.

Он учился в годы, когда вся страна была охвачена борьбой и ее фронты проходили повсюду: в городе и в деревне, в партии и в комсомоле, в школе и в семье, в человеческих умах и сердцах.

Общественная жизнь ребят точно воспроизводила тогда общественную жизнь взрослых. Слова «классовая борьба», «оппортунизм», «хвостизм», «авангард», «уклон», «бурный рост», «лишенец», «кулак», «подкулачник», «темпы», «коллективизация», «индустриализация» раздавались на собраниях школьников не реже, чем на пленумах и съездах их отцов.

Коля Кудрявцев произносил эти слова не так, как остальные ребята. Он говорил веско, рассудительно, уверенно и благодаря этому сразу занял среди своих сверстников особое положение.

Ребята невольно уважали его за то, что ему были чужды их слабости, и он нередко брал на свои плечи чужой груз. В то же время они питали к нему безотчетную неприязнь, подобную той, которую должники питают к дающим в долг.

Отец его умер, когда мальчик учился в восьмом классе. Коля мечтал стать машиностроителем. Но теперь он решил, что после школы пойдет не в институт, а на завод, чтобы помогать матери — немолодой болезненной женщине, которая никогда нигде не работала.

Это тоже поставило Колю в особое положение без всяких, впрочем, усилий с его стороны.

Педагоги и раньше снисходительно относились к комсомольскому активисту, вынужденному пропускать уроки из-за своих общественных обязанностей. Теперь они с чистой совестью «натягивали» ему высокие отметки. А те его товарищи, которые решили поступать в вузы, чувствовали себя в присутствии Коли так, будто собирались занять место, по праву предназначенное ему.

Все это привело к тому, что Коля стал кем-то вроде бессменного школьного руководителя.

Со временем он стал считать, что принадлежит к числу людей, призванием которых является руководство другими людьми.

Но не только эта мысль постепенно формировалась в сознании Коли. Вместе с ней крепла уверенность, что он, Коля, гораздо лучше своих товарищей знает, каковы их подлинные нужды, как им следует вести себя в различных случаях жизни, чего добиваться и от чего отказываться,— короче говоря, в чем состоит их действительное благо.

Его нельзя было назвать самовлюбленным или самоуверенным, поскольку он считал, что и над ним есть люди, которые гораздо лучше его самого знают, что ему на пользу, а что во вред. Он руководит, но им тоже, разумеется, руководят. Воспринимать это как должное и значит — быть скромным.

После школы он пошел все же не на завод, а в институт. Так сложились обстоятельства. Было бы противоестественным, если бы секретарь комсомольской организации, постоянный член всех школьных и городских комсомольских президиумов, почти круглый отличник, сын рабочего Николай Кудрявцев не пошел бы в высшее учебное заведение. Его уговаривали. Сулили самую высокую стипендию.

В институте все началось сначала, вернее, шло по-прежнему. Всем своим видом, походкой, манерой разговаривать и по-особому сдержанно, почти беззвучно смеяться Николай как бы говорил окружающим: «Да, я тот самый. Кудрявцев. Который умеет вами руководить. Который все знает лучше вас».

Вместе с тем он не был высокомерным, не подчеркивал свое превосходство — в этом случае его просто отвергли бы. Нет, руководство людьми Николай рассматривал как

тяжкое бремя, как своего рода крест, нести который нелегко, но необходимо. На первых же комсомольских выборах Кудрявцев единогласно прошел в факультетское бюро, а через год стал уже секретарем комсомольской организации машиностроительного института.

Был ли Кудрявцев плохим человеком? Трудно сказать.

Время, в которое он формировался, то самое неповторимое в истории время рождало бескорыстных романтиков, убежденных солдат революции, готовых по первому зову партии отдать ей себя. Участие в строительстве коммунизма заменяло этим людям все: личную жизнь, материальное благополучие, крышу над головой.

Но не только таких людей рождало то время. Сложная классовая обстановка в стране, раны, нанесенные гражданской войной и еще не зажившие до конца, капиталистическое окружение, бесконечные внутрипартийные бои — все это усиливало в людях чувство бдительности, порой переходившее в сосредоточенную, подчас болезненную подозрительность. Требования идейной чистоты, случалось, перерастали в догматизм, стремление к железной дисциплине — в жестокость и пренебрежение к нуждам людей, понятие «коллектив» нередко прямолинейно противопоставлялось понятию «индивидуальность».

Николай Кудрявцев был одним из тех людей, что выросли на этой почве, которую история обильно насытила таинственными, никогда не применявшимися ранее удобрениями, засеяла еще не дававшими доселе всходов семенами.

Его нельзя было назвать ни карьеристом, ни жестоким человеком, ни фанатиком. Но в характере его было нечто и от карьеризма, и от жестокости, и от фанатизма. Вместе с тем он оставался человеком честным, безоговорочно дисциплинированным, всегда готовым без всяких колебаний выполнить волю партии. Он сознавал, что принадлежность к тем, кто «руководит», возлагает на него неизмеримо большую ответственность, чем та, которую несут «руководимые».

К тому времени, когда Николай Кудрявцев стал окончательно взрослым человеком, всю его жизнь и всю логику его поведения стали определять два принципа: «пользы делу» и «наименьшего зла».

«Польза делу» была высшим принципом. Перед ним отступали все остальные. Никаких сомнений в том, что

представляет собой «польза делу», у Кудрявцева не было и не могло быть. Он воспринимал это понятие как существующее объективно, вытекающее из партийных документов, ежедневных материалов прессы и всей логики повседневной государственной жизни. Кудрявцеву оставалось лишь решать, какие поступки диктует ему «польза дела» в каждом конкретном случае.

Принцип «наименьшего зла» прямо вытекал из предыдущего. Интересы будущего предпочтительнее интересов сегодняшнего дня, о благополучии одиночки думали редко, в расчет принимались только интересы коллектива.

Поскольку в то время подобных взглядов придерживался отнюдь не только один Кудрявцев, течение несло его вперед и вперед.

Окончив институт, Николай Константинович стал сменным инженером, затем главным инженером завода, а в тридцать седьмом году — начальником главка.

В военные годы он был начальником политотдела дивизии, а после войны оказался на партийной работе.

Ко времени Двадцатого съезда Кудрявцеву было уже за пятьдесят. Прошло шесть лет с тех пор, как умерла его тихая, молчаливая жена, оставив ему родившуюся во время войны шестилетнюю Валю. Мысль о второй женитьбе и в голову ему не приходила.

Двадцатый съезд застал Кудрявцева на посту секретаря Зареченского обкома партии. Все шло, казалось, хорошо, но через два года на областной партийной конференции его не выбрали в обком. Его фамилии просто не оказалось в списке. Больше всего поразило Кудрявцева то, что никто из делегатов конференции не предложил включить его кандидатуру дополнительно. Все произошло тихо, спокойно и как-то само собой. Кудрявцев вошел в зал секретарем обкома, а возвращался домой рядовым и пока что безработным коммунистом.

Всю сознательную жизнь Кудрявцев был уверен в своем праве руководить. Если его не избирали вновь на какой-нибудь пост или освобождали от занимаемой должности, то только для того, чтобы избрать на новый пост или назначить на другую должность.

Сейчас все изменилось. Его не выбрали, но никто ему ничего не предлагал.

Если бы кто-нибудь сказал Николаю Константиновичу, что любовь к дочери внезапно вспыхнула в нем главным

образом из-за перемены в его общественном положении, он с недоумением пожал бы плечами. С тех пор как умерла жена, Валя осталась единственным близким ему человеком. Еще на кладбище, придерживая за плечи рвущуюся к могиле девочку, Николай Константинович дал себе слово сделать все, чтобы дочь была счастлива. Между чувством к дочери и переменой в его общественном положении, если рассуждать логически, не существовало никакой отчетливой связи.

Но эта связь все-таки была. Именно дочь, мысли о ней, заботы о ней, любовь к ней должны были заполнить пустоту, которая образовалась теперь вокруг Николая Константиновича.

Некоторое время спустя Кудрявцева вызвали в обком партии и предложили работу в совнархозе. Он с радостью согласился. Значит, о нем вспомнили. Кудрявцев увидел в этом обнадеживающий симптом.

Но — странное дело! — даже в тех случаях, когда ему удавалось убедить себя в том, что все вернется «на круги своя», он не мог избавиться от ощущения, что для него лично самое главное безвозвратно потеряно.

Нет, Кудрявцев думал не о прежних своих высоких постах. Он думал о навсегда покинувшем его ощущении своего незыблемого *права* на руководство людьми.

Что-то кончилось, сломалось, ушло. Все вокруг него было так, как прежде, и вместе с тем вовсе не так.

В прежние годы нередко бывало, что то или иное обещание оставалось невыполненным, тот или иной прогноз не сбывался. Обычно люди старались этого не замечать, не думать об этом даже наедине с собой.

Теперь все изменилось. О просчетах и неудачах говорили вслух. Никто никого и ничего не боялся. Кудрявцеву казалось, что теперь его окружают совсем другие, новые люди. Эти, новые, никогда не примирились бы с мыслью, что Кудрявцев лучше их самих знает, что им на пользу и что во вред.

Да и Кудрявцеву уже не хотелось руководить такими людьми. Говоря откровенно, он их побаивался. С того памятного вечера, когда он вошел в зал секретарем обкома и вышел рядовым коммунистом.

Теперь Кудрявцев считал, что в мире есть, по крайней мере, один человек, который признает его право на руководство. Это Валя, его любимая дочь.

Когда прошлой зимой Валя стала поздно возвращаться домой, Николай Константинович с большим трудом заставил себя заговорить с ней об этом. Он считал, что Валя все равно ничего ему не скажет, как, наверное, ничего не говорили родителям те девушки, за которыми он сам в молодости ухаживал.

Но, к его удивлению, дочь прямо сказала ему, что встречается с парнем по имени Володя.

Кудрявцев все «это» представлял себе иначе. Он был уверен, что узнает об «этом» случайно. Например, подойдет вечером к окну и увидит, что Валя возвращается домой не одна.

Когда дочь, ничуть не смущаясь, сказала ему о Володе, Кудрявцев растерялся и спросил первое, что пришло в голову: сколько этому Володе лет, где он учится или работает и кто его родители.

Ответы прозвучали по меньшей мере неутешительно. Володе уже двадцать три года, однако после окончания школы он нигде толком не учился, работает электриком, точнее, электромонтером, родителей у него нет, он сирота.

Кудрявцев пытался шутить, но Валя не приняла его шутливого тона, и он понял, что все это серьезнее, чем могло показаться с первого взгляда.

Через несколько дней Валя снова пришла домой поздно. Кудрявцев как бы невзначай спросил:

— Опять Володя?

— Да,— ответила Валя.

Она обезоруживала отца своей искренностью. Может быть, именно поэтому разговора не получалось. Кудрявцев спрашивал, Валя односложно отвечала. Вот и все.

Разумеется, Николай Константинович понимал, что Валя уже не девочка и что когда-нибудь настанет день...

Но этот день мог настать раньше, а мог и позже. Уже одно то, что именно из-за Володи он настал раньше, настраивало Кудрявцева против этого парня.

Тем не менее он предложил дочери привести Володю к ним в дом. Однако встреча с юношей убедила его, что Валя готова совершить непоправимую ошибку.

Раньше Володя был заочно несимпатичен Кудрявцеву. Теперь он уже испытывал к этому парню открытую неприязнь. Назвать Володю стилягой он не мог: парень был для этого слишком скромно одет и вообще ничем не напоминал стилягу. Но Николай Константинович нашел для

него другое определение — нигилист! Конечно, нигилист! Все они ведут себя вызывающе, даже грубо. Когда Кудрявцев, не замечая, что слова его звучат с обидной снисходительностью, спросил Володю, что тот думает о своем будущем, Володя ответил, что вполне доволен настоящим. Кудрявцев усмехнулся, а Володя вспылил, заявив, что он рабочий человек и презирает лицемеров, которые поют славословия рабочему классу, а людьми считают только тех, кто носит портфели...

Кудрявцев нахмурился и ушел в другую комнату.

— Я не хочу больше видеть этого человека у нас в доме,— сказал он дочери, когда за Володей захлопнулась дверь.

В ту ночь Николай Константинович долго не мог заснуть.

«Что же делать? — без конца спрашивал он себя.— Что делать?»

С тех пор как умерла жена, у него не было ничего такого, что привычно именуется «личной жизнью». Он быстро старел. И не только физически. Каждый раз, когда в технических документах, относившихся к станкам и машинам, ему приходилось читать про «моральный износ», он внутренне усмехался. Это была горькая усмешка. Кудрявцев думал о себе.

С мыслью о том, что жизнь уже не сулит ему никаких неожиданностей, он давно примирился. У него не было никаких развлечений, никаких привязанностей. Настоящими друзьями он за всю свою жизнь так и не успел обзавестись. С людьми его связывали лишь служебные отношения.

В юности он очень любил шахматы и постоянно участвовал в студенческих турнирах. Работники учреждений, которые Кудрявцеву приходилось возглавлять, знали, что начинать разговор о каком-нибудь международном шахматном турнире значило привести начальника в хорошее расположение духа.

В последние годы Кудрявцев вновь увлекся шахматами. Но у него не было постоянных партнеров. Он попытался научить Валю, но из этого ничего не вышло.

Постепенно Николай Константинович пристрастился к решению шахматных задач, подолгу разбирал партии, печатавшиеся в газетах во время больших турниров, и даже сам пробовал сочинять шахматные задачи.

Теперь, когда Вали, как правило, вечерами не было дома, он все чаще и чаще склонялся над шахматной доской.

Но это занятие скоро опротивело Кудрявцеву. Шахматы напоминали ему, что Вали снова нет дома. Тогда Николай Константинович стал задерживаться на работе, чтобы приходить домой позже дочери.

Когда повода задержаться не было, Кудрявцев бродил по городу или допоздна сидел в сквере, наблюдая за игравшими в домино пенсионерами.

Особенно же внимательно он посматривал на юношей и девушек с гитарами или транзисторами, тех, что беспечно прогуливались по аллеям или сидели на скамейках, отрешенные от всего, что их окружало.

Кудрявцев ревниво следил за ними, словно хотел убедиться, что эти девушки сделали лучший выбор, чем его дочь.

«Если бы Валя влюбилась в хорошего, дельного юношу,— думал Кудрявцев,— что ж, я все сделал бы для счастья дочери, пусть это и обрекло бы меня на безрадостное одиночество. Но отдать Валю этому нигилисту?!»

В острой неприязни к Володе как бы соединилось все: и любовь к дочери, и жалость к самому себе, и многое другое, чего Кудрявцев не мог бы выразить словами.

Он твердо решил спасти дочь от грозившей ей опасности. К нему вернулось ощущение своего права судить, что человеку на пользу и что во вред. Этим человеком была его дочь, но она не хотела признавать за ним это право.

«Что делать, что же делать?!» — с мучительной болью повторял Кудрявцев.

После того как Володя побывал у них в доме, Кудрявцев ни разу не спрашивал, продолжает ли Валя встречаться с ним.

Разговор о Володе не возобновлялся. Этой темы просто не существовало. Конечно, Кудрявцев понимал, что они продолжают встречаться. Возвращаясь домой поздно, Валя видела, что отец страдает. Ей было мучительно сознавать, что она причиняет ему горе, но разве можно было его переубедить? Она и не пыталась снова заговорить с ним о Володе. Но сегодня!.. После всего того, что она сегодня пережила, Валя чувствовала, что больше молчать не может.

Она расскажет отцу о несчастье, которое постигло Володю, сумеет тронуть его, заинтересовать Володиной судьбой. Может быть, несмотря ни на что, уговорит его помочь Володе...

Валя открыла дверь своим ключом, но отец услышал ее шаги по коридору и вышел навстречу. Он, видимо, только что пришел с работы и еще не успел переодеться. Валя скользнула взглядом по белой сорочке и коричневым брюкам отца,— вчера вечером она гладила ему все это.

Едва взглянув на дочь, Кудрявцев спросил встревоженно:

— Что-нибудь случилось, Валюша?

Валя надеялась, что у нее хватит сил рассказать отцу все по порядку, но, увидев его участливый взгляд, разрыдалась.

— Его осудили,— едва произнесла она сквозь слезы.

— Валюша, родная, что с тобой? Что случилось? Кого осудили?! — торопливо спрашивал Кудрявцев, обнимая дочь, но Валя не могла выдавить из себя ни слова.

Наконец она успокоилась и, стараясь говорить твердо и решительно, сказала:

— Пойдем, папа! Мне нужно с тобой поговорить.

Она вошла в свою маленькую комнату, оклеенную желтыми, цветастыми обоями, и села на кровать.

Отец сел рядом с ней.

— Папа, с Володей случилось несчастье,— сказала Валя.— Я знаю, ты его не любишь, но сейчас речь идет о судьбе человека.

С трудом подавляя слезы, Валя рассказала о суде. Закончив свой рассказ, она долго не решалась взглянуть на отца.

Кудрявцев положил ей руку на плечо.

— Я предвидел все это,— тихо произнес он.

— Что, что ты мог предвидеть?! — удивленно воскликнула Валя.— Этот суд? Этот жестокий приговор?!

— Нет, Валюша,— медленно покачал головой Кудрявцев,— разумеется, не это. Но я был убежден, что парень плохо кончит.

— Почему?! — вскричала Валя.— Как ты можешь...

— Валя, девочка, успокойся,— прервал ее Кудрявцев.— Поговорим об этом потом... позже.

— Нет, нет! Я хочу говорить сейчас! Неужели ты не понимаешь, что ни о чем другом я не могу говорить?

— Хорошо,— мягко согласился Кудрявцев,— давай сейчас.— Он встал, сделал несколько шагов по комнате и остановился, прислонившись к косяку двери.— Видишь ли,— продолжал Кудрявцев,— все эти месяцы я молчал. Мне было тяжело молчать, Валюша. Знать, что ты встречаешься с этим... — он едва удержал уже готовое сорваться с губ резкое слово... — с этим человеком, знать и чувствовать свое бессилие — это очень, очень тяжело.

Он глубоко вздохнул. Валя молчала.

— Теперь наступила развязка,— продолжал Кудрявцев.— То, что не сумел доказать тебе я, доказал суд.

— Нет, папа,— сказала Валя,— суд ничего не доказал.

— Почему?! Следователь, судья, прокурор — все они, по твоим же словам, считают его преступником...

Валя вздрогнула, и Кудрявцев умолк, оборвав себя на полуслове.

— Никогда,— медленно произнесла Валя,— никогда не смей называть Володю преступником.

Кудрявцев подошел к Вале и снова тяжело опустился рядом с ней на кровать.

— Я понимаю,— сказал он.— Тебе неприятно и стыдно говорить о том, что случилось. Хорошо. Будем считать всю эту историю ошибкой. Так сказать, ошибкой молодости. Одной из тех, на которых учатся.

Он обнял Валю и слегка притянул к себе.

— Забудем обо всем этом, Валюша. Лучше поздно, чем никогда. Ну? Договорились?

— Нет,— тихо ответила Валя.

Кудрявцев отодвинулся и недоуменно переспросил:

— То есть как это «нет»? Что ты хочешь этим сказать?

— Приговор несправедлив. Я не могу с ним согласиться.

— Ах, вот как? — медленно произнес Кудрявцев.— Ин-те-рес-но.— Теперь он уже с трудом сдерживал раздражение.— «Не можешь согласиться»! Что же ты, скажи на милость, намерена делать?

— Не знаю,— устало ответила Валя.— Буду бороться.

Кудрявцев резко поднялся.

— Ты... сошла с ума!

Валя покачала головой.

— С Володей случилось несчастье, и я должна ему помочь. Вообще я уверена...

— В чем ты можешь быть уверена? — уже едва сдерживаясь, воскликнул Кудрявцев.— Что ты знаешь о жизни?

— Ты прав,— все тем же усталым голосом ответила Валя.— До сих пор я совсем не знала жизни. Не представляла себе, что такое может случиться.

— Перестань,— нетерпеливо взмахнул рукой Кудрявцев.— Это я во всем виноват! Простить себе не могу! Я должен был заставить тебя расстаться с этим парнем. Но я переоценил твой ум, твою способность разбираться в людях! Я виноват во всем, я, я!..

Он замолчал, задохнувшись от гнева.

Если бы дочь закричала, заплакала, стала бы защищать этого парня, Кудрявцеву было бы легче.

Но Валя сидела молча, как бы задумавшись. Его испугала ее внезапная отрешенность, явное безразличие к его словам, странная сосредоточенность. Кудрявцев вдруг почувствовал, что, по существу, Вали уже здесь нет, и чем дольше будет продолжаться этот разговор, тем дальше она будет уходить...

С новой силой он ощутил страх неотвратимо надвигающегося одиночества.

Валя поняла, о чем думает сейчас отец. Ей стало жалко его. Она встала с кровати, провела рукой по его редким, седеющим волосам и сказала:

— Не надо, папа! Ты ни в чем не должен обвинять себя. Но я ничего не могу поделать с собой. Я люблю Володю. Понимаешь, люблю! И тебя я тоже люблю.

— Валя, родная, разве обо мне речь! Но подумай о себе. Опомнись, постарайся увидеть вещи такими, каковы они на самом деле.

Кудрявцев лихорадочно подбирал слова, надеясь, что он еще сумеет переубедить дочь.

— Поверь мне, Валя,— продолжал Кудрявцев,— мне, отцу, человеку, который в три раза старше тебя! Ты придумала себе все это. Понимаешь, придумала! Я не могу желать тебе плохого. У меня ничего не осталось в жизни, кроме тебя. Настанет день, и ты уйдешь от меня. Но я хочу, чтобы ты ушла с человеком, который достоин тебя...

— Он достоин! — воскликнула Валя.

— Нет! — крикнул Кудрявцев, делая резкий жест рукой.— Я больше не хочу слышать об этом! Тебе просто жалко этого неудачника. Он сам виноват во всех своих не-

счастьях. Мне достаточно было поговорить с ним полчаса, чтобы увидеть его насквозь. Он озлоблен, во всем ищет плохое, не любит нашу жизнь...

— Нет! — перебила его Валя.— Он любит нашу жизнь! Но он хочет, чтобы она стала лучше, еще лучше!

— Он нигилист! — с негодованием крикнул Кудрявцев.— Скажите пожалуйста! Молокосос! Он хочет, чтобы наша жизнь стала лучше! И ты всерьез это повторяешь?

— Я верю в Володю! Верю вопреки всему, что о нем говорят!

«Все напрасно,— сказал себе Кудрявцев.— Этот разговор ни к чему не приведет. Переубедить ее невозможно. Если не пресечь все это, она наделает глупостей. Потом я никогда не прощу себе, что не проявил характера».

— Ну вот что, Валя,— твердо сказал Кудрявцев.— Я перестал бы уважать себя, если бы не позаботился о судьбе единственной дочери. Я требую, чтобы ты прекратила всякие отношения с этим человеком. Ясно? Ты должна дать мне слово...

— Нет! — твердо сказала Валя.— Пойми меня, папа! — добавила она уже спокойнее.— Я не могу. Я должна увидеть его.

— Но он же в тюрьме!

— Пусть. Я пойду к следователю и буду просить...

— Ты... моя дочь,— задыхаясь, проговорил Кудрявцев,— будешь просить свидания с этим... уголовником?

— Я должна это сделать.

— Вопреки моей воле?

— Я должна увидеть Володю. Я хочу поговорить с ним. Они обвинили его в том, что он сбил человека и не оказал ему помощи. Я должна увидеться. И я добьюсь этого. Обязательно добьюсь! — твердо повторила Валя.

— Хорошо,— глухо сказал Кудрявцев.— Я сам поговорю с прокурором. Встречу его во вторник на партийном активе. Попрошу разрешить тебе свидание. Знать, что моя дочь обивает пороги милиции...

Он безнадежно махнул рукой и вышел из комнаты.

Во вторник Валя с нетерпением ждала отца, чтобы узнать, чем окончился его разговор с прокурором.

Но Кудрявцев сказал, что прокурора на активе не было

и что завтра он постарается договориться с ним по телефону.

На следующий день отец, уже не ожидая вопроса дочери, сказал, что много раз звонил прокурору, но не мог застать его на работе. Еще днем позже сказал, что видел прокурора, но только мельком и они условились поговорить завтра. Но и завтра, по словам отца, разговор не состоялся, так как прокурора срочно вызвали в район. Он твердо обещал вернуться на другой день. Однако он не вернулся ни на другой день, ни через два дня...

Когда отец сказал Вале об этом, она пошла в свою комнату, села на кровать и заплакала.

Она плакала тихо, уткнувшись в подушку, чтобы отец не слышал. Потом встала, вытерла слезы. «Хватит! — сказала она себе.— Слезами делу не поможешь. Володя столько времени сидит в тюрьме, не имея от меня ни одной весточки. Наверное, он думает, что я всему поверила. Отшатнулась. Бросила его...»

Боже мой, как она могла жить все эти дни в полном бездействии!

На другой день, в девять часов утра, Валя вошла в кабинет следователя Пивоварова.

6. ПИСЬМО

Валя робко постучала в дверь, приоткрыла ее и неуверенно спросила сидевшего за письменным столом немолодого, полного человека в милицейской форме:

— Можно?..

Пивоваров хотел было сказать: «Обождите в коридоре». Такой фразой он обычно встречал непрошеных или слишком назойливых посетителей. Но лицо этой худенькой девушки с шапкой льняных волос показалось ему знакомым. Он кивнул головой и недовольно сказал:

— Входите.

Она вошла, но остановилась на полдороге от двери до письменного стола и сказала напряженным голосом, словно что-то сдавило ей горло:

— Я хочу получить разрешение на свидание с Владимиром Харламовым.

— С Харламовым? — медленно переспросил Пивоваров и откинулся в своем деревянном кресле.— Вы кто же ему будете?

— Это не имеет значения,— резко ответила девушка. Пивоварову ее ответ не понравился.

— Как зовут? — сухо спросил он.

— Его? Но я же сказала...

— Это я знаю без вас. Ваше имя?

— Валя!

— Ва-ля! — с усмешкой повторил Пивоваров.— Разве так отвечают? Где работаете?

— Студентка пединститута,— растерянно ответила Валя.— Но какое это имеет значение?..

— А то значение,— отрываясь от спинки кресла и склоняясь над письменным столом, ответил Пивоваров,— что здесь вам не институт. Здесь ми-ли-ция. Так что ведите себя соответственно. Ясно?

Валя покраснела. Пивоваров удовлетворенно усмехнулся и сказал: «Вот так». Собственно, он и не хотел пугать или обижать девушку. Но проучить ее немного все же следовало. Порядок есть порядок. Теперешней молодежи только дай волю!

— Вот так, Валя,— уже добродушно повторил Пивоваров,— кем же вам приходится этот... лихач?

— Я его... невеста,— чуть слышно ответила Валя.

Пивоваров еще раз оглядел ее с ног до головы. Что общего могла иметь эта стройная, светловолосая девушка с тем долговязым, угловатым парнем, который совсем недавно приводил его, Пивоварова, в ярость своими заносчивыми, резкими ответами?..

— Женихов, девушка, надо выбирать с толком,— покачиваясь на стуле, назидательно сказал Пивоваров.— Вы ведь, кажется, уже были у меня? Во время следствия. Свидания просили, так?

— Вы тогда сказали, что до суда нельзя,— ответила Валя,— а теперь... Суд уже был.

— Чего же вы от меня-то хотите? — спросил Пивоваров, как будто до этого ничего не было сказано.

«Только не плакать. Только не смей плакать,— сказала себе Валя.— Пусть говорит, пусть произносит все эти пустые слова. Надо вытерпеть. Ведь главное — получить разрешение, увидеть Володю...»

— Пропуск! Пропуск в тюрьму,— умоляюще повторила Валя.

— Насчет пропуска вы не по адресу обращаетесь. Это

теперь от судьи зависит. Только в тюрьме, девушка, вам делать нечего. Пропуск вам туда ни к чему...

— Но Володя... — начала было Валя.

— А Володи вашего там нет.

— К-как нет? — растерянно переспросила Валя.

— А так. Насколько мне известно, отбыл ваш Володя. В места не столь отдаленные. Согласно приговору суда.

Все поплыло перед глазами Вали, и, чтобы не показать своей слабости, она схватилась за стул.

— Да что вы, девушка, что вы? — испугался Пивоваров и, торопливо налив из графина воды, протянул ей стакан.— Выпейте-ка водички.

Валя стиснула зубы.

— Не надо, я не хочу,— потом сказала она.— Но... как же это? Ведь приговор мог быть обжалован?

— Мог, конечно,— уже обычным своим голосом сказал Пивоваров. Он отошел к тумбочке, аккуратно вылил воду в металлическую полоскательницу, поставил стакан рядом с графином, вернулся к столу и сел.

— Мог, конечно,— повторил он.— Но только Харламов сам отказался.

— Отказался? — недоуменно переспросила Валя.— Но почему?

— Значит, считал, что виноват,— развел руками Пивоваров,— как говорится, не имел оснований. Вот его и отправили. Так сказать, к месту нового жительства.

— Когда? — беззвучно спросила Валя.

— Вчера, кажется.

Валя встала. «Значит, все кончено,— подумала она.— Его нет. Все эти дни он ждал ее. Ждал, чтобы она поддержала его. Он ждал, а она не пришла. Потом понял, что ждать некого. Вот и все».

— Куда его отправили? — спросила Валя, едва шевеля пересохшими губами.

— Мы, гражданка, таких адресов не даем,— укоризненно сказал Пивоваров.— Проживать он будет теперь, так сказать, в почтовом ящике. Понятно? Если разрешат, напишет. Тогда и номер укажет.

Валя встала и медленно пошла к двери.

— Можно вам, девушка, совет дать? — услышала она голос Пивоварова и обернулась.— Бросьте вы это дело. Молодая, интересная, студентка... Разве вам такой муж нужен?

— Замолчите! — крикнула Валя.

— Но-но, спокойнее! — тоже повысил голос Пивоваров и предостерегающе поднял карандаш.— Я вам совет даю... как старший! А вы...

Не дослушав его, Валя выбежала из комнаты.

Она не помнила, как пришла домой. Механически вынула из сумочки ключ. Долго не могла попасть в замок. Наконец открыла дверь, перешагнула порог, увидела на полу конверт. Прочла адрес и свое имя.

Володя никогда не писал ей писем. Валя не знала его почерка. Но тут она мгновенно поняла, что письмо от него.

Зажав конверт в руке, Валя побежала в свою комнату, плотно прикрыла дверь, хотя в квартире никого не было. Пальцы ее дрожали.

«Дорогая моя, родная Валя!— писал Володя.— Прости меня. Думаешь, я не знал, что ты будешь там, на суде? Нет, Валя, знал. Еще когда меня везли туда, уже знал... Только лучше бы мне не знать...

Помнишь нашу первую встречу? Помнишь, ты спрашивала меня потом, как я не побоялся — один на двоих? А я ведь и правда тогда не боялся. Потому что все было ясно. Когда все ясно, тогда не боишься. А вот теперь я боялся. Знал, что ты будешь смотреть на меня и спрашивать: как же так, Володька? Как же ты мог?..

Валя, ты знаешь, я никогда тебе не лгал. Так вот, слушай: все, что говорил Васин, все, что написано в характеристике,— ложь.

Но теперь ты спросишь меня, почему же я молчал, почему не разоблачил всю эту клевету.

Пробовал. Еще у следователя пробовал. А потом понял: все это ни к чему. Никого это не интересует — ни следователя, ни тех, кто про меня характеристику писал...

Знаю, ты, наверное, опять спросишь: а суд? Почему молчал на суде, почему так отвечал? Сам понять не могу. Нет, понимать понимаю, а объяснить не могу. Не могу, не умею возражать, спорить, когда врут в глаза.

В одном только, Валюша, я наверняка виноват. В том, что сшиб того парня на шоссе. Я не видел, как наехал на него, даю тебе мое честное слово, не видел. Но, судя по всему, сшиб я. И за это я казню себя и буду казнить всю жизнь. Валенька, дорогая, разыщи родителей этого парня,

его фамилия Саврасов, зовут Дмитрий, проживает он в деревне Колтыши, скажи им от меня, как я переживаю все это. Больше я ничего не в силах сделать. Были бы деньги, послал бы, хотя, понимаю, материнское горе деньгами все равно не утешишь.

Это письмо мое к тебе первое и последнее. Первое — потому что до сих пор не было у нас нужды писать друг другу письма. А последнее — потому что не хочу портить тебе жизнь.

Я и раньше знал, что не пара тебе. Но — теперь я это могу сказать — мне казалось, я смогу добиться того, чтобы тебе ни перед кем не было стыдно за меня. Я никогда тебе этого не говорил, ты знаешь, я всегда был гордым, иногда по-глупому гордым парнем, но у меня была мечта учиться, пусть на вечернем или хотя бы техникум окончить, и к тому времени, как ты получишь специальность, тоже твердо встать на ноги.

Но видишь, как все плохо получилось. Слишком еще много зла вокруг. Скажешь: надо с ним бороться? Пробовал. И видишь, что из всего этого вышло. Как я могу надеяться, что чужие люди поверят мне, если даже ты не пришла ко мне в тюрьму...

Ну вот, Валя, через час меня увезут. Далеко-далеко... Да я теперь и не жалею. Лучше уж разом обрубить концы. Слишком было бы мне тяжело сидеть здесь, за решеткой, и знать, что ты так близко...

Прощай, Валя. Я люблю тебя здесь, сидя в тюремной камере, и буду любить всегда, где бы я ни был.

Целую тебя. Прощай. Володя».

Валя перечитала письмо еще и еще раз, потом разгладила и положила на свой маленький письменный стол. Раздался звук отпираемой входной двери, и голос отца спросил:

— Валюша, ты дома?

Она не ответила.

Через мгновение дверь в ее комнату открылась, на пороге стоял отец.

— Ты знаешь, этот неуловимый прокурор... — начал он преувеличенно громко.

— Не нужно прокурора,— не глядя на отца, сказала Валя.— Ты обманул меня...

— Что ты говоришь, подумай! — с деланным возмущением произнес отец, но Валя заметила в его глазах испуг.

— Ты обманул меня,— все так же отчужденно и будто не слыша его, продолжала Валя.

Теперь взгляд ее был устремлен прямо на отца. Она сделала шаг к нему.

— Я никогда этого не забуду,— медленно и отчетливо сказала Валя.— Слышишь, папа? Никогда!

7. ЖИХАРЕВА

Есть в жизни один волшебный порог, который никто не может переступить равнодушно.

Это порог школы. Даже той, где человек никогда раньше не был. Где никогда не учились его дети.

Пусть человек уже стар, все равно он не без робости переступит школьный порог. А переступив, сразу вспомнит то, о чем давным-давно не вспоминал.

Ты забыл, как выглядел коридор твоей школы? Но вот же он, смотри! Вот стена, возле которой ты плакал от первой серьезной обиды, вот твой класс, вот парта, за которой ты сидел, вот девочка... До ее руки ты дотронулся робко и с новым для тебя чувством тревожного ожидания... Десятки лет прошли с тех пор, и она, быть может, никогда и не возникла бы в твоей памяти... Но ты переступил волшебный порог, и вот она рядом с тобой, та девочка. Протяни руку, если тебе не странно, и ты снова сможешь дотронуться до нее...

А вот учителя — одних ты любил, других не понимал и боялся. Вот старик сторож...

Антону Григорьевичу Митрохину давно не приходилось бывать в школе. Сам он окончил гимназию еще до революции. Очень много воды утекло с тех пор, как он в последний раз побывал в школе, где учился его сын — теперь уже сорокалетний геолог.

Но, постояв перед синей школьной вывеской, а затем открыв широкую, на тугой пружине, дверь, Митрохин неожиданно для самого себя ощутил смешанное чувство радости и грусти.

Антон Григорьевич вошел в просторный вестибюль и медленно прошелся по безлюдному коридору — в школе, видимо, шли занятия. Седая, сгорбленная женщина в синем халате указала ему, как найти директора.

Директор оказался молодым человеком лет тридцати, не старше. Его русые волосы были гладко зачесаны назад. На нем был серый костюм, кремовая сорочка и аккуратно завязанный галстук.

— Садитесь, пожалуйста,— вежливо сказал директор.

— Я пришел к вам по не вполне обычному делу...— садясь на один из двух стоявших перед столом стульев, сказал Митрохин.— Несколько лет назад в вашей школе учился мальчик по фамилии Харламов. Володя Харламов...

— Харламов? — переспросил директор.— Не помню. Впрочем, я работаю здесь недавно. Когда это было?

— Примерно лет шесть-семь назад.

— С тех пор наш преподавательский состав значительно обновился,— сказал директор.

— Понимаю. Но, может быть, в школе работает кто-нибудь из учителей, которые...

— Простите, а кем приходится вам этот Харламов?

— Никем.

— Я что-то не понимаю, товарищ,— сказал директор.— А вы сами где работаете?

— Я уже свое отработал,— усмехнулся Митрохин,— сейчас на пенсии. Мне довелось быть народным заседателем по делу этого самого Володи Харламова...

— Так-так,— понимающе покачал головой директор,— но вы говорите, что этот... гм... мальчик окончил школу несколько лет назад. Таким образом, мы вряд ли можем отвечать за его теперешнее поведение...— Он слегка развел руками.

— Поймите меня правильно,— сказал Митрохин,— речь идет не об ответственности. Мне просто хочется поговорить об этом юноше с учителем, который знал его с детства.

— По-ня-т-но,— с расстановкой произнес директор.— А что за дело? Хулиганство? Кража?

— Ни то, ни другое. Автомобильная катастрофа. По вине Харламова. К тому же отрицательная характеристика с места работы. Словом, мне нужно побольше узнать об этом парне.

— Так-так,— снова покачал головой директор,— попробуем вам помочь. Я думаю, вам следует поговорить с Анной Абрамовной Жихаревой. В этой школе она давно. Еще с довоенных времен. Преподает русский язык и литературу. Сейчас у нее, кажется, «окно». Одну минуту...

Они зашли в пустой, светлый класс — Митрохин и Анна Абрамовна Жихарева. Судя по желтовато-седым волосам и мелким морщинкам, избороздившим все ее бледное, лишенное красок лицо, Анне Абрамовне было уже за шестьдесят. Однако держалась она очень прямо, и голос ее звучал негромко, но ясно и энергично.

Жихарева устроилась за квадратным столиком, напротив большой черной доски. Стульев в классе больше не было, и Митрохин расположился на ближайшей к столику парте.

— Итак, Харламов... — официально начала Жихарева.

— Да-да, Володя Харламов,— торопливо повторил Митрохин.— Высокий, худощавый парень. Сосредоточенное лицо. Черные волосы. Почти сросшиеся брови.— Большим и указательным пальцами он сдвинул брови над переносицей.— Впрочем, может быть, в те годы он выглядел несколько иначе...

— Разумеется,— согласилась Жихарева.— Что же вас интересует? — спросила она все тем же официальным тоном.

— Что вы можете сказать о нем?

— Насколько я помню, он окончил школу в пятьдесят седьмом. Мальчик был способный. Хотя учился неровно и вел себя... скажем, тоже неровно.

— Вам приходилось вызывать его родителей? Впрочем, он, кажется, был сирота.

— Да,— подтвердила Жихарева.— Воспитанник детского дома.

— С ним случались какие-нибудь... эксцессы? — спросил Митрохин.

— Вы имеете в виду хулиганство? Нет, этого не было.

— Ну... а вообще?

— Что значит «вообще»?

Митрохин беспомощно развел руками. Разговора не получалось. Общие и, казалось, неохотные ответы учительницы ставили его в тупик. Однако он сделал еще одну попытку вызвать Жихареву на откровенный разговор.

— Меня интересует,— сказал Митрохин,— совершал ли он тогда поступки, которые... как бы это выразиться... могли бы что-нибудь объяснить сегодня?.. На суде Харламов вел себя странно... Казалось, он чего-то не договаривает.

— Это и заставило вас прийти в школу?

— Не только это... После суда я случайно встретил девушку... знакомую Харламова. Точнее, его невесту...

Жихарева сидела неподвижно, ее глубоко запавшие глаза, не мигая, смотрели на Митрохина.

— И что же?

«Странные у нее глаза,— неожиданно подумал Митрохин,— кажется, ими можно не только видеть, но и спрашивать, порицать, одобрять... Такие глаза, наверное, у всех старых учительниц».

— Что же она вам сказала, эта девушка?

В голосе Жихаревой Митрохину послышались нотки врача, имеющего дело с застенчивым больным, который еще не все рассказал о своем недуге.

— От нее я узнал кое-что о детстве Харламова. Судя по всему, оно было нелегким. Но дело не только в этом. Говоря о школе, Харламов сказал, что...

Митрохин замялся. Он увидел в глазах Жихаревой напряженное, настойчивое ожидание.

— ...он сказал,— повторил Митрохин,— что в отношениях с преподавателями был... Короче говоря, не любил их. Точнее — некоторых из них.

— За что? — быстро спросила Жихарева. Теперь в ее голосе Митрохин ощутил нотки тревоги, даже испуга.

— За то, что они будто бы не всегда действовали по справедливости. Так, кажется, он выразился. Словом, не всегда были принципиальными. У этого парня,— поспешно добавил Митрохин,— был, видимо, нелегкий характер. Мальчишеский нигилизм, как это теперь принято называть.

— Действительно, принято,— сказала Жихарева. По тону ее нельзя было понять, соглашается она с этим или просто констатирует факт.

— Очевидно, он был неправ,— продолжал Митрохин.— Все же мне захотелось узнать... понимаете, самому убедиться...

— Это входит в ваши служебные обязанности? — неожиданно спросила Жихарева.

— Нет, не входит. Но чисто по-человечески...

Он умолк.

— Чисто по-человечески... — задумчиво повторила Жихарева.— Хорошо. Давайте вспоминать,— решительно сказала она.— Итак, Володя Харламов окончил школу в пятьдесят седьмом году. По странной случайности он сидел на

той самой парте, на которой вы сейчас сидите. Несколько моих учеников были воспитанниками детского дома. Среди них — Харламов. Я вела этот класс с седьмого года обучения... Еще в седьмом классе я почувствовала, что Володя Харламов... странный мальчик.

— Странный?

— Странный,— повторила Жихарева.— Я постараюсь вам объяснить. Видите ли, после войны ученики, в семьях которых произошла какая-нибудь драма, стали не исключением, а почти правилом. Вы знаете, как сложилась жизнь Володи?

— Его отца убили на фронте. Мать умерла.

— Верно. Если бы он оказался мальчиком просто замкнутым или, наоборот, раздражительным, своенравным, это было бы понятно. Но у Володи был какой-то странный комплекс... — Жихарева на мгновение задумалась.— Он не просто любил, уважал, но боготворил — простите за этот старомодный термин,— именно боготворил своего погибшего в сорок первом отца-пограничника. Это была не просто естественная любовь рано осиротевшего ребенка к отцу, которого он едва ли помнил. Для Володи, насколько я понимаю, решающим было другое...

— Что же именно?

— То, что его отец погиб на фронте. Слова «он защищал Родину» звучат для нас привычно. Но для Володи они имели особое значение. Вы меня понимаете?

— Не совсем.

— Как вам объяснить?.. Мне кажется, Володя считал, будто все его соученики, все преподаватели, вообще все оставшиеся в живых обязаны жизнью его отцу. Если они делали что-то, с точки зрения Володи, плохое, несправедливое, то как бы оскорбляли память его отца. Условно это можно назвать «комплексом справедливости».

Я все время тревожилась за Володю. В своем прямолинейном стремлении быть честным он каждую минуту готов был вступить в конфликт не только с товарищами по классу, но и с преподавателями...

— Простите,— прервал Жихареву Митрохин.— Вы сказали: «стремление быть честным». Что это значило применительно к Володе?

— Он все воспринимал сквозь призму своего отношения к отцу. Он постоянно думал о том, чтобы быть достой-

ным отца. На практике же его поведение нередко вызывало нарекания преподавателей.

— Он плохо учился? Грубил?

— Бывало и то и другое. Но дело не только в этом. Некоторые преподаватели жаловались мне как классному руководителю на Володю. На его попытки вступать в пререкания, задавать неуместные вопросы... Володя казался им дерзким мальчишкой, подающим плохой пример классу. Насколько это было в моих силах, я старалась защитить его. Это не значит, что я всегда одобряла его поведение. Не скрою, я думала и о том, что если его характер не выровняется,— Жихарева сделала легкое ударение на этом последнем слове,— Володя будет обречен на очень трудную жизнь...

— Судя по всему, он не выровнялся,— задумчиво произнес Митрохин.

— Однажды — это было в начале пятьдесят шестого года,— продолжала Анна Абрамовна,— мы говорили на уроке о Маяковском. Я задала ребятам написать сочинение на тему «Почему я люблю поэзию Маяковского». Когда я открыла дома тетрадку Володи Харламова, в глаза мне бросился крупно написанный заголовок «Почему я не люблю поэзию Маяковского». Уже с первых абзацев я поняла, что это сумбурное сочинение написано Володей просто в знак протеста. Поэзию Маяковского он знал плохо, аргументы его были беспомощны. Краем уха он слышал, что Ленин однажды без особой похвалы отозвался о стихах Маяковского... Очевидно, я не сумела убедить своих учеников, в том числе и Володю, что Маяковский достоин их любви. Я решила позвать Володю домой, поговорить с ним, доказать ему, что Маяковский воспевал именно то дело, за которое отдал жизнь его отец. В классе я сказала, что отметки Харламову пока не выставляю...

Жихарева сделала паузу. Глаза ее изменили свое выражение, чуть сузились, стали холодными, даже злыми.

— Прошло два-три дня. Меня вызвал директор школы Крылов. Его назначили к нам сразу после войны. Это был карьерист. Детей он не любил. Он точно знал, какое положение занимают родители каждого из наших учеников. Отношение его к детям было, как говорится, соответственное. Так вот, Крылов вызвал меня и спросил, не было ли в классе каких-нибудь происшествий. Он сидел за столом, а я стояла. У нас в школе было принято стоять, когда с

тобой говорит директор. Я ответила, что ничего особенного в моем классе не произошло. Тогда Крылов спросил меня о сочинении Володи Харламова — откуда он узнал о нем, ума не приложу. Я призналась, что такое сочинение было, но я не вижу в нем ничего особенного. Убеждена, что Крылов не читал Маяковского, за исключением тех стихотворений, знание которых было обязательно в школе. Однако он широко раскрыл глаза и многозначительно произнес: «Вы не видите ничего особенного в том, что один из ваших учеников поносит лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи?» Мне стало и смешно и горько. Я спросила: «Неужели вы придаете такое значение глупой мальчишеской выходке?» Ничего не ответив на мой вопрос, он сказал: «Пришлите ко мне Харламова». Это меня страшно взволновало. Я знала характер Володи. До сих пор я делала все от меня зависящее, чтобы Володя никогда не встречался с директором. Но сейчас я была не в состоянии что-нибудь изменить: Крылов никогда не забывал своих распоряжений. Мне пришлось послать Володю к нему.

При их разговоре никто не присутствовал. Но слухи о нем поползли уже на другой день. Директор якобы спросил Володю, как он посмел написать, что не любит Маяковского. Володя, в свою очередь, спросил, любит ли Маяковского сам директор. Крылов ответил, что каждый советский человек его любит и что этого поэта нельзя не любить. Володя сказал: «Докажите». В ответ на это директор сказал Володе, что у него нет гордости советского человека. Тогда Володя спросил Крылова, был ли он на фронте. Все в школе знали, что Крылов не был на войне — то ли по болезни, то ли имел броню. Такой вопрос он не мог воспринять иначе, как оскорбление. В результате Крылов замахнулся на Володю и выгнал его из кабинета. Два дня после этого я умышленно ни о чем не спрашивала Володю. На третий решила с ним все-таки поговорить. На вопрос, что произошло в кабинете директора, Володя ничего не ответил. Я настаивала, но Володя молчал. Потом вдруг спросил: «Скажите, Анна Абрамовна, разве это справедливо, что такой человек, как мой отец, погиб на фронте, а такой, как наш директор, живет на свете?» Я не знала, что ему ответить. Володя стоял передо мной, напряженный, взгляд его широко раскрытых глаз был устремлен на меня в ожидании ответа... Конечно, я не молчала. Я про-

износила общие слова, убеждала его в необходимости быть выдержанным, говорила, что Крылов — как-никак старший, а старших надо уважать...

Жихарева безнадежно махнула рукой и тяжело вздохнула.

— На следующий день ко мне подошла учительница истории, секретарь нашей парторганизации, и сказала, что Володя Харламов явился к ней с просьбой обсудить на партийном собрании вопрос о директоре школы. При этом он добавил, что его просьбу поддерживают многие ученики. Не скрою, я сильно взволновалась и упросила секретаря никому ничего не говорить, по крайней мере до тех пор, пока я не побеседую с Володей. Я не сомневалась, что в любом случае Володю исключат из школы. Необходимо было во что бы то ни стало остановить его, заставить отказаться от своего заявления. Признаюсь, в тот момент я забыла обо всем — о педагогике, о чувстве правды и справедливости, которое обязана воспитывать в своих учениках. Я думала только о том, как спасти Володю. Свой разговор с ним я до сих пор вспоминаю со стыдом. Я говорила ему, что жизнь сложна, что нельзя лезть на рожон, что если он не возьмет себя в руки, то ему предстоит трудная, несчастливая судьба не только в школе, но и после того, как он окончит ее и станет самостоятельным человеком...

Жихарева умолкла.

— Как же реагировал на все это Володя? — прервал молчание Митрохин.

— Володя выслушал меня и сказал: «Анна Абрамовна, вы знаете, что наш директор — плохой человек. Он не был на фронте, потому что и тогда был трусом. Вы знаете это не хуже меня. Почему же вы требуете, чтобы я взял назад свое заявление»? Что я могла ответить ему? Согласиться с ним? Сказать, что он прав и должен действовать так, как подсказывает ему совесть? Но это значило просто погубить его. Разговаривать с Крыловым было совершенно бесполезно. Я знала, что он использует коллективное заявление как повод, чтобы расправиться и с ребятами, и с неугодными ему преподавателями. Сознавая все это, я тем не менее стала убеждать Володю, что наш директор не такой уж плохой человек, что надо быть снисходительным к людям и, кроме того, думать о себе... Что коллективные заявления у нас не поощряются. Словом, я стала внушать ему тот самый «здравый смысл», который сама в душе нена-

видела. Помню, мы разговаривали после урокор в пустом классе. Володя сидел на том самом месте, где сидите сейчас вы, и смотрел на меня широко раскрытыми, немигающими глазами. И я вдруг поняла, что с этой минуты Володя перестал верить мне, а может быть, поколебалась и его вера в людей вообще.

Жихарева снова замолчала.

Раздался звонок, и тотчас школа наполнилась голосами, смехом, шарканьем ног, стуком дверей.

Только двое старых людей молча сидели в пустом классе, погруженные в свои невеселые мысли. Первым заговорил Митрохин.

— Что же произошло с Володей потом?

— Потом вообще все переменилось,— сказала Жихарева.— То, о чем я рассказала, случилось в конце января, а в феврале был Двадцатый съезд. Крылов очень быстро понял, что настали новые времена. Он стал заигрывать с учениками и учителями, ездил домой к наиболее влиятельным родителям, в разговорах с преподавателями сам говорил о своих ошибках, просил ему помочь... Словом, дело с коллективным заявлением замяли.

— Это все? — спросил Митрохин.

— Нет,— ответила Жихарева.— Это не все. Вскоре произошло второе столкновение Володи с Крыловым... Я уже сказала, что наш директор резко изменил свое поведение. Полувоенный костюм он сменил на штатский пиджак, стал вставать из-за стола, когда в кабинет входил учитель, пользовался любым поводом, чтобы заклеймить культ Сталина. Более того, он намекал, что и сам был жертвой этого культа: в свое время его не призвали в армию якобы потому, что кто-то из его дальних родственников был арестован в тридцать седьмом году... Однажды в учительской, вспомнив по какому-то поводу о Харламове, директор назвал его «сыном энкаведешника» и при этом двусмысленно ухмыльнулся. Меня это покоробило. Этот эпизод прошел бы бесследно, если бы...

— Если бы о нем не узнал Володя? — догадался Митрохин.

— Не знаю, кто ему передал. Поздно вечером у меня дома раздался звонок. Я открыла дверь. На пороге стоял Володя. Он был до крайности возбужден. Я хотела дать ему возможность успокоиться, предложила чаю. Но он, едва успев войти в комнату, резко спросил: «Это при вас

оскорбили моего отца-чекиста?» Я сказала, что словам Крылова не надо придавать никакого значения: ведь все в школе знают, что отец Володи был начальником заставы и погиб в первые дни войны, защищая страну. Кроме того, сказала я, формально Крылов был прав: пограничные войска действительно входили в НКВД. Володя молчал.

— Он пошел к Крылову? — спросил Митрохин.

— Нет. Совсем нет. С Володей произошло обратное тому, что можно было ожидать. Он знал решения Двадцатого съезда. Видимо, ему казалось, что главное теперь — обличение недостатков прошлого. Тогда это носилось в воздухе. Нет, он не пошел к Крылову. Но прошло несколько месяцев, и имя Харламова снова выплыло на поверхность. Он выступил на общем школьном собрании и сказал, что теперь настало новое время и все можно называть своими именами. Я-то знала, что он имел в виду. Он просто хотел сказать, что теперь такому человеку, как Крылов, можно будет без опаски говорить правду в глаза. Но Володю неправильно поняли. Собранию показалось, что он хочет бросить тень на все наше прошлое. Еще вчера это было бы воспринято иначе. Но собрание, о котором я говорю, происходило поздней осенью пятьдесят шестого года. Вы помните то время: война в Египте, венгерские события... Слова Володи вызвали бурю негодования. Теперь уже на него обрушились и преподаватели, и его товарищи. Володю обвинили в том, что он нигилист, что ему недороги дела отцов. Это Володе-то! Он сидел в дальнем ряду зала. Я обернулась и увидела, что губы его плотно сжаты, а глаза полны слез... И я поняла, что происходит сейчас в сердце, в неокрепшем мозгу этого мальчика. Он был оскорблен, растерян, сбит с толку... Я попросила слово... Пожалуй, это было самое неудачное выступление в моей жизни. Мне казалось, что только защищать Володю я не имею права. Я искренне считала, что в его характере много отрицательных черт, он был слишком резок, самоуверен, даже груб,— ведь, в сущности, он был еще мальчик, просто мальчик, трудное детство которого совпало со сложным переломным временем... Я говорила и о том, что во многом виноваты мы сами, виновата гнетущая атмосфера, сложившаяся в нашей школе. Мое выступление было сумбурным. К тому же я, несмотря на весь свой многолетний опыт, очень волновалась... Выиграл от всего этого только Крылов. Он взял слово и спокойным, медоточивым голосом

заявил, что выступления большинства преподавателей и учеников свидетельствуют о политическом здоровье коллектива школы, что в тот момент, когда международная контрреволюция пытается использовать обстановку, сложившуюся после Двадцатого съезда... Словом, вы понимаете... Крылов даже как бы защищал Володю. Подчеркнул, что он сирота, сын погибшего фронтовика и заслуживает особого внимания, хотя, добавил он, «в голове у него каша, и школа должна позаботиться»... Но Володя неожиданно встал и крикнул: «Вы лжете!» На другой день на педагогическом совете обсуждался вопрос о его исключении из школы. Оставили его большинством в два голоса. Среди тех, кто голосовал за то, чтобы оставить Володю, был и Крылов. Мы еще не знали, что он от нас уходит. Вскоре его не то назначили директором другой школы, не то отправили на курсы повышения квалификации.

— Что же было потом?

— Потом я уже не была классным руководителем Володи. Знаю только, в десятом классе у него случилась новая история. Неумный учитель рисования перехватил у одной из девочек любовную записку и прочитал ее вслух. Володя выхватил записку из рук учителя, сказал: «Это подло»,— и порвал ее в клочки.

— Записка была от Володи?

— Насколько я знаю, он не имел к ней никакого отношения. К счастью, учитель понял свою бестактность и обратил все в шутку.

— Тогда вам уже не приходилось встречаться с Харламовым?

— Нет... Впрочем, да. Один раз. Это было на другой день после того, как он окончил школу. Володя пришел, когда я уже собиралась уходить домой. Он сказал: «Я пришел попрощаться». Я протянула ему руку, и он пожал ее. Поверьте, я не сентиментальный человек, но мне стало грустно. «Наверное, ты без радости будешь вспоминать о нашей школе?» — спросила я его. «Не знаю»,— ответил он. «Что ты намерен делать дальше?» — «Не знаю»,— повторил он. «Неужели у тебя нет никаких желаний?» — «Боюсь, не сумею ответить.— Он покачал головой.— Впрочем, мне очень хочется увидеть, как слова подтверждаются делами». Я не поняла. «Что ты имеешь в виду?» — «Мне трудно это объяснить. Я помню, чему вы нас учили».— «Я не всегда была последовательна, Володя»,— сказала я,

думая, что сейчас он вспомнит историю с коллективным заявлением. «Понимаете, Анна Абрамовна,— сказал Володя.— В школе нас все время учили... как бы это вам сказать... словам. Понятиям и словам. Формулам. А за стенами школы шла жизнь. И мы не могли проверить, насколько одно соответствует другому. Теперь я хочу это проверить». Я пожелала Володе счастья и поцеловала его. С тех пор мы не встречались.

Жихарева смолкла и сидела неподвижно, опустив голову и словно вновь вслушиваясь в то, что когда-то сказал ей Володя Харламов.

— Значит, сейчас он в тюрьме? — наконец спросила она.

— В колонии,— коротко ответил Митрохин.

— Ему можно чем-нибудь помочь?

— Не знаю,— задумчиво сказал Митрохин.— Пока ничего не знаю.

8. ПОСЛЕ ПИСЬМА

В небольшом дворике на сложенных штабелями дровах сидели подростки. Все они молча и сосредоточенно курили, держа свои сигареты одинаково — большим и указательным пальцами.

Валя еще раз сверила записанный ею адрес с номером на воротах, вошла во двор и остановилась в нерешительности.

— Ребята,— обратилась она к подросткам,— где здесь пятая квартира?

— Кого надо-то? — не вынимая изо рта сигарету, спросил один из них.

— Васина.

— Славку, что ли?

— Да. Вячеслава.

— Так он уже занятой! — хихикнул парнишка и подбросил в воздух докуренную сигарету.— Иди, иди, тебе его Катька даст жизни...

«Катька,— повторила про себя Валя,— да, я уже слышала это имя. Там, в суде...»

Не добившись толку, она пошла в сторону небольшого деревянного флигеля, стоявшего в глубине двора.

— Пятая квартира,— раздался за ее спиной мальчишеский голос,— второй этаж... Шею себе не сверни!

Валя вошла в подъезд. На лестнице было темно, и ступени действительно оказались узкими и крутыми. Держась за перила, Валя поднялась на площадку второго этажа. Постепенно глаза ее привыкли к темноте, она увидела дверь, пошарила по стене, стараясь найти кнопку звонка, не нашла и постучала.

Послышались шаги, звякнул замок, дверь открылась. В тускло освещенной прихожей стояла женщина. На ней была вязаная кофта с засученными выше локтя рукавами и подоткнутая по бокам юбка. Стук в дверь, видимо, оторвал ее от стирки или от мытья полов.

— Простите,— обратилась к ней Валя,— Васин не здесь живет?

— Славка, что ли? — переспросила женщина, убирая тыльной стороной ладони упавшую на лоб прядь волос. Не дожидаясь ответа, она крикнула куда-то в глубь коридора: — Славка! К тебе пришли...

Скрипнула дверь, и в передней появился Васин. Он молча и недоумевающе смотрел на гостью.

Пока Валя узнавала в суде адрес Васина, пока разыскивала этот дом, расположенный на самой окраине Зареченска, ей казалось, что увидеть Васина необходимо. Ведь он был единственным свидетелем происшествия на Воронинском шоссе и наверняка знал то, чего не знала и не могла знать она, Валя.

Но теперь, оказавшись лицом к лицу с этим парнем, Валя растерялась.

— Мне... надо поговорить с вами,— сказала она наконец и добавила поспешно: — Я вам сейчас все объясню!

Васин пристально поглядел на Валю, потом на все еще стоявшую рядом женщину, заметил ее настороженно-вопросительный взгляд и нехотя сказал:

— Проходите.

Он повернулся и пошел вдоль темного коридора. Валя направилась за ним, все еще чувствуя на своей спине пристально-любопытный взгляд.

В конце коридора она увидела полоску света, падавшую из приоткрытой двери.

Васин толкнул дверь и вошел в комнату первым. Следом за ним перешагнула порог и Валя.

Она очутилась в крохотной комнатке. У стены стояла кушетка, застланная выцветшим ковром. У другой стены — маленький квадратный стол, стул и табуретка. Вой-

дя в комнату, Васин остановился посредине и, нахмурив свои редкие белесые брови, молча уставился на Валю.

— Я к вам по делу пришла,— начала Валя, но Васин прервал ее:

— Дверь прикройте!

Валя торопливо закрыла дверь.

— Какое там дело? — грубо спросил Васин, по-прежнему стоя посреди комнаты. Он смотрел на Валю неприязненно, отчужденно.

«С чего же мне начать? — подумала Валя.— Как я смогу объяснить ему все, из-за чего пришла? Может быть, уйти? Сказать, что ошиблась или что зайду в другой раз? Нет, во второй раз я уже сюда не приду. Надо сейчас!..»

— Я пришла из-за Володи Харламова,— твердо сказала она.

Васин молчал.

— Вы же знаете,— продолжала Валя,— его осудили...

— А я тут при чем?

— Как же? Вы ведь ехали вместе... Все это случилось при вас!..

— Ну и что из того?

— Как что из того?.. — растерянно повторила Валя.

— Да так! — угрюмо ответил Васин.— Все, что знал, заявил. Там. На суде. Какой еще может быть разговор?

— Но вы же были знакомы! — уже с отчаянием произнесла Валя.

— Ну и что из того? — повторил Васин.— Я со всеми ребятами из ихней бригады знаком. Работали вместе. Только он монтер, я шофер. Случалось, по неделе не виделись.

— Но вы все-таки знали друг друга! — Валя пыталась ухватиться хотя бы за эту тонкую нить.— Неужели вы считаете, что в той характеристике была написана правда?

Васин слегка развел руками.

— Кто писал, тем виднее. На то и поставлены.

— Но вы ведь тоже знали его!

— Чужая душа — потемки...

Вале хотелось сказать ему что-нибудь обидное, достать письмо Володи, прочесть те строки, она помнила их наизусть: «...все, что говорил Васин, все, что написано в характеристике,— ложь...» Прочесть эти строки и уйти.

«А что дальше? — спросила себя Валя.— Что дальше?..»

Нет. Она не уйдет. Она стерпит все — и его грубость, и свое унижение. Пока Володя там, она готова на все.

— Послушайте, Слава,— сказала Валя, с трудом заставляя себя называть Васина по имени,— его осудили неправильно.

— Это вам так кажется,— резко сказал Васин,— я помню, как вы там крикнули...

«Ах, вот как, он помнит! Он с самого начала знал, зачем я здесь!.. Но, может быть, он просто боится меня? Опасается, что мне известно такое, что может ему повредить?»

— Да,— сказала Валя,— я крикнула. Не могла сдержаться...

— Кто вы ему? — неожиданно спросил Васин.

— Я?.. Друг... — Голос Вали дрогнул. Она подумала: «Может быть, я просто не умею найти нужные слова, которые тронули бы этого парня, заставили бы его говорить правду?..»

— Слава, поймите меня,— сказала она.— Я согласна: Володя виноват и должен понести наказание. Но ведь его обвинили не только в том, что он ушиб человека. Они говорят, что он плохой, нечестный. Это неверно, я знаю, и хочу добиться правды.

— А на кой она вам нужна, эта правда? — со злой усмешкой сказал Васин.— Есть ее, что ли, будете? На тарелочке?!

— Как вы можете так говорить?

Дверь за спиной Вали раскрылась. Обернувшись, Валя увидела на пороге девушку. У нее было широкое, добродушное лицо, маленький вздернутый нос. Она посмотрела на Валю, потом на Васина и удивленно спросила:

— У тебя... гости?

На лице Васина появилось выражение замешательства, даже испуга. Тут же оно сменилось доброй, но все еще растерянной улыбкой. Он бросился навстречу девушке, едва не оттолкнув Валю, и поспешно сказал:

— Нет, нет, что ты, Катюша, какие гости! Это так, по делу.

«Так вот она, эта Катя!» — подумала Валя, видя, как Васин заботливо помогает девушке снять ее старенькое серое пальто.

Перемена, происшедшая с Васиным, была так разительна, что несколько мгновений Валя не могла произне-

сти ни слова. Но вот Васин метнул на Валю быстрый взгляд, и она увидела его прежнее лицо — настороженное и злое.

В следующую минуту он уже вел девушку к кушетке, слегка поддерживая ее за локоть, и на лице его снова была добрая, ласковая улыбка.

— Простите,— смущенно сказала, обращаясь к девушке, Валя,— я, правда, по делу. Насчет суда,— добавила она.

— Насчет суда? — с тревогой в голосе переспросила Катя. Она уже собиралась сесть на кушетку, но осталась стоять и вопросительно посмотрела на Васина.— Разве приговор не окончательный?

— Да что ты, Катюша! — преувеличенно бодрым тоном произнес Васин.— Совсем не об этом речь! Она,— он кивнул в сторону Вали,— насчет того монтера пришла... ну, Харламова...

Он снова метнул неприязненный взгляд на гостью.

Валю охватило чувство горечи, обиды, негодования. Васин хотел, чтобы она ушла, немедленно ушла отсюда. Еще минута — и он просто выгонит ее из комнаты. Она мешает ему и Кате, они хотят остаться вдвоем, им нет никакого дела до нее, Вали, до ее горя, пусть Володя мучается там, в колонии, им наплевать на его судьбу... Хорошо! Она уйдет. Только сначала выскажет все в глаза. Теперь ей нечего терять! Пусть ее выгоняют!

— Я пришла сюда потому, что приговор был несправедлив,— громко сказала Валя, не глядя ни на Васина, ни на Катю.— Я хотела узнать правду. Но теперь вижу, что говорить не о чем.

Она закусила губу, не в силах продолжать, резко повернулась и хотела уйти.

— Подождите! — неожиданно звонко крикнула Катя.

Валя остановилась в нерешительности.

Катя подбежала к ней и, потянув ее за рукав, сказала:

— Подождите! Я ничего не понимаю. Почему приговор несправедлив? Какая правда?

— Катюша, оставь ты ее! — с мольбой в голосе произнес Васин.— Чепуха все это, ерунда! Ей Харламова жалко, вот и все... Мы уже переговорили о чем надо, пускай уходит...

Валя резко повернулась к Васину и спросила:

— А вы передали Кате то, что просил Володя?

Краска залила лицо Васина. Он по-бычьи наклонил голову.

— Какой Володя? О чем она говорит? — настороженно спросила Катя.

Васин сделал неопределенный жест:

— Чепуха...

— Нет, ты мне скажи, какой Володя? — настойчиво повторила Катя.

— Я скажу! — громко произнесла Валя.— Володя — это Харламов. На суде он пожелал вам счастья. Вы передали это Кате? — спросила она, оборачиваясь к Васину.

— Ничего я не помню,— пробормотал тот.

— Ах, он даже этого не помнит! — безнадежно сказала Валя.— Что ж, я вижу, говорить не о чем...

Она махнула рукой и пошла к двери.

— Нет,— воскликнула Катя,— никуда вы не пойдете! — Она подбежала к двери и загородила ее собой.— Надо все выяснить. Все, до конца! Что же это, Славка? Еще пожениться не успели, а уже тайны завелись? Вот что,— обратилась она к Вале.— Мы сейчас все выясним. Меня Катей зовут. Катя Синицына. А вас?

Она неловко, ребром протянула Вале ладонь. Неожиданно ощутив симпатию к этой девушке, Валя пожала ее руку и назвала себя.

— Садитесь! — продолжала Катя.— Сюда, на кушетку. А я рядом. Вот так. А ты,— обратилась она к Васину,— постой. Мы посидим, а ты постой. Говорите, Валя, говорите, а то ведь я ничего толком не знаю. Я ведь и на суде-то не была, знать ничего не знала. Он мне только на другой день рассказал. Что ж вы молчите?

— Володе дали два года,— сказала Валя.— Но я уверена, что он не виноват.

— А кто же виноват? Я один, что ли? — угрюмо спросил Васин.

— Погоди,— строго остановила его Катя.

— Они говорят, что он взял руль ради баловства. Он не мог этого сделать... Не мог. Говорят, что сшиб человека и уехал, не оказав помощи. Но это совсем не похоже на Володю. Если бы он видел, что сшиб, то обязательно остановился бы.

— А на суде-то что он говорил, на суде? — нетерпеливо спросила Катя.

Валя тяжело вздохнула.

— На суде он вел себя непонятно. Мне казалось, что он чем-то смертельно обижен. Да и в письме написал, что все было не так...

— В каком письме? — быстро спросил Васин.

— В письме из тюрьмы.

— Ну и что еще такое он там пишет? — с затаенной угрозой произнес Васин.

— Пишет, что на суде вы сказали неправду! — глядя на него в упор, ответила Валя.

— Я — неправду?! — воскликнул Васин и сделал шаг по направлению к кушетке.

— Да,— не отводя взгляда, продолжала Валя.— Я не хотела упоминать о письме, думала, что в вас совесть заговорит! Но она молчит, ваша совесть...

— Ты... ты... какое имеешь право! — тонким, срывающимся голосом закричал Васин.— Надо мной суд был, я приговор имею. Вот он, приговор! — Он выхватил из кармана тонкую папиросную бумагу и потряс ею над головой.— Здесь все сказано! Не слушай ее, Катя! Теперь, после суда, на меня все клепать можно, а он на суде сказал бы, если было что говорить...

— Не кричи, успокойся! — повелительно сказала Катя Васину.— И вы тоже, девушка, полегче,— осуждающе сказала она Вале.— Над ним следствие было. И приговор есть. Слава свое получил.

— Почему же Володя писал?.. Я пришла, чтобы спросить...

— Ты мне не следователь и не прокурор! — крикнул Васин, явно ободренный Катиной поддержкой.

— Помолчи! — снова оборвала его Катя.— Вы, Валентина, спросить хотите? Спрашивайте. Слава ответит. На все ваши вопросы ответит. Ему скрывать нечего. Правда ведь, Слава?

— Я что знал, то сказал,— тяжело дыша, отозвался Васин.— На суде. И на следствии.

— Если она хочет, ответь. Пусть знает, пусть все знают, что тебе скрывать нечего. Чего же вы молчите? Какие такие у вас вопросы? Спрашивайте!

— Хорошо, я спрошу! — воскликнула Валя. Но беглый взгляд, который она при этом бросила на Васина, сразу убедил ее, что спрашивать бесполезно. В его глазах она прочла ненависть и мучительное желание поскорее избавиться от нее.

Валя поняла, что он не сделает ни шагу ей навстречу, не ответит ни на один из ее вопросов. Будет либо отмалчиваться, либо повторит то, что говорил уже не раз.

«Все напрасно!» — подумала Валя и с отчаянием сказала:

— Нет! Я вижу, у него толку не добьешься. Я ведь не следователь и не судья... Катя,— неожиданно спросила она,— вы любите своего... мужа?..

— А вы как думаете? — с вызовом ответила Катя.— Хотите сказать, что его и любить не за что? Если ошибся человек, проступок совершил, значит, все с ним кончено? Крест на нем ставить?..

— Нет, Катя, я не об этом... Я тоже очень люблю Володю...

Она еще постояла, пытаясь собраться с мыслями, хотела что-то сказать, потом безнадежно махнула рукой и шагнула через порог.

9. АНДРЕЙ

Для Андрея Боброва существовали лишь те жизненные проблемы, которые так или иначе были связаны с его будущей профессией энергетика. Все другое он сознательно отстранял от себя. Однако нельзя сказать, что он интересовался только тем, что имело прямое отношение к его профессии.

В институте Андрея считали одним из наиболее способных студентов. Друзьям, в особенности девушкам, нравилось, как он играет на гитаре и вполголоса напевает песенки, слова которых нигде не печатались. Андрей презирал всякого рода стиляг, живущих без смысла и цели. Однако он считал своей обязанностью одеваться современнее всех, лучше всех танцевать твист и играть на гитаре. «Ведь и боги,— говорил он с добродушно-иронической усмешкой,— иногда спускались с Олимпа, чтобы повеселиться с простыми смертными». Но боги должны уметь делать все лучше, чем обыкновенные люди. Веселиться — тоже. Для простых смертных веселье могло быть самоцелью. Боги же, повеселившись, должны были проводить долгие часы перед экранами радаров, управлять атомными реакторами, погружаться в поэзию расчетов и формул. Даже если они страдали, заболевали и умирали, то это

были страдания, болезни и смерть, недоступные простым смертным.

Дело, которое влекло к себе Андрея, он воспринимал не просто как профессию. Он был убежден, что все люди делятся на посвященных и непосвященных. К первым относились те, кто работал в области физики, энергетики, радиоэлектроники. Ко вторым — все остальные.

Первые держали в своих руках судьбы мира. Вторые просто существовали.

Андрей редко высказывал свои убеждения вслух, потому что вообще не любил споры, считая их лишней тратой времени. Посвященные — Андрей был в этом уверен — знали свою роль в обществе. Убеждать же в чем-то непосвященных было бесцельно.

Андрея влекла к себе та отрасль науки, которая была непосредственно связана с изучением возможностей атомной энергии. И ему казалось, что ученому нужна именно такая жена, как Валя,— мягкая, спокойная, с ясными и простыми взглядами на жизнь.

Андрею очень нравилась Валя. При ней он даже самому себе нравился больше. Он охотно женился бы на ней, но для этого нужно было, конечно, окончить институт и приобрести определенное положение.

Увидев однажды на улице Валю с тем долговязым парнем, который вступил из-за нее в драку с уличными хулиганами, Андрей был весьма удивлен и встревожен. Но тут же успокоил себя: очевидно, Валя встретилась с Харламовым случайно. Втроем они прошли всего два-три квартала. Но и за это короткое время Андрей успел понять, что ошибся. Валя изменилась, точнее, изменилось ее отношение к нему, Андрею. Что-то связывало ее с этим парнем, у которого было такое неприятное, нервное лицо.

Андрей старался быть с ним вежливым, пытался вызвать на разговор, хотя особого желания разговаривать у него не было. Андрею казалось, что Володя внутренне насторожен и постоянно готов дать ему отпор.

Когда они прощались, Андрей с недоумением посмотрел на Валю и даже чуть приподнял свои тонкие брови, прикрытые ободками массивных очков. Но Валя рассеянно подала руку, как бы уже не замечая его.

На другой день он позвонил Вале по телефону, не застал, позвонил на следующий день, снова не застал. Когда ему в конце концов удалось поговорить с ней, он сразу

уловил в ее голосе нечто необычное, чужое. Разговор с ним, очевидно, вовсе не интересовал Валю, и она была готова повесить трубку в любую минуту. «Я позвоню тебе как-нибудь»,— сказал Андрей. «Да, да, звони»,— ответила Валя и положила трубку.

Несколько мгновений Андрей с чувством оскорбленного самолюбия слушал назойливые, частые гудки, все еще не веря, что разговор окончен.

После этого он с волнением ждал, что Валя позвонит ему. Раньше она нередко звонила ему сама. Но теперь ему звонили все, кроме Вали.

Летнюю производственную практику Андрей проводил на Энергострое. Проходя со сменным инженером вдоль строящейся линии высоковольтной передачи, он неожиданно столкнулся с Харламовым.

— Здравствуйте,— сказал Володя,— вас ведь, кажется, Андреем зовут?

Он сказал это так дружелюбно, что Андрей невольно смутился. Он считал, что они должны встретиться как враги. Дружелюбный тон Володи не только смутил, но и обидел Андрея. Володя, видимо, не ставил Андрея ни во что, его нисколько не трогало, что когда-то он имел к Вале некоторое отношение.

«Но, может быть, он ничего не знает?» — утешая себя, подумал Андрей. Но этого не могло быть. Валя не могла не упоминать его имени в разговорах. Да и тогда, на танцевальном вечере, Андрей нарочно постарался подчеркнуть, что его и Валю связывает нечто большее, чем простое знакомство.

— Может, вы меня не узнаете? — улыбнулся Володя.

— Нет, почему же, узнаю,— угрюмо ответил Андрей,— мне о вас Валя рассказывала. И тогда, в институте...— Он криво усмехнулся.

— И мне о вас Валя рассказывала,— охотно отозвался Володя.

Андрей уже хотел было сказать что-нибудь пренебрежительное, а потом повернуться и уйти, но удержался. Он вдруг сообразил, что этот парень был сейчас единственным человеком, у которого можно было хоть что-нибудь узнать о Вале.

Андрей заставил себя улыбнуться в ответ и небрежно спросил:

— Ну... как Валя? Больше вам не приходилось выдерживать баталий из-за нее?

Тут же он мысленно выругал себя. Из его слов Харламов мог понять, что он, Андрей, не встречается с Валей и ничего о ней не знает. При всех условиях это доставило бы ему удовольствие.

— Да нет! — просто ответил Володя.— Впрочем, баталии бывают,— добавил он весело.— Часто спорим друг с другом.

— Вот как? — упавшим голосом переспросил Андрей.

— Видимо, у меня вообще драчливый характер,— сказал Володя с усмешкой, но без тени рисовки.— Сегодня, например, вдрызг разругался с бригадиром.

— Из-за чего же? — равнодушно поинтересовался Андрей, думая уже о том, как оборвать этот явно бесполезный разговор.

— Производственные дела,— махнул рукой Володя, потом посмотрел на Андрея так, словно впервые его увидел.— А вы, собственно, что здесь делаете?

— На практике,— ответил Андрей и как бы между прочим добавил: — Я ведь скоро кончаю энергетический.

В его тоне послышался оттенок превосходства.

Но Володя не обратил на это внимания.

— Тогда, может быть, включитесь в драку? — сказал он, опуская на землю «когти», которые держал в левой руке.

— В какую драку? — спросил Андрей, думая только о том, чтобы скорее уйти.

Володя стал ему что-то взволнованно и сбивчиво говорить. Андрей почти не слушал. Речь шла о каких-то незаконно полученных деньгах, о неправильно оформленном наряде...

Андрей и не заметил, как Володя умолк. Теперь он вопросительно глядел на Андрея, ожидая ответа.

— Да, да,— рассеянно сказал Андрей,— это, конечно, безобразие... Я поговорю со сменным инженером. А теперь мне надо идти. Начальник строительства собирает практикантов.

— Вот вы начальнику и скажите. Впрочем, я и сам...— начал было Володя.

— Да, да, конечно,— прервал его Андрей.— А теперь я пошел.

Он кивнул Володе и быстро зашагал прочь. «Значит,

они встречаются!» — с горечью думал он. Именно это ему хотелось узнать. Что ж, вот и узнал. Теперь он снова надолго лишится покоя. В каком жалком положении он оказался! Этот парень делает вид или действительно уверен, что у Андрея нет никаких прав на Валю. Говорил с ним о Вале как ни в чем не бывало. Что он еще такое плел? Ах да, о ссоре с бригадиром! Боже мой, какое все это может иметь значение!..

Андрей пытался утешить себя тем, что Валя сделала нелепый, смешной выбор. Эта мысль на некоторое время успокоила его. Но ненадолго. Должно быть, он все-таки любил Валю, хотя и считал сильные чувства несовременными.

Андрей заставил себя не звонить ей. В глубине души он еще надеялся, что Валя рано или поздно сама сделает первый шаг к примирению.

Однако шли недели, даже месяцы, а Валя молчала.

Однажды, пообедав в столовой, Андрей вернулся домой, улегся на диван и раскрыл купленную по дороге книгу «Ярче тысячи солнц».

Раздался телефонный звонок. Андрей, не вставая, снял трубку.

— Андрей? — услышал он.— Здравствуйте! Это Кудрявцев говорит...

Еще не соображая, что к чему, Андрей мгновенно вскочил и, прижимая трубку к уху, поспешно произнес:

— Да, да, слушаю!

Он никогда не разговаривал с отцом Вали по телефону и не сразу сообразил, что это Николай Константинович.

Андрей не только обрадовался, но и встревожился: может быть, с Валей что-нибудь случилось? Но, судя по дальнейшему разговору с Кудрявцевым, ничего с ней не случилось. Николай Константинович спросил о здоровье Андрея и как бы между прочим поинтересовался, почему он к ним не заходит.

Это удивило Андрея. Раньше, довольно часто бывая у Вали, он старался выбирать время, когда ее отца — Андрей считал его сухим, замкнутым человеком — не было дома. Теперь Кудрявцев неожиданно позвонил ему. Зачем? Если бы Валя захотела его видеть, то позвонила бы сама.

Поэтому, когда Кудрявцев спросил, почему он к ним не заходит, Андрей растерялся.

Несколько секунд он молчал, подбирая слова, которые

прозвучали бы достаточно убедительно и вместе с тем иронически: «Наверное, теперь вместо меня к Вале заходит кто-то другой» — или что-нибудь в этом роде. Но подобная фраза показалась Андрею пошлой, другой он не нашел и, когда молчать стало уже неприлично, прямо сказал:

— По-моему, у Вали нет особого желания меня видеть.

— Что вы, Андрей! — возразил Кудрявцев.— Разве можно принимать всерьез случайные размолвки?

Андрей еще больше удивился. Приветливость и теплота, которые слышались в голосе Кудрявцева, прозвучали для него совершенно неожиданно.

— Я знаю, вы друг Вали, а дружба накладывает обязательства,— продолжал Кудрявцев.

— Вы правы, но дружба не может быть односторонней.

— В дружбе всегда кто-то должен быть мудрее, старше, если не по возрасту, то по жизненному опыту, по характеру,— мягко сказал Кудрявцев.

«Знает или не знает? — старался угадать Андрей.— Известно ли ему, с кем встречается его дочь? Знает ли, *почему* мы перестали видеться? Сказать или не говорить?» Он промолчал. Кудрявцев взял с Андрея слово, что он зайдет к ним сегодня же вечером.

Повесив трубку, Андрей погрузился в раздумье. Что-то с Валей все же произошло. Но что именно? Может быть, с тем парнем у нее все кончено и она хочет видеть его, Андрея, но не решается позвонить сама? Нет, эту мысль Андрей отбросил еще в самом начале телефонного разговора. Но что же тогда случилось?

Как бы там ни было, Андрей приободрился. Посмотрел на часы — они показывали половину пятого. Скоро, совсем скоро он увидит Валю! Главное — увидеть ее. Все будет хорошо. Главное — остаться с ней наедине.

В семь часов Андрей стоял у двери, которая была ему так хорошо знакома. Позвонил. Дверь открылась. На пороге стояла Валя.

Ему достаточно было лишь взглянуть на ее лицо, чтобы увидеть, как оно изменилось. Валя стала старше, намного старше. Ее глаза, всегда такие ясные и безмятежные, теперь казались чужими, в них появилась незнакомая Андрею сосредоточенность, скорее настороженность. Валя даже была причесана не так, как обычно. Ее светлые, с желтым, соломенным отливом волосы уже не лежали искусно взбитой копной, а были гладко зачесаны назад.

— Здравствуй, Валя,— сказал Андрей.

Ему хотелось произнести эти слова весело, беспечно, а они прозвучали нерешительно, даже робко. Все же в первые минуты Андрею показалось, что Валя рада его приходу, что она даже ждала его. Но это была странная, печальная радость. Так встречает тяжелобольной навестившего его человека.

— Пойдем, Андрюша,— сказала Валя.— Как хорошо, что ты пришел! Все эти дни я хотела тебе позвонить.

Она повела его в свою комнату. Здесь все было без перемен, все выглядело так же, как и тогда, когда Андрей часто сюда приходил. Он сел на тахту, в угол, на то самое место, куда садился всегда. Валя опустилась рядом.

— Знаешь, Валя, ты очень изменилась. Ты заболела?

Она медленно покачала головой.

— Нет, я здорова.

— Но что-то случилось, я же вижу,— настаивал Андрей.— Ты совсем другая.

— У меня большое горе, Андрюша,— тихо произнесла Валя.

— Горе? — изумленно переспросил Андрей.

— Я хотела тебе позвонить, посоветоваться,— словно не слыша его вопроса, продолжала Валя.— Ты много знаешь... А мне так нужен совет!

— Какой совет? — встревоженно произнес Андрей.— Говори, Валя, что случилось?

— Володя в тюрьме.

— Володя? — удивленно переспросил Андрей и осекся. «Да-да, его зовут Владимиром».— За что же он попал в тюрьму? — делая над собой усилие, спросил он.

— За что?! — воскликнула Валя, и Андрей увидел, как глаза ее заблестели.— Я тебе сейчас все расскажу!

...После того как Валя окончила свой рассказ, Андрей некоторое время сидел молча. Потом, подчиняясь настойчивому желанию, спросил:

— Твой отец знает?

— Да.

— Ты спрашивала у него совета?

— Он ненавидит Володю,— тихо ответила Валя.

«Ах, вот как! — подумал Андрей.— Тогда все ясно. Теперь понятно, почему он мне позвонил». Андрею стало горько.

— Что же ты намерена делать? — мрачно спросил он.

— Не знаю,— сказала Валя, не глядя на Андрея.— Может быть, написать прокурору? — спросила она после паузы.

— О чем?

— Я уверена, что каждый человек, который захочет объективно разобраться...

— В чем?

— Как в чем? — Валя резко приподняла плечи, и на лице ее отразилось недоумение.— Во всем этом деле.

— Что же тут разбираться? И так все ясно.

Андрею стало обидно. Значит, он понадобился Вале только для того, чтобы посоветоваться с ним. Видимо, ей и в голову не приходило, что вести этот разговор о Харламове ему неприятно, мучительно.

Когда Валя рассказывала о Володе, Андрей внимательно следил за ее лицом. Ему казалось, что временами оно становится прежним, хорошо знакомым ему и что выражение напряженной сосредоточенности исчезает.

Иногда Валя наклонялась к Андрею, брала его за руку, крепко сжимала ее. Хотя он и понимал, что Валя наклоняется к нему и сжимает его руку ради того, другого, ему начинало казаться, что надежда еще есть и все еще может измениться.

Но с каждой минутой он все более отчетливо сознавал, что вернуть Валю невозможно. И ему захотелось сказать ей нечто злое, беспощадное, такое, что до конца разрушило бы все ее бессмысленные иллюзии.

— Что же тут разбираться? — настойчиво повторил Андрей.— Из всего того, что ты мне рассказала,— кстати, спасибо за доверие,— заметил он саркастически,— явствует, что суду, как говорится, все было ясно.

— Нет,— воскликнула Валя,— не все!

Он вопросительно приподнял брови над оправой очков.

— Они судили другого человека. Понимаешь, Андрюша, другого!

— Фантастика!

Валя посмотрела на Андрея с недоумением, как на человека, не понимающего самых элементарных, всем очевидных вещей.

— Но он же совсем не такой! Он честный, правдивый человек! Отзывчивый, добрый...

— Я думаю,— сказал Андрей,— что сентиментальная сторона вопроса мало занимала судей.

— Но как ты можешь так говорить! — возмущенно воскликнула Валя.— Ведь речь идет о судьбе человека!

Андрей почувствовал, что больше не может сдерживаться. Горечь, досада, обида снова нахлынули на него.

— А о другом человеке ты подумала? — крикнул он.— Ты сказала, что рада моему приходу. Это ложь! Понимаешь, ложь! Тебе нужен не я, а адвокат, вот кто тебе нужен!..

Он задохнулся, стараясь совладать с собой. Валя смотрела на него широко раскрытыми глазами.

— Прости меня, Андрюша,— с грустью сказала Валя.— Я не хотела причинить тебе боль. Но это сильнее меня. Я ничего не могу с собой поделать...

Андрей понял, что уйти не может. Даже если бы захотел. Но если он хочет остаться, то должен продолжать этот мучительный разговор.

— Хорошо, Валя,— глухо сказал он,— не обращай внимания на мои слова. Итак,— теперь Андрей старался говорить спокойно и рассудительно,— ты хочешь написать прокурору. Но факты остаются фактами. Характер этого человека никого не интересует. О чем же ты хочешь писать прокурору?

— О нем,— словно обрадовавшись возможности продолжать разговор о Володе, сказала Валя,— о том, что он не такой, каким показался им на суде. Все твердят: «Факты, факты!» Но разве сам человек не факт? Разве он так прост, что о нем можно все узнать в течение каких-нибудь двух часов?

Андрею пришла в голову странная мысль. В основе всего того, что происходит сейчас с Валей, лежит просто наваждение. Вся она во власти противоречащей здравому смыслу навязчивой идеи. Ей надо противопоставить голос рассудка, железную логику. Сделать то, что делают врачи-психоаналитики. Надо вырвать Валю из заколдованного круга. Не высмеивать ее, не иронизировать, а расшифровать ее мысли, представить все в истинном свете.

— Хорошо, Валюша,— мягко сказал Андрей.— Значит, ты веришь, что найдется такой прокурор-романтик, который будет добиваться отмены приговора на основании твоего письма? Во имя чего?

— Как «во имя чего»? Во имя человека! Во имя справедливости! Неужели ты думаешь, что у нас нет идейных людей?

Андрей усмехнулся. Он терпеть не мог разговоров на отвлеченные темы. Всегда испытывал неприязнь к громким словам, газетным штампам и тому подобным вещам. Тех, кто оперировал философскими или политическими терминами, он считал либо неспособными заняться настоящим, практическим делом, либо демагогами, сознательно избравшими в жизни наиболее легкий путь.

Тем не менее вопрос Вали задел его.

— Нет, почему же! — с достоинством произнес Андрей.— Идейные люди есть, наверняка есть. Только они совсем не такие, как ты их себе представляешь.

— А как их представляешь себе ты? — настойчиво спросила Валя.

Андрей задумался. Он не был готов к ответу.

— Идейными людьми в современном значении слова я считаю прежде всего людей дела,— сказал он после паузы.— Знающих, что такое реальная жизнь. И не лезущих в политику. Парадоксально? Но тем не менее это так. Ты, видимо, полагаешь, что идейность неразрывно связана с политикой? А я убежден, что такой связи теперь не существует. Мир, если хочешь знать, в наше время развивается по другим законам.

— По каким же? — спросила Валя. Теперь она внимательно слушала Андрея, и это ободряло его. Пусть то, что он говорил, не имело прямого отношения к вопросу, волновавшему Валю. Но сознание, что он спорил сейчас с этим Харламовым, как бы соревновался с ним в логичности и оригинальности мышления, волновало Андрея.

— По законам природы,— ответил он.

— Мир всегда развивался по законам природы!

— Верно. Но раньше были известны лишь самые элементарные из них. В наше время люди проникли в тайну этих законов. От их желания зависит сохранить этот мир или разрушить его. Болтающий политик думает, что он решает судьбы планеты. А их решает человек, управляющий атомными реакциями. Если хочешь, я прагматик. Идейными я называю тех людей, которые исповедуют идею всемогущества человеческой практики. Ты меня понимаешь? Какого же человека ты рассчитываешь увидеть на прокурорском посту? «Идейного» болтуна? Но он отмахнется от твоего письма. Человека дела? Но такие люди обычно не идут в прокуроры. А если один из них и окажется за прокурорским столом, то он опять-таки будет

тщетно искать в твоем письме факты. Факты руководят жизнью людей, Валюша!

— А если прокурором окажется ни тот и ни другой? Если им будет просто честный, добрый человек, верящий в справедливость?

— Что ж,— снисходительно улыбнулся Андрей,— рассмотрим вариант о честных и добрых жрецах юстиции. Но подумала ли ты о том, что все эти судьи, прокуроры, следователи наверняка завалены просьбами смягчить наказание виновным? Пишут отцы, матери, сестры, жены... Аргумент у всех один и тот же: мы его лучше знаем, он хороший, поверьте нам и отпустите его... Кстати, как ты подпишешь свое письмо? «Знакомая»?

— Невеста! — твердо сказала Валя.

— Невеста?! — изумленно переспросил Андрей, чувствуя, как кровь приливает к его лицу.— Ты с ума сошла!

— Почему?! — с негодованием воскликнула Валя.— Почему все считают, что я сошла с ума? Почему вы уверены, что оставаться верной человеку, когда он попал в беду,— значит, сойти с ума?

Андрей молчал, подавленный ее неожиданным признанием. Он еще надеялся, что Валя сказала это назло ему, в наказание за недоверие. Ему хотелось, чтобы это было именно так. Но он уже понимал, что Валя сказала правду.

— Нелепо! — медленно произнес Андрей.

— Почему?

— Это невозможно объяснить, если ты не понимаешь сразу.

— Но если я его люблю?

— Любишь? — переспросил Андрей. Он уже взял себя в руки.— Ты не отдаешь себе отчета в своем чувстве. Разве это может быть любовью? В крайнем случае ты можешь испытывать к нему жалость. Любовь! — воскликнул он иронически.— Так в свое время интеллигентные барышни любили униженных, оскорбленных и тому подобных юродивых! Разве это любовь?!

— Не смей так говорить! Не смей! — воскликнула Валя.— Что ты понимаешь в любви?

— Год тому назад ты думала иначе,— с горечью произнес Андрей.

— Андрюша, милый, не сердись,— поспешно сказала Валя,— я совсем не хотела тебя обидеть. Но за этот год я действительно очень переменилась. Встречаясь с Володей,

я многое стала понимать иначе. Он научил меня не просто любить, но искать...

— Что искать? Что?! — в отчаянии от того, что он не может, не умеет переубедить Валю, воскликнул Андрей.— Ведь я же знаю этого человека! Чему он может научить? Максимум, на что он способен,— это ввязаться в очередную драку.

— Но разве ты поступил бы тогда иначе? — с упреком спросила Валя.

— Не о том речь. Он вообще ни на что другое не способен. Когда я встретился с ним на Энергострое, он тоже затевал драку с администрацией. Это такой тип человека.

— Какую драку? — насторожилась Валя.— Он тебе что-нибудь рассказал?

— Так, чепуха какая-то. Неверно оформленные наряды... Я сам толком не понял. Знаешь, кого он мне тогда напомнил? Есть и в наше время чудаки, которые носятся с идеей вечного двигателя. Слоняются по учреждениям, склочничают, все им не так. Устроить скандал — это они умеют. А ты говоришь — научить. Кого? Чему?

— Мне трудно это объяснить,— ответила Валя.— Может быть, это вообще невозможно объяснить.

— Конечно,— усмехнулся Андрей,— область чувств, интуиция, любовь с первого взгляда рассудку вопреки. Где уж мне это понять!

— Ты... ты очень современный человек, Андрюша,— печально и как бы размышляя вслух, сказала Валя,— но в тебе чего-то нет... Сердца, чувства, способности понять... И песни твои под гитару — я только теперь поняла это — очень пугливые, боязливые песни... В них нет чувства. Того чувства, которое захватывает человека целиком. А то, что ты считаешь любовью,— это не чувство. Что-то вроде сладкого на третье... Ты все время боишься, чтобы тебя кто-нибудь не заподозрил в старомодности. В песнях твоих немножко иронии, немножко цинизма. Всего понемножку. Только как бы не заподозрили, что чувство может быть сильнее тебя! Теперь я все поняла. Ты считаешь, что мир чувств куда-то исчез. А в новом мире все ясно, прямолинейно и очень холодно... Ты, наверное, никогда не плакал. Ведь плакать — это не современно, прагматикам плакать не полагается... Если к тебе приходило горе, то ты уговаривал себя, что все это чепуха, нелепость и в мире нет ве-

щей, достойных твоих слез. А они есть. Я не понимала этого раньше. Я поняла это, когда встретилась с Володей. Для него мир живой. Часто непонятный. С острыми углами. С противоречиями. Но это живой мир. Он не бродит в нем, как в окаменевшем лесу. Для него все деревья живые. И люди тоже... А ты...

Валя посмотрела на него, слегка приподняла руку, словно говоря самой себе: «К чему?..» — и умолкла.

Андрея охватило чувство растерянности, а потом — глубокой жалости к себе. Только сейчас он по-настоящему понял, что все его красноречие — ничто по сравнению с молчанием незримо присутствующего здесь человека. Он был готов закричать от обиды, от ощущения своей беспомощности, от сознания, что он навсегда потерял Валю.

Раздался звонок. Андрей подумал, что, наверное, пришел Кудрявцев. Меньше всего ему хотелось встретиться сейчас с ним. Когда Валя пошла открывать дверь, он встал и приготовился уйти, выбежать тотчас же, как только Кудрявцев войдет. Но в прихожей послышался незнакомый женский голос:

— Валя? Наконец-то я вас нашла! Это же я, Катя!..

10. ПРОБЛЕСКИ

Валя с удивлением посмотрела на Катю и сухо спросила:

— Вы?! Ко мне?

Катя смутилась, поджала свои толстые губы, торопливо раскрыла сумочку и вынула оттуда лист бумаги.

— Вот...— сказала она, кладя бумагу на стол и указывая на нее движением головы.

Валя развернула вчетверо сложенный листок и прочла:

В Народный суд Калининского района
от Васина В. Ф., 1939 г. р., прож.
по Октябрьской ул., 15, кв. 5.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Васин Вячеслав Федорович, пишу это заявление в том, что сказал на суде неправду. И она меня жгет. Я заявил, что Харламов В. А. ничего меня не спрашивал насчет того, слышал ли я удар или нет. А на самом деле было

так, что он меня спросил, а я ему ответил, что это, наверное, камень отлетел и стукнул о крыло, потому что наезда тоже не видел, как ехал уже в качестве пассажира и за безопасностью движения не следил.

Васин.

15 сентября 1964 г.

Валя стояла неподвижно, зажав листок в пальцах. У нее стучало в висках. «Ведь он же оклеветал Володю! Говорил, что ничего не знает об ударе. И на очной ставке, и на суде утверждал, что Володя ни о чем его не спрашивал! Подлец!»

Она хотела сказать это вслух, но комок подступил к горлу. Валя бросила бумагу на стол.

— Поздно!.. Его уже отправили...

Она отвернулась.

— Не надо, не плачьте! — умоляюще воскликнула Катя.— Я уже сама всю ночь проплакала...

«Все могло быть иначе! — в отчаянии думала Валя.— Если бы Васин сказал правду на суде, самое страшное обвинение отпало бы... Значит, Володя был прав, прав, когда писал, что Васин лгал».

— Вы меня теперь, наверное, выгнать хотите,— услышала Валя всхлипывающий Катин голос,— вам, наверное, и меня тошно видеть... Я знала, что так будет, а все-таки решила: пойду... Весь вечер по городу бегала. Мне в адресном пятнадцать Кудрявцевых Валь дали, в восьмой дом уже захожу.

Глянув на Катю, Валя увидела ее как бы заново — ее заплаканное, испуганное лицо, пухлые, совсем детские полураскрытые губы.

— Садитесь, Катя,— сказала Валя, указывая на диван, на то самое место, где незадолго до этого сидел Андрей.

— Да нет,— нерешительно произнесла Катя и посмотрела на маленькие ручные часики,— мне в суд бежать надо... бумагу эту отдать. Или поздно уже? — Она вопросительно посмотрела на Валю.— Пока ходила, пока адрес нашла...

— Ваш муж знает, что вы пошли ко мне?

— Стану я...— тряхнула головой Катя и смущенно сказала: — Да я еще не жена ему...— Она все-таки села.— Когда это несчастье случилось, мы в тот день в загс ходи-

ли, заявление оставили. Велели нам через месяц прийти. А тут такое горе... Как вы думаете,— с тревогой спросила она,— поможет вашему Володе эта бумага?..

— Не знаю,— сказала Валя,— если бы раньше...

— Если бы раньше!..— с сожалением повторила Катя.— Так ведь я ничего толком не знала! Только с его слов. Как ты ушла,— можно, я тебе «ты» говорить буду? — я за тобой бежать хотела. Видела, лица на тебе не было, поговорить хотела, утешить... А потом решила: нет, мне сейчас другое делать надо. Я ведь не чурка какая, почуяла: что-то здесь не то. Чего-то Славка не договаривает, чего-то боится... Как ты ушла, я дверь, значит, на ключ, посадила Славку рядом и спрашиваю: «Ты, Слава, все честно сказал? Глянь мне в глаза. Ведь мы жизнь с тобой начинаем! Жизнь с неправды нельзя начинать!»

Она снова всхлипнула и вытащила из кармана скомканный платок.

— Целый год ведь он за мной ходил, Славка-то. Все жениться хотел... Только я сомневалась... Парень-то хороший, только слабый. Характер у него слабый, понимаешь? Целый год меня уговаривал. А тут приходит,— четырнадцатого августа это было, за день до несчастья,— и говорит: «Да или нет, Катя, решай!» Знаешь, без злобы, без угрозы, тихо так, горько спрашивает, словно наперед знает, что я отвечу. Поняла я: если не соглашусь, Славке совсем плохо будет. Он ведь в такой семье рос, не приведи бог. Отец — пьяница... Ребята вокруг него не все хорошие... Знаешь, теперь какие ребята бывают? Живи — приспосабливайся, на работе — не выкладывайся, а главная радость в жизни — пол-литра на троих... Потом подумала: а у самой-то сил хватит? Образование — семь классов, на ткацкой фабрике работаю... Смотрю я на Славку: вся его надежда в том, чтобы мы вместе были. Сейчас, думаю, слово скажу, рухнет эта надежда. Что с ним тогда будет, со Славкой?..

Катя тяжело дышала, словно после трудного подъема.

— Согласилась? — тихо спросила Валя.

— Решилась.

Катя опустила голову. Казалось, она снова размышляла о том, правильно ли тогда поступила.

— Ты, наверное, удивляешься,— сказала она, поднимая голову,— зачем я все это тебе рассказываю. Мы и видимся-то всего второй раз... Только должна я была расска-

зать. Одним горем мы связаны... Ну вот, ушла ты, я Славку и спрашиваю: всю ли правду сказал? Гляжу на него, и страх мне в глазах его мерещится. Поняла я: не наказания он боится, меня ему потерять страшно. Заявление-то еще в загсе лежит, в любой час забрать можно... Я ему говорю: «Слушай, Славик, не бойся. Ничего в жизни не бойся. На неправде не такие люди, как ты, головы теряли». А он мне отвечает: «За правду-то чаще теряли».— «А ты,— говорю ему,— про это не думай. Сейчас время другое». А он мне: «Другое? Одним-то краем другое, а другим не больно». Чувствую я, опять Славка темнит. Лежит у него на душе что-то, а сказать боится. Я ему говорю: «Славка, хочешь, чтобы мы вместе были? На всю жизнь? Послушай меня, не таись! Я хочу, чтобы мы знаешь как жили? Чтоб никто не ловчил. Чтоб душа у человека была открытая». Он мне в ответ: «Ты так хочешь, а кое-кто иначе думает».— «Кто иначе думает?» Мнется... Полночи я его пытала, пока поняла: это следователь научил его так показывать. Так, сказал, тебе лучше будет. Не прямо, конечно, сказал, а обиняком. Я ему кричу: «Ты на того следователя наплюй! Тебе кто дороже — я или он? Скажешь правду — всегда с тобой буду. В тюрьму заберут,— год, пять лет ждать буду. Веришь?» — Она глубоко вздохнула.— Он мне и рассказал, как дело было. Не видел, говорит, Харламов наезда. «Ах, не видел? Тогда пиши. Сейчас же пиши!» У него в комнате и чернил-то не было. Я соседку разбудила...

Валя порывисто притянула к себе Катю и крепко ее обняла. Они долго сидели молча, всхлипывая и утирая слезы.

Потом Катя преувеличенно резко сказала:

— Будет реветь-то! Надо дело делать. Куда бумагу-то нести? В суд, что ли? Я ему велела в суд писать. Может, куда еще надо?

Валя попыталась собраться с мыслями. Завтра же она выяснит, куда лучше передать это заявление.

Спачала ей показалось, что достаточно предъявить его судье или прокурору, чтобы Володю немедленно освободили. Потом она подумала, что признание Васина, в сущности, мало что меняет. Ведь дело-то заключалось в том, что Володя незаконно взял руль и сбил человека. «Нет! Меняет! — возразила она себе с торжеством.— Володя не знал, что сбил человека. Иначе он не оставил бы его без помощи».

Ах, если бы отец был сейчас дома! Пусть бы он прочел эту бумагу и понял, как ошибался насчет Володи! Подумать только: еще вчера — да что вчера? — еще полчаса назад, казалось, никому не было никакого дела до Володи. Решительно все: и отец, и Андрей, и судья, и Пивоваров, и даже Митрохин — все уверяли, что приговор правилен и ее намерение защищать Володю бессмысленно. А теперь и Катя, да и сам Васин так или иначе стараются помочь Володе. Значит, есть в нашей жизни высший закон, которого не понимают ни отец, ни Андрей, ни Пивоваров, ни даже Володя! Да, да, он, видимо, потерял веру, иначе не вел бы себя так на суде!

Валю вывел из раздумья озабоченный голос Кати:

— Он уже там?.. В тюрьме?

Валя представила себе Володю в арестантской одежде, исхудевшего, небритого, окруженного рядами колючей проволоки.

— В колонии,— чуть слышно ответила она.

— Очень любишь его? — участливо спросила Катя.

— Люблю...

— Когда любишь, всегда веришь,— убежденно сказала Катя.— Теперь тебе легче будет. Сможешь доказать, что он честный...

Катя помолчала немного и без всякого перехода спросила:

— Одна комнату занимаешь? Соседей много?

— Я с отцом в этой квартире живу.

— Отец-то из начальства?

— В совнархозе работает.

— Парню твоему помочь не сумел. Не смог, что ли?

— Если бы и смог, то не захотел бы.

— Не ладят они? — Видя, что Валя не отвечает, Катя добавила: — У меня мать тоже Славку не больно жалует... Ладно! — Она тряхнула головой.— Теперь надо добиваться, чтобы пересуд был!

Валя улыбнулась. Эта почти незнакомая девушка стала необычайно близка ей. Ощущение одиночества, которое владело Валей с тех пор, как закончился суд, исчезло. Даже к Васину она не испытывала сейчас никакой злобы.

— Ты чего молчишь? — спросила Катя.

— Думаю,— ответила Валя.

— О нем?

— О нем. И о тебе. О том, как я тебе благодарна.

— Ты вот меня благодаришь,— опустив голову, произнесла Катя,— а я тебе не все сказала.

— Как не все?

— Помнишь, ты говорила, что Володя нам со Славкой счастья на суде пожелал? Славка мне и это объяснил. Знаешь, почему твой Володя руль взял?

— Конечно, не знаю,— ответила Валя, чувствуя, что ее охватывает нервная дрожь.

— Из-за меня это было,— тихо сказала Катя,— моя тут вина.

— Твоя?! — воскликнула Валя.

— Славка мне все объяснил. Выпил он, понимаешь. На радостях. Как из загса на работу пошел, кружку пива по дороге хватил. Когда поехали они, Володя твой заметил. По запаху. «Выпил?» — спрашивает. Славка ему все и рассказал. Где утром был и почему выпил. Тогда Володя и взял руль: «Дорога ровная, шоссейная, я доведу. А тебя, если заметят, могут прав лишить. Будет тебе тогда свадьба!» Может, Славка и про это должен был написать? — спросила Катя.— Если нужно, я заставлю. Пусть хоть в слесаря переводят. Я, бывает, по сотне в месяц зашибаю. Проживем!

— Катя, милая ты моя,— воскликнула Валя,— спасибо тебе, спасибо!

— Мне Славка говорил,— не слушая ее, продолжала Катя,— что это роли не играет, по какой причине руль взял. Володе твоему от этого легче не будет, а Славке хуже. Поэтому он ничего и не написал. Может, опять соврал? Может, и об этом написать надо? Я заставлю!..

Валя хотела объяснить ей, что дело сейчас в другом: рушится еще одно обвинение против Володи, тяжкое, несправедливое обвинение. Не безответственный человек Володя, не лихач! Вот что самое главное. Но она не могла вымолвить ни слова. Это была разрядка, кончилось то мучительное напряжение, в котором она находилась все последние дни.

Валя не слышала, как хлопнула входная дверь, не слышала шагов по коридору и увидела отца только тогда, когда он заглянул в дверь.

— Папа,— закричала Валя, бросаясь ему навстречу,— все выяснилось! Володя не виноват. Васин все написал. Вот, прочти!

Некоторое время Кудрявцев стоял молча и, казалось, разглядывал лежавший перед ним на столе листок бумаги.

...Было бы неверно сказать, что в последние дни Николай Константинович успокоился. Нет, его не переставало тревожить, что Валя по-прежнему думает только о Харламове и живет только его интересами. Но мысль о том, что два ближайших года Валя волею судьбы будет разлучена с Харламовым, все-таки несколько успокаивала его. Два года — огромный срок. Валя постепенно отойдет, остынет, забудет этого человека, угрожавшего сломать всю ее жизнь...

Но сейчас, услышав лихорадочные, полные надежды слова Вали, Кудрявцев почувствовал, что опасность, которая, как ему казалось, уже уходила в прошлое, вдруг возникла с новой неожиданной силой.

Он еще не знал, что содержится в этом листке бумаги, лежавшем перед ним на столе. Но не мог заставить себя взять его в руки и прочесть. Валя кинулась к столу, схватила листок и, протягивая его отцу, воскликнула:

— Прочти же, папа! Прочти скорей!

Сделав над собой усилие, Кудрявцев взял листок и пробежал его глазами.

Да, он боялся недаром. Теперь, когда все связи между его дочерью и этим парнем были обрублены, он, Харламов, снова незримо появился здесь и снова встал между ним, Кудрявцевым, и Валей...

Как это произошло? По чьей вине?

Николай Константинович с неприязнью посмотрел на незнакомую девушку, вставшую с тахты при его появлении.

— Что же ты молчишь? Теперь ты видишь, видишь! — захлебывалась словами Валя.— А ты мне не верил! Это все Катя! Она от Васина пришла. Теперь он всю правду сказал...

— Успокойся, Валюша.— Кудрявцев старался собраться с мыслями и решить, как ему себя вести. Кивнув Кате, он обнял Валю и прижал ее лицо к своей груди.

Валя все еще всхлипывала. Потом осторожно высвободилась из рук отца, вытерла глаза и улыбнулась.

— Вот видишь! — торжествующе сказала она.— Ты прочел, что написано в заявлении?

Кудрявцев бросил бумагу на стол.

— Прочел,— сухо ответил он,— но теперь, когда ты успокоилась, хочу сказать: я не собираюсь снова копаться во всем этом... Очевидно, и Харламов и как его... Васин одного поля ягода.

— Папа! — укоризненно воскликнула Валя.

Катя вскочила.

— Вы же Васина совсем не знаете,— сказала она изменившимся голосом, теперь он звучал почти грубо.— И нет у вас права...

— Я не хочу обсуждать этот вопрос,— поспешно сказал Кудрявцев,— я знаю только одно: вам не следовало опять вовлекать мою дочь... Приходить сюда, в чужой дом, чтобы снова...

Он махнул рукой и отвернулся. Катя медленно пошла к двери, но у самого порога обернулась.

— Я не к вам пришла,— сдавленным голосом сказала она.— Я пришла к Вале! И уйду! Не потому, что вы меня гоните, а потому, что...

— Я не хочу вас слушать! — не оборачиваясь, крикнул Кудрявцев.

— Ладно! — Катя тряхнула головой и сказала озорно, даже весело: — Держись за своего Володю, Валька! Слышишь? Если любишь — держись. Не отступай!

Теперь они остались вдвоем: отец и дочь. Валя слышала, как, громко стуча каблуками, пробежала по коридору Катя, как хлопнула входная дверь. Она не могла сделать ни шагу. Ноги ее словно вросли в пол.

— Прости меня, Валя,— с трудом произнес наконец Кудрявцев.— Я... не сдержался. Но ты должна понять мое состояние...

— Папа,— медленно, с горечью сказала Валя,— почему ты такой?

— Какой я? Какой? — повысил голос Кудрявцев.— Я не жалею, что так обошелся с этой девчонкой. Дойти до такой наглости: пробраться в мой дом, в нашу квартиру, чтобы снова втянуть тебя...

— Во что втянуть, папа? — с недоумением перебила его Валя.— Неужели ты до сих пор не понял...

— Нет,— не дал ей договорить Кудрявцев,— я все понял. Сегодня даже больше, чем когда бы то ни было!

Я вижу, что тебя втягивают в темную, преступную компанию...

— Перестань,— резко сказала Валя,— иначе я не буду слушать!

Он замолчал.

Только теперь Валя заметила, что отец очень плохо выглядит. У него были землистые щеки, он тяжело дышал.

— Папа, что с тобой? — воскликнула Валя, подбегая к отцу и хватая его за руку.— Ты плохо себя чувствуешь? Принести тебе лекарство?

— Не надо,— глухо сказал отец.— Я нуждаюсь в единственном лекарстве...

— Папа, родной,— перебила его Валя,— как же ты можешь требовать, чтобы я отказалась от Володи именно теперь? Ведь выяснилось, что он совсем не так виноват, как ты думал раньше. Ты еще не все знаешь! Он и руль-то взял у Васина, чтобы выручить его, помочь товарищу!.. Прошу тебя, забудь на минуту, что речь идет обо мне. Вообрази, что к тебе пришел человек, рассказал обо всем случившемся с Володей и попросил защитить несправедливо осужденного. Рассказал тебе все, что знаю сейчас я. Как бы ты поступил?

— Не знаю,— угрюмо ответил Кудрявцев,— наверное, не стал бы вмешиваться. В крайнем случае позвонил бы прокурору и попросил разобраться.

— Вот-вот! — торжествующе подхватила Валя.— Но ведь об этом самом я и говорю. О том, чтобы прокурор разобрался! Можешь ты мне в этом помочь?

— Подожди,— нетерпеливым движением руки остановил ее Кудрявцев,— я еще не кончил. Я позвонил бы прокурору только в том случае, если...

— Если что?..

— Если бы не знал, о ком идет речь. Если бы не знал, что представляет собой этот парень.

— Но ведь выяснилось же, что Володя совсем не такой, как ты думал! — сознавая, что и теперь не может убедить отца, с отчаянием крикнула Валя.

— Он не пара тебе.

— Но почему, почему?!

Кудрявцев медленно провел рукой по лбу, вытирая выступивший пот. Его рука дрожала, и Вале стало очень жалко отца. Она подумала, что готова сделать для него все, все, что угодно, только бы избавить его от страданий!

Все, но только не это. Этого она сделать не может.

— Нам надо что-то решить, Валюша,— услышала она глухой голос отца.— Ты мучаешь и себя и меня. Раньше ты всегда доверяла мне. Неужели ты не можешь разговаривать со мной так же, как раньше?

Валя медленно покачала головой:

— Я разговариваю с тобой, как всегда. Но ты не хочешь меня понять. Все очень просто. Человек, которого я люблю, попал в беду. С ним случилось несчастье. Разве я не обязана помочь ему?

— Хорошо! — Кудрявцев с трудом сохранял самообладание.— Теперь послушай меня. Я старый человек. Конец моей жизни не сладок. Я никогда не говорил с тобой на эту тему, но уверен... ты все понимаешь. У меня есть только ты, моя дочь. Единственный родной человек на свете. Я понимаю: жизнь есть жизнь. Если бы ты полюбила достойного человека и уехала с ним на два или на три года, клянусь, я никогда не помешал бы твоему счастью... Но почему,— продолжал он, стараясь вложить в свои слова всю силу убеждения,— когда я вижу, что ты делаешь ложный, губительный шаг, почему я должен потворствовать тебе? Стоять и спокойно смотреть, как ты уходишь к нему... к этому...— Он махнул рукой.

— Но я люблю его! Понимаешь, люблю! — воскликнула Валя.

— Давай говорить, как разумные люди,— стараясь успокоиться, сказал Кудрявцев.— Хорошо. Допустим, ты действительно любишь его. Но какие у тебя доказательства, что и он любит тебя так же безоглядно? Я готов согласиться, ему лестно, что такая девушка, как ты, проявляет к нему внимание. Лестно, но и только!

Он умолк, с тревожным ожиданием вглядываясь в лицо Вали, стараясь угадать, какое впечатление произвели на нее его слова.

— Мне больно слушать тебя, папа,— сказала Валя.— Мне очень хочется тебя успокоить: я вижу, что причиняю тебе много горя. Но... я люблю его. Тебя, наверное, раздражает, что я все время повторяю одно и то же, но... я просто не могу сказать ничего другого.

— Любят за что-то! Понимаешь, за что-то! — крикнул Кудрявцев.

— Разве? — тихо спросила Валя.— Нет, папа. Ты не прав. Когда любишь, то не думаешь «за что». Любовь не

подсчет человеческих качеств. Не арифметика. Нет, не арифметика,— убежденно повторила она.

— А любовь к отцу,— с горечью воскликнул Кудрявцев,— это арифметика? Почему ты не хочешь понять меня? Если не умом, то хоть сердцем?

Валя молчала.

— Ты знаешь,— решительно произнес Кудрявцев,— я не любитель мелодрам. Но теперь я должен спросить тебя прямо и без лишних слов: я или он?

— Нет,— ответила Валя,— ты не можешь требовать от меня...

— Могу! Все мои доводы исчерпаны! Отвечай!

— Я не могу отказаться от него,— сказала Валя,— не могу предать его... Не могу.

— Тогда у меня нет другого выхода,— теряя остатки самообладания, сказал Кудрявцев.— Я не могу запереть тебя дома, как десятилетнюю девчонку. Не могу контролировать каждый твой шаг. Но пока ты живешь со мной, я запрещаю тебе предпринимать что-либо, связанное с этим Харламовым. Ты меня поняла? Запрещаю! Если ты меня не послушаешься, я приму меры. Понимаешь? Приму меры!

Николай Константинович повернулся, вышел и с шумом захлопнул за собой дверь.

Он остался один в большой комнате, которая когда-то служила спальней ему и его покойной жене. Теперь здесь была и столовая, и его, Кудрявцева, кабинет. Тут же он спал, на просторной, ненужно широкой кровати.

Ему почему-то вспомнилось, как он, стараясь не разбудить жену, тихо и поспешно вставал, когда в соседней комнате начинала плакать маленькая Валя. Взгляд его скользнул по телефону, стоявшему на письменном столе,— теперь он почти всегда молчал, по шахматной доске, покрытой пылью. «Все в прошлом»,— с горечью подумал он.

Все, кроме одного: кроме Вали. Мысль о Вале тотчас причинила ему острую, почти непереносимую боль. Что же делать, как поступить? Никто не может подсказывать ему, как поступить. Никто и ничто. Ни телефон, ни шахматы, ни книги, к которым он теперь так редко прикасался.

«Что же мне делать, что делать?» — мучительно спрашивал себя Кудрявцев.

11. МИТРОХИН

Дверь открылась, и Валя увидела Митрохина. Он был без очков и подслеповато всматривался в позднюю посетительницу, видимо не узнавая ее.

— Это я, Валя. Валя Кудрявцева... Помните? Тогда, на улице, после суда...

Митрохин прищурился и сказал со знакомой веселой усмешкой:

— А-а, Валя! Та самая Валя, которая любит кричать в суде!

— Извините, что так поздно,— смущенно сказала Валя,— но я сегодня уже три раза была у вас. Все не заставала. Вы простите... Адрес еле узнала. В суде не хотели давать...

— Не хотели? — весело переспросил Митрохин.— Конечно, разве можно давать адрес такого руководящего деятеля...— Он поднял руку и чуть повертел ею в воздухе.

— У меня важное дело...

— Почему же мы стоим в дверях? Прошу за мной, Валентина... если не ошибаюсь, Николаевна?

Он пошел в глубь квартиры, шаркая своими туфлями-шлепанцами.

Валя вошла в комнату следом за хозяином. Он уже стоял у письменного стола и торопливо шарил по нему рукой. Затем не спеша надел очки и, глядя на Валю, удовлетворенно сказал:

— Теперь я вижу. Действительно, Валя. Она самая. Может быть, выпьете чаю?

— Нет, нет, что вы! — заторопилась Валя.— Я ненадолго...

Ей хотелось напомнить ему разговор в сквере. Митрохин спрашивал тогда, есть ли у нее какие-нибудь новые факты, а ей нечего было сказать. Теперь у нее есть заявление Васина, и она пришла, чтобы попросить совета...

Но вместо этого Валя поспешно открыла сумочку, вытащила сложенный листок и, протягивая его Митрохину, произнесла одно только слово:

— Вот...

Митрохин взял бумагу и, еще не развернув ее, сказал:

— Может быть, вы все-таки присядете?

Он указал на глубокое кожаное кресло. Валя села, утонув в нем почти с головой. Из глубины кресла она насто-

роженно следила за Митрохиным. Когда он начал читать заявление, его реденькие выцветшие брови приподнялись над оправой очков.

«Почему он так медленно читает?» — думала Валя. Она мельком окинула взглядом комнату. Мягко светила лампа под зеленым абажуром, стоявшая на письменном столе. Стены комнаты оставались в полумраке, но Валя разглядела книжные полки вдоль одной стены и фотографии, развешанные на другой.

— Лю-бо-пытно! — медленно произнес Митрохин и положил бумагу на стол.

Валя надеялась, что он скажет что-нибудь еще, но Митрохин молча стоял у стола, словно забыв о ее присутствии. Валя растерянно глядела на него. Она ждала, что Митрохин будет потрясен, а она скажет ему торжествующе: «Кто был прав? Вы требовали фактов? Вот они, эти факты!»

Но Митрохин молчал.

— Я пришла посоветоваться...— робко начала Валя,— хотела спросить, куда отнести это заявление, кому передать...

Митрохин, казалось, не слышал. Он покачивал головой и чуть шевелил губами.

— Я хотела спросить...— на этот раз уже громче начала Валя, но Митрохин прервал ее:

— Я все слышу, Валентина... Николаевна! Отнести заявление можно и в суд. Но лучше, пожалуй, в городскую прокуратуру. Только... почему это не сделал сам Васин? Каким образом этот любопытный документ попал к вам?

Чуть сощурившись, Митрохин пристально глядел на Валю. Она торопливо рассказала ему обо всем, что случилось в последние дни. Как она пошла к Васину, как неожиданно появилась у нее Катя с этой бумагой в руках...

— Ин-тересно...— задумчиво произнес Митрохин, когда Валя замолчала.— Еще я хотел бы знать, почему вы пошли к Васину? Почему решили, что сможете добиться у него правды?

— Но я получила письмо от Володи! — воскликнула Валя.— Письмо, в котором сказано, что на суде Васин лгал!

— Ах, вот как! Это несколько проясняет дело... Что же там, в этом письме, еще изложено?

— Оно у меня здесь,— быстро ответила Валя, вытаскивая письмо из сумочки. Она протянула его Митро-

хину.— Только в нем много,— спохватилась она,— такого... личного.

— Ничего,— усмехнулся Митрохин.— Я не всегда был стариком, авось пойму правильно.

Он сел за стол лицом к Вале и начал читать. Казалось, он с трудом разбирает написанное.

— Володя неразборчиво пишет,— извиняющимся тоном сказала Валя.— Плохой почерк. И волновался, конечно...

Митрохин продолжал читать молча. Свет падал на его лицо. «Какой он все-таки старый!» — подумала Валя, глядя на изрезанное мелкими морщинами лицо Митрохина.— Наверное, старше папы...»

Наконец Митрохин поднял голову, аккуратно сложил письмо, вложил его в конверт, протянул Вале и сказал:

— Почерк, конечно, мог бы быть разборчивее.— Он немного помолчал и добавил: — Если бы только почерк!..

Валя не сразу поняла смысл его слов. Но, поняв, обиделась за Володю.

— Он писал в тюрьме,— сказала она с упреком.— Может быть, уже через час его отправили...

— Я понимаю. И все же... Скажите, Валя, вам никогда не приходилось читать письма, написанные незадолго до казни? — неожиданно спросил Митрохин.

— Какие письма? — растерянно переспросила Валя, еще не понимая, что он хочет сказать.

— Я имею в виду письма осужденных на смерть коммунистов. Человек должен умереть, жить ему осталось считанные минуты, он уже слышит шаги своих палачей... Его предсмертное письмо чудом попадает на волю. Люди читают это письмо и изумленно спрашивают себя: «Как мог человек в такие минуты сохранить ясность мысли? Почему не дрожала его рука? Почему он писал так, словно собирался жить долгие-долгие годы? Почему?!»

Теперь Митрохин уже не казался Вале стариком. В его глазах появился блеск, и даже морщины как будто разгладились.

— Если человек знает, во имя чего он жил и боролся,— горячо продолжал Митрохин,— его рука не дрожит. Даже когда он пишет предсмертное письмо.

— Вы хотите сказать, Володя не знает, зачем живет?

— Нет, нет,— возразил Митрохин,— не будем делать поспешных выводов. Но я должен был сказать вам то, что сказал. Должен! — строго, почти сурово повторил он.

Валя молчала.

— Предположим, суд ошибся,— уже другим, потеплевшим тоном сказал Митрохин.— Допустим, Володя так странно вел себя во время следствия и на суде, потому что ему нанесли обиду. Тяжелую, незаслуженную обиду. Но ведь он буквально напрашивался на строгое наказание. Что его заставило так себя вести? Он пишет, что ему было противно разоблачать ложь. Он предпочел перенести ее последствия, чем... Словом, вы помните. Но я не понимаю, какую ложь он имеет в виду?

— Вы же читали письмо! — воскликнула Валя.— Все, что Васин говорил на суде,— сплошная ложь. А научил его лгать следователь Пивоваров. Это сказала мне Катя.

— И поэтому ваш Володя покорно пошел в тюрьму?

— Не знаю, как вам объяснить,— разводя руками, сказала Валя.— Это очень трудно. Наверное, вы не понимаете таких ребят, как Володя! Конечно, вы пожилой человек, у вас большой жизненный опыт... Но Володю вы все-таки не понимаете!..

— Почему же? Вы думаете, если я старик...

— Пожалуйста, не обижайтесь! Я хочу только объяснить... Хочу, чтобы вы поняли Володю... Ведь это так просто...

Она на мгновение умолкла, собираясь с мыслями.

— Поймите,— продолжала она, охваченная горячим желанием объяснить Митрохину все, о чем так много думала и о чем не раз говорила с Володей,— все эти годы мы только о том и слышали, какие несправедливости были в прошлое время. А теперь говорят, что с ними навсегда покончено, теперь — все будет по совести. Вот мы и поверили. А в жизни мы видим, что и теперь есть люди, которые лгут в глаза, хитрят, изворачиваются... Теперь, в наше время!..— с горечью воскликнула она.

Митрохин внимательно смотрел на Валю. В том, как он слушал ее, было нечто большее, чем простое любопытство.

— Так...— щуря глаза за толстыми стеклами очков, произнес Митрохин, когда Валя замолчала.— Значит, вы опасаетесь, что я, человек, почти вся жизнь которого прошла в то самое «прошлое время», не в состоянии понять Володю. А я...

— Нет, нет,— поспешно прервала его Валя.— Разве я могу, разве имею право думать о вас плохо! Я вовсе не считаю, что каждый человек, живший в то время...

— Не надо оправдываться,— мягко остановил ее Митрохин.— Любой разговор имеет смысл только тогда, когда ведется начистоту.

Он слегка откинул голову и несколько мгновений молча глядел прямо перед собой.

— Что ж, правда есть правда,— наконец сказал он негромко.— Я действительно причастен к прошлому. В прошлом, теперь уже в далеком прошлом, была революция, и я участвовал в ней. Подвигов не совершил. Зимний не брал. Был простым солдатом... Сколько лет твоему Володе, Валюша? — спросил он, неожиданно переходя на «ты».

— Двадцать три,— ответила Валя.

— А мне тогда еще двадцати двух не было. С фронта вернулся я не в Питер, а сюда, в Зареченск, тут меня в ревком избрали.— Он прошелся по компате, остановился у книжной полки и провел рукой по корешкам.— Потом — гражданская война. И тут без меня не обошлось. Только к тому времени я, можно сказать, офицером стал. Когда Деникина били, ротой командовал. Потом нэп, проходили такое в школе? Стал секретарем укома партии. Ты, может, и слова такого не слышала — «уком»?

Он усмехнулся. Глаза его глядели па Валю с добрым, но грустным выражением.

— Выходит,— продолжал Митрохин,— я и к революции, и к гражданской, и к нэпу отношение имел. Кругом с прошлым связан... Но и это еще не все. Когда коллективизация началась, меня начальником политотдела МТС послали. Недавно один товарищ намекнул мне в разговоре,— прищурившись, но на этот раа с недобрым выражением, сказал Митрохин,— а не зря ли вы тогда всю эту заваруху на селе затеяли? Может, лучше было кулачка-то поберечь, гляди, он сегодня бы и хлебушка подбросил... Что делать! — Он опять усмехнулся.— Виноват! И к этому делу руку приложил... Потом воевал. Как все. После войны в райкоме работал. А теперь пенсионер. Может, хочешь спросить: все ли рассказать изволили, уважаемый Антон Григорьевич? А не приходилось ли вам невиновных людей в тюрьму сажать? Нет, не приходилось. Хотя и за эти дела ответственности с себя не снимаю. Коммунист за все отвечать должен. Так что ты, Валюша, выходит, права. Ко всему, оказывается, старик был причастен...

Он стоял в полумраке, и голос его звучал глухо, как бы издалека.

— Хочешь, я тебе скажу,— снова заговорил Митрохин,— о чем ты сейчас думаешь?..

Он медленно вернулся к своему стулу, сел и, подняв указательный палец, сказал:

— Ты сейчас думаешь: а не приукрашиваю ли я прошлое? Слушаешь меня, а в душе сомневаешься. Как же, мол, так? Кругом только и говорят: «Культ личности, ошибки, преступления, ложь»,— а он твердит: «Революция, коллективизация, война...» Может, хочет убедить, что никакого культа и не было? Был, Валя. К сожалению, был.

Он помолчал и продолжал задумчиво:

— Было и плохое. Очень плохое. Ни на каких весах это не взвесишь. Но главное, Валя, все-таки в другом. Миллионы людей верили, что они строят новый мир, в котором не будет несправедливости, лжи, корысти...

— Я об этом и говорю! — воскликнула Валя.— Это — самое главное! Новый мир! Что же теперь мешает людям быть честными, справедливыми? Как может побеждать неправда в наши дни? Ведь то, что случилось с Володей, могло произойти и в годы культа. В чем же разница?!

— В чем разница? — переспросил Митрохин.— Ты хочешь, чтобы я ответил тебе коротко? Двумя словами? Тебя интересует только твой Володя? Хорошо. Раньше тебя убедили бы, заставили отказаться от него. Забыть. Поверить, что так надо. Раньше Васин не рискнул бы написать это заявление. Раньше Катя не провела бы бессонную ночь, чтобы убедить его сказать правду. Пусть в ущерб себе, но правду.

— Верно,— подхватила Валя,— но почему все-таки и сегодня надо убеждать, страдать, проводить бессонные ночи?

— Потому что нет в мире подлинной правды, которую можно было бы обрести без борьбы. А твой Володя думает, что правда это клад. Копнул раз, другой, не нашел, бросил лопату и скис.

Митрохин улыбнулся и легонько ударил Валю по плечу.

— Ведь скис, согласна? — спросил он.

Его глаза показались Вале в эту минуту такими добрыми, что она не смогла не улыбнуться в ответ. И, улыбнувшись, почувствовала облегчение.

Она поняла, что у Володи есть еще один друг,— этот, в сущности, малознакомый человек, то кажущийся очень

старым, то на глазах молодеющий, то властный и резкий, то грустный и добрый.

— Антон Григорьевич,— подчиняясь внезапному желанию, спросила Валя.— У вас есть дети?

— Дети? — с удивлением переспросил Митрохин.— У меня есть сын. Только он уже далеко не ребенок. Ему почти сорок.

— Он живет с вами?

— Нет,— ответил Митрохин,— он живет в Сибири. Геолог. У него семья. Жена, дочка, сын. Как видите, дети у меня есть. Только они называются внуками,— с улыбкой добавил он.

— Скажите,— настойчиво продолжала спрашивать Валя,— вы всегда дружили с сыном? У вас не было размолвок? Он никогда не причинял вам горя? В юности или когда стал взрослым?

Митрохин покачал головой.

— В одной смешной старой книжке сказано: маленькие дети — маленькие заботы, большие дети — большие заботы...

— Я не о том,— нетерпеливо сказала Валя.— Я хочу знать: вы всегда понимали друг друга? Всегда?

— Как тебе сказать, Валя. Жизнь — сложная штука...

— Бывали в вашей жизни случаи, когда вы считали, что сын должен поступить так, а не иначе, только так, как хотите вы, а он поступал по-своему?

Митрохин медленно встал и повернул выключатель. Под потолком зажглась маленькая люстра. Комната осветилась, и Валя смогла отчетливо разглядеть ее целиком. На стене висело несколько фотографий.

— Поди сюда, Валя. Вот мой сын.

Она поспешно подошла к стене. С одной из фотографий на нее глядел молодой человек в военной форме. У него был пристальный взгляд и прямые стрельчатые брови.

— Сколько ему было тогда? — так же тихо спросила Валя.

— Девятнадцать. Но он уже умел поступать по-своему.

— Расскажите! — попросила Валя.— Мне нужно это знать. Обязательно нужно.

— Хорошо,— согласился Митрохин.— В сущности, это очень простая история. На фронте я командовал батальоном. Сначала пошел в ополчение... Но не в этом суть.

О том, что сын воюет в той же части, я узнал не сразу. Написала жена. Ее уже нет в живых... Увидела на наших конвертах одну и ту же полевую почту.

Он помолчал, потом перевел взгляд с фотографии на Валю.

— Сергей служил в полковой разведке. Это очень опасное дело. Для любого солдата каждый день войны может стать последним. Для разведчика — каждый час, каждая минута. От командира батальона смерть тоже недалеко ходит. Но с тех пор как я узнал, где служит Сергей, я думал только о нем...

Митрохин тяжело вздохнул, снял очки и медленно протер их платком.

— Однажды в наш батальон приехал командующий армией. Генерал-лейтенант. Мы встречались еще во время гражданской. Он остался военным, а я... впрочем, о себе я уже рассказывал... Генерал меня не узнал, а мне не хотелось напоминать ему о нашем знакомстве. Почему? Трудно объяснить. Это могло быть неверно истолковано. Но когда я представился, генерал сразу все вспомнил. Он спросил: «Митрохин Антон?!» Наш батальон стоял тогда во втором эшелоне. Мы пошли в мой блиндаж, вспомнили старое... Он стал расспрашивать меня о том, как я прожил все эти годы, есть ли у меня семья. Я ответил. Сказал о том, что мой сын Сергей служит солдатом в полковой разведке. Просто ответил на вопрос. Без всякой задней мысли. Прошло дней десять. Меня вызывает командир полка. Приказывает доложить обстановку, ставит задачу и потом, как бы невзначай, говорит: «Приказано сообщить, что ваш сын сержант Митрохин откомандирован в штаб армии».

— Вы обрадовались? — спросила Валя.

— Да,— медленно ответил Митрохин,— обрадовался. Пошел в батальон. Все было, как обычно: гудел самолет, доносились разрывы снарядов, по дороге брели раненые с перевязанными головами, в прожженных, грязных шинелях. А мне казалось, что опасности больше нет, смерти нет, потому что Сергей далеко от линии фронта. Но через несколько дней после этого Сережа отыскал меня...— Митрохин замолчал. Он стоял, прислонившись к стене и словно забыв о Вале.

— Вы были счастливы, когда увидели его? — спросила она, чтобы нарушить молчание.

— Да, я был счастлив.

— А он? Тоже?

— Он вошел в мой блиндаж, козырнул, доложил, что получил трехдневный отпуск для свидания с отцом. Я обнял его, засуетился, поставил на стол водку, моченые сухари, масло... Но Сережа ни к чему не притронулся. Только сухо спросил: «Переводом я обязан тебе?» Тогда я понял, что его мучает совесть. Он думал, что это я упросил генерала... Я рассказал все, как было. Он ответил: «Хорошо. Через час я вернусь в штаб армии и потребую возвращения в полк».— «Но ведь есть приказ командарма!» — воскликнул я. «Существует Военный совет,— не глядя на меня, ответил Сережа,— я подам рапорт. Командующий не имел права на основании личного знакомства с отцом...» — «Но это же мальчишество, игра в героизм! — крикнул я.— Кроме того, по уставу ты не имеешь права обращаться в Военный совет! Только по начальству, или... в исключительных случаях...» — «Это и есть исключительный случай»,— прервал меня Сергей. Тогда... тогда я стал уговаривать его. Я понимал, что поступаю неправильно, нечестно. Но все заслоняла страшная мысль, что Сережа завтра же будет снова на шаг от смерти. Я схватил его за плечи, притянул к себе и сказал: «Подумай о матери! Подумай обо мне. Пусть уж только один из нас будет под пулями! Они убьют тебя!» — «Не убьют,— сдавленным голосом произнес Сергей,— но ты... ты можешь меня искалечить. На всю жизнь...» Он ушел, не попрощавшись. Через неделю я получил от него письмо. Уже из полка...

Митрохин замолчал. Валя подняла голову и снова взглянула на портрет Сергея.

— Вы считаете, Сергей был прав? — спросила она, не сомневаясь в ответе.

— Да,— ответил Митрохин,— он был прав. Никто — ни отец, ни мать, ни жена — не имеют права мешать человеку выполнить свой долг. Иначе можно спасти тело, но убить душу. Не только дети должны понимать отцов, но и отцы детей...

Некоторое время они стояли молча.

— Можно мне вас... обнять? — тихо сказала Валя.

Она обняла его и на мгновение прижалась щекой к его морщинистому лицу.

— Вот и все,— сказала Валя. Потом спросила: — Что же мне теперь делать?

— Что делать? — своим обычным голосом, как будто продолжая только что прерванный разговор, переспросил Митрохин.— Разве мы не договорились? Бороться!

— Но как?

— Сейчас я еще не могу на это ответить. Надо подумать. Мы же видимся не в последний раз...

Валя почувствовала, что ей не хочется уходить отсюда, не хочется возвращаться домой. Она подумала об отце и с горечью спросила себя: «Почему? Почему все так происходит? Почему мне так хорошо с этим почти чужим человеком и так трудно с отцом... Почему?..»

— Значит, вы... верите мне? Верите Володе? — спросила она Митрохина.— Вы же его совсем не знаете?

— Да, по правде говоря, маловато,— усмехнулся Митрохин.— Но в школе, где он учился, я все-таки успел побывать.

— В школе? — недоуменно воскликнула Валя.

— Помните, вы сказали, что у него были недоразумения с учителями? Вот я туда и прогулялся. Вспомнил детство...

— Когда же вы успели? И почему ничего не рассказали мне?

— Времени у меня много,— снова усмехнулся Митрохин,— пенсионный возраст! Почему не рассказал вам? Всему свое время, Валюша!

— Спасибо, спасибо! — вскричала Валя, хватая Митрохина за руку.— Теперь я вижу, знаю,— вам не безразлична судьба Володи! Теперь все будет хорошо. Ведь правда, все будет хорошо?! А заявление Васина,— вдруг вспомнила она,— значит, отнести прокурору?

— Можно и прокурору,— как бы в нерешительности произнес Митрохин.— Вот что,— сказал он, подумав немного,— оставьте-ка его мне. Ненадолго.

— Конечно, возьмите,— воскликнула Валя,— вы ведь знаете, что надо делать!

— Бывает, что и не знаю,— тихо сказал Митрохин и добавил: — Но тогда стараюсь понять!

...Валя уже была у двери, когда ей пришла в голову новая мысль. Она поспешно обернулась, едва не столкнувшись с провожавшим ее Митрохиным.

— Я совсем забыла... Может быть, это имеет какое-нибудь значение... Один мой знакомый сказал, что Володя однажды просил помочь ему...

— Да? — настороженно переспросил Митрохин.— В чем именно?

— Я и сама толком не знаю. Да и он, тот человек, не обратил на это внимания... Какой-то спор с администрацией, где Володя работал.

— Значит, ничего толком не знаете,— задумчиво повторил Митрохин.— Ни про следователя, ни про администрацию.

— Как же я могла узнать? Но ведь все это можно выяснить...

— Можно, можно,— все так же задумчиво отозвался Митрохин,— все на свете можно выяснить...

Теперь он окончательно превратился в прежнего Митрохина, к которому Валя уже привыкла.

— Чем же мы в конце концов располагаем? — проговорил Митрохин, как бы спрашивая самого себя.— Есть письмо Володи. Есть заявление Васина. Существует следователь Пивоваров. Что-то у Володи произошло с администрацией. По правде говоря, не густо...

— Что? — не расслышав его последних слов, спросила Валя.

— Вам пора спать, Валюша,— ответил Митрохин.— Утро вечера мудренее...

12. ВСТРЕЧИ

От остановки автобуса на Воронинском шоссе до деревни Колтыши было около пяти километров.

Когда Валя выехала из Зареченска, небо уже хмурилось. А когда она вышла из автобуса, стал накрапывать дождь. Несмотря на ранний час, сразу потемнело.

В городе Вале сказали, что поворот с шоссейной дороги на проселочную, ведущую в Колтыши, всего в нескольких метрах от автобусной остановки. У поворота нужно подождать попутную машину.

Валя осмотрелась. До поворота действительно было рукой подать. Проселочная дорога начиналась на другой стороне шоссе, метрах в десяти от того места, где стояла Валя.

Плащ, который она предусмотрительно захватила с собой, был как нельзя более кстати: она надела его и натянула на голову маленький прорезиненный капюшон.

Дождь усилился. Валя стояла, засунув руки в рукава

плаща, как в муфту, и всматривалась в приближающиеся машины.

Но ни одна из них не замедляла хода. На большой скорости они проносились мимо Вали — и те, что возвращались в город, и те, что шли из города.

Валя подумала, что, может быть, стоит пойти в Колтыши пешком. Пять километров не такое уж большое расстояние. За час-полтора она добралась бы. Но, посмотрев на небо и увидев, как сгущаются тучи, Валя решила всетаки подождать еще.

Наконец один грузовик замедлил ход, и шофер, высунувшись из окна кабины, крикнул:

— В город, что ли? Садись, а то растаешь!

— В Колтыши! — крикнула Валя. Шофер мотнул головой, машина снова набрала скорость и быстро исчезла за пеленой дождя.

Поблизости не было видно ни «грибка», ни «павильона», ни хотя бы навеса, под которым можно было бы укрыться от дождя. В стороне стоял, правда, одноэтажный деревянный домик, но до него было метров двести, не меньше.

Дождь уже хлестал вовсю. Валя наклонила голову, чтобы крупные капли не били в лицо. Теперь, видя приближавшуюся машину, Валя отбегала в сторону, потому что ее уже не раз обдавало с ног до головы грязными брызгами из-под колес.

По правде говоря, ей хотелось перейти на противоположную сторону шоссе, сесть в автобус, вернуться домой и поехать в Колтыши завтра.

«Нет,— сказала она себе,— откладывать нельзя. Это поручение Володи».

Мать того мальчика!.. О встрече с ней Валя не могла думать спокойно. Для нее, для этой женщины, Володя, наверное, был ненавистен; она видела в нем почти убийцу своего сына. Ей нет дела до того, что Валя любит Володю. Факт остается фактом: из-за него чуть не погиб ее сын. При мысли об этом Валю разом оставляла вся ее уверенность.

Но она не могла, не имела права уклониться от этой встречи. Стоя под дождем, на ветру, Валя повторяла себе, что непременно доберется до Колтышей сегодня же! Скоро она почувствовала, что ее туфли промокли, вода проникала уже и за воротник плаща.

Она решила добежать до стоявшего поодаль домика,

переждать дождь, обсохнуть немного и снова выйти на шоссе.

Каблуки вязли в земле, мокрая трава хлестала по ногам. Задыхаясь от бега, дождя и ветра, продрогшая Валя добралась до домика и постучала в закрытую дверь.

На пороге появилась старуха. Не дослушав Валю до конца, она молча потянула ее за руку и ввела в комнату.

Едва перешагнув порог, Валя остановилась в нерешительности. Вода с ее плаща стекала струйками прямо на свежевымытый, гладко выструганный пол. Она попятилась и услышала голос старухи:

— Скидывай пальтишко-то! И туфли скидай...

Валя торопливо расстегнула плащ, старуха помогла ей стянуть намокшую синтетическую ткань. «Тоже, материя называется!» — пробормотала старуха, подняла с полу облепленные грязью туфли с покосившимися каблуками, подтолкнула Валю вперед, а сама вышла.

Ступая босыми ногами по гладкому полу, Валя сделала несколько шагов и остановилась посреди комнаты. Вдоль стен стояли три железные, застланные пестрыми одеялами кровати и маленькая коляска, в которой спал прикрытый кисеей ребенок.

Старуха вернулась в комнату уже без плаща и туфель. Указывая на стул, возле квадратного, покрытого кружевной скатеркой стола, она сказала:

— Садись!

Затем пошарила на печке, бросила Вале огромные валенки и так же коротко приказала:

— Надевай.

Валя молча сунула ноги в валенки и смущенно оглядела себя.

— Не фасонные, зато тепло,— удовлетворенно заметила старуха, пододвинула стоявшую у печки табуретку, села и сказала: — Пальтишко-то твое я на печку повесила. Не растает? Мне зять говорил, теперь такую материю производят, что от тепла тает. Достигли, значит.

— Спасибо,— улыбаясь, сказала Валя и спросила: — Как ваше имя-отчество?

— По имени давно звали,— ответила старуха,— а отчество Петровна. Так и зови, коли хочешь.

Валя взглянула в окно. Дождь, казалось, затихал.

— Я тебе вот что скажу,— наставительно продолжала старуха.— Пообсохнешь малость и давай обратно в город.

Коли ехать по такой погоде, плащ надо брать брезентовый да сапоги надевать.

— Мне сегодня в Колтыши надо,— отозвалась Валя.— Дождь чуть утихнет, я и пойду. Простите за беспокойство, тороплюсь очень.

— Не о том речь,— строго возразила старуха.— По мне хоть до вечера сиди. А торопиться без толку ни к чему. Тут недавно один поторопился, на велосипеде ехал...

— На велосипеде? — настороженно переспросила Валя.

— Ну да, на велосипеде. Обычное дело — велосипед. Только и на ём торопиться без толку нечего. Как его грузовик шибанул...

— Вы... вы сами это видели? — воскликнула Валя.

— Ай не веришь? Ясное дело — сама. У крыльца стояла. Вижу, ктой-то по обочине на велосипеде гонит, аж пригнулся весь. Темнеть начало, и дождь разошелся, еще посильнее, чем сейчас. Парень-то на велосипеде тоже, видать, в колхоз торопился, как ты нынче. Стал сворачивать, а грузовик его и подсек...

— Кто ехал на велосипеде? — едва переводя дыхание, спросила Валя.— Мальчик?

— Может, мужик, а может, и мальчик.

— Как же вы не подошли к нему? Не посмотрели?

— Только мне и смотреть! У меня свой мальчик, внучонок,— старуха махнула рукой в сторону коляски,— почитай, при смерти был. Я и вышла-то за пеленками. Болел Петенька наш, судороги и рвота чуть не каждый час... Еле выходили...

— Дайте, пожалуйста, мой плащ и туфли,— взволнованно сказала Валя и сбросила с ног валенки.

— Сиди, что ты?! — всплеснула руками старуха.— Сохни!

— Пожалуйста,— торопливо повторила Валя,— дайте мои вещи...— Она босиком побежала к двери.

— Да погоди ты! — прикрикнула на нее старуха.— Не шлепай босиком-то! Сейчас принесу, раз тебе не сидится.

Она вышла и через минуту вернулась, протягивая Вале плащ и туфли.

Валя торопливо надела не успевшие высохнуть туфли и накинула теплый, но все еще мокрый плащ.

— Простите меня,— сказала она.— Спасибо. Я очень тороплюсь.

И стремительно выбежала на шоссе.

...Ей сразу указали дом, где жила Анна Матвеевна Саврасова. Это была небольшая изба, с крохотным палисадником. Валя с трудом доковыляла до крыльца: каблук на правой туфле сломался, и она держала его в руке.

Дверь открыла женщина лет пятидесяти.

— Мне нужно видеть Саврасову... Анну Матвеевну,— робко сказала Валя.

— Я и есть Саврасова. Проходите,— ответила женщина. У нее был мягкий, грудной голос.

Прихрамывая, Валя вошла в комнату. У стола сидел пожилой человек в милицейской форме. Увидев Валю, он встал.

Тревога охватила Валю с новой силой. Милицейская форма живо напомнила ей день суда.

Все, что она до сих пор слышала о происшествии на шоссе, выражалось холодными, официальными словами: «совершил наезд», «не принял мер, обеспечивающих безопасность»...

Теперь Валя стояла лицом к лицу с матерью, чей сын так жестоко пострадал по вине Володи.

Нет, Валя никогда полностью не оправдывала Володю. Но мысль о том, что с ним обошлись несправедливо, как бы заслоняла от нее само происшествие. В Колтыши она спешила в надежде убедить Саврасову, что вина Володи не так уж велика...

Под пристальным, настороженным взглядом немолодой женщины ей стало страшно. Она испугалась, что предстоящий разговор может только повредить Володе. Захотелось уйти. Но в эту минуту Саврасова спросила мягко и участливо:

— Вы что же, пешком шли?

— Нет, нет,— торопливо ответила Валя.— Совсем немного. Потом меня попутная машина подвезла. Но я ехала в кузове. В кабине сидела женщина с ребенком...

Валя попыталась продолжить разговор об этом, чтобы отдалить то главное, что ей предстояло сказать, но сделала над собой усилие и громко сказала:

— Я от Володи пришла... От Харламова. Который вашего сына...— Она закусила губу.

— От Харламова? — удивленно переспросил собравшийся было уходить милиционер и остановился уже у самой двери.

— Да, да,— собрав все свои силы, повторила Валя,— он мне велел!

Милиционер вернулся, сел на старое место у стола и произнес с расстановкой:

— Ин-те-рес-но!

— Он велел мне прийти, поговорить с вами...— упавшим голосом сказала Валя.

Саврасова молчала.

— Говорить тут, гражданка, поздно,— строго сказал милиционер,— да и самому бы ему не зазорно было прийти. А не просителей вместо себя посылать.

— Но он не может прийти! — воскликнула Валя.— Его... нет! Он... там!

Слезы потекли по ее мокрому от дождя лицу, она пыталась вытереть их кулаком, в котором все еще был зажат сломанный каблук.

— Подожди, Василий,— сказала Саврасова,— а вы, девушка, успокойтесь. И плащ свой снимите.

Она подошла к Вале и стала расстегивать на ней плащ.

— Если разрешишь, Анна Матвеевна, я, пожалуй, останусь,— все еще недовольным голосом сказал милиционер.— Послушаю, что тут к чему.

Не отвечая ему, Саврасова повесила Валин плащ на никелированную, прибитую к стене вешалку, заставила ее снять туфли.

— Что вы в руке-то держите? — спросила она.

— Каблук...— всхлипывая, ответила Валя.

Саврасова взяла каблук, сокрушенно покачала головой и принесла тапочки.

Потом она усадила Валю на стул, стала у стены, скрестила на груди свои большие, полные руки и негромко сказала:

— Ну, рассказывайте...

— Я... от Харламова,— все еще не в силах успокоиться, глотая слезы, произнесла Валя.— Он мне письмо прислал... оттуда... из тюрьмы. Велел пойти... сказать, что ему... что ему очень жалко... что он... всю жизнь себе этого не простит.

— Не надо за руль садиться, когда не положено, вот что,— назидательно сказал милиционер.

— Вы... вы не знаете! — горячо воскликнула Валя.

— То есть как это я не знаю? Как это я могу не знать, когда все это случилось в мое дежурство? Я, можно ска-

зать, этого Харламова и задержал,— по-прежнему недовольно и не обращая никакого внимания на Валины слезы, сказал милиционер.

— Подожди, Василий Иваныч,— прервала его Саврасова,— не об этом сейчас речь... Что ж тут говорить, девушка,— все так же негромко и не разжимая скрещенных на груди рук, продолжала она после недолгого молчания.— Что было, то было. Слава богу, поправляется мой Дима. Вчера я у него в больнице была. Ходит уже. Скоро выпишут.

— Скоро! — снова вмешался Василий Иванович.— Десять дней между жизнью и смертью находился... Из-за лихача, можно сказать, хулигана...

— Он не хулиган и не лихач! — воскликнула Валя.— Вы... вы не имеете права так говорить!

— Нет, девушка, имеет,— строго сказала Саврасова.— Единственный у меня сын Дима. Тринадцать лет без отца воспитывала. Отец, как с фронта вернулся, три года всего и походил по земле. Ранения имел тяжелые. Ради Димы жила.— Ее скрещенные на груди руки дрогнули.— А тут он чуть жизни не лишился. Не в войну, не от бомбы, не от врага...

— Понимаю...— Валя опустила голову.— Я только хочу, чтобы вы знали... не хулиган он. Я сейчас у одной женщины была... она видела.

— Какая такая женщина? — настороженно спросил Василий Иванович.

— Петровна ее зовут. Она видела... Дождь, говорит, был, скользко...

— Когда скользко, надо ехать со скоростью, обеспечивающей безопасность движения,— официально произнес Василий Иванович.

— А вы кто ему будете? — спросила Саврасова.

— Невеста,— чуть слышно ответила Валя.

— Когда поженитесь, скажите ему...— начал было Василий Иванович, но Валя прервала его:

— Не могу я ему ничего сказать! Осужден он. В колонию. На два года...

— Первая судимость? — деловито осведомился Василий Иванович.

— Что значит первая? — с недоумением переспросила Валя, но тут же воскликнула: — Конечно, первая... Как вы могли подумать!

Наступило молчание.

— Молодой он, Володя-то ваш? — спросила Саврасова.

— Двадцать три года.

— Молодой... а имени своего вы мне так и не назвали.

— Валя.

— Любишь его?.. Что ж, понимаю. Когда любишь, все прощаешь,— с печалью в голосе сказала Саврасова.

— Нет,— покачала головой Валя,— я не прощаю. Не прощаю, но люблю.

— Что ж, и так бывает,— согласилась Саврасова. Она помолчала немного, потом подошла к Вале и легонько погладила ее по мокрым от дождя волосам.— Выйдешь замуж, Валя,— сказала она своим низким, грудным голосом,— ребенка родишь, поймешь, что значит, когда единственный... Ты, может, думаешь, у него,— она кивнула в сторону милиционера,— сердца нет, пуговицы одни на груди блестят? Нет, милая, у Василия Иваныча Толкунова характер дотошный. Кому по хозяйству поможет, такой, скажем, как я, а кого и к порядку призовет. Он поступок к человеку примеряет, к характеру. Ему человека знать нужно, понимаешь, человека! Ты мои слова понимаешь?

— Конечно, понимаю,— подхватила Валя,— я все время говорю об этом! Именно человека... Если бы Володя шел в это время по шоссе, он бы под колеса машины бросился, чтобы вашего сына спасти! Вы не знаете, что за человек Володя! Все это случайность, страшная, но случайность... Он ведь тоже нелегкую жизнь прожил,— все больше волнуясь, продолжала она,— без отца-матери, в детском доме воспитывался...

— Нелегкая жизнь тут ни при чем,— возразил Толкунов.— У нас весь народ трудную жизнь прошел. Что же, значит, получается? Никто за свои поступки отвечать не должен? Не троньте меня, я без отца-матери рос? Так, что ли, выходит?

— Нет, нет, вы меня не поняли! Я только хотела сказать, что Володя не такой, как вы думаете...

— А зачем руль взял? — прервал ее Толкунов.

— Это я только два дня назад узнала. Он товарища выручал, того, второго, Васина. Выпил он немного, этот Васин, на радостях, они с Катей в загсе были...

— Погоди, погоди,— снова прервал ее Толкунов,— я того, второго, помню, Васин его фамилия, верно. Только пьяным он мне не показался.

— Он пива выпил, понимаете, чуть-чуть. Володя заметил это уже в пути. И сказал ему: «Нельзя тебе вести машину, еще попадешься накануне свадьбы, дай я поведу...»

— Так ведь ему в ГАИ наверняка экспертизу сделали,— сказал Толкунов.

— Не знаю...

— Сколько же этому Васину дали?

— На свободе он. У него из зарплаты вычитать будут. А Володю — в колонию... на два года...

— Выходит, этот Васин нетрезвый был? — недоверчиво переспросил Толкунов.

— Об этом и не знал никто. Володя никому не сказал!

— Да при чем тут ваш Володя? — повысив голос, снова спросил Толкунов.— Экспертиза была?

— Не знаю. На суде об этом ничего не говорили. А Васин на суде даже неправду сказал. Будто Володя его про удар не спрашивал.

— Про который удар?

— Ну, про этот, наезд, как вы называете... А потом Катя заставила его правду сказать. Оказывается, Володя спрашивал его. Понимаете, спрашивал!

— Чего теперь выяснять...— начала было Саврасова, но Толкунов властно прервал ее:

— Погоди, Матвеевна. Тут что-то не так. Когда я этих ребят на месте опрашивал, мне Харламов ясно сказал: удар слышал, но решил, что это камень. А Васину показалось, что тумбу задели.

— У следователя и в суде Васин заявил, что никакого удара не слышал и что Володя его ни о чем не спрашивал! — сказала Валя.

— У следователя? — недоуменно переспросил Толкунов.— Следователь тоже был на шоссе, когда Васин все это показывал!

— Не знаю,— беспомощно произнесла Валя,— ничего не могу понять. Все перемешалось. Сначала одно, потом другое... Не могу разобраться... А Володя в тюрьме.

— Из тюрьмы люди тоже выходят,— невозмутимо заметил Толкунов.

Он сосредоточенно помолчал, потом спросил:

— Вы сказали, что какая-то женщина видела наезд?

— Ее Петровной зовут,— ответила Валя.— Имени и фамилии я не знаю. Она живет у дороги. Почти напротив поворота на Колтыши.

— Так, так...— задумчиво проговорил Толкунов.

Некоторое время все молчали.

— Пожалуй, я пойду,— сказала Валя, поднимаясь.— Дождь, кажется, перестал. Если можете, пожалуйста, простите его,— обратилась она к Саврасовой.— Он мне одно-единственное письмо написал. Когда еще в тюрьме находился. Были бы деньги, послал бы... На лечение. Только, говорит, знаю, сердце матери деньгами не утешишь. Очень просит простить его. А теперь и я прошу вместе с ним.

— Полно,— решительно произнесла Саврасова.— Напиши своему Володе, что зла у меня на него нету... Если и было,— добавила она,— то теперь нету. И чтобы ты мучилась, не хочу. Одно горе другим не залечишь.

— Я, девушка, как вы пришли, не то подумал,— потеплевшим голосом сказал Толкунов.— Бывает и так, что человек нашкодит, а потом кого-нибудь заместо себя подсылает. Вы, дескать, простите и на суде против не показывайте, а я вас за это отблагодарю...

— Что вы!..— возмущенно воскликнула Валя.

— Бывает! — настойчиво повторил Толкунов и добавил уже совсем другим тоном: — У меня, Валя, служба такая... Больше с плохими людьми сталкивает, чем с хорошими...

Он подошел к порогу, где лежали Валины туфли, и сокрушенно покачал головой:

— Анна Матвеевна, дай-ка молоток. И гвозди помельче...

13. ПИВОВАРОВ

Следователю районного отдела милиции Алексею Михайловичу Пивоварову было около пятидесяти лет.

Он родился и вырос в Москве.

Его отец был юристом. Алексей еще со школьной скамьи тоже мечтал стать юристом, но только не «ЧКЗ», то есть не членом коллегии защитников, как в те годы сокращенно называли адвокатов, а судьей, следователем или прокурором.

В детстве Алеша Пивоваров относился к «ЧКЗ» весьма иронически. Он привык считать, что прокурор или следователь являлись как бы доверенными людьми государства, олицетворяли собою государственную власть. А «ЧКЗ» были людьми «свободной профессии» и представляли со-

бой нечто среднее между нэпманами, кустарями-одиночками и государственными служащими. Судьи, следователи и прокуроры как бы сжимали своими сильными и верными руками меч пролетарской диктатуры. Они выражали интересы государства, которые были превыше всего. «ЧКЗ» защищали интересы тех, против кого этот меч был направлен, да к тому же за деньги.

Отец Алеши Пивоварова был «ЧКЗ». Еще школьником Алеша наслушался его рассказов о том, с каким пренебрежением относятся многие судьи и прокуроры к защитникам. Положение, в котором находился его отец, рисовалось Алеше унизительным, а роль суда и прокуратуры казалась ему почетной.

Во всем этом Алеша не видел ничего ненормального. Он жалел отца, но не сочувствовал ему. В конце концов никто не заставлял его стать «ЧКЗ». Имея юридическое образование и будучи членом партии, отец мог бы работать прокурором или следователем, быть уважаемым членом общества.

Вместо этого Пивоваров-старший, как казалось сыну, предпочел жить на деньги, которые платили в коллегию защитников разные жулики, взяточники, летуны, кулаки, их попавшие в беду сынки и прочая нечисть. Чего же было удивляться, если судья, со всем вниманием выслушав представителя государства — прокурора, непочтительно обрывал «ЧКЗ», пытавшегося всеми правдами и неправдами спасти какого-нибудь прохвоста от заслуженного наказания?

Когда Пивоваров, вернувшись из суда, с горечью рассказывал жене об очередных испытанных им унижениях, Алеша поражался, как отец не понимает таких элементарных вещей.

По тогдашней моде отец ходил в толстовке, подпоясанной узким ремешком, в то время как прокуроры, следователи и другие ответственные люди носили гимнастерки и сапоги или темные косоворотки под пиджаками.

Что заставило его стать «ЧКЗ»? Деньги? Алексей знал, что многие коллеги его отца зарабатывали неплохо. Но семья Пивоваровых всегда нуждалась.

Как-то, будучи уже в последнем классе школы-девятилетки, Алеша сказал отцу в ответ на его обычные жалобы:

— Не понимаю, папа, что тебя удивляет. Судья, следователь и прокурор защищают интересы нашего государ-

ства. А ты заботишься об интересах частного лица. Того самого, которое нанесло государству вред. С одной стороны — государство и те, кому доверено охранять его интересы, с другой — вредитель или какой-нибудь прохвост и его защитник, то есть ты. На чьей же стороне должны быть симпатии общества?

Пивоваров-старший внимательно посмотрел на сына и сказал:

— Ты, кажется, собираешься стать юристом?

— Разумеется,— ответил Алеша,— только, конечно, не «ЧКЗ». Откровенно говоря, я не понимаю, почему ты избрал именно эту профессию.

— Ты хотел бы, чтобы я был следователем? — спросил отец.

— Сейчас об этом поздно говорить, но в свое время...

— В свое время я был следователем,— тихо сказал Пивоваров.

— Ты?! — удивленно воскликнул Алексей.— Не может быть. Ты никогда не рассказывал об этом.

— Мне нечем было хвалиться,— все так же негромко продолжал отец.— К тому же с тех пор прошло много лет. Это было в двадцатом году. Я работал тогда в ЧК.

— В ЧК?! — недоверчиво переспросил Алеша.— Ты — в ЧК?! Это на тебя так не похоже! Почему же ты ушел оттуда?

— Меня уволили,— коротко ответил отец.

«Конечно,— подумал про себя Алеша,— иначе и быть не могло. Разве отец, этот интеллигент в толстовке, типичный счетовод или завканц по виду, разве он способен быть настоящим чекистом? Суровым, замкнутым сотрудником «органов»?»

На минуту Алексей вообразил себя сыном чекиста и преисполнился гордостью. Но это длилось всего мгновение.

— Могу себе представить,— желчно сказал он.— Наверное, ты по доброте душевной отпустил какого-нибудь контрика? Человека надо было расстрелять, а ты его отпустил. Так?

— Нет,— ответил отец,— я его расстрелял.

— Ты?!

Отец посмотрел сыну в глаза и ответил вопросом на вопрос:

— Тебе трудно представить, что из ЧК могли уволить за слишком жестокий приговор? — Он помолчал немного

и добавил: — Незадолго до того, как утвердить этот приговор, я получил письмо. Человек, который близко знал осужденного, пытался убедить меня, что вина его не так велика, просил вызвать для разговора... Я написал на письме резолюцию...

— Какую? — нетерпеливо спросил Алексей.

— «Обойдемся без адвокатов»,— тихо ответил отец.

Они помолчали.

— Ну, а потом?

— Потом его расстреляли. Между прочим, автором письма был юрист. Адвокат царского времени. Мне казалось диким считаться с мнением такого человека. Несколько недель спустя этот адвокат добился встречи с Дзержинским и сумел ему доказать... Но было уже поздно. Мертвые не воскресают. Мне объявили строгий выговор по партийной линии и уволили...

Алеша молча пожал плечами. Нет, отец ни в чем его не убедил. Подумать только: двадцатый год — гражданская война, интервенция, все это Алексей проходил в школе, читал в книгах, видел в кино. Допустим, произошла ошибка. Но ведь тот человек все же был виновен! И что вообще значит один человек, когда решается вопрос «кто кого»? Не может быть, чтобы отца уволили только потому, что он проявил бдительность. Что-то здесь не так. Кроме того, какое отношение имеет этот единичный факт к главной теме разговора? Спроси первого встречного: кем важнее, кем почетнее быть в наше время — «ЧКЗ» или прокурором? Каждый человек, если он не классовый враг, ответит, не раздумывая ни минуты. Примерно все это и сказал Алексей отцу.

Пивоваров-старший помолчал, потом покачал головой и проговорил:

— Многие хотят обвинять. Судить, расследовать, наказывать человека... А кто же будет его защищать?

— Государство само в состоянии разобраться, кто виноват и кто нет,— убежденно ответил Алеша.

— Все это не так просто, Алеша... — как бы про себя сказал Пивоваров.— Нет, нет, совсем не так просто...

Алексей пожал плечами. Отец ничего не смог ответить по существу и ограничился общими, расплывчатыми словами. Это лишь подтверждало, что он, Алеша, был прав.

— Я бы хотел, чтобы ты стал защитником,— неожиданно сказал отец, когда Алексею казалось, что разговор

уже закончен.— Правда, сейчас им быть нелегко... Заработок невелик, ты можешь судить об этом по тому, как мы живем. Прокурор, судья, следователь... да, это, конечно, очень почетно... Но послушай,— с едва уловимой улыбкой сказал он,— ведь при коммунизме не будет государства, по крайней мере такого, как мы представляем его себе сейчас. И прокуроров не будет...

Алеше показалось, что отец просто смеется над ним, считает его мальчишкой.

Он ответил сухо:

— К коммунизму государство приходит через свое укрепление, это мы еще в восьмом классе проходили.

— Укрепление... — задумчиво повторил отец,— конечно, конечно... Но как понимать смысл этого слова?.. — Он помолчал немного.— «ЧКЗ» — это, конечно, плохо. Что-то похожее на насекомое... или на обезьяну. Но защитник...

Он умолк, так и не закончив свою мысль.

...Член коллегии защитников Пивоваров умер за месяц до того, как Алеша окончил школу. На похороны пришло много незнакомых людей.

— Кто они? — шепотом спросил Алеша у матери, стоя возле гроба, в котором лежал отец все в той же, обычной своей толстовке, подпоясанной узким ремешком.

— Наверное, он защищал их... — сквозь слезы прошептала мать.

Алеша обвел глазами собравшихся. Так. Значит, большинство из них — сомнительные люди, которых отец спас от тюрьмы. Конечно, он был добрый человек, этого отрицать нельзя. Но что такое доброта в период классовой борьбы? Нет, он, Алеша, предпочел бы, чтобы отца провожали с военным оркестром и с венками от государственных и партийных организаций и чтобы речи у его гроба произносили люди с ромбами в петлицах.

В юридический институт Алексей не попал, срезавшись на экзамене. В армию его не взяли из-за ярко выраженного плоскостопия. Он был вынужден поступить на работу. На руках у него была больная мать и никаких средств к существованию, кроме небольшой пенсии.

В то время Алексей еще не расстался со своей мечтой стать прокурором или следователем. Когда один из старых знакомых отца предложил ему поступить на работу в суд, правда, только в качестве судебного исполнителя, Алексей охотно согласился. Он завел себе гимнастерку и сапо-

ги — в те годы полувоенный костюм носили почти все ответственные работники — и проникся ощущением своей причастности к той категории людей, войти в которую мечтал с детства.

Работа у Алексея была неинтересная. Первое время он упивался своей, казалось бы, непререкаемой властью. Особое удовольствие он испытывал, когда ему поручали произвести опись имущества по какому-нибудь гражданскому иску или в семье осужденного.

Он разговаривал с людьми с выражением холодной отрешенности на лице, спокойным, монотонным голосом, что, по его убеждению, отличало оперативного работника от простых смертных.

Но вскоре эта игра наскучила Алексею. Надо было зарабатывать деньги. Разбитая параличом мать нуждалась в повседневном уходе, надо было платить сиделке, стоять в очередях, вместо того чтобы готовиться к экзаменам. На следующий год он уже и не пытался поступить в институт.

Когда началась война, Алексей как «белобилетник» не был мобилизован. Они с матерью эвакуировались в далекий сибирский город. Мать умерла в 1943 году. Алексей остался один. Он и здесь работал судебным исполнителем, но уже давно относился к своей работе как к неинтересному, нудному занятию, не имеющему ничего общего с его юношеской жестокоромантической мечтой.

Алексей оказался человеком малоспособным, безынициативным. К тому же у него не было специального юридического образования, а значит, и никаких шансов сколько-нибудь серьезно продвинуться по службе. Вернувшись после эвакуации в Москву, он продолжал тянуть лямку полутехнического судейского работника.

Мало-помалу Алексей свыкся со своей судьбой. Он уже не завидовал, как раньше, молодым судьям, следователям и прокурорам, которые прямо с институтской скамьи, «играючи» обретали ту таинственную, непререкаемую власть над людскими судьбами, что так его привлекала.

Личная жизнь Алексея тоже не удалась. В тридцать пять лет он женился, но после полутора лет совместной жизни жена бросила его. Комнату на Красной Пресне удалось обменять на две,— жена добилась этого через суд. Теперь Алексей поселился в каморке да еще очень далеко от центра.

И все же в жизни Алексея произошел перелом. Это случилось в шестидесятом году. Ему уже перевалило за сорок, и он женился второй раз.

Лина была на десять лет моложе его. Она оказалась на редкость энергичной, предприимчивой женщиной и с первых же дней начала атаку на своего опустившегося мужа. Она сказала ему, что нелепо жить в комнате-клетушке, когда в городе идет такое жилищное строительство и сотни людей ежедневно въезжают в новые дома. Кроме того, стыдно ему, еще не старому человеку, прозябать на должности судебного исполнителя.

Лина приехала в Москву из провинции несколько лет назад, выйдя замуж, как ей казалось, удачно. Правда, пришлось поселиться в одной комнате не только с мужем, но с его незамужней сестрой и матерью, но она хорошо знала, что это «временные трудности». Через год-два муж — инженер крупного завода — обязательно должен был, по ее расчетам, получить отдельную квартиру.

Но брак оказался неудачным. Муж влюбился в другую женщину и потребовал развода.

Лина поняла, что бороться бессмысленно. Она оказалась в безвыходном положении. Разменять комнату, в которой, кроме нее, жили еще три человека, было невозможно. В этом она убедилась, несколько раз побывав в суде и поговорив с судьей и адвокатом. Там, в суде, она познакомилась с Алексеем Пивоваровым. Вскоре они поженились.

— Кто же даст мне новую квартиру? — недоуменно спрашивал Алексей, когда Лина возобновляла свои атаки.— На очереди стоят прокуроры, следователи, судьи... Смешно даже обращаться. Кто я такой? Судебный исполнитель...

— Почему бы тебе не стать следователем? — говорила Лина.

Алексей усмехался почти без горечи.

— Для этого нужно специальное образование. У меня его нет.

— Почему ты его не получил?

Алексей снова усмехался и пожимал плечами. Но Лина была настойчива. Тогда он рассказал ей о своем отце, о мечте детства и юности, о том, как срезался на экзамене и как завертела его потом жизнь.

Как-то за вечерним чаем Лина сказала Алексею:

— Послушай, я все продумала. Знаешь, почему ты не стал ни прокурором, ни следователем? Экзамены в институте, больная мать—это все пустяки. Тебе мешал культ личности. Понимаешь? Ты человек честный, веришь в законы, разве такого пустили бы тогда в следователи? Да ты и сам не хотел. Как это теперь говорят?.. Этические нормы. Ясно? У тебя были этические нормы. Из-за них ты и не хотел тогда работать ни следователем, ни прокурором. Не хотел нарушать законность. Стать же адвокатом у тебя не было желания. Кстати, я не уверена, что сегодня быть адвокатом менее выгодно, чем прокурором. Но об этом нечего говорить. Адвокату необходимо высшее образование. Тут ничего не попишешь. А вот на какие-нибудь курсы для практических работников юстиции ты мог бы поступить. Это заняло бы всего один или два года, понимаешь?

Сначала Алексей попросту отмахнулся от этих несбыточных планов. Но Лина уже достаточно изучила характер своего нового мужа и не ждала, что он быстро примет решение. Разговор о перспективах, которые откроются перед Алексеем, если он сделает над собой усилие и окончит курсы, возобновлялся почти каждый день. Когда Лине показалось, что ее муж уже почти «созрел», она предприняла заключительную атаку. В мягкой и тактичной форме она дала понять Алексею, что продолжение их брака возможно лишь в том случае, если он «станет человеком» и использует те возможности, которые для него не потеряны еще и теперь.

Так случилось, что Алексей Пивоваров поступил, правда не без труда, в двухгодичную милицейскую школу, с еще большим трудом, нелюбимый товарищами, окончил ее и получил назначение следователем в Зареченск, в районный отдел милиции.

Узнав о предстоящем отъезде, Пивоваров испугался. А как же Лина? Согласится ли она уехать из Москвы в далекую Зареченскую область?

Но Лина и на этот раз проявила мудрость. Пока он, разумеется, отправится в Зареченск один, но как только получит квартиру — нет сомнения, что вновь назначенный следователь, присланный из Москвы, очень скоро получит ее,— Лина без промедления к нему приедет.

В первый раз за долгие-долгие годы Пивоваров воспрянул духом. Он почувствовал, что и впрямь во второй раз

родился. Мечта, которая была путеводной звездой его юности, осуществлялась. На пятом десятке Пивоваров ощутил необыкновенный прилив сил, поверил в себя. Может быть, это даже неплохо, думал он, поселиться в Зареченске. В Москве работают сотни следователей. Все с высшим образованием. В далеком городе следователь — фигура. Пройдет время, и он станет прокурором или судьей, то есть одним из первых людей в районе. Жаль, что он беспартийный. Но что ему, черт побери, мешает вступить в партию? Почему не вступил до сих пор? На это не так уж трудно будет ответить. Теперь, когда разоблачен культ личности и с нарушениями социалистической законности навсегда покончено, он, в некотором роде молодой еще работник следственных органов, не может стоять вне рядов партии...

Летом 1963 года Алексей Михайлович Пивоваров появился в Зареченске...

14. ТОЛКУНОВ

Пятнадцатого августа 1964 года вечером постовой милиционер Василий Толкунов дежурил на сорок третьем километре Воронинского шоссе. Он сидел в деревянной будке и при свете запылившейся лампочки читал растрепанный номер «Роман-газеты» с повестью Павла Нилина «Жестокость».

На всем отрезке шоссе, проходившем по району, этот пост был самым бойким местом. Во-первых, потому, что шоссе пересекалось здесь проселочной дорогой, ведущей к двум наиболее крупным колхозам области. Во-вторых, из-за железнодорожного переезда. Шлагбаум опускался и поднимался здесь вручную, и шоферы, всегда торопившиеся куда-то, обычно приставали к дежурной с просьбами пропустить их за минуту до прохода поезда.

Толкунов не раз уже просил установить здесь пост Государственной автодорожной инспекции.

Начальство пересылало его рапорты в районный отдел милиции. На этом дело и кончалось. Штатной единицы у автоинспекции не было.

Итак, 15 августа в восьмом часу вечера Толкунов загнул прочитанную страницу, отложил «Роман-газету» и вышел из своей деревянной будки. Честно говоря, поки-

дать ее не хотелось, потому что лил дождь. Но выйти было нужно. У переезда, перед шлагбаумом, скопилось много грузовиков. Только что прошел пригородный поезд, а через три с половиной минуты должен был проследовать дальний. Поднимать шлагбаум по инструкции не разрешалось. Но шоферы, не стесняясь в выражениях, требовали, чтобы дежурная немедленно их пропустила. Нужно было малость поубавить у них пылу.

Толкунов накинул на плечи плащ, низко надвинул на лоб фуражку, чтобы дождь не хлестал в глаза, и стал прохаживаться между грузовиками, уверенный, что одно его появление заставит крикунов успокоиться.

Многие шоферы хорошо знали Толкунова. Это был неторопливый с виду, но быстрый и ловкий, когда того требовали обстоятельства, человек. На сорок третьем километре Толкунов дежурил уже много лет, чуть ли не с тех самых пор, когда вскоре после конца войны демобилизовался и начал службу в милиции.

Колхозники тоже хорошо знали и любили Толкунова. Как бы олицетворяя здесь справедливость во всех ее ипостасях, он нередко выступал одновременно в роли судьи, прокурора и исполнителя закона.

Судьей и прокурором он был, разумеется, неофициально. Но когда требовалось разрубить какой-нибудь запутанный узел, люди шли прежде всего именно к нему. Называли его просто «старшина».

В чем заключалась сила влияния Толкунова? В том ли, что человек он был уже немолодой, фронтовик, с двумя орденами Славы? В том ли, что после смерти жены жил один, воспитывая десятилетнего сына, не пил и в свободное от службы время охотно помогал людям по хозяйству? Или, может быть, в особом, свойственном ему чувстве справедливости? Так или иначе, Толкунова любили и слегка побаивались. Вздумай он переехать куда-нибудь,— наверное, постарались бы его задержать.

К шоферам Толкунов относился, в общем, дружелюбно. Он знал, что в большинстве своем это отчаянные ребята, за которыми нужен глаз да глаз, но в то же время понимал, что труд у них нелегкий. Воронинское шоссе было единственной асфальтированной дорогой в районе. Почти все свое рабочее время шоферы проводили на грунтовых или проселочных дорогах, весной и осенью — в непролазной грязи, зимой — в снежных заносах.

Шоферы нравились Толкунову еще и потому, что не лезли за словом в карман. Он охотно болтал с ними, одергивая, однако, зубоскалов, ибо власть есть власть, и забывать об этом не положено никому.

Прохаживаясь между грузовиками, Толкунов и сегодня шутил со знакомыми шоферами. Многие из них первыми приветствовали его, высовываясь из кабин.

Возле одной машины Толкунов невольно задержался, увидев вмятину на правом крыле.

Это был ГАЗ-51 со свежепокрашенным кузовом, на котором пузырились капельки дождя. Шофер, незнакомый Толкунову парень, молча курил. Рядом с ним в кабине сидел пассажир, тоже молодой, в черной курткеспецовке.

Толкунов отметил, что водитель этой машины не принимал участия в общем галдеже, а спокойно ждал, пока поднимется шлагбаум.

Мысленно Толкунов одобрил и то, что парень был не в грязной, замасленной спецовке, как шоферы грузовых машин, а в пиджаке и с галстуком. Однако вмятина на крыле говорила не в его пользу.

— Бьете машины, черти! — сказал Толкунов в полуоткрытое окно кабины.

— Вмятина, что ли? — добродушно отозвался пассажир.— К столбу, наверное, слегка прижались.

— При-жались,— ворчливо повторил Толкунов,— что тебе столб — девка? — И строго добавил: — Выправить надо.

Он махнул рукой и уже хотел отойти, как вдруг заметил, что у машины не только помято правое крыло, но и разбит правый подфарник.

«Соврал, сукин сын, что слегка...— подумал Толкунов.— Ничего, приедет на базу, ему за этот подфарник...»

Послышался шум поезда. Шоферы включили моторы. Машины стали подтягиваться ближе к переезду. Каждый норовил вырваться первым, как только откроется шлагбаум.

Через минуту с грохотом, на большой скорости, мелькнув ярко освещенными окнами, промчался поезд. Шлагбаум поднялся. Сигналя и не уступая друг другу дорогу, машины устремились к переезду. «Вот так и бьют крылья,— подумал Толкунов.— Тут не только крыло или подфарник, весь кузов вдребезги расколотят».

Когда последний из стоявших в очереди грузовиков проехал под красным фонариком поднятого шлагбаума, Толкунов увидел еще одну грузовую машину, мчавшуюся к переезду со стороны города. Шофер ехал, включив дальний свет, ослеплявший встречные машины. Толкунов, настроение которого уже испортилось, решил проучить нахала. Он встал посреди шоссе. Шофер конечно же не мог не видеть его. Все же он не переключил свет на ближний, что сделал бы любой водитель при виде милиционера. Это окончательно разозлило Толкунова. Он энергично поднял руку, но еще раньше услышал резкий визг тормозов. Шофер высунулся из кабины и крикнул:

— Товарищ начальник, там человека сбили!

Толкунов мгновенно вскочил на подножку машины.

— Где? Кого?

— Не знаю,— торопливо ответил шофер.— На шоссе человек лежит. И велосипед рядом. В километре отсюда. Я машину гнал. Знаю, тут где-то пост должен быть...

— Вперед! — крикнул Толкунов, оставаясь на подножке и лишь крепче держась рукой за раму открытого окна.— Газуй!

— Так обратно же ехать надо,— недоуменно начал было шофер, но Толкунов снова крикнул:

— Вперед, говорю!

Пятнадцатого августа 1964 года в девятом часу вечера у дежурного Госавтоинспекции Калининского района зазвонил телефон.

Дежурный снял трубку, дунул в нее, убедился, что телефон исправен, и лишь затем произнес привычную фразу:

— Дежурный ГАИ Калининского района капитан Евстигнеев слушает...

Взволнованный сиплый голос торопливо сообщил, что на сорок втором километре Воронинского шоссе сбит велосипедист. Пострадавший доставлен в больницу. На месте происшествия находится постовой милиционер. Он велел позвонить в ГАИ и сказать...

— Погодите,— строго прервал Евстигнеев,— давайте по порядку. Кто у телефона?

— Шофер это, шофер! — раздалось в ответ.

— Какой шофер? Это вы совершили наезд?

— Что вы, что вы, товарищ начальник! Мое дело —

сторона. Я мимо ехал. Меня старшина остановил. Говорит, забирай пострадавшего и срочно в больницу. Оттуда позвони в ГАИ, чтобы выезжали. Вот я...

— Вы откуда звоните?

— Да из больницы же, из больницы!

— Рядом с вами есть кто-нибудь из медицинского персонала?

— Сестра.

— Передайте ей трубку. А сами ждите. Ясно?

— Да мне ехать надо! Правду говорят шофера: никогда в такие дела не ввязывайся! Потом сам виноват будешь... Я же приказание выполнял, хотел сделать как лучше...

— Перестаньте паниковать. Передайте трубку сестре.

Тонкий девичий голос подтвердил, что в больницу на легковой машине доставлен находящийся в шоковом состоянии подросток лет шестнадцати. Сейчас его осматривает дежурный хирург.

— Вы записали номер машины и фамилию шофера, который доставил потерпевшего? — спросил капитан Евстигнеев.

— Конечно! — поспешно и, как показалось Евстигнееву, даже весело ответил девичий голос.— Мы порядки знаем!

— Отлично. Передайте трубку шоферу.

— Слушаю вас, товарищ начальник.

— Повторите, где произошел наезд.

— Я же говорю: по Воронинскому, на сорок втором! С километр не доезжая до переезда... Там и грузовик стоит задержанный! ГАЗ-51. Больше я ничего не знаю. Мне старшина приказал!..

— Ясно. Вы все сделали правильно. Можете быть свободны.

— Значит, могу ехать? — облегченно, но еще с недоверием в голосе спросил шофер.

— Можете. Благодарю за содействие.

Капитан Евстигнеев повесил трубку. Записав все, что рассказал шофер, в книгу происшествий, он пошел в соседнюю комнату.

Здесь было темно. Евстигнеев повернул выключатель. Висевшая на шнуре тусклая лампа осветила несколько канцелярских столов, несгораемый шкаф, прикрытое решеткой окно и кушетку, на которой спал человек.

15. СОРОК ВТОРОЙ КИЛОМЕТР

— Подъем, Пивоваров! — негромко сказал Евстигнеев.

— Москва? — поспешно и с надеждой в голосе спросил Пивоваров, вскакивая. Он ждал телефонного звонка. Ему должна была позвонить Лина. В Москве у них не было домашнего телефона, Лина обычно звонила с переговорного пункта. Накануне он послал ей телеграмму с просьбой позвонить сегодня вечером — ему предстояло дежурить до двенадцати ночи.

— Что, Москва? — усмехнулся Евстигнеев.— Москва далеко. Собирайся. Едем на происшествие.

— Куда? — недовольно спросил Пивоваров.

— На Воронинское. Сорок второй километр. Наезд. Я иду за машиной.

Пивоваров посмотрел на часы. Половина девятого. Почему не звонит Лина? Вечно ему не везет. Она позвонит именно тогда, когда он будет на Воронинском шоссе.

Раздался автомобильный гудок.

— Успеется,— пробурчал Пивоваров и стал складывать в папку бланки протоколов. Потом тряхнул вечную ручку, убедился, что чернила в ней есть, надел брезентовый плащ, сунул в карман электрический фонарик, в другой — рулетку, чтобы измерить тормозной след, и вышел на улицу.

Машина ГАЗ-69, опоясанная красной полосой с синей надписью «Милиция», ждала у подъезда. За рулем сидел сержант. Евстигнеев расположился на заднем сиденье. Как только следователь появился, сержант включил мотор. Пивоваров тяжело опустился рядом с шофером, и машина тронулась.

Некоторое время ехали молча. Потом Евстигнеев спросил:

— Звонка, что ли, ждал из Москвы?

— Угу,— пробурчал Пивоваров.

— Жена?

— Угу.

— Небось насчет квартиры?

Пивоваров ничего не ответил.

Все в районном отделе милиции знали, что присланный из Москвы следователь добивается квартиры, а пока занимает маленькую комнатку в гостинице. Пивоваров начал свои хлопоты год назад, на следующий день после приезда. Ему сказали: «Придется подождать». Здесь, как и в

любом другом месте, жилья не хватало. Но новый следователь с каждым днем становился все настойчивее. Все чаще и чаще он совершал рейды по маршруту: начальник райотдела милиции — председатель райсовета — секретарь райкома. В областное управление охраны общественного порядка он отправил уже два письма с жалобами на невнимание к новым кадрам.

В последнее время к его аргументам прибавился еще один; Пивоваров сначала намекал, а потом прямо говорил, что отсутствие квартиры разбивает его семейную жизнь. Он уже принес обществу одну жертву, бросив московскую квартиру и согласившись ехать в глушь. Не надо требовать от него другой, не надо обрекать его, пожилого человека, на одиночество. Ведь ясно же, что его жена, молодая еще женщина, не выдержит разлуки...

Наконец счастье улыбнулось Пивоварову. Секретарь райкома убедил начальника Энергостроя Волобуева выделить следователю милиции двухкомнатную квартиру в новом доме. Дом вообще-то предназначался для сотрудников Энергостроя, но несколько квартир в нем удалось отвоевать для особо нуждавшихся районных работников.

Пивоваров воспрянул духом. Теперь он почти каждый день заглядывал на строительство, с удовлетворением отмечал, что дом быстро растет, и не реже двух раз в неделю сообщал об этом Лине по телефону. Он убеждал себя и других, что его семейное счастье целиком зависит от квартиры. Но в душе не мог не понимать, что обманывает и себя и других.

Лина звонила ему редко. Правда, она как будто с интересом выслушивала то, что муж рассказывал о строительстве дома. Но Пивоваров чувствовал, что она отнюдь не стремится в Зареченск. Он пытался оправдать ее. Конечно, говорил он себе, бросить Москву не так-то легко. Но рано или поздно Лине все же придется сюда приехать. Сейчас он посылает ей половину своей зарплаты. Но как только квартира будет получена, все изменится.

Обо всем этом Пивоваров думал постоянно. Думал и сейчас, сидя в милицейской машине.

Когда выехали на окраину города, Пивоваров попросил шофера остановиться.

— Что случилось? — спросил Евстигнеев.

— Ничего,— ответил Пивоваров.— Можно на минуту включить большой свет? — попросил он.

Шофер потянул на себя кнопку переключателя. В широкой полосе яркого света сквозь ветровое стекло виднелся прикрытый сеткой дождя новый дом, тот самый, в котором Пивоваров должен был получить квартиру...

Яркий свет давно погас, машина уже мчалась по шоссе, а новый дом все еще стоял перед глазами Пивоварова. Теперь он думал о том, что если бы они сейчас вернулись в отдел, то к звонку Лины еще можно было бы успеть.

Но поездка на сорок второй километр и обратно, включая обследование места происшествия, должна была занять не меньше трех часов. Они вернутся не раньше двенадцати. Смешно предполагать, что Лина будет до полуночи торчать на переговорном пункте!

Пивоваров почувствовал, как поднимается в нем злоба к негодяю, из-за которого он вынужден мчаться сейчас, в дождь, на ночь глядя, к черту на кулички.

Пивоваров терпеть не мог дорожных происшествий. Он предпочитал дела, привлекавшие внимание общественности. Сюда относились, например, хищения в торговой сети или хулиганство среди молодежи.

Дорожные происшествия с этой точки зрения были бесперспективны. Они не давали повода позвонить секретарю райкома и поделиться мыслями об усилении воспитательной работы среди молодежи или о подборе кадров в торговой сети...

— Что там такое, на сорок втором? — раздраженно спросил Пивоваров.

— Наезд,— коротко ответил Евстигнеев.— Пострадавший отправлен в больницу...

На сорок первом километре шофер сбавил скорость и включил дальний свет. Через несколько минут Пивоваров увидел впереди, у правого кювета, задний борт машины ГАЗ-51.

Шофер объехал грузовик и поставил машину в нескольких метрах от него. Пивоваров и капитан направились к грузовику. Навстречу им бежал милицейский старшина.

— Докладывайте,— сказал Евстигнеев, беря из рук милиционера документы: шоферское удостоверение, путевку и технический талон.

16. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

— Привет, товарищ Пивоваров! Волобуев! — раздался в трубке звонкий, высокий голос.

Пивоваров еще никогда не разговаривал с Волобуевым. Если по долгу службы ему и приходилось выяснять что-нибудь связанное с тем или иным работником Энергостроя, то он звонил в отдел кадров, но Волобуева никогда не беспокоил.

Начальник Энергостроя Иннокентий Гаврилович Волобуев был популярным человеком в районе и в области. Он возглавлял крупное строительство. В его подчинении находились тысячи людей, он распоряжался автотранспортом, многими мастерскими: слесарными, столярными, электротехническими.

Калининский район, как и любой другой район нашей страны, всегда остро нуждался в специалистах, в строительных материалах и, конечно, в транспорте. Зная возможности Волобуева, руководящие районные работники старались поддерживать с ним добрососедские отношения.

Для Пивоварова имя начальника строительства с некоторых пор приобрело особое значение: ведь именно он, Волобуев, обещал выделить ему квартиру в новом доме.

Пивоварову не раз хотелось лично поговорить с Волобуевым о квартире, чтобы окончательно убедиться в серьезности его намерений. Но позвонить начальнику строительства Пивоваров не решался, а ловить его где-нибудь по дороге считал по меньшей мере несолидным.

Теперь Волобуев неожиданно позвонил сам.

— Хочу кое-что выяснить, товарищ Пивоваров! — Голос начальника строительства звучал в трубке звонко, почти по-мальчишески.— Тут у меня один технический вопрос.

— Слушаю вас, Иннокентий Гаврилович,— крепче прижимая трубку к уху, ответил Пивоваров. Все в районе знали имя и отчество Волобуева.

— Мы сейчас окончательно утрясаем жилищные дела,— весело говорил Волобуев,— и вспомнили просьбу районного руководства насчет вас.— Он сделал паузу.

Пивоваров так крепко сжимал телефонную трубку, что пальцы его онемели.

— Алло, вы слушаете? — снова заговорил Волобуев.— Дело, конечно, трудное. Сами понимаете, своих претендентов много... У вас большая семья?

— Двое,— едва выговорил Пивоваров. Он чувствовал, что гибнет. Как объяснить Волобуеву, что от квартиры зависит счастье его жизни, что он бросил Москву и поехал сюда, в район...

Но в трубке снова раздался голос Волобуева:

— Для двухкомнатной маловато. Нормы! Как бы не было заминки с ордером. Впрочем, это будет зависеть от райсовета. Наверное, войдут в положение своего работника? — Волобуев беспечно рассмеялся.

У Пивоварова отлегло от сердца.

— Спасибо, Иннокентий Гаврилович! — с чувством произнес он.

— Благодарить еще рано. Утвердим списки, печать поставим, вот тогда...— посмеиваясь, продолжал Волобуев.— Думаю, все будет в порядке, убедим товарищей. Охрана общественного порядка — дело серьезное! Моя милиция — меня бережет! Как, между прочим, наш народ не беспокоит милицию?

— Серьезных дел нет, Иннокентий Гаврилович,— ответил Пивоваров. Дар речи уже возвратился к нему.— Кроме того, сами знаете, стараемся меньше карать, больше воспитывать. Сейчас с двумя вашими шоферами вожусь...

— Да ну? — удивленно, но по-прежнему весело переспросил Волобуев.— Что случилось-то? По пьянке или левака дали?

— Наезд, Иннокентий Гаврилович. Человек пострадал. Серьезные телесные повреждения.

— Да ну? — снова повторил Волобуев, и голос его стал более серьезным.— А что за люди?

— Один — Харламов, другой — Васин.

— Не знаю таких.

— Где же вам их всех знать! — воскликнул Пивоваров.— У вас работников не одна тысяча...

— Погодите, погодите! — словно припоминая что-то, сказал Волобуев.— Вчера ко мне кадровик заходил с характеристиками. Помню, помню! Этот Харламов, говорят, совсем никудышный парень. Его давно гнать надо было. А как фамилия второго?

— Васин,— торопливо ответил Пивоваров.

— Васин... Васин... Не знаю. Своих дел хватает. Надеюсь, вы разберетесь. Воздадите, как говорится, по заслугам. Закон есть закон. Значит, скоро с новосельем, товарищ Пивоваров? — Голос Волобуева снова повеселел.

— Спасибо, Иннокентий Гаврилович. Только бы не сглазить!

— Суеверие следователю не к лицу,— рассмеялся Волобуев.— Ну, у меня все. Привет.

Убедившись, что разговор окончен, Пивоваров осторожно положил трубку на рычаг.

На следующий день он получил характеристики Васина и Харламова. Васину была дана одна из тех стандартных положительных характеристик, какие даются тысячами. Естественно, что Волобуев забыл о ней в следующую же минуту.

Характеристика Харламова была резко отрицательной. Не удивительно, что Волобуев запомнил ее.

Так или иначе, получив характеристики, Пивоваров постарался ускорить следствие. Уже через неделю, случайно встретив Волобуева в райкоме партии, он подошел к нему, представился и сказал:

— Дело на тех гавриков уже в суде!

— Каких гавриков? — суховато и, как показалось Пивоварову, даже несколько недовольно переспросил Волобуев.

Пивоваров поторопился напомнить, что имеет в виду двух парней, виновных в наезде. Один из них, Харламов, действительно оказался порочным типом, как справедливо отозвался о нем товарищ Волобуев в телефонном разговоре.

Начальник строительства молча выслушал все это, пожал плечами и спросил:

— Какой Харламов? Шофер, что ли?

Пивоваров начал было говорить, что Харламов, собственно, монтер, но во время рейса попросил руль у шофера Васина, и в результате этого...

Волобуев прервал его.

— Не знаю такого,— снова пожав плечами, коротко сказал он, взглянул на часы и удалился.

Пивоваров нерешительно потоптался, глядя Волобуеву вслед, и вернулся на службу в явно испорченном настроении.

Дело по обвинению Васина и Харламова было быстро разобрано. Подсудимые получили именно то наказание, которое прямо вытекало из обвинительного заключения, составленного Пивоваровым.

Если бы речь шла о хищении или хулиганстве, Пивоваров не преминул бы рассказать о решении суда районным руководителям. Но в данном случае рассказывать было, в сущности, нечего. Зайти к секретарю райкома или позвонить ему просто не было повода. Однако разговор все же состоялся. Через несколько дней после встречи Пивоварова с Волобуевым секретарь райкома позвонил следователю и сообщил, что долгожданное решение о квартире наконец принято.

17. НЕОЖИДАННОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

Пивоварову казалось, что за полтора года работы в милиции он научился с первого взгляда оценивать посетителя и может сразу догадаться, кто он и по какому делу пришел.

На улице люди были просто людьми. Войдя в кабинет следователя, они становились обвиняемыми, родственниками обвиняемых, свидетелями, потерпевшими, представителями общественных организаций. Соответственно они отличались друг от друга внешностью, манерой держаться, тембром голоса, походкой...

Однако на этот раз, когда дверь кабинета открылась и на пороге появился невысокий худой старик в очках, Пивоваров не смог сразу определить, кто он и зачем пришел.

«Кажется, я сегодня никого не вызывал»,— подумал Пивоваров, вопросительно глядя на посетителя, приближавшегося к его письменному столу.

— Здравствуйте, Алексей Михайлович,— вежливо сказал посетитель.

То, что этот незнакомый человек назвал его по имени-отчеству, не удивило Пивоварова. Прежде чем войти в кабинет следователя, многие осведомлялись в канцелярии, как его зовут. Чаще всего это делали те, кому важно было расположить его к себе.

Пивоваров молча кивнул.

— Разрешите присесть? — спросил посетитель, останавливаясь возле стула, стоявшего посреди комнаты.

Пивоваров сделал неопределенное движение плечами. Стул предназначался для тех, кого следователь допрашивал.

Посетитель взял стул, поставил его вплотную к столу и сел. Это была уже вольность, которая не понравилась Пивоварову. Он нахмурился и недовольно пожевал губами.

— Моя фамилия — Митрохин, а зовут Антоном Григорьевичем,— начал посетитель.

Это имя ничего не говорило Пивоварову. Подследственных с такой фамилией у него не было. Может быть, потерпевший? Кража? Квартирная склока?

— Пришел я к вам по одному делу...

— Вы откуда, гражданин? — прервал его Пивоваров.

— Собственно, ниоткуда. Пенсионер.

— Что у вас? — сухо спросил Пивоваров.

— Это я и хочу вам рассказать! — с едва заметной укоризной сказал Митрохин.

— Пожалуйста, покороче. У меня мало времени.

— Постараюсь. Недели три-четыре назад вы вели следствие по делу двух молодых людей: Харламова и Васина. Верно?

Упоминание об этом деле было почему-то неприятно Пивоварову.

— Кто вы такой? — строго спросил он.— Родственник? Чей? Харламова? Васина?

— Видите ли, я был народным заседателем в суде, который слушал это дело.

«Невелика птица»,— отметил про себя Пивоваров и сказал официальным тоном:

— Значит, вам должно быть известно, что следствие закончено и приговор вынесен.

— Знаю,— согласно кивнул головой Митрохин,— и тем не менее хочу побеседовать с вами, уточнить некоторые детали... Впрочем, вы, кажется, не располагаете временем...

Пивоваров уже хотел было сказать: «Да, не располагаю»,— но удержался. «Надо все-таки выяснить, о чем речь»,— подумал он, и не отвечая на последние слова Митрохина, сухо сказал:

— У меня нет этого дела. Оно находится в суде, если уже не списано в архив.

— Разумеется,— согласился Митрохин и как бы между прочим добавил: — Я знаком с материалами следствия

и суда. Но мне хотелось поговорить, так сказать, с живым человеком. С тем, кто непосредственно общался с обвиняемыми с момента происшествия до суда.

— Я был следователем по этому делу,— все так же сухо и официально сказал Пивоваров.

«В конце концов,— подумал он,— я вовсе не обязан отвечать этому старикашке. Скажите пожалуйста — народный заседатель! Пусть обращается в свой суд, если ему что-то понадобилось...»

Но тут же внутренний голос подсказал Пивоварову, что возвращение к делу Васина — Харламова отнюдь не в его интересах. Во всяком случае, до тех пор, пока он не выяснит, что, собственно, надо этому старику...

— То, что вы были следователем по этому делу, и заставило меня обратиться именно к вам. Как к наиболее осведомленному человеку,— сказал Митрохин.

Пивоваров промолчал.

— Насколько я помню материалы дела,— продолжал Митрохин,— пятнадцатого августа вечером вы выехали на Воронинское шоссе в связи с дорожным происшествием. Вы и капитан милиции Евстигнеев, так, кажется?

— Да,— ответил Пивоваров и добавил: — Он сейчас в отпуске.

— Приехав на место аварии, вы увидели грузовик, стоявших возле него Харламова и Васина, а также отброшенный на обочину велосипед. Верно?

— Все это изложено в материалах следствия,— заметил Пивоваров.

— Разумеется. Но меня интересуют сейчас не формальные подробности. Я не прокурор и не проверяю следствие. Меня интересует чисто человеческая сторона дела. Точнее, я хочу составить впечатление о характерах обвиняемых.

— Вы могли сделать это во время судебного заседания.

— Совершенно справедливо. Но некоторые вопросы возникли у меня уже после суда. Впрочем,— Митрохин улыбнулся,— если вы хотели сказать, что я не имею официальных полномочий спрашивать вас, то, конечно, вы правы. Мне следовало бы обратиться в городской суд или в прокуратуру...

— Нет, почему же? — более дружелюбным тоном сказал Пивоваров.— Если я могу быть чем-то полезен...

— Спасибо. Итак, меня интересуют характеры обвиняемых. Вы, вероятно, успели их изучить...

— Конечно,— согласился Пивоваров.— Откровенно говоря, Харламов сразу произвел на меня отрицательное впечатление. Хотя,— торопливо добавил он,— это не оказало никакого влияния на дальнейший ход следствия. Все же мне достаточно было пяти минут, чтобы понять, с кем я имею дело.

— Ясно,— как бы не сомневаясь в правоте Пивоварова, кивнул Митрохин.— Значит, впечатление сразу сложилось плохое. Но почему?

— Я почувствовал в этом парне одного из нынешних юнцов, самоуверенных, заносчивых, наглых... Теперь много таких развелось.

— Значительно больше, чем нужно,— усмехнувшись, отозвался Митрохин.— Все же было бы хорошо, если бы вы помогли мне уяснить, почему Харламов произвел на вас именно такое впечатление.

— Пожалуйста,— сказал Пивоваров. Он уже почти убедился, что Митрохин просто старый чудак, каких немало среди пенсионеров, и радовался, что смутные опасения оказались напрасными. Он почувствовал даже нечто вроде симпатии к Митрохину.— Представьте себе: этот тип чуть не убил человека. Вы думаете, это его взволновало? Нисколько! Его взволновало совсем другое — то, что я обратился к нему на «ты»! Я, человек, который в два раза старше его!

— Так,— снова кивнул Митрохин.— Значит, он обиделся на то, что вы обратились к нему на «ты». Что же дальше?

— Дальше! Во время следствия он придумал наивную версию, что не заметил наезда, хотя слышал удар о крыло машины.

— Потом?

— Потом я опросил Васина.

— Какое впечатление произвел на вас Васин?

— Прямо противоположное. Был очень удручен, на вопросы отвечал вежливо. Я сразу понял, что произошло. Права у Харламова действительно были, но шоферского опыта — никакого. Такие парни вечно канючат, чтобы им дали подержаться за баранку. Васин и дал. Разумеется, это не умаляет его вины.

— Васин слышал удар о крыло машины?

— Он ехал в качестве пассажира, мог задуматься, не придать значения...

— Слышал или не слышал?

В том, как это было сказано, Пивоварову почудилось недоброе, и он бросил на Митрохина настороженный взгляд. Но Митрохин спокойно протирал платком очки.

— На очной ставке,— отчетливо сказал Пивоваров,— Васин категорически утверждал, что не слышал. И что Харламов его ни о чем не спрашивал.

— А Харламов утверждал, что спрашивал?

— Ничего он не утверждал,— пожал плечами Пивоваров.

— Зачем же потребовалась очная ставка?

Пивоваров опять посмотрел на Митрохина настороженно и с досадой подумал, что дал втянуть себя в разговор, который ему меньше всего хотелось вести. Но отступать было поздно. Всякая попытка уклониться от беседы или прервать ее наверняка вызвала бы подозрения у этого въедливого старика...

— Процессуальные нормы требуют,— назидательно сказал Пивоваров,— прибегать к очной ставке во всех случаях, когда в показаниях граждан, привлеченных к следствию, есть противоречия.

— Не будем касаться процессуальных норм. Поговорим о Харламове. Подтвердил ли дальнейший ход следствия то впечатление, которое вы составили о нем на Воронинском шоссе?

— Целиком,— ответил Пивоваров.

— А как вы расцениваете поведение Харламова на очной ставке?

— Как вызывающее.— Пивоваров хотел ограничиться этим, но не сдержал раздражения.— Харламов не мог не понимать, что обличен, и поэтому вел себя вызывающе. Его поведение на очной ставке связано со всем его обликом. Между прочим, на производстве его тоже характеризовали отрицательно.

— Кто именно?

Пивоваров закусил губу. Он совершил явную ошибку. Ни к чему было упоминать об этом. Ни к чему! Он помолчал, обдумывая ситуацию.

— Я имею в виду официальную служебную характеристику,— наконец ответил он.

— Помню,— сказал Митрохин.— Представитель Энергостроя, защищавший Васина, тоже не сказал ни одного доброго слова о Харламове.

Пивоварову показалось, что Митрохин вполне удовлетворен ответом. Но смутная тревога все-таки не оставляла его. Так или иначе, он правильно сделал, что не сказал о телефонном разговоре с Волобуевым. Упоминать о нем сейчас было бы бестактно, хотя выводы следствия полностью совпали с тем мнением о Харламове, которое высказал Волобуев, и ссылка на него еще раз подтвердила бы правильность этих выводов. Но внутренний голос подсказывал Пивоварову, что, умолчав о разговоре с Волобуевым, он поступил правильно. Более того, и в дальнейшем он не должен касаться этого разговора. По крайней мере до тех пор, пока не уяснит себе намерений Митрохина.

— Видите ли, Алексей Михайлович,— словно отвечая на мысли Пивоварова, медленно сказал Митрохин.— Я хочу, чтобы вы ясно поняли смысл моих вопросов. Бывают случаи, когда молодой человек совершает проступок, который... как бы это сказать... не согласуется со всем его поведением в прошлом. Вы меня понимаете?

— Вполне,— с готовностью ответил Пивоваров. Ему нравилось, что разговор начал приобретать несколько отвлеченный характер.

— Я немного знаком с биографией Харламова,— продолжал Митрохин.— Он сирота, воспитывался в детдоме. Характер у него, видимо, всегда был нелегкий. Но ни хулиганом, ни лжецом он не был никогда. А теперь, якобы из озорства, взял руль, сбил человека, не оказал ему помощи... Между прочим, как вы все-таки считаете, почему он взял руль?

— Вы же сами только что сказали,— ответил Пивоваров,— из озорства.

— Да-да, конечно, из озорства,— повторил Митрохин и вдруг задал вопрос, который заставил Пивоварова вновь насторожиться: — Как, по-вашему, Васин был абсолютно трезв?

— Вы хотите сказать, Харламов?

— Нет, именно Васин.

— Разумеется.

— Насколько я помню, в деле не было акта медицинского освидетельствования.

Такого акта в деле действительно не было.

Доставив Харламова и Васина в райотдел милиции, Пивоваров думал только о том, как бы поскорее от них избавиться. Не застав его на работе, Лина могла после двенадцати ночи позвонить в гостиницу, где он тогда жил. По правилам, следователь, конечно, должен был направить задержанных на медицинское освидетельствование, в том числе и Васина, поскольку тот был вписан в путевой лист как водитель машины. Но врач медпункта, где обычно проводились такие освидетельствования, заболел. Посылать задержанных на проверку за двадцать километров в областную больницу значило потерять не меньше двух часов. К тому же Харламов и Васин производили впечатление абсолютно трезвых. Особенно внимательно Пивоваров присматривался к Харламову: ведь это он сбил человека. Можно было поручиться, что парень трезв. Чтобы не терять времени, Пивоваров решил обойтись без освидетельствования.

Теперь он отлично понимал, что это может быть поставлено ему в вину. Впрочем, только в том случае, если кому-то покажется, что виновные недостаточно наказаны. Но не похоже, чтобы Митрохин хотел того, что на юридическом языке называется ужесточением наказания.

— За рулем был не Васин, а Харламов,— напомнил Пивоваров.— Он был абсолютно трезв. И Васин тоже.

— Предположите, что Васин выпил незадолго до рейса. Харламов узнал об этом и взял руль, чтобы выручить товарища. Это изменило бы ваше отношение к нему?

— Нисколько,— не понимая, что могло означать такое предположение, ответил Пивоваров.— Тогда Харламов должен был принять все меры, чтобы Васина не пустили в рейс.

— Ну, а если Харламов узнал об этом уже по дороге? Когда они ехали по шоссе? Что тогда?

Пивоваров пожал плечами.

— Тогда,— сказал он раздраженно,— Харламову следовало довести машину до ближайшего постового милиционера и сдать ему Васина.

— Отлично. Рассмотрим ситуацию несколько более подробно. Я просто хочу уяснить себе кое-что. Предположим, Васин выпил. Совсем немного. Допустим, у него был повод. Нарушение налицо, согласен. Однако, как я уже сказал, сейчас меня больше интересует человеческая сторона дела, нежели чисто правовая.

— Это противопоставление не вполне правильно, товарищ Митрохин,— поучительно заметил Пивоваров.

— Вы правы и на этот раз,— с едва заметной иронией согласился Митрохин,— но разрешите на минуту отвлечься от правовых норм. Только на минуту. Скажем, по легкомыслию Васин не придал значения тому, что немного выпил. Сел в машину. Рядом Харламов. Они поехали. Вдруг Харламов ощутил, что от Васина попахивает спиртным. Он спросил: «Ты выпил?» Васин признался, что утром в его жизни произошло радостное событие, поэтому он малость выпил. Тогда Харламов и взял руль. Если бы их случайно остановил милиционер и обнаружил, что от шофера пахнет спиртным, это имело бы для Васина серьезнейшие последствия. Поэтому Харламов и попросил Васина поменяться местами. Водительское удостоверение было при нем. После некоторых колебаний Васин согласился. Дальше произошло то, что вам известно. Что вы на это скажете?

— Ничего не скажу,— снова пожал плечами Пивоваров.— Если даже поверить в эту легенду, все равно наезд совершил Харламов. Это — главное. Если бы Васин выехал с автобазы в нетрезвом виде, это, конечно, увеличило бы его вину. Но Васин был трезв.

— Его освидетельствовали?

«Ах, проклятый старик!» — подумал Пивоваров.

— Вы переоцениваете значение медицинского освидетельствования,— сухо сказал он.— Если человек выпил пятьдесят или даже сто граммов водки, то уже через четыре часа освидетельствование не дает никаких результатов. Вы сами говорите, что если Васин и выпил, то самую малость. Потом он пошел на базу, сел в машину, потом они с Харламовым выехали на шоссе. Короче говоря, к моменту происшествия прошло не меньше полутора часов. К тому времени, когда мы прибыли на место, прошло еще полтора часа. Значит, уже три.— Пивоваров загнул три пальца на правой руке.— Пока мы заполняли протокол, делали замеры, прошел, по крайней мере, час. Значит, четыре. Дорога сюда, в райотдел, заняла сорок минут. Уже пять часов.— Он загнул еще два пальца.— Меднункт был закрыт. До областной больницы от нас не меньше часа езды. Итого — шесть.— Пивоваров загнул большой палец на левой руке.— Шесть часов! — повторил он.— Какое там освидетельствование!

— Логично,— согласился Митрохин.

— Разумеется,— торопливо добавил Пивоваров,— я все-таки послал бы их в областную больницу, если бы у меня возникло малейшее подозрение.

Довольный собой, он откинулся на спинку кресла и посмотрел на часы.

— Задерживаю? — поспешно спросил Митрохин.— Извините. Я вам звонил еще вчера, чтобы спросить, когда лучше прийти. Но не застал. Мне дали ваш домашний телефон. Вы ведь живете в новом доме Энергостроя?

— Да,— коротко ответил Пивоваров, силясь понять, зачем старик задал ему этот вопрос.

— К сожалению, дома вас тоже не было. Мне никто не ответил.

— Я к вашим услугам,— сказал Пивоваров. Он уже ругал себя за то, что посмотрел на часы.

— Тогда позволю себе еще кое-что спросить. Мне все-таки непонятно поведение Харламова на очной ставке. Если бы Васин подтвердил, что Харламов спрашивал его о причине удара, ведь это было бы ему, Харламову, явно на пользу.

— Вы читали протокол и знаете, что Васин это решительно отрицал,— быстро сказал Пивоваров.

— А раньше подтверждал?

— Раньше?..— снова насторожился Пивоваров.— Откуда у вас такие сведения?

— Да от вас же! — простодушно произнес Митрохин.— Вы же сами сказали, что очная ставка дается в том случае, если показания расходятся.

«Ловит, ловит!..» — сказал себе Пивоваров.

— Вы делаете произвольный вывод из моих слов,— произнес он как можно более солидно.— Я дал очную ставку для того, чтобы Васин мог уличить Харламова. Понимаете? Чтобы он в присутствии Харламова заявил, что никакого разговора об этом у них не было.

— Да, на следствии Васин это заявил,— задумчиво сказал Митрохин.— И на суде тоже. Но вот сейчас... Сейчас он написал такое заявление...

Митрохин полез во внутренний карман пиджака, достал бумажник и, вынув аккуратно сложенный листок, протянул его Пивоварову.

Быстрее, чем ему хотелось бы, Пивоваров развернул бумагу и пробежал ее глазами. Ему сразу все стало ясно.

«Дурак, идиот несчастный! — мысленно клял он себя, делая вид, что внимательно изучает документ.— Как я не понял, что старик пришел неспроста?! Зачем я ввязался в этот разговор?»

Положив заявление Васина на стол, он глухо спросил:

— Чего вы от меня хотите?

— Это же ясно, Алексей Михайлович,— живо откликнулся Митрохин,— хочу узнать: почему Васин сначала говорил одно, а потом другое?

— Это должен объяснить сам Васин! — вырвалось у Пивоварова.

Митрохин взял со стола заявление и спрятал его в карман.

— Полагаю,— глядя в упор на Пивоварова, сказал он,— в конце концов Васин это объяснит.

В его словах Пивоварову послышалась угроза.

— Послушайте, товарищ Митрохин,— воскликнул он, и в голосе его зазвучали жалобные нотки,— но это же обычное дело! Сколько раз уже так бывало! Получив более или менее мягкий приговор суда и понимая, что теперь ему ничто не угрожает, подсудимый начинает рассказывать байки своим родным и знакомым!

— Вряд ли Васин мог считать, что после такого заявления ему ничто не угрожает,— с усмешкой сказал Митрохин.— Позвольте все же повторить вопрос: как вы думаете, почему Васин теперь вдруг признался, что выпил? Почему? Ведь эта, как вы изволили выразиться, байка может дорого ему обойтись! Согласны?

«Что ему ответить? — лихорадочно думал Пивоваров.— Может быть, возмутиться, дать отпор, сказать, что Митрохин явно превышает свои полномочия?.. Но что дальше? Старик пойдет к прокурору. Или в партгосконтроль. Или даже в обком. У пенсионеров куча времени. Будет капать на меня. Начнется преследование. Нет, этого надо избежать. Заявление Васина, само по себе, бездоказательно. Но вмешательство старика может все изменить. Что же делать? Надо нейтрализовать Митрохина. Надо пустить в дело главный козырь. Руководство Энергостроя целиком разделяет мою точку зрения на Харламова. Волобуев — как-никак член бюро райкома, член обкома. Митрохин задумается, прежде чем вступить с ним в конфликт! Почему же я молчу? Почему не называю имя Волобуева?»

Но Пивоваров прекрасно понимал, почему молчит. Еще во время телефонного разговора с Волобуевым он почувствовал, что начальнику строительства не безразлично, как будет развиваться следствие по делу Харламова. Но, может быть, еще более ясно он почувствовал, что об этом следует молчать. Вот он и молчал. Однако сейчас наступил момент, когда, по его мнению, молчать было уже нельзя. И Пивоваров не выдержал.

— Если вы сомневаетесь в моей оценке Харламова, поговорите хотя бы с товарищем Волобуевым,— сказал он.

Это имя, как и ожидал Пивоваров, произвело впечатление. Митрохин высоко приподнял брови, наклонился вперед и удивленно переспросил:

— Вы имеете в виду начальника Энергостроя?

«Начальника Энергостроя, члена бюро райкома и члена обкома!» — хотелось крикнуть Пивоварову, но он ограничился тем, что просто кивнул.

— Неужели он знает этих ребят?

— Видимо, знает,— усмехнулся Пивоваров.

— Его мнение повлияло на ход следствия?

Пивоваров вздрогнул. Он понял, что сам поставил себе капкан. «Зачем я назвал это имя? — мысленно воскликнул он.— Кто тянул меня за язык? Какое дело старику до Волобуева! Что ему до авторитетов! Ведь пенсии его лишить не могут».

Надо было срочно найти выход из положения.

— На следствие никто повлиять не может,— торжественно произнес Пивоваров.— Его ход определяют только факты.

— Почему же Васин отказался от своих прежних показаний?

— Понятия не имею! С ним надо еще разобраться. Выяснить: какие выгоды он преследовал, подавая свое заявление?

— Какие же выгоды? Он может только пострадать...

— Не знаю, не знаю...— ответил Пивоваров. Ему показалось, что Митрохин забыл о Волобуеве, и он решил отвлечь старика как можно дальше от этой опасной темы.— Мы, юристы, не любим поверхностно судить о мотивах того или иного поступка. Не сомневаюсь, что у Васина есть корыстные интересы. Кстати, ко мне приходила любовница Харламова. Не исключено, что она наведывалась и к Ва-

сину. Может быть, передала ему деньги. Возможно, Харламов знает о Васине что-либо компрометирующее. Он мог оказать на него давление с целью добиться пересмотра дела. Всякое бывает.

— Бывает,— согласился Митрохин.— Между прочим вы совершенно исключаете, что эта девушка руководствуется чистыми побуждениями?

— Женщины, связанные с уголовными элементами, редко руководствуются чистыми побуждениями. Практика доказывает это. Вообще вы, на мой взгляд, переоцениваете так называемое нравственное начало. Поверьте мне.

— А вы недооцениваете?

В сознании Пивоварова промелькнула вдруг спасительная мысль: «Нравственное начало!..» Как ему раньше не пришло в голову перевести разговор из юридического русла в нравственное?

— Недооцениваю?! — с обидой и дрожью в голосе переспросил Пивоваров.— Мне очень горько слушать такие слова! Что, кроме нравственных побуждений, заставило меня бросить Москву и перейти на низовую милицейскую работу?

Говоря это, Пивоваров внимательно наблюдал за выражением лица Митрохина. Ему казалось, что старик слушает его с интересом и даже сочувствием.

— Вы давно работаете следователем? — участливо спросил Митрохин.

— Всего полтора года. Именно поэтому в моей практике могут быть случайные ошибки...

— Раньше у вас была другая профессия?

— Я всю жизнь мечтал работать в органах юстиции,— поспешно ответил Пивоваров.— Но осуществить свою мечту мне удалось только в последние годы.

— Почему же?

Пивоваров вспомнил уроки жены. С жаром и подкупающей искренностью он заговорил о несовместимости своих нравственных принципов с практикой культа личности.

Видя, что Митрохин слушает его заинтересованно, Пивоваров увлекся и рассказал ему даже о Лине, о том, как он любит ее и как, в сущности, именно эта любовь дала ему силы уже в пожилом возрасте стать тем, кем он сейчас является...

Неожиданно Митрохин встал. Пивоваров умолк на полуслове и недоуменно взглянул на него.

— К сожалению, у меня больше нет времени,— сухо сказал Митрохин, и лицо его приняло замкнутое и жесткое выражение.— Все, что мне надо было узнать, я узнал. Даже больше, чем ожидал. Спасибо.

Пивоваров растерялся.

— Это все, что вы хотите мне сказать?

— Нет, еще не все,— ответил Митрохин.— Видимо, вы очень любите свою жену. Это я понял. Девушка, приходившая к вам, очень любит Володю Харламова. Васин любит свою жену Катю. Но любовь может толкать и на подвиг и на подлость. Вам понятна моя мысль? — Не дожидаясь ответа, Митрохин повернулся и вышел из комнаты.

Пивоваров долго сидел в состоянии полной растерянности. «Провал,— думал он,— полный провал. Дурак, ничтожество! Распустил слюни. Расчувствовался. Старик смеялся надо мной, а мне еще казалось, что он внимательно слушает, даже сочувствует. Теперь побежит к прокурору. Уже завтра можно ждать вызова... Если бы Лина была рядом, она наверняка что-нибудь посоветовала. Но что она могла бы посоветовать? Сказала бы: «Не паникуй. Взвесь факты. Отбрось ложные страхи. Сосредоточься...»

Пивоваров попытался сосредоточиться. Вскоре положение перестало казаться ему столь угрожающим.

«В конце концов,— рассуждал Пивоваров,— разговор происходил с глазу на глаз. Он может быть воспроизведен так и эдак. Легко себе представить, как перескажет его Митрохин. Но если прокурор обратится ко мне, я перескажу его по-своему. Вряд ли прокурор придет в восторг, если я сообщу ему, что некий народный заседатель берет на себя прокурорские функции. Конечно, заявление Васина может создать определенные осложнения. Но их можно преодолеть. Человек безоговорочно подтвердил на суде все то, что говорил на следствии, а потом вдруг изменил свои показания. При чем же здесь следователь? Разумеется, признание подсудимого не может служить единственным доказательством его вины. Эта популярная теперь формула остается в силе. Но первоначальные показания Васина полностью подтверждаются фактами...»

И тем не менее...

«Только не впадать в панику,— уговаривал себя Пивоваров.— Все мои страхи я сам придумал. У меня за спиной человек, по сравнению с которым Митрохин — ничто».

В конце концов Пивоваров стал успокаиваться. Тревожное чувство нависшей над ним опасности постепенно исчезало. Но в этот момент в дверь его кабинета кто-то постучал. Затем дверь открылась. На пороге стоял пожилой милиционер.

— Разрешите? — спросил он.

18. СВИДЕТЕЛЬ

— Старшина Толкунов! — вскидывая руку к козырьку фуражки, доложил милиционер. Он вошел в кабинет и остановился в нескольких шагах от стола.— Разрешите обратиться...

Лицо милиционера показалось Пивоварову знакомым. Его фамилию он тоже где-то слышал.

— Я по делу о дорожном происшествии. На Воронинском шоссе,— сказал Толкунов. Он все еще стоял, вытянувшись, посреди комнаты.

«Ну, конечно! — мысленно воскликнул Пивоваров.— Этот самый Толкунов встретил нас с Евстигнеевым, когда мы прибыли на место происшествия! Но какого черта ему надо?»

— Садитесь,— сухо сказал он, кивком указывая на стул.

Толкунов сел, снял фуражку и положил на колени.

— Ну,— с трудом сдерживая раздражение, спросил Пивоваров,— в чем дело?

— Явился доложить, что обнаружен свидетель.

— Какой еще свидетель? Чего?

— Наезда.— Толкунов вытащил из кармана потрепанную записную книжку, полистал ее и прочел: — «Анастасия Петровна Лукина. 1899 года рождения. Проживает по Воронинскому шоссе, на сорок втором километре».

— Откуда она взялась? — уже не скрывая раздражения, спросил Пивоваров.— На месте происшествия не было никаких свидетелей.

— Так точно, не было,— согласился Толкунов, пряча в карман свою книжку,— а теперь обнаружилась.

— Откуда?! — почти крикнул Пивоваров.

— Дело было так...— спокойно, словно не замечая его раздражения, сказал Толкунов.— Когда произошел наезд, Лукина стояла около своего дома. У крыльца. Пеленки снимала.

— Послушайте,— прервал его Пивоваров,— какого черта вы мне докладываете всю эту ерунду насчет пеленок? Говорите по существу!

— Слушаюсь,— чуть привставая, вежливо сказал Толкунов.— Лукина видела, как ехал велосипедист и как его сшиб грузовик.

— Почему вы ее тогда же не опросили?

— Когда я на место приехал, не было ее. В дом ушла. Ребенок заплакал. Так вот, Лукина говорит, что видела наезд.

— Ну и что же? Что это меняет? — уже спокойнее спросил Пивоваров. Сообщение Толкунова шло ему на пользу, так как подтверждало виновность Харламова.— Наезд был, это мы знаем и без вашей... Лукиной. Дело закончено, суд вынес приговор. Чего же вы хотите?

— Обстоятельство есть одно. Обязан доложить...

— Какое обстоятельство? — настораживаясь, спросил Пивоваров.

— Разрешите листок бумаги.

Пивоваров достал из ящика чистый лист и бросил его на стол.

— Сейчас я вам чертежик изображу,— сказал Толкунов, вооружившись карандашом.— Для наглядности. Это, значит, шоссе.— Он провел две жирные параллельные линии.— Справа — дом, где Лукина живет. Слева,— он провел две параллельные пунктирные линии,— поворот на Колтыши. Разбираете, товарищ следователь? Димка Саврасов следовал на велосипеде по обочине.— Он провел еще одну линию.— Здесь,— он поставил крестик,— Димка свернул. Видите, что получается?

— Ничего не вижу. Что из этого следует?

— А то следует, что Димка домой ехал! В Колтыши. Хотел напротив поворота свернуть. Из правого ряда. С противоположной проезжей части. Наперерез шоссе. Резко повернул, а сзади ГАЗ-51. Ну и наезд.

— Что же здесь нового? — с тревогой спросил Пивоваров. Чутье подсказывало, что этот чертежик не сулит ему ничего хорошего.

— А то, товарищ следователь,— степенно произнес

Толкунов,— что водитель-то вроде и не виноват. Не мог он в этом случае обеспечить безопасность движения.

— Что вы мне пинкертоновщину разводите! — чувствуя, как кровь приливает к лицу, выкрикнул Пивоваров.— Откуда появилась эта Лукина?

— К Саврасовой, Димкиной матери, девушка приходила от Харламова. Невеста его. Она у Лукиной дождь в избе пережидала. Лукина ей и рассказала, какой случай на шоссе видела...

— Это все?

— Нет, товарищ следователь, не все. Я как от Лукиной вернулся, опять к Саврасовой зашел. «У тебя, спрашиваю, велосипед где?» — «В сарае, говорит, как ты его принес, так и лежит». Я велосипед ей доставил, как вы тогда с шоссе уехали. Стал я велосипед еще раз осматривать, вижу: переднее колесо погнуто.

— Ну и что из того?

— А то, что права Лукина! Димка попытался левый поворот внезапно сделать, а назад не посмотрел. ГАЗ-51 его по переднему колесу и шибанул. Если бы сзади наехал, заднее колесо помял бы. Верно?

Толкунов с довольной улыбкой, даже торжествующе, посмотрел на следователя.

Но Пивоваров еле сдерживал ярость. Сговорились они все, что ли? Это в самом деле похоже на заговор против него! Девка, бегающая по всем адресам, въедливый старик Митрохин, а теперь еще этот Толкунов!

Пивоваров был уже готов накричать на него, поставить по команде «смирно», отчитать за то, что лезет не в свое дело, и выгнать из кабинета. Но, как и в недавнем разговоре с Митрохиным, осторожность взяла верх над злобой и раздражением.

— Вы, старшина, конечно, поступили правильно,— снисходительно сказал Пивоваров,— хотя то, что вы не обнаружили свидетельницу своевременно, выглядит несколько...— он сделал паузу,— странно. Все это может навести на некоторые размышления...

— Не было ее на шоссе, когда я приехал, второй раз докладываю,— удивляясь, что следователь не понимает такой простой вещи, напомнил Толкунов.

— Когда вы приехали, Лукиной на шоссе не было,— задумчиво повторил Пивоваров.— А может быть, ее вообще не было?

— То есть как? — недоуменно переспросил Толкунов.

— Очень просто. Она выползла на свет божий много позже. После того, как у нее побывала эта... невеста. Зачем невеста пожаловала к Саврасовой? Очевидно, чтобы предложить ей сделку...

— Что вы, товарищ следователь,— поспешно сказал Толкунов.— Ничего она не предлагала. Только прощения просила. За Харламова.

— «Ничего не предлагала»... Только намекнула в присутствии милиционера, что есть одна свидетельница... у которой она к тому же только что была...

Толкунову все стало ясно. Следователь подозревал Валю Кудрявцеву и старуху Лукину в предварительном сговоре.

— Нет, товарищ следователь,— уважительно, но твердо сказал Толкунов,— я ту девушку лично видел. Вы бы на нее только посмотрели! Ей такое и в голову прийти не могло!

— На то есть адвокаты,— сухо заметил Пивоваров.— Им могло прийти.

— Но ведь все совпадает! — воскликнул Толкунов.— Вы представьте себе: вечер, дождь, дорога скользкая, за рулем Харламов... Кабина в ГАЗ-51 высокая, водитель сидит слева, велосипедиста ему не видно... А Димка Саврасов вдруг лево руля дает. Чуть колесо переднее повернулось, его грузовик и шибанул. Димку на обочину отбросило. Что-то о крыло ударилось. Харламов спрашивает Васина: слыхал?

— Откуда вам известно, что он спрашивал Васина? — с плохо скрытой угрозой спросил Пивоваров.

— Как откуда?! Харламов сразу мне об этом сказал. И Васин подтвердил. «То ли, говорит, к столбу прижались, то ли камень о крыло шмякнул». Он и вам, когда его на месте опрашивали, то же самое говорил. Разве не помните?

— Он мне этого не говорил!

— Как не говорил? — изумленно переспросил Толкунов.— Я же рядом стоял, и уши мне не закладывало. Вы, наверное, просто забыли. Капитан Евстигнеев тогда на шоссе замеры делал, а вы задержанных опрашивали. Помните?

— Ничего я не помню! — не в силах больше сдерживать себя, яростно крикнул Пивоваров. Он прекрасно пом-

нил: и Харламов и Васин действительно говорили тогда об ударе. Лишь позднее он дал понять Васину, что ему лучше отказаться от своих слов.— Следствие давно закончено, суд вынес приговор, а вы являетесь с идиотскими воспоминаниями! Почему раньше не явились?!

Толкунов поднялся. Он стоял перед Пивоваровым, держа обеими руками свою фуражку.

— Я, товарищ следователь,— сказал он, чувствуя, как фуражка тяжелеет в его руках,— по долгу службы явился. Идиотом меня еще никто не называл. Ни в армии, ни в милиции. Если я рассказать не сумел, тогда рапорт напишу. Вечер посижу и напишу. Разрешите идти?

Пивоваров понял, что совершил грубую ошибку, которая через несколько секунд может стать непоправимой. Нужно было сейчас же успокоиться и взять себя в руки.

— Садись, старшина,— сказал Пивоваров, указывая на стул,— и... прости меня. Погорячился. Чего вскочил? Садись.

Толкунов сел.

— Ты всего дела не знаешь,— мягко и доверительно заговорил Пивоваров,— а я на него десять дней убил. Так вот, насчет Харламова. Таким гаврикам, как он, ничего не стоит задавить человека. Это не только мое мнение. Знаешь, как о нем на производстве отзываются? Бузотер, склочник, давно хотели от него избавиться. Не было бы, как говорится, счастья, так несчастье помогло...

Пивоваров говорил и в то же время думал: «Это я идиот, а не он! Ну чего разорался? Кто он, этот Толкунов? Простой сельский милиционер. Надо было выслушать его, поблагодарить и отправить с глаз долой. Может быть, даже пообещать благодарность в приказе...»

— А за Васина на производстве — горой,— продолжал Пивоваров.— Общественного защитника ему выделили. Харламов два года получил. Напрасно ты расчувствовался. Эта невеста, если хочешь знать, и у меня была... Только я уже видел таких, закаленный! Да ладно.— Он взмахнул рукой.— За усердие — спасибо. Рапорт, если хочешь, напиши. Я твою Лукину вызову. Только что еще она на допросе покажет!.. А насчет Васина — учти: он и на следствии и на суде отрицал, что Харламов обращался к нему с вопросами. Решительно отрицал. Ясно?

Толкунов покачал головой.

— Нет, товарищ следователь, не ясно.

— Что ж тебе не ясно? — спросил Пивоваров, чувствуя, как в нем снова поднимается злоба.

— Сразу и не скажешь. А только не ясно,— упрямо повторил Толкунов.— Почему Васин на шоссе говорил одно, а на следствии — другое? И с Харламовым не ясно. Видел он наезд или нет? В общем, рапорт я все-таки напишу.

— Рапорт? — безразличным тоном повторил Пивоваров, но кулаки его непроизвольно сжались.— Если хочешь, пиши. Но, честно говоря, нет в этом смысла. Дело закончено, приговор вынесен...

— Не такие дела пересматривались, товарищ следователь.

— Не вижу никаких оснований для пересмотра,— резко сказал Пивоваров. Все его усилия, видимо, пропали даром. Этот сельский милиционер был вовсе не так прост, как ему показалось.— Впрочем,— добавил он уже мягче,— я поговорю с начальством. Доложу о твоих сомнениях. Тогда и насчет рапорта решим. Позвони мне на днях. Лады?

— Оторвать от дел опасаюсь. Лучше уж я вечерок-другой посижу над рапортом-то. А там уж как начальство... Ему виднее.

Толкунов надел фуражку, козырнул, сделал уставный поворот и вышел.

Пивоваров сидел, глядя на дверь, за которой только что скрылся Толкунов. «Опять ошибка,— думал он,— одна ошибка за другой. Не так говорил с Митрохиным, не так говорил с Толкуновым...»

Пивоваров не удивился бы, если бы интерес к делу Харламова возник из-за того, что у этого парня нашелся вдруг влиятельный защитник, лично заинтересованный в пересмотре приговора. Но такого защитника как будто не было. Наоборот. Единственный влиятельный человек, имевший косвенное отношение к этому делу, вовсе не был заинтересован в том, чтобы оно пересматривалось.

Что же происходит? Какие тайные мотивы руководят Митрохиным и Толкуновым? Что им до Харламова? Почему изменил свои показания Васин? Девчонку можно не принимать во внимание. Но Митрохин, Толкунов, Васин — зачем им дался Харламов?

Нет, за всем этим что-то, безусловно, кроется. Что-то непонятное ему, Пивоварову. Но как разгадать? Как узнать, кто все же стоит за спиной Харламова? Узнать это необходимо, и как можно быстрее. Иначе могут возникнуть серьезные осложнения. Но как это сделать?

Пивоваров еще долго сидел, поставив локти на стол и подперев голову руками. Потом нерешительно потянулся к телефону.

— Товарища Волобуева,— негромко сказал он в трубку.— Передайте, что с ним хочет поговорить следователь Пивоваров.

19. ПЯТЕРО И ОДНА

Проникнуть в мужское общежитие Энергостроя Вале удалось не сразу. Суровая женщина-комендант объявила: «Девчатам сюда ходить не положено». Валя ответила, что поймать Воронина на работе невозможно, так как он всегда на линии. «А ты добейся, чтобы парень за тобой бегал, а не ты за ним»,— поучительно сказала комендантша. Валя объяснила, что Воронин нужен ей по серьезному делу, оставила паспорт и дала слово уйти из общежития не позже чем через полчаса. Только тогда ее пропустили.

Бригадир электромонтеров пятого участка Алексей Воронин жил на втором этаже, в комнате номер восемь. Валя поднялась по широкой деревянной лестнице и пошла по коридору, вглядываясь в таблички с номерами.

Из-за двери комнаты номер восемь слышались мужские голоса. Валя постучала. В ответ раздалось многоголосое: «Давай, давай, входи!»

Войдя в комнату, Валя увидела квадратный, покрытый клеенкой стол, уставленный бутылками и тарелками с остатками еды. За столом сидело несколько парней. Когда на пороге появилась Валя, они смолкли и с удивлением уставились на нее.

— Мне... Воронина нужно...— смущенно сказала Валя.— Алексея Воронина.

— Скажем, я Воронин,— отозвался один из парней, худощавый и голубоглазый, с копной небрежно расчесанных русых волос.

— Мне надо с вами поговорить,— все еще стоя у двери, сказала Валя.

— О чем? — не поднимаясь с места, спросил Воронин.

Его сосед по столу, парень в синей спецовке, привстал и сказал преувеличенно громко:

— К тебе, Алешка, гости пришли, а ты гавкаешь, как сторожевой пес из будки! Вы, девушка, на это внимания не обращайте. За грубой оболочкой скрывается нежное, любвеобильное сердце. А ну, хлопцы, место гостье!

Ребята вскочили и задвигали стульями, освобождая место для Вали. Парень в синей спецовке подчеркнутым, цирковым движением выхватил из кармана носовой платок, обмахнул им сиденье одного из стульев и сказал:

— Прошу занять место в президиуме!

Валя сделала несколько неуверенных шагов к столу и внезапно остановилась. Среди сидевших за столом она увидела Васина. Сердце ее забилось учащенно. Она не ждала этой встречи.

— Может быть, я в другой раз зайду,— робко сказала она,— мне бы с товарищем Ворониным поговорить... Но лучше в другой раз...

— Тет-а-тет? — усмехнулся парень в спецовке.— Ясно! А ну, гвардейцы коммунистического труда, очистить помещение! Но сначала...

Он взял с полки чистый стакан, налил в него немного красного вина и протянул Вале.

— Перед началом частного совещания просим присоединиться к коллективному тосту. После этого милиция очистит зал. Итак, с чувством черной зависти и заслуженного почтения я поднимаю этот бокал за успехи нашего бригадира на производственном поприще и в личной жизни. Прозит, как говорят иностранные представители...

Валя нерешительно взяла стакан. Это разрядило обстановку. Ребята засмеялись, заговорили, потянулись к бутылкам.

Валя выпила немного, потом села.

— Официальная часть окончена! — объявил парень в спецовке.— После небольшого перерыва состоится концерт. Вход по специальным приглашениям. А ну, гвардейцы, подъем!

— Я к Воронину по делу пришла...— поспешно произнесла Валя.

— Ясно! Деловые переговоры должны протекать в обстановке секретности. Подъем!

— Погодите! — громко сказал Воронин.— Раз по делу, давайте при всех.

Вставшие было ребята снова опустились на свои места.

— Поступило предложение допустить на конференцию представителей общественности,— провозгласил парень в спецовке.— Одна из высоких договаривающихся сторон не возражает. Как вторая?

Он вопросительно посмотрел на Валю.

— Что ж,— откликнулась она,— мне все равно. Я ведь только спросить...

— Предложение принято единогласно. Разрешите представить присутствующих. Прославленный бригадир Алексей Воронин, далеко опередивший свое время, поскольку работает где-то в тумане семидесятых годов. Блестящее созвездие гвардейцев коммунистического труда. Андрей Кузнецов, электромонтер. Олег Шаповалов, его коллега. Вячеслав Васин, рыцарь баранки и домкрата В бригаду не входит, но примкнул к ней по велению своего шоферского сердца. Наконец, я, Михаил Удальцов, по профессии электромонтер, по призванию историограф Алексея Воронина. Почти все без исключения по вечерам учатся, некоторые состоят в комсомоле, исправно платят профсоюзные взносы. Все, кроме Васина, не женаты. Вопросы есть?

Но Валя уже не слышала его. Она глядела на помрачневшего Васина и думала о том, что от этого человека еще совсем недавно зависела судьба Володи.

— Какое же у вас ко мне дело? — тыльной стороной ладони отодвигая недопитый стакан, спросил Воронин.

— Я пришла поговорить о Володе Харламове,— сказала Валя,— он ведь с вами работал...

Как только она произнесла это имя, в комнате наступила тишина.

— Пожалуйста, расскажите мне,— продолжала Валя,— каким он был на работе. Мне надо это знать. Надо!

— Собственно, почему? — недружелюбно спросил Воронин.— Кто вы ему? Сестра? Или вы от какой-нибудь организации?

— Я... его невеста!

Удальцов громко расхохотался.

— Невеста, невеста!..— повторял он сквозь смех.— Невеста была в белом платье, жених же весь в черных штанах!

— Прекратите! — неожиданно для самой себя крикнула Валя.— Как вам не стыдно! Вы тут пьете вино, а он...

Я пришла к вам, как к людям...

Смех оборвался.

— Кто еще раз засмеется...— медленно произнес Воронин и погрозил кулаком.

— Прославленный бригадир еще не целиком преодолел пережитки...— начал было Удальцов.

— Помолчи! — прервал его Воронин.— Не клоун в цирке! Что вас интересует, говорите,— обратился он к Вале.

— Не знаю, с чего начать... На суде была зачитана характеристика. В ней говорилось, что Володя плохо работал... что его не любили в коллективе... Но я не верю этому... до сих пор не верю...

Она умолкла, не в силах справиться с охватившим ее волнением.

Воронин побарабанил пальцами по столу.

— Что ж,— угрюмо произнес он.— Харламов был парень с недостатками.

— С недостатками? — переспросила Валя.— С такими большими, что вы даже не подумали о нем, когда он попал под суд?

— А он подумал о нас?! — с неожиданной горячностью воскликнул Воронин.— Он подумал о бригаде, когда выставил нас на позор?

— О чем вы говорите?

— Не знаете?! — подхватил Удальцов, теперь уже без всякого шутовства.— Что ж, мы вам расскажем... С товарищами надо честным быть, вот что! Заметил недостаток — скажи! Сейчас Алешка мне кулаком погрозил. Так неужели я в завком побегу? Харламов, можно сказать, в лицо бригаде плюнул! По несчастной десятке нам за простои приписали. Подумаешь, преступление! А он в газету! Я ребят гвардейцами коммунистического труда назвал. Было, да сплыло. Бывшие мы теперь гвардейцы. По милости вашего Володи, уважаемая невеста. Когда по две смены вкалывали, высоковольтную тянули, в дождь, в снег между небом и землей качались, тогда товарищ Харламов ничего не писал!

— Он написал неправду? — спросила Валя.

— Правду! — крикнул Удальцов.— Теперь объелся этой правдой! Наверное, сыт по горло!

Наступило молчание. Валя посмотрела на Васина. Он тоже молчал, но уголки его губ подергивались.

— Так,— сказала Валя, вставая.— Значит, вы согласились с тем, что написано в характеристике. Не могли простить заметки в газете. Значит, пусть Володя сидит в тюрьме. А вы будете каждое утро спокойно ходить на работу и бороться за звание бригады коммунистического труда, которого лишились из-за Володи. Будете смотреть кино или выпивать, как сейчас, и думать, что все верно, все справедливо? — Валя с трудом перевела дыхание.— Вы даже не замечаете, что Володи нет среди вас. А если беда случится с кем-нибудь другим? Тогда что? Снова будете жить как ни в чем не бывало? — От волнения у Вали перехватило горло, она говорила почти шепотом.— Тот, кто сказал правду о вас, пусть пропадает. А те, кто кладет в карман незаработанные деньги,— ударники коммунистического труда? Так получается?

— Каждому — свое,— пробурчал молчавший до сих пор Кузнецов, низкорослый, веснушчатый парень.

— Каждому свое? — Валя покачала головой.— Значит, вам работать и учиться, а ему сидеть в тюрьме?!

— Насчет тюрьмы вы бросьте,— решительно сказал Воронин,— мы тут ни при чем. Тюрьму он за дело получил, Васин вот знает.

— Он знает.— Валя поглядела на Васина в упор.— И Катя тоже знает.

Когда Валя произнесла это имя, Васин вздрогнул. Он бросил быстрый взгляд на дверь, словно хотел сейчас же уйти.

— Васин знает! — с горечью повторила Валя.— Он нашел в себе силы сказать правду жене, он написал эту правду в заявлении, но бригаде, к которой примкнул по велению своего шоферского сердца, не сказал ничего. Что ж,— добавила она,— каждому — свое!

— Что это значит, Слава? — строго спросил Воронин.

Васин молчал.

— Я кого спрашиваю? — повысил голос Воронин.— О чем она говорит? Какое заявление?

Внимание сидевших за столом ребят сосредоточилось теперь на Васине. Восемь пар глаз, не отрываясь, смотрели на него.

Васин пробормотал что-то себе под нос и двинулся к двери.

— Стой! — властно сказал Воронин.— Ты куда? При-

ходят тут...— Он кивнул в сторону Вали.— Нотации читают, стыдят... Куда же ты? Рассказывай, в чем дело. Сам говорил, что Володька врал на суде и следствии!

Васин остановился.

— Не врал Володька,— глухо сказал он.

— Как не врал?! — почти одновременно воскликнули ребята.

— Она знает,— все тем же глухим голосом сказал Васин.— Вас ведь Валентиной звать? Скажите им все. А я...

— Нет! — прервал его Воронин.— Она — дело особое. Мы тебя спрашиваем. Ты что нам после суда говорил?

— Не помню...

— Не помнишь? Так мы тебе напомним, чтоб ты при ней все повторил. А не повторишь,— угрожающе сказал Воронин,— так мы тебя...

Он поднялся с места и, опершись руками о стол, подался вперед.

— Бить, что ли, будете? — крикнул Васин. Лицо его побагровело, он выпрямился и сжал кулаки.— Бейте. Я защищаться не буду! Врал я! Понимаете, врал! И следователю и на суде. Ясно?

Воронин вышел из-за стола и, тяжело шагая, направился к Васину. Валя вскочила и заслонила его собой.

— Не трогайте! Себя бейте, себя! Он нашел в себе силы правду сказать. Его теперь, может быть, в тюрьму посадят. Хотите все кулаками решить? Володя два года с вами бок о бок работал. Ведь знали, что не мог он такое сделать! Не мог раненого на шоссе бросить. А вы поверили! Почему? Потому что так легче! На душе спокойнее!

Глаза Воронина округлились, и Вале показалось, что еще секунда, и он зажмет ей рот или даже ударит. Но это ее не пугало. Наоборот, хотелось найти еще более резкие, еще более обидные слова.

Но, вопреки ожиданию, Воронин вдруг как-то враз сник и медленно пошел к столу. Некоторое время он стоял молча и растерянно глядел на бутылки, как бы не понимая, откуда они появились, затем грузно опустился на стул.

— В чем же дело? — тихо спросил он у Васина, не глядя на него.— Почему ты врал следователю? Бил он тебя, что ли?

— Не было этого,— покачал головой Васин.

— Так... почему же?! — с ноткой отчаяния спросил Воронин.

— Не знаю...— уныло ответил Васин, потом сделал резкое движение, словно беря себя в руки, и с силой сказал: — Опять вру. Знаю. Понял я тогда, что следователю от меня нужно. Понял, как мне себя вести, чтобы на воле остаться. «У Харламова, говорит, песенка все равно спета. Его, говорит, вся бригада подонком считает. Даже сам Волобуев...»

— И ты...— гневно начал Воронин.

— Я на воле остаться хотел,— с тоской прервал его Васин.— Меня Катя ждала!..

— Так...— протянул Воронин.— Значит, тебя Катя ждала. А Харламова, выходит, никто...— Он взглянул на Валю и тихо сказал: — Прости, невеста...

Наступило молчание.

— Бывшие гвардейцы коммунистического труда отступают, бросая пушки и знамена,— начал было Удальцов, но никто его не поддержал.

— Помолчи, клоун,— не глядя на Удальцова, резко сказал Воронин. Потом снова взглянул на Валю и медленно подошел к ней.

— Иди домой. Нам подумать надо. Одним. Неладно получилось. Мы подумаем. Не бойся — в случае чего себя не пожалеем. А теперь иди...

19. НЕПРЕДВИДЕННЫЙ ВЫЗОВ

Случилось так, что именно в те дни, когда Кудрявцев не находил себе места от отчаяния, от сознания своего бессилия, когда он окончательно понял, что не может воздействовать на Валю, оторвать ее от Харламова, ему неожиданно позвонил помощник секретаря обкома партии.

Он передал Кудрявцеву просьбу Комарова зайти к нему завтра в девять часов утра.

Николай Константинович с некоторым замешательством спросил, по какому вопросу вызывает его секретарь обкома и какие материалы необходимо подготовить. Помощник ответил, что ничего не знает и никаких материалов готовить не нужно.

Положив трубку, Кудрявцев долго размышлял, стараясь понять, зачем он понадобился секретарю обкома.

Разумеется, Комаров вызвал по делам совнархоза. Но почему именно его? Связь с обкомом обычно поддерживал

председатель совнархоза или его заместитель. Почему же теперь Комарову понадобился именно он, Кудрявцев, скромный заместитель начальника одного из отделов?

Может быть, этот вызов предвещает перемену в его положении, неожиданный поворот его дальнейшей судьбы?

Недоверчиво усмехнувшись, Кудрявцев отбросил эту пьянящую мысль. «Кому я теперь нужен? Зачем?..» Только месяц назад председатель совнархоза как бы невзначай спросил Кудрявцева, не собирается ли он выйти на пенсию.

Николай Константинович резко ответил, что у него еще достаточно сил, но, спохватившись, тут же добавил уже совсем другим, просительным тоном: «Просто не представляю, как бы я мог жить без работы. Да и возраст у меня еще не пенсионный. Однако если...»

Председатель прервал его, сказав, что не имел в виду ничего определенного, просто поинтересовался на всякий случай. На этом разговор прекратился.

«Нет,— думал теперь Кудрявцев,— вызов в обком не имеет, не может иметь никакого отношения к моему будущему. Даже думать об этом наивно и смешно. Но все-таки зачем я понадобился Комарову?»

...Борис Васильевич Комаров впервые был избран в обком на той самой партконференции, на которой Николай Константинович лишился своего поста. Кудрявцеву почти не приходилось сталкиваться с Комаровым. Он знал только, что Комаров раньше работал секретарем парткома крупного машиностроительного завода и что ему не больше сорока лет.

Кудрявцев хотел было рассказать о вызове своему непосредственному начальнику, чтобы тот не подумал, будто он, Кудрявцев, сам направился к секретарю обкома. Но потом решил, что расскажет обо всем после, когда выяснит, что к чему.

Нельзя сказать, чтобы он симпатизировал новому секретарю обкома, хотя и не имел никаких поводов относиться к нему плохо. Комаров был спокоен, выдержан; поступков, которые Кудрявцев мог бы назвать, скажем, неосмотрительными, не совершал. Речи его на совещаниях, где случалось присутствовать Кудрявцеву, тоже всегда казались Николаю Константиновичу вполне разумными. Тем не менее он испытывал к Комарову подсознательное чувство неприязни. Оно определялось не просто обидой. Кудрявцев был уверен, что Комаров считает его «обломком

культа личности», сухим догматиком, неспособным к творческой деятельности. Никаких явных оснований для подобных подозрений Кудрявцев, собственно, не имел. Но он был уверен, что секретарь обкома просто не может относиться к нему иначе в силу сложившихся обстоятельств.

Комаров ни разу не проявил желания встретиться со своим предшественником. Это лишь подтверждало мысли Кудрявцева. Зачем же он понадобился ему теперь?

На следующее утро, ровно в девять, Кудрявцев вошел в кабинет секретаря обкома.

Еще по дороге в обком Кудрявцев наметил себе линию поведения. Он решил держаться скромно, но с достоинством. Ни словом, ни жестом не обнаруживать своей давней обиды.

Кудрявцев не сомневался, что уже с первых же слов Комарова поймет, зачем его сюда позвали. В минувшие годы он не раз входил в кабинеты людей, занимавших высокие посты. Бывало и раньше, что его вызывали, не объясняя цели вызова. Но интуиция и долгий опыт всегда помогали Кудрявцеву по выражению лица, по первым, казалось бы, ничего не значившим словам руководителя понять, что его ждет — разнос или похвала, какое значение может иметь предстоящий разговор для его, Кудрявцева, будущего.

Не произнося лишних слов, ни о чем не спрашивая, Кудрявцев поздоровался и молча опустился в кожаное кресло, на которое указал ему Комаров. Однако он не удержался, чтобы не окинуть быстрым взглядом эту большую комнату, в которой когда-то провел столько дней и ночей.

Здесь почти все было по-прежнему. Тот же большой письменный стол, те же телефоны — белый и рядом три черных, тот же ковер на полу. Только гардины другие, легкие, в цветах, а тогда были тяжелые, плюшевые. Может быть, поэтому казалось, что кабинет стал просторнее, шире...

— Все по-прежнему? — с улыбкой спросил Комаров.

На мгновение Кудрявцев смутился, но тут же овладел собой и сказал в тон:

— В общем, да. Только вот как-то просторнее стало. Расширяли?

— Нет, от этой перестройки пока убереглись.

— Значит, показалось,— добродушно произнес Кудрявцев.

— Николай Константинович,— уже без улыбки сказал Комаров, откидываясь на спинку кресла,— мне хочется поговорить с вами по одному важному делу...

«Сейчас... сейчас!..» — с нарастающим внутренним волнением сказал себе Кудрявцев.

— Мне бы хотелось поговорить с вами,— медленно повторил Комаров,— о движении ударников коммунистического труда.

«О чем?!» — чуть было не воскликнул Кудрявцев. Уж не ослышался ли он? Какое отношение он, Кудрявцев, имеет к ударникам коммунистического труда? Может быть, этому юнцу просто неизвестно, что он, Кудрявцев, работает теперь не в партийном аппарате и не в профсоюзах, а в совнархозе? Может быть, его спутали с кем-нибудь? А онто, старый дурак, шел сюда, втайне надеясь, что наконец-то о нем вспомнили, что сейчас он услышит нечто такое, чего стоило ждать все эти годы!..

— Я... не совсем понимаю,— стараясь говорить сдержанно, но все-таки волнуясь, начал Кудрявцев,— какое, собственно, отношение?.. Я работаю теперь в совнархозе...

— Да, да, я знаю,— поспешно подтвердил Комаров.— Но вы ведь не всегда работали в совнархозе. Кроме того, вы руководите отделом, который...

— Я не руковожу отделом,— прервал его Кудрявцев.

— Верно,— согласился Комаров,— вы заместитель начальника отдела. Но начальник, насколько я знаю, никогда не был на партийной работе. А вы были. Следовательно, имеете опыт, и партийный и хозяйственный. Это именно то, что мне сейчас нужно...

Кудрявцев едва заметно пожал плечами. Последние слова Комарова звучали туманно, но вместе с тем обнадеживали. Он решил молчать и слушать. Комаров не заставил себя долго ждать. Словно размышляя вслух, он стал говорить о движении ударников коммунистического труда, о том, что оно создает подлинные условия для воспитания нового человека, но всякого рода «показуха», погоня за цифрами лишь портят, развращают людей...

Кудрявцев делал вид, что внимательно слушает эти общие фразы, которые были бы уместны на каком-нибудь собрании, но странно звучали в деловом разговоре. Его недоумение все возрастало, он боялся, что не выдержит и

прервет собеседника. Но в этот момент Комаров вдруг задал вопрос, который прозвучал для Кудрявцева, как выстрел в тишине:

— Может быть, вы знаете, Николай Константинович, как удалось начальнику Энергостроя Волобуеву создать столько бригад коммунистического труда у себя на стройке? И какого вообще вы мнения о Волобуеве?

Кудрявцев весь внутренне подобрался. От его недоумения не осталось и следа. Он едва удержался, чтобы не податься вперед, к Комарову, но тут же приказал себе: «Спокойно! Ситуация начинает проясняться. Но еще только начинает... Спокойно!»

Своим последним вопросом Комаров выдал себя. Общие рассуждения на морально-этические темы были конечно же только прологом, точнее, дымовой завесой! Волобуев — вот кто интересовал секретаря обкома! Теперь понятно, почему он не вызвал руководителей совнархоза. Комаров хотел собрать сведения о Волобуеве, не придавая этому широкой огласки. Он полагал, что Кудрявцев, работая в отделе, ведающем вопросами энергетики, чаще соприкасается с Волобуевым, чем руководители совнархоза. Кроме того, по его расчетам, самолюбию Кудрявцева должно было польстить доверие секретаря обкома. Нехитрый, но точный расчет!

Итак, речь шла о Волобуеве. Кудрявцев знал, что начальнику Энергостроя предстоит доклад на бюро обкома. Он знал также, что на Энергострое самый высокий в области процент бригад коммунистического труда. Но что же из всего этого следовало?

Кудрявцев решил не торопиться с ответом. Он чуть приподнял брови и слегка развел руками. Это могло означать все что угодно. Но прежде всего то, что ему трудно ответить на вопрос, поставленный в столь общей форме.

«Почему он спросил меня о Волобуеве? — лихорадочно думал Кудрявцев.— Насколько я знаю, у того все в порядке. План строительства перевыполняется. Никаких конфликтов с областным руководством нет. Волобуева все считают молодым, многообещающим работником. В чем же дело?»

— Мне бы хотелось знать ваше мнение о Волобуеве,— настойчиво повторил Комаров, в упор глядя на Кудрявцева.

Теперь уже отмалчиваться было нельзя. Кудрявцев сказал, что совнархоз никаких особых претензий к Волобуеву не имеет. Что же касается бригад коммунистического труда, то в этом вопросе общественные организации гораздо более компетентны, чем совнархоз.

Ответ явно не удовлетворил Комарова. Он снова и снова стал расспрашивать о строительстве, о Волобуеве, о том, считает ли он, Кудрявцев, что звания бригад коммунистического труда присваиваются на Энергострое заслуженно. Но за спиной у Кудрявцева был опыт десятилетий, за время которых техника аппаратных взаимоотношений достигла виртуозной изощренности. Он попросту не верил ни одному слову Комарова. Ему было ясно только одно: Комарову нужны сведения, компрометирующие Волобуева, и он рассчитывает получить их именно от него, Кудрявцева.

Но почему все-таки от него? Видимо, Комаров полагал, что вышедший в тираж Кудрявцев использует даже такой ничтожный повод, чтобы напомнить о себе. Захочет, так сказать, «услужить» Комарову. Но если расчет Комарова действительно был таков, то над секретарем обкома можно только посмеяться. Между двумя ответственными работниками, судя по всему, назревает свара. Неужели же такой стреляный воробей, как Кудрявцев, по первому знаку примет сторону одного из них, не зная ни существа дела, ни расстановки сил?

Рассчитывать на это мог только очень неопытный или недалекий человек.

Но может быть, Комаров «копает» глубже? Может быть, у него есть претензии к совнархозу и он хочет лично «прощупать» Кудрявцева, присмотреться к нему?

Ни одной из этих мыслей Кудрявцев, разумеется, не высказал вслух. Он вообще никогда не говорил ничего лишнего. Тем более в тех случаях, когда собеседник явно скрывал свои истинные намерения. Пусть Комаров перестанет ходить вокруг да около, пусть раскроет карты. Тогда он, Кудрявцев, и решит, как ему себя вести.

Размышляя так, Николай Константинович в то же время понимал, что неопределенные, расплывчатые ответы могут в конце концов обратиться против него самого. Портить же отношения с секретарем обкома он, естественно, не хотел ни при каких условиях.

— Борис Васильевич! — сказал он с предельной иск-

ренностью.— Вас, видимо, не удовлетворяют мои ответы. Но вопрос был поставлен в столь общей форме...

— Согласен,— охотно откликнулся Комаров.— Неясность в постановке вопроса обычно отражает неясность мысли. Или нежелание высказать ее ясно.— Он чуть сощурил глаза, потер подбородок и добавил: — Ведь можно сделать и такой вывод, да?

«Хитер»,— подумал Кудрявцев, но протестующе приподнял руку.

— Что ж,— продолжал Комаров,— видимо, я должен был сразу взять быка за рога.

Он раскрыл лежавшую на столе папку и протянул ее Кудрявцеву.

— Некоторое время назад эта статья была напечатана в одной многотиражке. Пожалуйста, прочтите.

В папке лежали листки белой бумаги с наклеенными на них газетными столбцами. Над первым столбцом был заголовок: *«Быть честным — всегда и во всем»*.

Кудрявцев начал читать. В статье речь шла о том, что члены одной из бригад коммунистического труда на Энергострое согласились взять незаконно выписанные им деньги. У бригады был простой по вине администрации. Не желая ссориться с рабочими и утруждать себя временным переводом бригады на другую работу, администрация выписала ей деньги за полный рабочий день.

«Ну и что? — подумал Кудрявцев.— Незаконное, но вполне обычное дело. Не настолько вопиющее, чтобы им занимался секретарь обкома...»

Он стал читать дальше. Автор в резких выражениях осуждал не только администрацию, но и членов бригады. Корысть, желание получить незаконные деньги оказались для них сильнее, чем взятые на себя коммунистические обязательства. Далее следовали рассуждения о том, что на Энергострое вообще гонятся за цифрами, больше заботятся о «фасаде», чем о существе дела...

«Неужели Комаров вызвал меня только из-за этой заметки? — подумал Кудрявцев.— Чепуха!»

Теперь он был окончательно убежден, что все дело в Волобуеве и его предстоящем докладе на бюро обкома. Комаров просто подбирает «ключ» к начальнику строительства. Заметка в газете — не больше чем повод. При иных обстоятельствах Комаров, разумеется, никогда не обратил бы на нее внимания. По своему собственному опыту Куд-

рявцев отлично знал, что сотни писем и заметок могут не привлечь к себе никакого внимания до тех пор, пока не возникнет соответствующая ситуация. А когда она возникает, любое, самое пустяковое письмо может стать поводом для далеко идущих выводов, для назначения комиссии, для немедленного выезда инструкторов — словом, для создания «дела». Усмехнувшись про себя, Кудрявцев читал уже просто из вежливости — ему все было ясно.

«...нет, коммунисту противопоказаны ложь, корысть, обман. Он должен быть честным перед партией, перед своими товарищами, перед собственной совестью...»

Вдруг словно кто-то сжал Кудрявцеву сердце. Кровь бросилась ему в лицо. В конце газетного столбца он увидел подпись: «В. Харламов».

— Возмутительно, не правда ли? — откуда-то издалека услышал он голос Комарова.

Боль, растерянность, обида — видимо, все это было написано на лице Николая Константиновича, потому что Комаров поспешно сказал:

— Я вижу, вас взволновала эта заметка.

— Нет, нет! — бросая папку на стол, неожиданно воскликнул Кудрявцев.

— Не понимаю,— с недоумением сказал Комаров.

— Нет! — снова крикнул Кудрявцев. Усилием воли он справился с собой и сказал уже более спокойным, но все еще прерывающимся голосом: — Я... совсем о другом... Просто я... знаю этого человека...

— Харламова? — удивленно переспросил Комаров.— Вам приходилось с ним встречаться? Любопытно! Тогда, очевидно, вы можете подробнее рассказать о нем?

— Это... негодяй! — вырвалось у Кудрявцева.

— Вот как? — с удивлением произнес Комаров.— Странно. Может быть, вы ошибаетесь? Путаете с кем-нибудь?

— Если бы я ошибался!..— с болью воскликнул Кудрявцев.

То, что мучило его последнее время, снова заполнило душу, заслонило все остальное.

— Этот человек — преступник,— продолжал он.— Его осудили за то, что он незаконно сел за руль, сшиб человека и не оказал ему помощи.

— Очень странно! — задумчиво повторил Комаров.— То, что вы сказали, и эта статья... разумеется, у меня нет

основания сомневаться в ваших словах. Кто же этот Харламов?

— Монтер,— ответил Кудрявцев.— Взял руль у шофера. Из озорства.

— Все это печально,— сказал Комаров,— когда я читал статью Харламова, мне было очень горько еще раз убедиться, что показуха проникла даже в такое святое дело, как движение за коммунистический труд. Но в то же время было радостно сознавать, что есть люди, которые даже в ущерб своим материальным интересам восстают против очковтирательства. Оказывается, я ошибся. Послушайте, Николай Константинович, откуда у вас все эти сведения о Харламове? Вы его лично знали?

— Да.

— По работе?

— Разрешите мне не отвечать на этот вопрос,— опустив голову, сказал Кудрявцев.

— Почему? — удивленно спросил Комаров.

— Я не хочу говорить об этом человеке.

Комаров откинулся в кресле и потер виски.

— Послушайте, Николай Константинович,— заговорил он, наклоняясь вперед и облокачиваясь о стол,— признаюсь, я нахожусь в состоянии некоторой растерянности. Я пригласил вас сюда с единственной целью поговорить о положении на Энергострое. Вам известно, что Волобуеву предстоит выступить с докладом на бюро. В оставшееся время мне хотелось войти в курс дела. Пять минут назад мне казалось — простите за откровенность,— что вы вряд ли можете мне помочь. Я уже решил, что не буду вас задерживать. Но теперь возникло новое обстоятельство. Не скрою, оно меня заинтересовало. Может быть, все-таки расскажете хоть в двух словах, откуда вы знаете Харламова?

Кудрявцев поднял голову.

— Это личный вопрос,— нехотя сказал он.

— Ли-и-чный?! — удивленно переспросил Комаров и, помолчав мгновение, сказал: — Тогда извините, пожалуйста. Не буду настаивать. Не хочу быть навязчивым.

Он встал.

— Простите, Николай Константинович, за то, что побеспокоил...

Но Кудрявцев продолжал сидеть. Ему вдруг пришла в голову мысль, что если бы Комаров захотел, то мог бы помочь разрубить весь этот клубок противоречий. Вряд ли он

в ближайшее время снова попадет к Комарову или заставит себя пойти к нему...

Эту мысль тут же заслонила другая. Кудрявцев подумал, что стыдно, до боли стыдно посвящать секретаря обкома в несчастье, которое на него свалилось.

Он уже решил пожать руку, которую протягивал ему Комаров, и уйти, но неожиданно для самого себя сказал:

— Если разрешите, Борис Васильевич, я хотел бы попросить вас... посоветоваться...

Ему захотелось тотчас же крикнуть: «Нет, нет! Эти слова вырвались помимо моей воли! Я ни о чем не хочу говорить! Я уйду...»

Но Комаров уже снова сел в свое кресло.

— Пожалуйста, Николай Константинович,— дружелюбно сказал он,— я буду рад, если смогу вам чем-нибудь помочь.

— Это... сугубо личное дело,— взволнованно начал Кудрявцев,— я никогда не решился бы прийти к вам по такому поводу... Но раз уж так случилось... Поверьте, мне очень трудно начать этот разговор...

21. КОМАРОВ

Комаров молча нажал кнопку звонка. Вошла девушка с блокнотом в руках.

— Писать ничего не будем. Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы мы с Николаем Константиновичем полчаса побыли вдвоем. Телефон тоже пусть помолчит.

Девушка кивнула и вышла.

Несмотря на все свое волнение, Кудрявцев понял, что Комаров дает ему время успокоиться и собраться с мыслями. Вызывать секретаршу не было никакой нужды. Все равно в кабинет секретаря обкома никто не войдет до тех пор, пока оттуда не выйдет очередной посетитель.

— Слушаю вас, Николай Константинович,— тем же дружелюбным тоном произнес Комаров, пододвигая к нему раскрытую пачку «Краснопресненских».

Кудрявцев взял пачку и стал ее рассматривать.

— Вопрос, как я сказал, сугубо личный,— не глядя на Комарова, проговорил он.— Но... когда коммунист чувствует, что находится в тупике...

Комаров участливо глядел на него. Еще несколько ми-

нут назад он ругал себя за то, что вызвал Кудрявцева. До сих пор он, в сущности, избегал встреч со своим предшественником. По правде говоря, Комарову не хотелось видеть его. Не потому, что Кудрявцев был ему неприятен. И не потому, что он считал его, как полагал сам Кудрявцев, что-то вроде «пережитка прошлого». Просто Комаров, даже став руководителем, не превратился в человека, для которого личные эмоции не играют уже никакой роли. Возможно, кто-нибудь другой на его месте вовсе не испытывал бы перед Кудрявцевым ни неловкости, ни тем более вины. Разве Комаров был виноват в том, что Кудрявцеву пришлось уйти? Но новый секретарь обкома принадлежал к тем людям, у которых логика не всегда управляла чувствами. Вызывая Кудрявцева, он испытывал некоторое смущение. Меньше всего ему хотелось, чтобы этот пожилой, проживший такую длинную жизнь человек чувствовал себя мелким чиновником на приеме у крупного начальства.

Приглашая Кудрявцева, Комаров, разумеется, собирался разговаривать с ним, что называется, «на равных». Более того, думал Комаров, если бы Кудрявцев, опираясь на свой долгий опыт, начал даже его чему-то поучать, то их беседа могла бы быть более непринужденной. Этот человек вел и партийную и хозяйственную работу в годы, когда начиналось стахановское движение. Пятилетки, Стаханов, Изотов... Теперь он был в совнархозе одним из руководителей отдела, которому подчинялся Энергострой. Казалось, трудно найти человека, более сведущего во всем, что волновало сейчас Комарова. Но уже очень скоро он понял, что ошибся. Расставшись со своим руководящим постом, Кудрявцев, видимо, потерял всякий интерес к тому кругу вопросов, которые еще недавно были в центре его внимания. Комаров видел, что все попытки разбудить в Кудрявцеве интерес к бригадам коммунистического труда, к предстоящему докладу Волобуева оказались тщетными. Он оставался равнодушен, осторожничал и соблюдал дистанцию.

Но сейчас, когда уже готовый угаснуть разговор неожиданно приобрел новое направление, Кудрявцев изменился. Комаров вдруг увидел перед собой человека, способного волноваться, страдать, искать помощи...

— Мне трудно говорить об этом,— по-прежнему не глядя на Комарова, глухо сказал Кудрявцев,— боюсь, что бестактно вовлекать вас...— Он продолжал рассматривать

пачку сигарет, которую все еще держал в руке.— Откровенно говоря, не знаю, как у меня вырвалось...

Комаров молчал. Просто молчал и выжидательно глядел на Кудрявцева.

— Я всегда думал,— уже более спокойно продолжал Николай Константинович,— что в состоянии сам решить все свои личные проблемы. Мне казалось, что в подобных случаях просить о помощи смешно...

— Боюсь, что вы слишком строги к людям и... к себе,— заметил Комаров.

— Если бы несколько месяцев назад я услышал, что Валя...

Кудрявцев осекся, впервые произнеся имя дочери.

— Словом, у меня есть дочь,— сказал он изменившимся голосом.— Единственная. Ей двадцать лет. Она...

Кудрявцев бросил измятую пачку сигарет па стол и умолк.

— Что же случилось с девушкой? — участливо спросил Комаров.

— Борис Васильевич, у вас есть дети?

— Двое. Сын и дочь. Школьники.

— Значит, мы можем говорить как отец с отцом. Как два уже немолодых... Впрочем, простите. Вы еще молоды. Но, может быть, вам тоже предстоит... Впрочем, не знаю. Когда Валя училась в школе, я никогда не думал, что мне придется...

Чтобы овладеть собой, Кудрявцев опять замолчал.

— Успокойтесь, Николай Константинович,— мягко сказал Комаров.— Прошу вас, расскажите мне все, что вас беспокоит.

— Спасибо! — Кудрявцев сказал это искренне, от всего сердца. Сейчас он верил, что Комаров действительно сочувствует ему и хочет помочь. Правда, он не знал, как и чем может помочь секретарь обкома. Но все равно испытывал к нему чувство благодарности. Пусть его собственная судьба уже предрешена. Он думал только о Вале.

— Хорошо. Я скажу вам все.— Кудрявцев снова потянулся за пачкой, вытащил сигарету, но не закурил, а зажал ее в кулаке.— Моя дочь влюбилась в преступника. Его фамилия — Харламов. Теперь вы понимаете мое состояние, когда я увидел подпись... Этот парень осужден. Получил два года исправительно-трудовой колонии. И тем не менее она... любит его.

— Так,— спокойно кивнул Комаров.— Скажите, вы и раньше были недовольны своей дочерью? — спросил он после короткой паузы.

— Никогда! — воскликнул Кудрявцев.— Конечно, родители часто переоценивают своих детей. Но Валя... Поверьте, я объективен! Она не такая, как все. У нее есть идеалы. Но сейчас речь о другом. Она попала под влияние этого Харламова...

— Вы все же знали его?

— Немного.

— Что он собой представляет?

— Могу только повторить: преступник, осужден на два года...

— А ваше личное впечатление?..

— Оно не расходится с мнением суда,— поспешно сказал Кудрявцев.— Недоучка, с претензиями на собственное мнение по любому вопросу. Нигилист. На мою дочь нашло затмение. Она любит его, несмотря ни на что. Я думал, суд откроет ей глаза... Но она считает его невиновным. Всячески стремится спасти. Боюсь, как бы не наделала глупостей.

— Каких?

— Не знаю,— махнул рукой Кудрявцев.— Она в таком состоянии, что способна на все.

Он снова замолчал, а Комаров задумался. Только что Кудрявцев вызывал в нем искреннее сочувствие. Теперь он невольно спрашивал себя: почему этот человек так оскорбительно говорит о Харламове? По-видимому, он очень мало знает этого парня. Но как уверенно клеймит его позором! «Преступник», «недоучка», «нигилист»...

«Нигилист,— повторил про себя Комаров.— Не слишком ли поспешно произносим мы это слово, когда следовало бы серьезно подумать?..»

Да, только что перед ним сидел страдающий, нуждающийся в помощи человек. Отец. Но сейчас в нем стали проявляться новые черты: категоричность тона, жесткость суждений, непогрешимость выводов и оценок...

Это насторожило Комарова.

— Да, сложное дело,— задумчиво проговорил он.— Чем же вы все-таки объясняете то, что случилось? Как Валя, девушка, по вашим словам, с идеалами, могла влюбиться в такого парня? Это противоестественно...

— Конечно! — подхватил Кудрявцев.— Именно противоестественно! Это я и пытался ей доказать! Но...

Комаров глядел на него выжидательно.

— Как вам объяснить...— продолжал Кудрявцев.— Все, что я говорю Вале, только ожесточает ее. Нет, ожесточает — не то слово. Как бы укрепляет ее решимость. Раньше я был уверен, что ею руководит только чувство... Понимаете, любовь... Но теперь вижу и другое.

— Что именно?

— Борьбу за этого парня она воспринимает как некий... как это назвать... гражданский долг. Нечто вроде битвы за справедливость... Обостренное чувство справедливости. Понимаете?

— Понимаю.

— На самом же деле все гораздо проще: наивная девушка, совершенно не знающая жизни, попала под влияние разложившегося парня...

— Все-таки почему вы о нем такого мнения? Я хотел бы знать несколько подробнее... Простите, что я снова и снова возвращаюсь к этому вопросу. Мне хочется до конца понять, что это за парень...

— Но я уже говорил! Кроме того, был суд!

— Разумеется, был суд,— задумчиво повторил Комаров.— Но предположим, что Харламов не совсем такой, как думаете вы и даже как показалось суду. Или Валя не совсем такая, как вам кажется. Одно из двух. Конечно, я выбрал бы первое.

— Нет! — отчеканил Кудрявцев.— Я не допускаю ни того, ни другого.

«Почему? — подумал Комаров.— Почему ты не допускаешь? Почему ты так уверен в своей непогрешимости? Почему бы тебе не допустить, что человек, которого ты считаешь плохим, не так уж плох? Почему бы не попытаться проникнуть в его душу?..»

— Ваша дочь, по-видимому, думает иначе? — спросил он.

— Сейчас меня не интересует, что думает моя дочь!

Комаров пристально и с откровенным любопытством посмотрел на Кудрявцева.

— Но вы же сами сказали, что у нее обостренное чувство справедливости. Может быть, стоит положиться на него?

— Но это ложное, наивное чувство! — воскликнул Кудрявцев.— Оно навеяно атмосферой последних лет, всеми этими разговорами о честности, смелости... Слишком много слов! — Он с некоторой опаской взглянул на Комарова.— Впрочем, вы, вероятно, не разделяете моего отношения...

— Почему же? — усмехнулся Комаров.— Кое в чем разделяю...

— Тогда мы поймем друг друга!

— Возможно,— неопределенно сказал Комаров,— но сейчас я хотел бы уяснить, чем я могу вам помочь?

— Не знаю! — вырвалось у Кудрявцева.— Ничего не знаю... Когда-то и я сидел в этом кабинете. Ко мне также приходили люди по так называемым личным вопросам...— Он обвел комнату медленным взглядом.— Все течет, все изменяется...— добавил он с горькой усмешкой.

— Николай Константинович,— пристально глядя на Кудрявцева, спросил Комаров,— вам и теперь кажется, что это кресло обладает магическими свойствами?

— Нет, нет, зачем же так примитивно? — запротестовал Кудрявцев.— Не место красит человека, и так далее. Но все же...

— Но все же вы хотите сказать, что если бы сидели сейчас в моем кресле, а я там, где сидите вы, то смогли бы дать мне совет?

— Думаю, что да,— ответил Кудрявцев и посмотрел Комарову прямо в глаза.

— Какой? — спросил тот, не отводя взгляда.

— Все зависит от того, хотите ли вы мне помочь.

— Хочу. Очень хочу, Николай Константинович.

— Тогда... в руках секретаря обкома большие возможности.

— Какие?

Кудрявцев молчал.

— Какие? — чуть громче повторил Комаров. Видя, что Кудрявцев не отвечает, он продолжал: — Что ж, давайте подумаем вместе. Как говорится, переберем все возможные варианты. Допустим, я попытаюсь поговорить с вашей дочерью. Но вдруг она не захочет разговаривать со мной об этом? И, откровенно говоря, будет права. Когда-то в таких случаях пробовали вызывать юношу или девушку на комсомольское бюро или в райком... Но я не думаю, чтобы вы хотели этого...— Он вопросительно посмотрел на Кудрявцева.

— В ваших руках власть...— уклончиво сказал тот.

— Власть? — удивленно переспросил Комаров.— Какую власть вы имеете в виду? И как я могу применить ее к вашей дочери?

— Речь идет не только о моей дочери.

— Понимаю! Этот парень... Но он же осужден.

— Это не исключает возможности провести с ним... воспитательную работу.

Наступило молчание.

Комаров встал и не спеша направился в дальний угол кабинета. Кудрявцев напряженно смотрел ему вслед. Комаров подошел к тумбочке, налил из графина воды в стакан, вернулся и медленно вылил воду в стоявший на подоконнике глиняный горшочек с цветком. Затем подошел к сидевшему в ожидании Кудрявцеву и, остановившись напротив него, сказал:

— Я хочу спросить вас, Николай Константинович: как они будут жить дальше?

— Кто? — недоуменно переспросил Кудрявцев и сделал движение, чтобы встать.

— Нет, нет, сидите, пожалуйста.

— Не понимаю вас, Борис Васильевич! — развел руками Кудрявцев.— Что вы имеете в виду? Ведь цель заключается в том, чтобы прервать их недопустимые отношения!

— Вам не кажется,— медленно сказал Комаров, снова усаживаясь за стол,— что души нельзя прижигать раскаленным железом?

— Зачем вы так говорите, Борис Васильевич? — дрожащим от обиды голосом начал Кудрявцев.— Вы считаете меня способным на жестокость? Впрочем,— он безнадежно махнул рукой,— что я удивляюсь, старый дурак! Сам напросился. Разумеется, именно так вы и должны думать. Вот мы сидим друг против друга. При желании в этом можно увидеть некий символ. Вы как бы олицетворяете собой новое время, а я кажусь вам обломком старого. Все, что вы думаете обо мне, подчиняется этой схеме. Раньше была одна схема, теперь другая. Вот и весь разговор. Так?

— Нет, не так! — с неожиданной горячностью воскликнул Комаров.— К черту все схемы! Как вы не понимаете! Мы...— Он оборвал себя на полуслове.— Простите, я погорячился. Но дело обстоит не так, совсем не так, как вы себе представляете! Мы с вами сейчас не два секретаря

обкома — бывший и нынешний, а два человека, два отца, два коммуниста! В наших руках судьбы двух молодых людей. И вы действительно выражаете старое. Но не потому, что старше меня, и не потому, что вы теперь не секретарь обкома. А потому, что хотите навязать людям свое единоличное решение, жестокое, неумолимое. И еще хотите использовать в своих интересах то, что называете властью... Между прочим,— добавил он, успокаиваясь,— вы, Николай Константинович, напрасно считаете, что руководители всесильны. Это иллюзия. Очень опасная и дорого стоящая нам иллюзия. Нельзя руководить, пренебрегая мыслями и чувствами людей.

— Значит, плыть по течению? — с иронией спросил Кудрявцев.

— Нельзя плыть по течению, но нельзя и забывать о нем.

Снова наступило молчание.

— Хорошо, Борис Васильевич, кончим этот разговор,— сказал наконец Кудрявцев.— Я виноват. Не следовало поддаваться настроению. Видимо, это бывает и с жесткими людьми... Не смог сдержаться.— Он усмехнулся.— На минуту мне показалось, что вы хотите помочь.

Он встал. Поднялся со своего места и Комаров.

— Помочь не в силах, каюсь,— сказал он.— Совет, пожалуй, могу дать...

— Какой же?

— Вы очень любите свою дочь?

— У меня никого нет, кроме нее.

— Как бы вам не потерять ее...

— Но если я отдам Валю этому подонку...

— Но действительно ли он так плох? Как мог подонок написать статью, которую вы здесь прочитали?

— В этом предоставляю разбираться вам,— неожиданно резко произнес Кудрявцев.

— Что ж, благодарю за совет.

— Это все, что вы можете мне сказать? — с горечью спросил Кудрявцев.

— У меня есть к вам просьба. Попросите свою дочь зайти ко мне.

— Валю? К вам?

Комаров протянул Кудрявцеву руку.

— Пришлите Валю, Николай Константинович,— сказал он.— Очень мне хочется с ней поговорить. Пришлете?

22. ВОЛОБУЕВ

Иннокентий Гаврилович Волобуев окончил энергетический институт в 1949 году. С тех пор жизнь неизменно баловала его.

Причина успехов Иннокентия Гавриловича заключалась не только в том, что он был неглупым человеком и способным инженером. Даже среди неглупых и способных он всегда выделялся.

Еще в ранней юности Волобуев понял, что открытая, подкупающе доброжелательная манера держаться облегчает отношения с людьми. В какой-то книге он прочел, что деловые люди Соединенных Штатов Америки взяли улыбку, так сказать, на официальное вооружение и считают ее залогом успеха. Волобуев твердо запомнил это.

В годы, когда он заканчивал образование и начинал служебную карьеру, улыбка была непопулярна. Сумрачно-сосредоточенное выражение лица отличало многих руководящих работников, с которыми ему приходилось иметь дело. Они наглядно демонстрировали, что целиком поглощены государственно важными мыслями и несут на своих плечах неимоверно тяжкий груз.

Но людям свойственно улыбаться. Волобуев понял, что улыбающегося человека полюбит даже тот, кто не привык улыбаться.

Полюбит за приятную слабость, которой сам не подвержен. Многих успехов Иннокентий Гаврилович Волобуев добился благодаря своему умению разговаривать с нужными людьми, благодаря улыбке, редко покидавшей его открытое, ребячливое лицо.

Казалось, все хотели сделать Волобуеву что-нибудь приятное. Он держался столь простодушно и весело, что никто не видел в нем претендента на высокие посты. Но выходило так, что его на эти посты всегда охотно назначали.

Все знали, что биография у Волобуева безупречная. Он был сыном умершего еще перед войной дипломата. Мать его вторично вышла замуж за ответственного работника министерства электростанций. До окончания института Волобуев жил с отчимом и матерью.

После института он работал некоторое время мастером на производстве, потом был взят в министерство. Оттуда его направили на строительство крупной электростанции.

Сначала он был заместителем начальника строительства, но уже через полгода стал начальником.

Где бы Волобуев ни работал, всегда получалось так, что в нем видели кандидата на более высокий пост. И его назначение на этот пост воспринималось всеми, как нечто само собою разумеющееся.

Веселый, душа нараспашку, он, казалось, не мог причинить никому зла. Строгость, которую он порой проявлял на службе, не обижала людей. Это была, если так можно выразиться, какая-то веселая строгость.

Перемены, происшедшие после 1956 года, лишь способствовали новым успехам Волобуева. Он быстро оценил свои новые преимущества. Давно усвоенная им манера держаться невольно заставляла окружающих видеть в нем типичного представителя новых руководящих кадров. Он был демократичен, весел, но в то же время деловит, не боялся острой, критической шутки, не придавал большого значения человеческим слабостям.

Он не только ругал «культ», но время от времени скептически отзывался о нынешнем руководстве, умел рассказать анекдот, не очень злой, но обязательно с легким политическим подтекстом, причем рассказать так, чтобы слушателям было не вполне ясно, кого он высмеивает — тех, против кого анекдот направлен, или тех, кто всерьез рассказывает такие анекдоты.

Все это было для Волобуева игрой. Легкой, изящной, веселой, правила которой давно и прочно усвоены. Главное правило заключалось в том, что сам Волобуев никогда не принимал эту игру всерьез. Он всегда помнил, что это лишь поверхность жизни, ее, так сказать, оболочка, скрывающая реальные отношения между людьми.

Волобуев всячески угождал начальству, в то же время постоянно демонстрируя свою независимость от него. Можно было всемерно содействовать возвышению того или иного лица и курить ему фимиам, но в то же время при каждом удобном случае решительно осуждать культ личности.

Надо было всегда помнить, что любому руководителю ничто человеческое не чуждо. Но каждый поступок следовало облекать в одеяние современной терминологии. Тогда все давалось легко и вызывало сочувствие окружающих.

Игра, которую вел Волобуев, была чем-то вроде высшей математики, но, в отличие от нее, предполагала пол-

ную противоречивость слов, действий и отсутствие в них внутренней логики. У этой игры были свои правила, но не было законов.

В отличие от нее, реальная жизнь, по убеждению Волобуева, подчинялась элементарной арифметике. Как и в арифметике, здесь существовали простые, но непреложные законы, нарушение которых не прощалось никому. Волобуев считал, что реальная жизнь развивается именно по этим законам. Человек, принявший правила игры за законы жизни, совершил бы крупную ошибку. В игре ее еще можно было бы простить. Но в жизни такая ошибка неминуемо оказалась бы глупостью. А глупость была хуже ошибки. Ей Волобуев не находил никакого оправдания.

Таков был Иннокентий Гаврилович Волобуев. Сейчас он сидел за письменным столом в своем служебном кабинете. Перед ним лежали материалы о движении ударников коммунистического труда на Энергострое. То, что доклад на эту тему бюро обкома поручило именно ему, Волобуев рассматривал как немалую победу. Он давно заботился о том, чтобы прослыть не только умелым хозяйственником, но и политическим деятелем. Бригады коммунистического труда были его козырем. Он не раз выступал с докладами и статьями на эту тему.

Движение за коммунистический труд он избрал своим коньком далеко не случайно. Ему казалось, что он сумел уловить определенную, идущую сверху тенденцию к переоценке роли волевого акта и пропагандистской речи. Теперь достаточно было чего-то захотеть, принять на этот счет постановление, предусмотреть организационные меры,— и вопрос считался решенным. Например, упраздни те или иные оплачиваемые должности, объяви их общественными — и внезапный рост коммунистической сознательности на твоем предприятии достигнут.

Волобуев понял, что на Энергострое этот рост должен выразиться в бурном развитии бригад коммунистического труда. Продемонстрировав это, он, несомненно, попал бы в самую точку.

Разумеется, Волобуев был достаточно умен, чтобы обезопасить себя от всех возможных осложнений. Прежде всего, он дал указание строго соблюдать принцип добровольности. Отпечатанные на машинке проекты обяза-

тельств со множеством пустых строк и многоточий непременно подписывались всеми членами бригад и свято хранились в положенном месте. Время от времени проводились смотры-проверки. Они неизменно показывали, что подавляющее число бригад свои обязательства строго выполняет. Это было на пользу всем. Бригады и начальники участков получали поощрения. Парторги участков «стопроцентного охвата» избирались во все президиумы.

Постепенно Волобуев приучил руководящих работников стройки рассматривать малейшее невыполнение обязательств как чрезвычайное происшествие.

Каждая бригада брала на себя обязательства, состоявшие как бы из двух частей. Первая и главная часть касалась производственных планов. Вторая была связана с поведением людей в быту.

Выполнение первой части легко поддавалось проверке. Вторую было очень трудно учесть. Поэтому производственная деятельность бригад всегда оказывалась в центре внимания.

Волобуев прекрасно знал, что бригадам коммунистического труда создавалось на стройке привилегированное положение. При всех обстоятельствах они должны были выполнять и перевыполнять свои планы.

Такой протекционизм казался Волобуеву естественным и традиционным. Разве на заре стахановского движения, спрашивал он себя, людям, чьи имена становились впоследствии знаменем, не создавались особо благоприятные условия?

Размышляя обо всем этом, Волобуев приступил было к чтению подготовленных для него материалов, когда явился секретарь и доложил, что на прием пришел некто Митрохин.

— По какому вопросу? — не поднимая головы, спросил Волобуев.

— Что-то связанное с делом Харламова...

Первой мыслью Волобуева было по привычке направить этого человека к одному из своих заместителей, тому, который занимался разными персональными жалобами и делами, связанными с милицией.

Он так и сделал бы, если бы не одно обстоятельство... Два дня назад ему позвонил следователь Пивоваров и рассказал о своем разговоре с народным заседателем Митрохиным.

Пивоваров не принадлежал к числу тех людей, для которых у Волобуева всегда была в запасе открытая, доброжелательная улыбка. К тому же следователь, видимо, полагал, что начальник Энергостроя как-то особо заинтересовал в судьбе Харламова. Это уже совсем раздосадовало Иннокентия Гавриловича.

Выслушав сбивчивое, полное смутных намеков сообщение Пивоварова, Волобуев резко спросил:

— Какое мне до всего этого дело?

— Да, да, конечно,— торопливо согласился Пивоваров,— но этот Митрохин утверждает, что шофер Васин якобы написал заявление...

— Послушайте,— прервал его Волобуев,— насколько я знаю, дело Харламова вели вы. Чего же, собственно, вы от меня хотите? В конце концов, я не прокурор. У вас ко мне все?

— Да, да, извините,— упавшим голосом ответил Пивоваров.

Повесив трубку, Волобуев задумался над этим тревожным звонком. Пивоваров явно перетрусил. Однако хуже всего было то, что он считал необходимым сообщить об этом в первую очередь именно Волобуеву. Значит, следователь полагал, что между ними возникли какие-то особые отношения. Пивоваров был явно глуп. А от глупого человека можно ожидать чего угодно.

Вспомнив теперь о своем разговоре с Пивоваровым, Волобуев решил принять Митрохина лично. Чутье подсказывало ему, что он сам должен выяснить, кто же именно заинтересовался Харламовым. Кроме того, Волобуев надеялся, увидев посетителя, вспомнить, какое положение тот занимает.

Но когда Митрохин вошел, Волобуев понял, что видит его впервые.

— Я вас слушаю,— сухо сказал Иннокентий Гаврилович.

23. ПОЕДИНОК

— Моя фамилия Митрохин, зовут Антон Григорьевич,— сказал старик, когда Волобуев небрежным кивком указал ему на стул.— Я позволил себе побеспокоить вас в связи с делом Харламова.

— Авария на Воронинском? — как бы припоминая, спросил Волобуев.— Слышал, докладывали. Но, извините, кто вы и почему обращаетесь ко мне?

— Я был народным заседателем, когда разбиралось дело Харламова. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов.

— При чем тут я? — с подчеркнутым недоумением спросил Волобуев.— Обратитесь в отдел кадров.

— Я уже там был. Мне хотелось бы поговорить именно с вами.

— Простите, товарищ... з-з... Митрохин. Сейчас я очень занят. Кроме того, мне докладывали, что этот самый Харламов уже понес заслуженное наказание.

— Верно,— подтвердил Митрохин,— но мне хотелось бы убедиться, что оно было заслуженным.

— Разве мало дали?

— Дали не мало. Два года колонии.

— Значит, заслужил.

— Об этом мне и хотелось поговорить.

— Послушайте,— уже с раздражением сказал Волобуев.— У меня сейчас нет времени. Готовлюсь к заседанию бюро обкома. Кто вас, собственно, уполномочил? Насколько я понимаю, в функции народного заседателя...

— Это не входит. Вы совершенно правы. Но я пришел к вам не как народный заседатель. Просто как коммунист к коммунисту...

Волобуев уже готов был с усмешкой сказать: «Если каждый человек с партбилетом будет...» Но вовремя придержал язык. В тоне старика было нечто такое, что заставило Волобуева подавить усмешку и промолчать. Митрохин смотрел на него пристально и сосредоточенно. Волобуев улыбнулся и сказал со снисходительной укоризной:

— Уважаемый товарищ, я, как вам, вероятно, известно, начальник строительства! И вовсе не обязан знать каждого монтера, работающего на стройке. Начальник участка...

— Я был и у начальника участка,— прервал его Митрохин.

— Он не дал вам нужных сведений? — Волобуев строго сдвинул брови. В голосе его прозвучала готовность немедленно наказать виновного в бюрократизме.

— Дал,— ответил Митрохин.

— Тогда зачем вам я? — спросил Волобуев.

— Дело в том,— словно не замечая его недовольства, пояснил Митрохин,— что те, кто плохо характеризовали Харламова, ссылались на вас. Якобы вы лично были отрицательного мнения об этом человеке.

— Какого же мнения я мог быть о нем? — пожал плечами Волобуев.— Он же совершил возмутительный поступок!

— У меня сложилось впечатление, что вы были плохого мнения о Харламове еще до этого поступка. Вот я и хочу спросить вас: какие на то были причины?

— Товарищ Митрохин, на Энергострое работает более двух тысяч человек.— Волобуев с подчеркнутым выражением произнес цифру.

— Вот, вот,— подхватил Митрохин.— Меня как раз заинтересовало, почему начальник строительства занимался одним из двух тысяч. Я проявил бы неуважение к вам, товарищ Волобуев, если бы, зная об этом, не явился сюда.

В последних словах Митрохина Волобуеву послышалась скрытая ирония.

— Что значит «занимался»? — холодно спросил он.

— Я ничего толком не знаю. Но товарищи говорят, что вы как-то вызывали Харламова.

«С этим стариком нужно быть настороже»,— подумал Волобуев, и на лице его вдруг расплылась широкая подкупающая улыбка.

— Видите, как получается,— с шутливой укоризной сказал он,— если руководитель предприятия не общается с рабочими, его кроют за бюрократизм. А если он выбирает время, чтобы побеседовать с одним из рабочих, это вызывает недоумение.— Волобуев провел рукой по своим гладко зачесанным назад светлым волосам.— Да, я вызывал Харламова. Но, откровенно говоря,— доверительным тоном добавил он,— я не хотел, чтобы об этом знало много народа.

— Почему?

— Начальник строительства не должен подменять собою бригадира или руководителя участка. Иначе никто не будет подчиняться распоряжениям своих непосредственных начальников.

— Тем не менее вы вызывали Харламова. По какому же делу?

— Послушайте, это что — допрос? — потеряв самообладание, спросил Волобуев.— В конце концов, мне это начинает надоедать! Я позвоню прокурору.

Он потянулся к телефонной трубке, искоса наблюдая, какое впечатление это производит на Митрохина.

— Разумеется, вы можете позвонить,— спокойно отозвался тот.— Но есть и другой способ прекратить наш разговор. Вы можете просто сказать, чтобы я ушел.

Чутье вновь подсказало Волобуеву, что он едва не совершил грубой ошибки. Ведь ему до сих пор было неясно, чего, собственно, добивается Митрохин. А выяснить это надо. Обязательно надо! К тому же старик явно не из пугливых. Ни к чему ссориться с ним. Может быть, он — старый большевик? С такими теперь носятся...

— Извините, я погорячился,— примирительно сказал Волобуев,— но войдите в мое положение. У меня куча дел, я готовлюсь к докладу на бюро обкома, а тут приходится заниматься каким-то хулиганом. Ладно,— Волобуев махнул рукой,— можете спрашивать меня, что хотите. Я, как и вы, коммунист, к тому же член обкома,— добавил он словно между прочим,— у меня от вас секретов нет. Я вызвал Харламова потому, что бригадир просил меня избавить его от этого парня.

— По какой причине?

— Сейчас объясню. Простите, запамятовал ваше имя-отчество...

— Антон Григорьевич.

— Да, да, Антон Григорьевич. Кажется, мы с вами до сих пор не встречались. Народный заседатель — это ваша штатная должность?

— Нет. Я — пенсионер.

— Вы сказали, что принимали участие в суде над Харламовым?

— Принимал.

«Ничего не понимаю,— подумал Волобуев.— Мне казалось, что Митрохин стремится найти обстоятельства, смягчающие вину Харламова. Пивоваров полагает, что дело обстоит именно так. Но кто же мешал Митрохину повлиять на характер приговора во время суда, вместо того чтобы штамповать обвинительное заключение!»

— Что ж,— с легкой усмешкой сказал Волобуев.— Вы сами были одним из судей и лучше меня знаете обстоятельства дела.

— Как будто бы да,— негромко сказал Митрохин.

— Следует ли из ваших слов, что вы не согласны с приговором? — в упор спросил Волобуев.

— Да, у меня есть сомнения,— просто ответил Митрохин.

— Значит, судьи разошлись? Вы держались особого мнения?

— Это тоже напоминает допрос. К тому же вы посягаете на тайну совещательной комнаты. Однако я отвечу. Приговор был вынесен единогласно.

— Но тогда,— с притворной растерянностью сказал Волобуев,— выходит, что вы ищете доказательств своей ошибки?

— Вас это удивляет, Иннокентий Гаврилович? — спросил Митрохин с такой обескураживающей простотой, что Волобуев не понял, издевается он над ним или говорит серьезно.

— Нисколько,— в тон Митрохину ответил Волобуев.— Людям свойственно ошибаться. Однако о Харламове вы знаете гораздо больше, чем я. Зачем же вы ко мне пришли? У вас есть еще вопросы?

— Конечно! Вы же хотели мне рассказать, при каких обстоятельствах познакомились с Харламовым! Просьба бригадира была удовлетворена?

— В его рапорте говорилось, что Харламов дезорганизует работу бригады. Начальник участка подписал этот рапорт, я был уже готов наложить резолюцию, что согласен на увольнение. Но потом, сам не знаю почему, велел дать мне сведения о Харламове. Узнал из личного дела, что это молодой парень, к тому же сирота, и решил вызвать его. Надеюсь, я поступил правильно?

— Разумеется. Но он произвел на вас дурное впечатление.

— Почему вы думаете? — спросил Волобуев, глядя на Митрохина с открытой обезоруживающей улыбкой.

— Я читал его характеристику.

— Вы правы. Он произвел на меня очень дурное впечатление. Но характеристикой я не занимался, ее подготовил отдел кадров.

— Кто сообщил вам о случае на Воронинском шоссе? — неожиданно спросил Митрохин.— Следователь Пивоваров?

— Точно не помню. Кажется, да.

— Видимо, он сказал вам и о том, что в этом деле замешан Харламов. Так? Что вы ответили ему?

— Насколько я помню, ничего. Что я, собственно, мог ему ответить? Он меня ни о чем и не спрашивал.

— Скажите, пожалуйста, Иннокентий Гаврилович, следователь всегда сообщает начальнику строительства о каждом происшествии?

— Но это было все-таки чрезвычайное происшествие. Пострадал человек.

— Поэтому следователь решил позвонить непосредственно вам?

Волобуев помедлил с ответом. Известно ли Митрохину, что первым позвонил он, Волобуев? Этот вопрос вертелся на языке у Иннокентия Гавриловича, когда Пивоваров рассказывал ему о своем разговоре с Митрохиным. Но он, разумеется, не задал его. Только еще не хватало дать Пивоварову понять, что он, Волобуев, чего-то боится, в чем-то от него зависит!

После короткого раздумья Волобуев решил и на этот раз последовать одному из основных своих правил: всегда казаться правдивым и сохранять точность даже в деталях.

— Насколько я помню,— сказал Волобуев, постукивая карандашом по полированной доске письменного стола,— не Пивоваров позвонил мне, а я ему.

— В связи с Харламовым? — живо спросил Митрохин.

Волобуев отлично помнил, как все было. Узнав, что следствие по делу Харламова ведет Пивоваров, он позвонил ему в надежде, что следователь сам начнет разговор о происшествии на шоссе.

— Да что вы! — протянул Иннокентий Гаврилович.— Мой звонок не имел к Харламову никакого отношения.

— Но именно во время этого разговора Пивоваров рассказал вам о случае с Харламовым. Верно?

— Верно.

— И что вы ответили?

— Я уже говорил, что Пивоваров меня ни о чем не спрашивал. Никакого отношения к Харламову наш разговор, повторяю, не имел.

— Еще раз прошу извинить меня за назойливость. Не можете ли вы сказать, по какому поводу вы позвонили Пивоварову?

«Ах, идиот! — мысленно выругал Пивоварова Волобуев.— Неужели он наболтал об истории с квартирой?! Нет, не может быть. Если он и глуп, то не настолько».

— По совершенно постороннему поводу,— твердо сказал Волобуев.— Речь шла об одной просьбе райкома.

— Насколько я понимаю, к моменту разговора с Пивоваровым ваше мнение о Харламове уже сложилось. Ведь так?

— При чем тут разговор с Пивоваровым? — с оттенком раздражения воскликнул Волобуев.

— Я имею в виду совпадение во времени,— пояснил Митрохин.— Ведь вы беседовали с Харламовым до аварии на Воронинском шоссе и до звонка Пивоварову?

— Само собой разумеется! Не мог же я вызывать Харламова после того, как он совершил преступление! Его же сразу арестовали!

— Да, да, конечно. Хорошо, забудем о Пивоварове,— немного помолчав, сказал Митрохин.— Итак, вы вызвали Харламова. Не можете ли вы подробнее рассказать, какое впечатление он на вас произвел?

— Гм-м... — промычал Волобуев.— Я очень скоро понял, что это вздорный, своенравный парень, не признающий никаких авторитетов, считающийся только со своим мнением. Типичный эгоист и демагог.

Волобуев внимательно посмотрел на Митрохина. Как старик отнесется к его последним словам? Надо во что бы то ни стало найти с ним общий язык!

— Значит, демагог,— повторил Митрохин не то сочувственно, не то с огорчением.— В чем же выражалась его демагогия?

— По словам Харламова, получалось, что во всех его столкновениях с бригадиром, с начальником участка, с товарищами по работе виноваты были все, кроме него самого. Я пытался переубедить его, но безрезультатно. Мне стало ясно: если я оставлю Харламова на работе, он поймет это как признание его правоты. И все начнется сначала.

— Вы уволили Харламова?

— Я велел ему вернуться на работу. Сказал, что еще подумаю. Что-то помешало мне сразу наложить резолюцию, хотя, повторяю, мнение мое сложилось.

Наступило молчание.

«Очевидно, он зашел в тупик,— удовлетворенно подумал Волобуев.— Ему нечего больше спрашивать. Как ни

странно, на демагога он не клюнул. Казалось бы, любое критическое замечание о современности должно было бы вызвать у такого старика полное сочувствие. Видимо, осторожничает. Ну и шут с ним».

Волобуев собрался уже сказать со снисходительной усмешкой: «Насколько я понимаю, вопросов больше нет?..» Но Митрохин заговорил снова. В голосе его зазвучали теперь новые, проникновенные нотки.

— Иннокентий Гаврилович, поймите меня. Я хочу составить верное впечатление о Харламове. Не скрою, на суде мы несколько поверхностно подошли к его делу. Во многом сыграло роль следствие. Мне кажется, оно велось предвзято. Понимаю, Харламов мог вызвать раздражение и у вас. Но теперь вы имеете возможность все спокойно взвесить. Подумайте, речь идет о судьбе человека...

«Врешь, дорогой товарищ, врешь! — мысленно отвечал Митрохину Волобуев.— Если говорить начистоту, речь скорее идет обо мне! Думаешь, я не знаю о твоем разговоре с Пивоваровым? Что он сболтнул обо мне? Мне еще не вполне ясно, что именно. Но если ты надеешься, что я расчувствуюсь, то глубоко ошибаешься!»

— Я понимаю вас,— сказал Волобуев, стараясь придать своему голосу такое же проникновенное звучание,— судьба человека — очень серьезное дело. Но... я не могу идти против своей партийной совести. Харламов — склочник, хулиган, наконец, плохой работник. К таким людям у меня нет никакого сочувствия.

— Однако вы его вызывали?

— Просто по долгу службы. Хотел удостовериться в правоте бригадира и начальника участка.

— А потом?

— Потом? Я просто не помню, что было потом!

— Не помните? — переспросил Митрохин.

Знает старик о заметке в газете или нет? Волобуеву понадобилось несколько секунд, чтобы принять решение.

— Что ж,— сказал он наконец.— Я вынужден признать, что допустил слабость. Поступил недостаточно принципиально. Харламов оказался не просто вздорным парнем. Я понял это через несколько дней, когда прочел статейку, в которой он критиковал бригадира и руководство в целом за якобы незаконные приписки к зарплате рабочих.

— Вы считаете, что Харламов написал неправду?

— Есть вещи, которые трудно охарактеризовать коротко. Приписки — дело, конечно, незаконное. Если бы я узнал о них своевременно, виновные были бы строго наказаны.

— Вы и узнали. Но из газеты.

— Я наложил взыскание на виновных, а неправильно начисленную рабочим сумму распорядился удержать из заработка бригадира и начальника участка. Кроме того, бригаду лишили звания коммунистической.

— Разумеется, она была от этого не в восторге.

— Это меня не интересовало. Закон есть закон. Хотя...

— Вы сомневаетесь в справедливости этого закона?

— Попробуйте, Антон Григорьевич, встать на чисто человеческую точку зрения! — Волобуев как бы говорил Митрохину: «Тебе хочется вызвать меня на откровенность? Это не трудно!..» — Рабочие вкалывают не покладая рук. Но им не подвозят материалы. Простой. Вместо обычной полсотни люди получают по тридцатке. А ведь у каждого семья... Вот бригадир и входит в положение. Делает приписку в наряде,— на стройке трудно определить точный объем выполненной работы. Начальник участка молчаливо санкционирует. Обычная строительная практика! Вам это, очевидно, не понятно? — Он посмотрел на Митрохина ясными глазами, как бы говоря: «Видишь, на что я иду? Нет у меня от тебя никаких секретов...»

— Нет, почему же,— возразил Митрохин.— Я понимаю.

— Тогда вы должны войти в положение тех рабочих, которых их же товарищ выставляет как последних рвачей... А ведь это бригада коммунистического труда, она не виновата в снабженческих неполадках.

— Может быть, следовало решить вопрос иначе? Скажем, временно поручить бригаде другую работу.

— Теоретически — да. Но практически...

— Понимаю. Практически легче решить вопрос за счет государства.

— Упрек справедливый,— поспешил согласиться Волобуев.— Приписки — дело незаконное. Я уже говорил, что виновные понесли наказание. Но рабочие по-своему оценили мотивы, побудившие Харламова написать в газету. С этим я ничего поделать не мог. Рабочий класс чувствует

любую фальшь. Особенно когда речь идет о чести бригады коммунистического труда, которая по не зависящим от нее причинам лишается своего звания...

— Так... — задумчиво произнес Митрохин.—Но вы сказали, что проявили слабость. Поступили недостаточно принципиально. В чем же это выразилось?

— После заметки я не мог уволить Харламова. Он поднял бы крик, что ему мстят за критику...

— Вы решили с ним не связываться?

— Точно. Решил не связываться. К счастью, как говорили в старину, бог шельму метит. На Воронинском шоссе Харламов проявил себя полностью.

— Дальше?

— Дальше уже включились вы, уважаемый Антон Григорьевич,— широко улыбнулся Волобуев.— Суд поставил все точки над «и».

— Иннокентий Гаврилович,— сказал Митрохин,— мне хотелось бы еще раз спросить вас: поводом для вызова Харламова явился рапорт начальника участка?

— Я вам уже говорил!

— До этого вам не приходилось беседовать с Харламовым?

— До этого? — медленно повторил Волобуев, стараясь выиграть время.— Насколько я помню, нет.

— Ошибаетесь, Иннокентий Гаврилович,— укоризненно покачав головой, сказал Митрохин,— вам изменяет память.

— Подождите! — воскликнул Волобуев, сознавая, что сделал грубую, опасную ошибку.—Вы правы! Действительно, я разговаривал с ним еще один раз. Но это ничего не меняет!

— Допустим,— спокойно согласился Митрохин.— Итак, поводом для второго разговора был рапорт начальника участка. А для первого?

— Не помню! — в замешательстве ответил Волобуев.

— Помните,— тихо и даже как бы с печалью в голосе сказал Митрохин...

Да, он был прав. Видимо, старик знал и о первом разговоре с Харламовым. Конечно, ему рассказали и о письме — ведь он был в отделе кадров! Волобуев получил это письмо месяца два назад. Незадолго до этого он узнал,

что ему поручен доклад на бюро обкома, и принял меры к дальнейшему росту бригад коммунистического труда. С письмом Харламова можно было бы примириться, если бы он критиковал только свою бригаду. Но он позволял себе наглые обобщения. Утверждал, что быстрый рост бригад коммунистического труда на Энергострое не что иное, как показуха. Издевался над якобы существующей у руководителей иллюзией, что, подписав обязательство, человек уже становится ударником. Называл десяток неизвестных Волобуеву рабочих, которые якобы числятся членами этих бригад и в то же время пьянствуют после работы. Кое-кто из них, вдобавок, бьет своих жен.

Волобуев вспылил, вызвал к себе начальника отдела кадров, швырнул письмо и сказал, чтобы подобную галиматью ему больше не передавали.

Однако через несколько дней осторожность взяла верх. Волобуев распорядился вернуть письмо из отдела кадров и вызвал Харламова. Он предполагал попросту напугать парня — сказать, что его клеветническое, с явным антисоветским душком письмо следовало бы передать в общественные организации и что он не сделал этого только из чувства жалости.

Харламов хмуро ответил: «Передавайте, буду рад».

Тогда Волобуев изменил тактику. Он начал убеждать Харламова, намекнул ему на неприятные последствия, которые неизбежно возникнут, если его товарищи узнают об этом письме. Более того, дал ему понять, что если он, Харламов, недоволен своей работой или зарплатой, то и об этом можно подумать...

Неожиданно Харламов схватил со стола письмо и разорвал его на мелкие клочки.

— Что это значит? — строго, но с чувством некоторого облегчения спросил Волобуев.

— Эт-то значит, что мне п-противно,— ответил Харламов, чуть заикаясь от волнения.

Бросив обрывки письма себе под ноги, он ушел и громко хлопнул дверью. Через некоторое время Волобуеву передали рапорт начальника участка с просьбой об увольнении Харламова.

«Откуда Митрохин мог узнать об этом письме? — лихорадочно соображал Волобуев.— На следствии о нем разговора не было. Пивоваров наверняка рассказал бы. На суде — тоже. Письмо находилось в отделе кадров в тече-

ние всего нескольких дней. Но там его успели прочесть. А Митрохин побывал в отделе кадров... Какая глупость, черт побери, какая непростительная глупость!»

— Что же было поводом для первого вызова Харламова, Иннокентий Гаврилович? — снова спросил Митрохин.

— Его хулиганское письмо,— твердо ответил Волобуев.

— Вот как? — Митрохин удивленно приподнял брови над оправой очков.— Значит, было письмо?

«А ты не знаешь?!» — со злобой подумал Волобуев.

— Не считаю нужным скрывать,— сказал он вслух.

— Что же Харламов вам писал?

На этот раз выдержка покинула Волобуева.

— Это уже переходит все границы! — воскликнул он.— Что вы комедию разыгрываете! Вы были в отделе кадров, и вам прекрасно известно содержание этого письма. Иначе вы не спрашивали бы меня, почему я вызвал Харламова в первый раз. К чему эти прокурорские методы? Прошу вас не забывать, что вы говорите с членом обкома партии!

— Я все время думаю об этом,— спокойно и, видимо, нисколько не обижаясь на резкий тон Волобуева, ответил Митрохин.— Но я ничего не знал ни о каком письме. В отделе кадров мне сообщили, что вы вызывали Харламова дважды. О письме же я узнал только сейчас. От вас. Поставьте себя на мое место: разве вы не спросили бы о его содержании?

«Идиот, совершеннейший идиот! — мысленно обругал себя Волобуев.— Сам поставил себе ловушку и полез в нее!» Но отступать было поздно. Если бы начальника отдела кадров вызвали куда-нибудь и спросили об этом письме, он наверняка выложил все, что ему известно. Кроме того, существует все-таки и сам Харламов. Пусть и далеко, но существует...

— Я снова погорячился,— извиняющимся тоном сказал Волобуев,— обидно все-таки... Так вот о письме. В нем содержалась прямая клевета на движение за коммунистический труд. Харламов был всем и вся недоволен...

— Он требовал что-нибудь для себя лично?

— Личные интересы всегда маскируются в таких случаях интересами общества,— ответил Волобуев.— Харламов утверждал, что все кругом рвачи и стяжатели...

— У вас сохранилось это письмо?

— Харламову стало стыдно, и он разорвал его. На моих глазах.

Наступило молчание.

— Антон Григорьевич,— мягко сказал Волобуев,— мы уже потратили на этого Харламова целый час. Я подробно и... как бы это сказать... безропотно отвечал на ваши вопросы, хотя некоторые из них, не скрою, обижали меня. А ведь дело-то, по правде говоря, яснее ясного. Может быть, вам кажется, что между поведением Харламова на стройке и его преступлением нет прямой связи? Есть! — убежденно воскликнул Волобуев.— Вы спросите, какая? Безответственность! Наплевательское отношение к своим поступкам! Вот вам и все.

Волобуев удовлетворенно откинулся на спинку кресла.

— Что ж, Иннокентий Гаврилович,— как бы в раздумье произнес Митрохин,— все, что вы сказали, на первый взгляд выглядит очень убедительно. Но, к сожалению, вы не упомянули о самом главном. Очень многое в судьбе Харламова зависело от вас. Мне тяжело говорить это, но в том, что он оказался в тюрьме, я вижу и вашу вину. Таков мой вывод.

Митрохин замолчал. Он ждал взрыва возмущения. Волобуев должен был ударить кулаком по столу, закричать, может быть, выгнать его из кабинета...

Но Волобуев молчал. Глаза его были сощурены, на лице играла усмешка.

— Вы обманули меня, уважаемый Антон Григорьевич,— тихо сказал он.

— Обманул? — удивленно переспросил Митрохин.

— Прикинулись овечкой! Разыграли из себя сердобольного старичка! Почему вы сразу не признались, что пришли ко мне с поручением?

— От кого?!

— Не знаю, какое у вас в кармане удостоверение. Прокуратуры, партконтроля, редакции... Зачем вам понадобилась вся эта маскировка? Думаете, нашли дурака, который поверит, что вы затеяли все это просто так? От нечего делать?

— Уверяю вас, товарищ Волобуев, вы ошибаетесь,— воскликнул Митрохин, не понимая, иронизирует Волобуев или говорит серьезно,— у меня нет никаких полномочий, даю вам слово!

— Ах, даете слово? Хорошо,— медленно, сквозь зубы процедил Волобуев.— Тогда у меня вопрос: подумали ли вы о себе, прежде чем предъявлять мне, Волобуеву, такие обвинения?

— Нет,— тихо ответил Митрохин,— я думал только о Харламове. Боюсь, что сейчас он уже не верит в то, что на свете существует правда.

— Ради этого типа вы отказываете в доверии другим, кому люди доверили очень многое...

— Вы имеете в виду себя? Но посты не могут приниматься во внимание, когда решаются судьбы.

— Что же должно приниматься во внимание?

— Закон. В самом широком смысле этого слова. Коммунистические, нравственные критерии. Существо дела. Вот что должно приниматься во внимание. Ход ваших рассуждений мне ясен. С одной стороны вы, Иннокентий Гаврилович, начальник большой стройки, человек, которого знают в Москве... Глыба! С другой — никому не известный, задерганный, взбалмошный парень. Пылинка! Что изменится в мире, если исчезнет пылинка? Если же толкнуть глыбу, может произойти обвал. Ведь так?

— Смешно! Вся моя жизнь целиком связана с последним десятилетием. Что вы делаете из меня какого-то служителя собственного культа!

Волобуев встал. Он понял: дальнейший разговор с этим проклятым старпком бесполезен. О, с каким удовольствием он дал бы сейчас себе волю и выгнал бы, вытолкал взашей эту старую песочницу!..

Надо немедленно принять меры. Поехать в обком, к Комарову. Речь идет о репутации строительства. Пусть он поймет, на что замахивается этот Митрохин.

— У вас есть еще вопросы? — спокойно спросил Волобуев.

— Простите, что отнял столько времени,— ответил Митрохин.— Будем считать разговор законченным.

— Со мной — да,— усмехнулся Волобуев.— Но для того чтобы ваша удивительная концепция получила подтверждение, вам придется переубедить многих людей. Тех, кто работал бок о бок с Харламовым. Следователя Пивоварова. Судей, вместе с которыми вы дали Харламову два года. Не думаю, чтобы это было просто.

— Я тоже не думаю. Но в моих руках сильное оружие.

— Какое?

— Вера в справедливость. Не в отвлеченную, нет, в нашу, советскую. Та самая вера, которую вам, к несчастью, удалось поколебать в Харламове. И я полагаю, эта вера окажется сильнее всех мандатов, которых, как я уже сказал, у меня нет. Хотя... один все-таки есть.

— Какой?! — вскричал Волобуев.

— Партбилет.

24. ФОМИН

«Уважаемая Валентина Николаевна!

Вам пишет работник исправительно-трудовой колонии. Думаю, что, прочитав эти строки, вы уже догадались, почему я решил вам написать. И все же хочу рассказать по порядку.

Примерно месяц назад в нашу колонию поступил этап заключенных. Среди них был Владимир Харламов. Его зачислили в мой отряд и назначили на лесоповал.

В тот день я вызвал его к себе.

Я начал с того, о чем всегда говорю при первой встрече с новым заключенным. Сказал, что ознакомился с его делом, что он должен до глубины души осознать свою вину. Если будет честно работать и подчиняться всем правилам, то сможет выйти отсюда хорошим человеком, полезным членом общества.

Харламов слушал, глядя как бы сквозь меня. По правде говоря, это действовало на нервы. Но я, как и все работники колонии, давно научился управлять собой. Поведение заключенного иной раз не только раздражает, но прямо бесит. Но не надо подавать вида. Заключенный должен знать, что любая его выходка не может никого ни удивить, ни смутить, ни тем более вывести из себя.

Говорил только я, Харламов молчал. Но уже в самом молчании я чувствовал не только протест, но и вызов.

Отправляя его в барак, я с горечью думал о том, что и преступление, и пусть совсем короткое пребывание в тюрьме, и следование по этапу — все это неизбежно накладывает печать на человека, даже если он и не закоренелый преступник. Ведь все это время ему приходится общаться с настоящими преступниками, и он нередко усваивает их манеру поведения, то вызывающе-дерзкую, то независимо-отчужденную.

На несколько дней я забыл о Харламове. Но очень скоро мне пришлось вспомнить о нем. Вот как это случилось. Вдруг меня вызвал к себе начальник колонии. Ну, думаю, что-то стряслось.

Так оно и оказалось. На лесоповале, где работали наши заключенные, возникла драка. Харламова сильно избили. Члены бригады показали, что драку начал он сам. Но в чем было дело, установить так и не удалось.

Начальник колонии решил строго наказать Харламова.

Прошло два или три дня. Мне сказали, что один из заключенных, по фамилии Костюков, просит разрешения прийти. Я давно знал этого вора. Он начал свой срок в колонии еще до моего назначения сюда.

Естественно, я вызвал Костюкова. «Вы, говорит, Харламова из нашей бригады заберите».— «Почему?» — спрашиваю. «Смурной он, этот Харламов, или, может, святой». Я еще раз требую объяснить, в чем дело. «Не могу, отвечает. Непонятно мне все это! А только вы его уберите. И для нас лучше будет, и для него. Да и для начальства выгоднее. Спокойнее». Начинаю я этого Костюкова «разматывать», и выясняется следующая картина.

Бригада работала на лесоповале. Вы, наверное, знаете, что труд для заключенных—не просто труд. Честно работая, заключенный может серьезно облегчить свою участь, улучшить условия жизни, досрочно выйти на волю. Некоторые заключенные даже и не помышляют о действительном исправлении, но ведут себя тише воды ниже травы и трудятся отлично. Такие решают «вкалывать» год или два, чтобы освободиться досрочно и снова приняться за старое. Но есть просто захребетники. Они вообще не хотят себя ничем утруждать, угрозами либо посулами «расплатиться» на воле заставляют других работать вместо себя. А потом бригадир, тоже из заключенных, приписывает этим захребетникам то, что выработано другими.

Именно так обстояло в бригаде, где работал Харламов.

Заключенные валили лес. В конце дня Харламов вдруг заявил, что двум заключенным — Горюнову и Шемякину — выработка приписана неправильно. Работали они мало, за них гнули спину другие. Началась ссора. Прибежал вольнонаемный мастер. В словах Харламова он усмотрел личное оскорбление. Ведь и в прошлые дни он утверждал персональную выработку так, как ее показывала бригада. Тогда Харламов крикнул ему при всех:

— Как вам не стыдно! Вы же представитель государства! Может быть, даже в партии состоите...

По пути домой заключенные избили Харламова. Как ни горько признать, такие факты бывают еще нередко — круговая порука до сих пор считается одним из главных законов преступного мира.

Что же привело ко мне Костюкова? Почему он рассказал все, как было? Я спросил, как он сам объясняет поступок Харламова. «Непонятно все это,— покачал головой Костюков.— Кто он такой, этот Харламов? Если просто сука, легаш, я бы его первый в гроб вбил. Чего темнить? Вы, гражданин начальник, наши уставы знаете. А тут — странное дело!.. Он ведь не при начальстве нас стыдить-то начал. Сперва зеки растерялись даже. Думали, он это в шутку, клоуна из себя корчит. А он свое твердит: гнусно это, на чужой спине волю себе зарабатывать. Тогда Горюнов ему и говорит: «Ты что же, падло, выслужиться хочешь? Ты, говорит, через два года улицы хвостом мести будешь, а мне тут десятку вкалывать?» Логично! Но Харламов ему в ответ: «А тем двоим, кому ты с Шемякиным на шею сел, сколько лет вкалывать?»

— Я на людей нюх имею,— продолжал Костюков.— А Харламова не пойму. Чувствую только, беда может случиться. Не отступится он, этот Харламов. Бить его будут, до смерти забьют, а он не отступится. Ему, видите ли, правда нужна. Смурной он... или святой. Ну его к черту!

Я снова взял личное дело Харламова и внимательно перечитал его. «Что же он за человек?» — думал я.

Как только Харламов оправился после драки, я снова вызвал его к себе.

Снова он сидел передо мной в какой-то неестественно напряженной позе и смотрел сквозь меня.

— Слушай, Владимир,— обратился я к нему совсем не по уставу,— почему ты такой? Ведь не враг я тебе. К тому же мы почти однолетки. Неужели ты не понимаешь, что я хочу тебе добра, научить хочу.

— Чему? — резко спросил Харламов.

— Ну... как жить надо.

— А вы... вы сами знаете, как надо жить?

— Жить надо по нашим советским законам.

— А если за это бьют?! — возмутился Харламов.

— Кто бьет? Подонки! Я ведь знаю, что произошло в лесу.

— Подонки?! — с горячностью повторил Харламов.— Нет, меня били не только подонки... Тех ударов в лесу я и не чувствовал совсем!

В голосе его мне послышалась такая боль, что я вдруг забыл, кто я и с кем разговариваю. Казалось, мы — не работник колонии и заключенный, а просто два парня, почти товарищи, и у одного из нас на душе большое невысказанное горе. Ни с того ни с сего я стал рассказывать ему о своей жизни. Сам не знаю, как это получилось. Может быть, захотелось еще раз доказать самому себе, как нужна и полезна моя работа. Сколько наших ребят еще идут по кривой дороге и как важно вернуть их к честной жизни, внушить им веру и уважение к советским законам. Поверите ли, Валентина Николаевна, рассказываю и вдруг вижу: что-то изменилось в нем, взгляд потеплел, будто впервые он меня увидел...

Потом и он разговорился. Я узнал, что Володя работал в бригаде коммунистического труда. У него была цель — добиться, чтобы эта бригада стала подлинно коммунистической. Очень он переживал, когда видел, как формально, как бездумно относятся иногда люди к своим обязательствам. Хотел доказать, что настоящие коммунисты должны не только выполнять план, но во всем быть настоящими людьми — честными, принципиальными, бескомпромиссными...

Но его не понимали, называли склочником и карьеристом. Тогда он решил рассказать о своих тревогах начальнику Энергостроя, но тот убеждал его закрыть на все глаза, примириться с недостатками...

Скажу вам по совести, была минута, когда я подумал, что Володя придумал все, чтоб себя обелить. Но это была лишь минута. Я чувствовал, что Володя говорит то, что думает.

Наверное, и он понял: я верю ему. Он выложил мне и то, о чем умолчал на следствии и на суде. Руль он взял потому, что хотел выручить товарища.

— Почему же,— говорю я ему,— почему ты не рассказал обо всем этом ни следователю, ни судье?!

— Потому,— ответил Володя,— что правда им не нужна. Ни им, ни моим товарищам по бригаде. Ни начальнику строительства.

Вы знаете, Валентина Николаевна, я поверил Харламову! Сотни раз на фактах убеждался в правоте нашего

следствия и суда, а вот в этом случае поверил Володе. Поверил, что там, на Воронинском шоссе, все было именно так, как он рассказал.

Поэтому и пишу. О вас я узнал от Володи. Он сказал мне, что вы были единственным человеком, который верил в него.

Пишу не по обязанности, а по зову сердца, как человек, которому дорога наша правда.

Хочу сказать вам, верьте в Володю Харламова!

Да, теперь я убежден, что направлять его в колонию не следовало. Разумеется, его надо было наказать — ведь парня он все-таки сбил. Но меру наказания для него избрали неправильно!

Мне стоило больших трудов получить у Володи ваш адрес. Но, как видите, я его все-таки получил. Значит, Володя мне верит. Я снова прошу вас, больше того, я требую, Валя,— позвольте мне называть вас так,— чтобы вы верили Владимиру Харламову. Он достоин этого. Вот и все. Крепко жму вашу руку. *Юрий Фомин*».

25. РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

— Наверное, вы удивились, узнав, что я просил вас зайти,— сказал Комаров, когда они уже сидели друг против друга у письменного стола,— очевидно, подумали, что вдруг понадобилось от меня секретарю обкома? Ведь так?

— Нет,— просто ответила Валя,— я знала, зачем вы меня вызвали.

— Ну,— улыбнулся Комаров,— во-первых, я вас не вызвал, а пригласил... Так зачем же, по-вашему?

— Будете... уговаривать или требовать,— поправилась она и добавила: — Я знаю, вас ведь отец просил. Он не любит Володю.

— Не такой уж я податливый на уговоры человек,— по-прежнему с улыбкой ответил Комаров,— хотя просьба отца обычно дело серьезное... Вот что, Валя,— продолжал он, и улыбка исчезла с его лица,— давайте договоримся с самого начала: уговаривать я не собираюсь, а требовать... требовать не имею права. По крайней мере, в данном случае. Хочу просто поговорить. Если вы знаете о чем — что ж, тем лучше.

Валя молчала.

— Так вот,— продолжал Комаров,— ваш отец очень обеспокоен. Ему кажется, что вы сделали неправильный выбор...

— Скажите, товарищ Комаров,— сузив глаза, спросила Валя,— это в порядке вещей — если девушка делает неправильный выбор, то ее вызывают... то есть приглашают к секретарю обкома партии?

— Разумеется, нет,— несколько смущенно ответил Комаров.— Не скрою, в данном случае у меня есть... причина.

— Какая? — все тем же наступательным тоном спросила Валя.

— Мы вернемся к ней позже. А пока давайте поговорим. Просто поговорим, если не возражаете. Идет? Итак, вы любите Володю Харламова... Вы активно выступили в его защиту. Верно? Вы — комсомолка?

— Да.

— Вот и давайте поговорим, как... коммунисты. Наш разговор может быть очень коротким. Скажите, почему вы решили защищать Харламова? Вы можете мне ответить, что это вопрос личный. И разговор будет закончен. Вторгаться в область чувств я, естественно, не имею права. Итак?..

— Нет, не только... личный...

Он приподнял брови.

— Конечно, я люблю Володю,— без тени смущения сказала она.— Если бы вы задали мне свой вопрос... раньше, я бы ответила вам: «Да, это касается только нас с Володей».

— А теперь?

— Теперь... — Она покачала головой.— Нет, теперь мне кажется, что не только. Вы знаете... я, наверное, сама пришла бы к вам. Если бы меня допустили...

— Вот как?

— Мне кажется,— задумчиво произнесла Валя,— это теперь уже не мой личный вопрос... Нет, сейчас все стало иначе... Я много думала об этом...

— Интересно, что же вы думали?

— Борис Васильевич, вы, наверное, знаете о Володе только со слов папы? Но он не прав. Все началось там, в зале суда. Я слушала ответы Володи и понимала: что-то с ним произошло. Я знала, он всегда был резким и... неуравновешенным, что ли... Но он никогда,— поверьте

мне,— никогда не говорил неправду! Несправедливость, нечестность всегда возмущали его. И мне захотелось узнать, понять, что с ним случилось. Когда я начала это выяснять, мне показалось: все дело для меня только в Володе и, кроме него, меня ничто не интересует...

— А потом?

— Потом многое переменилось... Борис Васильевич, вот вы спросили — комсомолка ли я? Да, я еще в школе вступила. Только тогда я как-то не думала ни о чем. Ребята вступали, и я тоже... А теперь все стало куда сложнее. Непонятно я говорю?

— Нет, нет, продолжайте.

— Я вдруг почувствовала, что должна, обязана бороться за Володю. Пыталась объяснить все это отцу... Только он... не верит. А потом встретилась с одним человеком, он уже старый, в партии — много лет... Он мне сказал, за правду надо бороться... И я начала понимать, что это те слова, которые мне нужны. И сделалось легче. И кто бы сейчас ни сказал, даже вы, что надо все бросить, я уже не смогу иначе. Теперь — уже не могу...

— Почему именно «теперь»?

— Потому что встретила много хороших людей. Поняла, как дорога им правда, справедливость, честность. Знаете, я шла к вам и думала: неужели он, секретарь обкома, будет уговаривать меня отступиться? Теперь, когда я уже почти добилась справедливости?

— А если бы стал? — хитро спросил Комаров.

— Тогда... тогда я показала бы вам одно письмо. Оно у меня с собой. И вам стало бы стыдно.

— Какое письмо?

— Читайте.— Валя вынула из сумочки письмо Фомина.

Комаров читал долго. Потом сложил листки, вложил их в конверт.

— Вот вы сказали, что все люди, которых вы встретили,— за правду. Значит, каждый на вашем месте поступил бы так же, как вы?

— Так же? — переспросила Валя.— Не знаю.— Она раздумчиво покачала головой.— Борис Васильевич, я сказала, что, если бы вы меня не позвали, я бы сама к вам пришла. А вы даже и не спросили: зачем? Наверное, думаете,— из-за Володи? А ведь я не только за этим... Хочу у вас спросить: что с некоторыми нашими ре-

бятами происходит? Я теперь многое замечать стала. Одному на все наплевать, лишь бы его в покое оставили. Только о себе печется... Другой убежден, что все на свете — и политика, и общественная жизнь — не имеет цены. Важны лишь практические знания, техника... Я хочу, чтобы вы ответили мне на вопрос: почему в книгах о довоенных и военных годах так много писалось о целеустремленных, настоящих людях? Но, может быть, в жизни все было не так? Может быть, авторы этих книг лишь выдавали желаемое за действительное? Но тогда откуда же взялись тимуровцы, и Марина Раскова, и те комсомольцы, которые погибли, поднимаясь в стратосферу, и Кошевой, и Зоя, и Матросов?..

— Да,— сказал после небольшой паузы Комаров,— видите, как все интересно обернулось! Я думал, что буду задавать вопросы, а получилось наоборот. Что ж, сам напросился... Только не так это легко — отвечать. Ведь в то время, о котором вы говорите, я сам молодым был. Боюсь, что окажусь пристрастным, приятно свою молодость добром поминать... А хорошее было,— вы правы. И вера была, и страсть, и мужество. А теперь, по-вашему, нет?

— Разве я говорю, что нет?!

— Погодите, Валя,— остановил он ее взмахом руки,— вот что мне пришло сейчас в голову. Допустим, проживу я еще лет двадцать. Совсем стану старым. И вдруг придет ко мне девушка. Одна из тех, кому сейчас всего два или три года от роду. И расскажет мне о каком-то своем горе. А я буду слушать ее и думать — вот двадцать лет назад было время! Знал я тогда одну девушку по имени Валя. Ничто ей не было страшно. Ради любви своей, ради веры в справедливость на все была готова.

— Что вы этим хотите сказать?

— А то, Валя, что в любом времени есть и хорошее и плохое. А того хорошего, что есть в наши дни, не было еще никогда! Вот вы начали борьбу за Володю. Ну и что же? Разве люди отвернулись от вас? Разве вы сами не убедились, что слова «честность», «справедливость» притягивали людей, как магнит?

— Но ведь не всех, не всех! — воскликнула Валя.

— Правда, которая притягивает всех без исключения,— это розовенькая, безобидная, ни к чему не обязывающая правда,— поверьте мне, Валя! Настоящая — она большая, иногда суровая, колючая, ее как икону на стену

не повесишь! Одни без нее жить не могут, другим она — как еж за пазухой!.. Послушайте, Валя. Я не пророк, но позволю себе одно предсказание. Можно?

Валя неопределенно пожала плечами.

— Настанет день,— продолжал Комаров,— когда испытания, выпавшие вам с Володей, останутся позади. Может быть, вы думаете, что тогда обретете полное спокойствие? Будете безмятежно вспоминать все, что произошло, как вспоминают о буре в тихий, безоблачный день? Нет, Валя! Вам и Володе покой не уготован. Это и есть мое предсказание.

— Вы хотите сказать, не те характеры? — с усмешкой спросила Валя.

— Я хочу сказать — не то время. Борьба за нашу, советскую правду не вчера началась и не завтра кончится.

— Да, да, я согласна, но почему же тогда ее боятся и те, которые не должны, которые не смеют бояться! Сейчас пример приведу! Я в бригаду пошла, где Володя работал. Всю правду им выложила! А они спачала смеялись надо мной, а потом сказали: «Ладно, подумаем...» А что тут думать, когда все и так ясно... Впрочем,— осеклась Валя,— что я говорю... Вы ведь не знаете, что там, в бригаде, с Володей случилось...

— Совсем плохим секретарем вы меня считаете, Валя... Ничего-то я и не знаю...

Комаров посмотрел на нее с веселой укоризной и пошел к двери.

Валя не расслышала, что именно он сказал кому-то в приоткрытую дверь. Она с недоумением следила, как медленно, будто обдумывая что-то, Комаров возвращался к столу, и вдруг увидела вошедшего вслед за ним Воронина. Он явно смутился, даже попятился, но Комаров громким голосом подбодрил его:

— Давай, давай, бригадир, проходи! Извини, что долго заставил ждать. Вы знакомы?

Валя резко встала. Теперь оба они — Воронин и Валя — стояли друг против друга.

— Что ж, поздоровайтесь,— негромко сказал Комаров.

Несколько мгновений Воронин колебался. Потом сделал шаг вперед, протянул Вале руку и глухо произнес:

— Что ж, прости... невеста.

Она нерешительно ответила на его пожатие.

— Невеста,— с каким-то недоумением, точно впервые

слыша это слово, повторил Комаров.— Как это тихо и мирно звучит...

— Значит, вы не одну меня вызвали? — не слушая его, нетерпеливо спросила Валя.

— Ошиблась, Валя, ошиблась,— улыбнулся Комаров,— сам он ко мне... прорвался. Верно ведь, Воронин? Правда его сюда в обком гнала.

— Тогда расскажите,— Валя живо обернулась к Воронину,— все-все, как было!

— Он уже рассказал! — снова вмешался Комаров.— Я его просто подождать просил, пока мы с вами побеседуем...

26. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

— Значит, я могу идти? — спросила Валя.

— Нет, вам еще рано уходить. И ты, бригадир, подожди. Интересный разговор будет...

Комаров посмотрел на часы, потянулся к столику, на котором стояли телефоны, и нажал кнопку звонка.

— Все собрались? — спросил он заглянувшую в дверь девушку-секретаря.

— Почти все.

— Пусть заходят.

Спустя мгновение в кабинет вошел незнакомый Вале высокий широкоплечий человек. На его открытом лице играла улыбка. Широко шагая и размахивая красной папкой, он направился к поднявшемуся ему навстречу Комарову.

— Привет, Борис Васильевич! Чуть не опоздал. Туман на улице чертовский! — У него был звонкий, почти мальчишеский голос.

Разглядывая веселого, уверенного в себе незнакомца, Валя не сразу увидела следователя Пивоварова. Ожидая, когда секретарь обкома обратит на него внимание, он нерешительно топтался у порога, потом вытянулся и по-военному представился:

— Пивоваров! Явился по вашему...

— Да, да,— прервал его Комаров,— проходите, пожалуйста, товарищ Пивоваров.

«Что это значит? Зачем он здесь?» — подумала Валя, с неприязнью глядя на одутловатое лицо следователя, который, видимо, ее не замечал.

Но еще более ее удивило появление отца. Кудрявцев направился было к Комарову. Но тут неожиданно встретился взглядом с Валей и в недоумении приподнял плечи. Валя сделала большие глаза: сама, мол, ничего не пойму.

— Садитесь, товарищи, садитесь,— приглашал Комаров к столу.— Знакомьтесь! Товарища Волобуева все, наверное, знают... Товарищ Пивоваров из Калининского райотдела милиции. Николай Константинович Кудрявцев из совнархоза... Бригадир с Энергостроя Воронин... А это Валя, комсомолка, студентка пединститута...

— Представляете себе,— приятным голосом снова заговорил Волобуев, обращаясь ко всем,— такой проклятый туман! Хоть впереди машины иди и дорогу водителю указывай. В трех метрах ни черта не видно. Вы только взгляните: молоко!

Все повернули головы к окну. Стекло будто замазали белой краской.

Голос Волобуева был неторопливым, выразительным, начальственно уверенным. Казалось, он, а не Комаров хозяйничал в этом кабинете. Кинув на стол свою папку, он подошел к тумбочке, на которой стояли сифон с газированной водой и стаканы, отбросил салфетку...

— На машине-то еще туда-сюда,— говорил он, прихлебывая из стакана пузырящуюся, шипящую воду,— а каково нашим монтажникам на высоковольтной.

Затем он с шумом отодвинул стул, сел и обвел присутствующих доброжелательным взглядом.

Комаров посмотрел на часы.

— Что ж, товарищи, начнем,— сказал он.— Если ктонибудь хочет курить, пожалуйста.

Он вынул сигарету из лежавшей на столе пачки «Краснопресненских».

— Бросать пора, Борис Васильевич! — с шутливой укоризной заметил Волобуев.— Да и по чину не положено. Из высокого начальства, насколько мне известно, никто не курит. На президиум ЦК пригласят — что будешь делать со своим куревом? — Он заразительно рассмеялся.

— На президиуме — воздержусь, потерплю. Не так уж часто вызывают,— в тон ему ответил Комаров и закурил.

Пивоваров тоже достал сигарету, зажал ее в своих толстых губах, вынул из кармана зажигалку и в этот момент

встретился взглядом с Валей. Видимо, только сейчас узнал: смешанное выражение испуга и недоумения отразилось на его лице. Он щелкнул зажигалкой. Огонек вспыхнул и погас. Пивоваров щелкнул второй раз, третий, четвертый...

— Все хорошо, что хорошо кончается,— добродушно заметил Комаров, следивший за тем, как Пивоваров наконец закурил.— Итак, давайте поговорим. В недалеком будущем бюро обкома собирается послушать доклад руководителей Энергостроя о движении ударников коммунистического труда...

Волобуев согласно кивнул головой и придвинул к себе папку.

— Вопрос серьезный,— продолжал Комаров,— нам хотелось бы хорошо к нему подготовиться. Как говорится, всесторонне изучить...

— Я должен сделать сообщение? — с готовностью спросил Волобуев.

— Нет, нет,— остановил его Комаров,— сообщение, доклад — все это еще впереди. Перед тем как поставить вопрос на бюро, мы, надеюсь, еще не раз встретимся. Наш сегодняшний разговор, так сказать, предварительный...

— Для такого разговора мы собрались здесь в несколько необычном составе,— заметил Волобуев,— я вижу представителя милиции...

— Почему же? — возразил Комаров.— Здесь присутствуют товарищи со строительства, из совнархоза, им и карты в руки. Что касается товарища из милиции, то и у него наверняка есть интересные наблюдения.

Валя заметила, что Волобуев вопросительно смотрит на нее, видимо недоумевая, почему оказалась здесь эта девушка, которую Комаров назвал студенткой.

— Итак, разговор без повестки дня. Поговорим о движении ударников коммунистического труда на Энергострое, если нет возражений,— продолжал Комаров.— Начнем с вас, товарищ Пивоваров.

— Несколько необычное начало,— с иронией сказал Волобуев.

— Зачем идти проторенной дорожкой, Иннокентий Гаврилович? — добродушно отозвался Комаров.— Целиной шагать иногда и ближе, и интересней... Итак, товарищ Пивоваров...

Пивоваров поспешно вскочил.

— Нет, нет, сидите! — остановил его Комаров.— Разговор у нас неофициальный...

Пивоваров послушно опустился на стул.

— Извините... я не вполне понимаю,— нерешительно начал он.— Меня не предупредили... я не захватил с собой материалы...

— В них нет необходимости,— успокоил его Комаров.— Не будем утруждать вашу память, тем более что не дали вам возможности подготовиться. Коснемся, скажем, происшествий на Энергострое за последние месяц-два... Не возражаете?

Пивоваров бросил растерянный взгляд на Волобуева и сказал:

— Происшествий серьезного характера за последнее время не наблюдалось. Мелкое хулиганство, два или три случая хищения...

— А что вы считаете происшествием серьезного характера? — прервал Комаров.

— Ну... увечье, насилие над человеческой личностью.

— Насилие над человеческой личностью,— как бы про себя повторил Комаров.— Понимаю. По вине работников Энергостроя никто не пострадал?

— В общем, нет... — Пивоваров снова метнул взгляд на Волобуева, но тот слушал спокойно, даже безучастно.— Впрочем, да,— как бы решившись, оборвал себя Пивоваров.— Был случай наезда. Состоялся суд. Виновные понесли наказание.

— Послушайте, Борис Васильевич,— неожиданно вмешался Волобуев,— о чем тут говорить? Мне известна эта история. Двое наших парней — водитель и монтер — ехали на грузовике; монтер взял руль и сшиб велосипедиста...

— Я слышал, это были ударники коммунистического труда,— не то спрашивая, не то утверждая, сказал Комаров.

— Они... — начал Пивоваров.

— Были, Борис Васильевич, были! — уже с оттенком раздражения прервал его Волобуев.— Главный виновник этой истории — монтер Харламов. Хулиган, склочник...

Валя сделала протестующее движение, но Комаров строгим взглядом остановил ее.

— Каким же образом, Иннокентий Гаврилович,— спросил Комаров,— хулиган и склочник мог стать членом бригады коммунистического труда?

— Борис Васильевич,— Волобуев решительно поднялся,— разрешите, как говорится, в порядке ведения... Мне не очень понятно, чем мы сейчас занимаемся. Как будто речь должна идти о моем докладе на бюро. Однако слово получил не я, а милицейский работник. Теперь мы начинаем топтаться вокруг истории с Харламовым. У меня сто тридцать пять бригад коммунистического труда! Они охватывают почти полторы тысячи рабочих. Это... громада! Сейчас наши люди готовятся достойно встретить великий праздник — Октябрьскую годовщину. Нам есть чем гордиться, есть что показать труженикам области... Зачем же вооружаться микроскопом и рассматривать частный, нетипичный случай... Нельзя так, право! — Волобуев оглядел присутствующих, как бы прося у них сочувствия, и сел на свое место.

— Вы очень к месту упомянули микроскоп, товарищ Волобуев,— медленно, будто раздумывая, начал Комаров.— Правда, вы произнесли это слово с осуждением. Напрасно. Микроскоп помогает людям проникнуть в суть многих явлений...

— Извините, я погорячился,— примирительно сказал Волобуев.— Разумеется, вы секретарь обкома и можете интересоваться любыми аспектами. Но поймите и мою обиду...

— Обижаться пока нечего,— заметил Комаров.— Кстати, на вашем месте я непременно заинтересовался бы Харламовым. Согласитесь, все-таки это странно: хулиган и склочник был членом бригады коммунистического труда!

— Но его же исключили! — воскликнул Волобуев.— Очистили бригаду! А сначала прикинулся передовиком, ввел в заблуждение товарищей. Впрочем, если вы хотите разобраться в судьбе этого преступника, то чего же проще! Перед вами сидит Воронин, он возглавляет бригаду, в которой работал Харламов. Спросите его!

— Что ж, спросим Воронина,— спокойно сказал Комаров.— Итак, Харламов вступил в вашу бригаду коммунистического труда...

— Нет,— будто отрубил Воронин.

— Как это «нет»? — переспросил Комаров.— Разве Харламов не вступил в вашу бригаду?

— Нет,— повторил Воронин.— Он нас... втянул.

— Втянул? — недоуменно переспросил Комаров.

— С него все и началось. Сначала мы были просто бригадой. Обыкновенной. А потом эта... кампания началась. За стопроцентный охват. Он в цехком пошел и принес эти... бланки. Обязательства. Давайте, говорит, заполним...

— Погоди, Воронин,— остановил его Комаров.— Все это не очень понятно. Получается, что вы эти обязательства брать не хотели, а он...

— Не так! — воскликнул Воронин.— Мы хотели. Бригада наша была хорошая, план ниже ста не давали. Решили, почему не заполнить? Почет будет, ну и все такое... Впрочем, я ведь вам уже все рассказал, Борис Васильевич,— бросил он с укоризной,— чего же снова...

— Верно,— кивнул Комаров,— но ведь я здесь теперь не один...

Воронин помолчал немного. На его худощавом лице еще резче обозначились скулы.

— Ладно,— он тряхнул головой,— начистоту — значит, начистоту. Мы, когда бланки заполняли, думали, это так, для проформы. Как раньше жили, так и дальше будет. До сих пор без вымпела, теперь с вымпелом, вот и вся разница. Конечно, работать придется хорошо. Но мы и раньше неплохо вкалывали. А Володька на другой день говорит: «Мало»...

— Он потребовал увеличить план? — уточнил Комаров.

— Не в том дело! — покачал головой Воронин.— Ребятам показалось, что он в душу к ним залезть хочет... И мне тоже показалось,— добавил он негромко.

— Погодите! — Волобуев с размаху хлопнул ладонью по своей папке.— Теперь я уже просто ничего понять не могу! Что за околесицу ты несешь, Воронин?!

— Мы эти бланки вроде для проформы заполнили,— не обращая внимания на гнев своего начальника, продолжал Воронин,— а для него... Для него слово «коммунизм» как святое было. Он честный парень, Володька. Понимаете, честный!

— Кажется, понимаю,— жестко сказал Волобуев. Его лицо изменилось. Теперь на нем было просто невозможно представить себе веселую, заразительную улыбку. Глаза сузились. Нижняя губа брезгливо оттопырилась.— Коечто понимаю,— продолжал он.— Но прежде всего скажу о

другом. Не понимаю, где я нахожусь? Что тут происходит? Серьезные, авторитетные люди слушают какие-то сумбурные словоизлияния! Увидев здесь Воронина, я подумал, что он приглашен вместе со всеми остальными. Секретарь обкома вправе приглашать всех, кого считает нужным. Но теперь я начинаю догадываться. У вас, Борис Васильевич, видимо, состоялся с Ворониным предварительный... сговор? Простите, я оговорился,— разговор... Что это значит? — Он в замешательстве провел рукой по своим глянцевитым, гладко зачесанным назад волосам.— Теперь о Воронине. Интересно, до чего может дойти безответственность! Знаете ли вы, товарищи, что именно этот самый Воронин написал рапорт, где требовал, чтобы из его бригады убрали Харламова, как склочника и карьериста?! — Волобуев обвел присутствующих победоносным взглядом.— Знаете ли об этом вы, Борис Васильевич?

Комаров хотел что-то ответить, но Воронин его опередил. Схватившись руками за край стола, он перегнулся к Волобуеву и воскликнул:

— Да, да, писал! И только потом понял, что сподличал. Потом, когда она к нам пришла! — Воронин сделал движение рукой в сторону Вали.— Только тогда до нас дошло, что виноваты мы, кругом виноваты! Володька хотел, чтобы если ударник, то не только на работе — во всем! Чтобы о плохом в лицо говорить — не жаться, не трусить. Если в другой бригаде туго — на выручку идти. Если у кого жизнь не удалась, всем быть в ответе!..

— Успокойся, бригадир, сядь,— мягко сказал Комаров.— Иннокентий Гаврилович,— обратился он к Волобуеву,— Воронину удалось рассеять ваше недоумение?

Волобуев передернул плечами и демонстративно отвернулся.

— Наш разговор,— продолжал Комаров,— принимает излишне взволнованный характер. Товарищ Волобуев, видимо, опасается за престиж обкома. Что ж, постараемся быть сдержанными. Между прочим, мы условились, что прежде всего выслушаем товарища Пивоварова. Однако вы, Иннокентий Гаврилович, вмешались и, как говорится, взяли инициативу в свои руки. За то направление, которое принял разговор, в известной степени отвечаете и вы. Разумеется, я готов разделить с вами эту ответственность,— добавил он с легкой усмешкой.— Итак, мы слушаем вас, товарищ капитан милиции.

— Простите,— глухо сказал Пивоваров, поднимаясь со стула,— я буду говорить стоя, мне так легче... Насколько я теперь понимаю, всех интересует дело Харламова... Что ж, я скажу. Да, он совершил преступление. Все, что было с ним раньше, мне неизвестно. Я имею в виду то, о чем говорил сейчас товарищ Воронин. А преступление налицо. И закон, товарищи,— он сокрушенно развел руками,— есть закон. Разумеется, если бы у Харламова была другая характеристика с работы, суд, вероятно, квалифицировал бы преступление... несколько иначе. Закон это позволяет. Но когда,— Пивоваров повысил голос, и в нем зазвучали твердые, уверенные интонации,— когда вдобавок ко всему и на производстве обвиняемого аттестуют с самой плохой стороны...

— Простите,— прервал его Комаров,— кто именно аттестовал так Харламова?

— По требованию следователя, характеристику прислал отдел кадров,— снова вмешался Волобуев.

— Не-ет! — неожиданно тонким голосом и с хитрой улыбкой протянул Пивоваров.— Кадры, они, конечно, кадрами! Но мне ведь и вы лично звонили!

— Кто? — резко спросил Комаров.

— Вот он, товарищ начальник строительства,— оборачиваясь к Волобуеву, воскликнул Пивоваров и затем снова посмотрел на Комарова, прищуривая глаза и понимающе улыбаясь.

Лицо Волобуева налилось кровью.

— Что вы плетете? — с угрозой процедил он.— Вы же сами рассказали мне о происшествии на Воронинском шоссе. Да, помнится, я что-то говорил о Харламове. Не больше того, что знал о нем из рапорта этого... Воронина.

— Я и слова ваши помню,— подхватил Пивоваров: — «...никудышный парень, давно гнать надо»... — Он повторил эти слова с злорадной услужливостью.

— Уж не хотите ли вы сказать, что осудили человека на основании этих случайных слов, сказанных по телефону? — насмешливо спросил Волобуев.

— Э-э, нет! — поспешно ответил Пивоваров.— Следствие шло по закону. В соответствии с процессуальными нормами. Но и ваши слова свою роль сыграли! Как-никак начальник строительства характеристику дает, член обкома!

Пивоваров поднял указательный палец.

— Итак, товарищ Пивоваров,— подытожил Комаров,— слова Иннокентия Гавриловича оказали на вас определенное воздействие?

— Конечно,— с готовностью согласился Пивоваров и поспешно поправил себя: — Однако решающим оставался состав преступления. Не было никаких оснований верить заявлению Харламова, что он не видел наезда.

— Вы и сейчас считаете его виноватым? — спросил Комаров.

— Разумеется! Правда, я слышал, что Васин подал заявление, в котором отказывается от своих показаний, но...

Внезапно Пивоваров осекся: в дверях кабинета он увидел Толкунова. Старшина одернул китель и громко, по-солдатски, доложил:

— Разрешите? Явился с опозданием, потому как туман. На дежурстве задержался. Разрешите присутствовать?

— Проходите, товарищ Толкунов, присаживайтесь! — Комаров вышел ему навстречу.— Понимаю, туман.

— Не было никакой возможности уйти с дежурства. Машины идут гуськом, пять километров в час! Один грузовик все-таки прижали. МАЗ. Ничего серьезного, только крыло повредили. Разрешите сесть?

Пивоваров как-то весь опустился и все смотрел на старшину неподвижным взглядом, будто не узнавая его.

— Здравия желаю, товарищ капитан,— произнес Толкунов, заметив его взгляд, и сел на свободный стул рядом.

— Итак, товарищ Пивоваров,— снова заговорил Комаров,— вы сказали, что по-прежнему считаете Харламова виноватым. Верно?

Пивоваров молчал. Казалось, он не слышал вопроса.

— Мы слушаем вас, товарищ Пивоваров! — напомнил ему Комаров.

Пивоваров наконец очнулся. Он провел языком по губам и едва внятно произнес:

— Обстоятельства... суд подтвердил... можете проверить...

— Зачем же мы будем проверять суд! Это дело органов юстиции. У нас здесь разговор чисто человеческий, партийный... Вы член партии?

— Нет... — растерянно произнес Пивоваров и добавил: — Всю жизнь хотел... период культа... я...

— Это дело личное,— мягко заметил Комаров,— хотя мне и не совсем ясно, при чем здесь культ личности. Значит, вы считаете, что Харламов виноват. А вы, товарищ Толкунов, насколько я знаю, придерживаетесь другого мнения. Старшина Толкунов,— пояснил он присутствующим,— был тем милиционером, который задержал машину Харламова на Воронинском шоссе...

Внезапно Пивоваров провел рукой перед глазами, точно отгоняя от себя что-то, и сиплым, каким-то надтреснутым голосом произнес:

— Что же это получается, товарищи! Ведь это же переследствие! А как нас партия учит? Кому подчиняется суд? Только закону! Надо мной свое начальство есть. Управление милиции, прокурор!

Тяжело дыша, он расстегнул воротник кителя и сел.

— Вы правы,— спокойно сказал Комаров.— Следствие и суд подчиняются только закону. Как следователь, вы нам не подотчетны. Но есть такое понятие: совесть. Совесть советского человека. Государство доверило вам решение человеческих судеб. Оно полагалось на вашу совесть. Это она, ваша совесть, по-прежнему утверждает сейчас, что Харламов виновен?

— Я еще молодой следователь!.. — жалобно воскликнул Пивоваров.— Если виноват, скажите. Я признаю. А то какие-то очные ставки... да еще с младшим по званию.

— Вы имеете в виду старшину? — спросил Комаров.— Но он пока молчит. Может быть, ему и сказать нечего?

— Как так нечего? — раздался недоуменный голос Толкунова.— Я же рапорт подал! По начальству. И письмо в обком написал. Как член партии. Может, товарищ Пивоваров, скажете, не по уставу действовал? Я, как с вами тогда поговорил, сразу понял: нельзя вам судьбу человеческую доверять. Опасно! Теперь, значит, товарищ секретарь обкома, разрешите доложить, как дело было...— Он вытащил из кармана потрепанную записную книжку и вопросительно посмотрел на Комарова.

— Не надо, старшина. Я читал ваше письмо. Понимаю, не мог Харламов наезда видеть. А рапорт ваш начальство, надеюсь, рассмотрит.— Комаров помолчал немного и с горечью сказал: — У меня к вам только один

вопрос, товарищ Пивоваров. Ведь Толкунов доложил вам, как все было на самом деле. Почему же вы продолжали уже здесь, в обкоме, утверждать, что Харламов виноват?

— Я не мог полагаться на непроверенные обстоятельства! — вскинулся Пивоваров.— Поэтому и говорил...

— Нет, товарищ Пивоваров, опять вы кривите душой... Просто вы не знали, что нам известно о деле Харламова. Какой-то монтер, один из тысячи... И то, что Толкунов напишет в обком, вы тоже не предполагали. Не верили, что он сможет появиться в этом кабинете. «Младший по званию»... Вы забыли, что он носит не только то звание, которое обозначено на его погонах. У него есть и другое. Коммунист.

— Я предлагаю кончить разговор,— неожиданно вмешался Волобуев.— Пусть областной прокурор немедленно займется этим человеком,— он презрительно кивнул в сторону Пивоварова.— Еще хочу сказать: я погорячился. Теперь понимаю — напрасно. Во всем этом деле я виноват. Получил рапорт, брякнул сгоряча несколько слов этому... Пивоварову. Об истории на Воронинском шоссе знал только в общих чертах. Был под впечатлением... В общем, теперь мне все ясно,— виноват...

Волобуев опустил и тут же вскинул голову. На лице его снова появилась широкая, добродушная улыбка.

Услышав, как Волобуев говорит о своей вине и в то же время обводит всех победным взглядом, Валя испугалась. Ей стало страшно при мысли, что люди могут поверить ему, его мгновенному раскаянию, его широкой, обезоруживающей улыбке, и он уйдет отсюда таким же, каким вошел, с высоко поднятой головой, с сознанием своей силы, хитрости, превосходства. Уйдет, обманув всех и смеясь над всеми...

— Разрешите? — В дверь просунулась голова, блеснули стекла очков.

— Антон Григорьевич! — крикнула Валя.

— Опоздал? — негромко спросил Митрохин, щуря близорукие глаза.— Только что с самолета. Пять часов на аэродроме просидели, Зареченск не принимал.

— Заходи, Антон Григорьевич, заходи! — радостно и, как показалось Вале, с облегчением воскликнул Комаров.— Как раз вовремя. А то товарищ Волобуев уже предложил кончать разговор.

Волобуев все еще улыбался. Но теперь это была поразившая Валю странная улыбка. Казалось, она существует отдельно от лица, наспех приклеена к нему и едва держится...

— А я не задержу Иннокентия Гавриловича, я позволю себе задать ему только один вопрос. Что же было написано в том письме?

Медленно, как бы по частям, улыбка стала исчезать с лица Волобуева. Сначала перестали улыбаться глаза, затем губы и щеки. Теперь лицо его выражало только ненависть.

— К-какое письмо? — сквозь зубы переспросил он.

— То самое!

— Я же вам тогда ответил! — крикнул Волобуев.— Харламов жаловался, что к нему плохо относятся в бригаде, разводил склоку...

— Нет, товарищ Волобуев,— печально сказал Митрохин.— Он писал о другом...

— Опять ваши иезуитские штучки?! — взорвался Волобуев.— Откуда вы знаете? Где оно, это письмо? У вас в кармане?

— Нет,— покачал головой Митрохин,— вы знаете, что письма нет. Харламов разорвал его на ваших глазах. Ваш вопрос имеет риторический характер.

— Какого же черта,— в ярости кричал Волобуев,— вы опять морочите мне голову своими догадками?! Откуда вы знаете, что было в письме?

— Мне сказал Володя Харламов.

— Володя?! — крикнула Валя.— Где он? Здесь?

— Нет, Валюша. Просто я съездил к нему.

Митрохин снова обернулся к Волобуеву:

— Значит, вы предложили кончить разговор, Иннокентий Гаврилович? Все прояснилось? Вы, конечно, уже рассказали, какое письмо написал вам Харламов? Как ему тяжело было сознавать, что в движение за коммунистический труд вносятся ложь и показуха? Как вы убеждали его смириться, как угрожали ему?

— Клевета! — Волобуев ударил кулаком по столу.— Я разговаривал с ним, как старший товарищ. Пытался его убедить!..

— В чем?! В чем вы пытались убедить его, Иннокентий Гаврилович? В том, что честный советский человек должен драться за правду до конца? Нет! Вы убеждали

его в необходимости закрыть глаза. Замолчать. Смириться! О, я не сомневаюсь, что вы облекли все это в самую ортодоксальную терминологию. И Харламов уничтожил свое письмо. Я думаю, ему стало стыдно. Стыдно за вас, горько за свою наивную веру в старшего товарища...

На мгновение стало совсем тихо.

— Что ж,— негромко сказал Комаров,— пожалуй, теперь и в самом деле надо кончать. Уже поздно. Всем пора домой.— Он поглядел в окно, за которым сквозь туман едва пробивался свет уличных фонарей.— На сегодня хватит. Высказались все, кроме...

Комаров обошел стол и остановился за Валиной спиной.

— Но мне кажется, Валя, вы уже сказали все, что могли. Своим упорством, своей верой в справедливость, своей преданностью человеку, которого любите.

Комаров положил руки на плечи Вали и, казалось, хотел еще что-то добавить, но в этот момент Кудрявцев с трудом произнес:

— Вы ошиблись, товарищ Комаров, молчала не только моя дочь. Я тоже...

— Знаю, Николай Константинович. Но я и не рассчитывал на то, что вы будете говорить. Я пригласил вас в надежде, что вы будете слушать. А говорить? Думаю, что не надо вам сейчас говорить... Теперь я хочу проститься с вами, товарищи. Скоро мы соберемся снова и продолжим наш разговор.

— По-позвольте! — Волобуев поднялся с места.— Хотелось бы послушать ваше заключительное слово, товарищ Комаров! В конце концов, мы в обкоме! Отсюда я должен вернуться на стройку и рассказать товарищам о том, что здесь произошло. Так сказать, ориентировать... — Он с горечью усмехнулся.— Ничего себе — хороший подарочек я привезу коллективу накануне Октябрьской годовщины! Будет на чем мобилизовать людей!.. Нет, Борис Васильевич, вы уж, пожалуйста, выскажитесь! В зависимости от вашего заключения я буду знать, как мне поступать дальше! Неужели вы думаете, что я так все это и оставлю?! Нет, простите! Я хочу послушать вашу речь!

— Значит, за праздник беспокоитесь? — с грустью спросил Комаров.— Боитесь, что будет испорчен фейерверк? А не думаете ли вы, товарищ Волобуев, что фейерверк — не единственный способ отметить наш праздник?

Разве сознание, что победили и будут побеждать впредь честность, справедливость, вера в хороших людей,— разве это не главное? Вы хотите во что бы то ни стало услышать мою речь. Но не кажется ли вам, Иннокентий Гаврилович,— в голосе Комарова впервые зазвучала жесткая, холодная интонация,— что в последнее время мы произносим слишком много речей? Одна речь, другая, третья...— Он усмехнулся.— Зачем вам еще и моя речь? Вы хотите знать, что я думаю? Неужели у вас еще есть на этот счет какие-нибудь сомнения? И все же вам хочется, чтобы я непременно произнес заключительное слово? Извольте.— Он обернулся к Вале и сказал: — Поздравляю тебя... невеста!..

1966

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

МАРТИН АНДЕРСЕН-НЕКСЕ

Двадцать шестого июня 1939 года передовые люди всего мира праздновали семидесятилетие знаменитого датского писателя Мартина Андерсена-Нексе. Громадный театр под открытым небом в Копенгагене был переполнен. Народ встретил появление писателя овациями. Все встали. Оркестр рабочих-трамвайщиков играл пролетарский гимн. Рабочая молодежь провожала Нексе до трибуны с цветами в руках.

И когда смолкли овации, когда стих шум приветствий, Нексе ответил собравшимся словами, которые могут служить замечательным эпиграфом к его мужественным и правдивым книгам:

«Я презираю писателя, выкидывающего самое головокружительное сальто-мортале под куполом храма искусств, но не умеющего согреть простое человеческое сердце или осушить хотя бы одну слезу отчаяния и безнадежности.

Я пытался открыть отдушину, дать возможность датскому народу вдохнуть чистый воздух, которым дышат в той стране, где свободный народ сумел проложить себе путь в будущее!»

1

Мартин Андерсен родился 26 июня 1869 года в семье каменотеса Ганса Иоргена Андерсена[1] и дочери кузнеца Матильды Майнц, проживавших в одном из беднейших кварталов Копенгагена.

«Я родился,— рассказывает Нексе,— на улице Св. Анны, прямо под золотым шаром церкви Спасителя, на чердаке».

Мартин никогда не знал, что такое беззаботное детство. Ни на одну минуту не покидали его заботы, сначала по дому, а вскоре и о куске хлеба. «Я начал работать тогда же, когда научился ползать»,— вспоминает писатель.

«Быть ребенком,— писал Нексе в своей автобиографической повести «Малыш»,— значит, не отвечать за себя... А мне приходилось здорово отвечать за себя с тех самых пор, как я начал себя помнить».

Рождение Мартина принесло семье Андерсена новые хлопоты. В комнате стояла всего лишь одна кровать. Трое других детей спали где попало — в углу, на двух составленных вместе стульях, или на куче тряпья.

Родители Мартина были добрые люди, хотя мальчику часто доставалось, особенно от отца. О матери же Нексе всегда отзывался с исключительной теплотой и сердечностью. Измученная непосильной работой и нищетой, она всегда находила время, чтобы приласкать Мартина.

Естественно, что бедняки-родители были не в состоянии дать сыну хорошее образование.

Этот пробел не восполнила и школа, куда Мартин поступил восьми лет от роду.

«Учение само по себе было далеко не забавным,— вспоминает Нексе.— Мы сидели тесно сжатые на скамьях за пюпитрами и хором блеяли слоги или рифмы. Руки мы должны были держать спереди, на пюпитре, и ни в коем случае нельзя было болтать ногами...»

Много позже писатель присоединяет к этому воспоминанию восхищенное восклицание: «Какое это, должно быть, счастливое для ребенка чувство — научиться путем практического метода преподавания, как надо осваивать

---

[1] Псевдоним «Нексе» Мартин Андерсен взял по имени деревни на острове Борнхольм, где ему пришлось жить.

вещь и овладевать жизнью, как это теперь введено повсюду... в Советской России».

Так рос Мартин. Он не знал прав беззаботного детства, он знал лишь обязанности бедности, не признающей возрастов.

Не без горькой иронии вспоминает Нексе о годах своей юности, говоря, что, пожалуй, ему «не мешало бы иметь немножко больше еды, может быть, также немножко больше теплой одежды».

Крайне впечатлительный, он искал человека, который не был бы обыкновенным, он хотел ярких впечатлений, а его окружали серые краски бедности: «Отец с матерью, братья и сестры, наш немногочисленный круг знакомых, весь известный нам мир бедняков — все это было хорошо, но все это было так же обыкновенно, как воздух, которым мы дышали, как хлеб, который мы ели».

И мальчик думал о другом мире, о мире, где никто но испытывал недостатка в том, что детям бедняков, с плачем, приходилось выпрашивать. Он думал о мире, где никто но знал слова «голод». Но этот мир не давал о себе знать. «Ни одна светлая искра из него не проникала к нам в видо вести или привета от человека к человеку».

Отец Мартина не был родом из Копенгагена. Он родился на Борнхольме — небольшом датском острове; и когда Мартину исполнилось 8 лет, окончательно добитый нуждой, Ганс Андерсен решает вернуться на родину.

Переезд часто кажется беднякам блестящим выходом из положения. Так думала и семья Андерсен.

«На острове Борнхольм,— пишет Нексе,— нет деревень, как в остальной Дании.

Кое-где, правда, попадается 4—6 дворов, составляющих «поселок», или «улицу», но и в таких случаях дворы отстоят один от другого «на голос», и редко-редко можно встретить два смежных.

Такой порядок вполне отвечает потребности борнхольмца — «жить самому по себе». «Он весьма ценит веселую праздничную компанию, но не любит общения запросто и неохотно сажает гостя за свой будничный стол; неожиданное посещение редко приходится ему по сердцу. Он сдержан из опасения слишком обнажить свое «я» и быть осмеянным, он не дает себе воли ни в речах, ни в поступках, всегда как бы настороже, за надежным прикрытием —

за спущенными занавесками, высоким забором, за собственной корректностью».

Семья Андерсен многого ждала от переезда. Да и сам Мартин ожидал для себя многого от «нового места нашего пребывания».

Но первые же дни убеждают Мартина, что нищета на Борнхольме мало отличается от нищеты в Копенгагене.

Андерсены поселяются в маленьком ветхом сарае, у самого моря. Две каморки, которые они теперь занимают, были гораздо хуже их прежнего жилища в Копенгагене. Ветер проникал в щели сарая, морские волны заливали береговую тропинку, проходившую под самым окном, соленые брызги стучали в окна. И Мартину казалось, что он живет на шхуне, старой, полусгнившей рыбачьей шхуне, готовой каждую минуту пойти ко дну.

Напрасно мать заставляла Мартина затыкать размоченной бумагой щели в стенах — ветер проникал через потолок, задувая огонь в печи.

Кажется, ни одной надежде Андерсенов не суждено было сбыться.

Отец не нашел подходящей работы и теперь ежедневно отправлялся тесать камни на каменоломне «Адские холмы», чтобы семья могла хоть как-нибудь существовать.

Ожидаемые золотые дни не наступали. Андерсены жили в одиночестве. Ни одного человеческого жилища не было видно из окон их сарая. Только уходящее в бесконечность море.

Но оно кое-чему научило Мартина.

«Здесь на берегу я научился смотреть вдаль. Свое раннее детство я прожил среди высоких домов, видел пересекающиеся улицы; все было близко от меня. Здесь, у моря, первое время я чувствовал резь в глазах от цвета и пространства — и невольно жмурился.

Но вскоре зрение привыкло к открытому горизонту, головокружения прекратились, и я испытывал радость, окидывая взором море». И Мартин проводил целые дни на берегу моря, мечтая о чем-то необыкновенном, о сильных людях и славных подвигах.

Память Мартина Андерсена-Нексе сохранила замечательный эпизод раннего детства.

Однажды девятилетним мальчиком он вместе с ватагой других ребят отправился на берег моря собирать щепки и

бревна, выброшенные прибоем. Свирепствовал шторм. Морские волны кипели над головами ребят, шел дождь, смешанный со снегом, дул ледяной ветер, одежда деревенела от замерзшей воды.

Мартин любил все же такие дни. Впечатлительному мальчику казалось, что шторм, водяной вихрь, скрывает от него тот самый сказочный мир, о котором он так много мечтал.

Мартин ждал, что вот улягутся волны, исчезнут тучи и сказка станет явью.

Там, за морем, рассказывали рыбаки, была Россия, далекая таинственная страна. И Мартин вплетал в свою сказку рассказы об этой стране.

И вот, когда на несколько мгновений стих ветер и упала пелена дождя, Мартин увидел шхуну. Без сомнения, это была русская шхуна — приморские жители без труда угадывали национальность судов.

Обычно русские суда проплывали вдали, исчезая в тумане, точно видение. Это было первое из сказочной страны, подошедшее так близко.

Мартин ждал приближения шхуны, но она, казалось, замерла в нерешительности в нескольких сотнях метров от берега.

Тогда нетерпеливые рыбаки выехали в море и привели судно.

То, что узнал Мартин, потрясло своей таинственностью: почти весь экипаж шхуны был мертв. Люди лежали вповалку, убитые, очевидно, в какой-то кровавой драке. Лишь полуживой рулевой и юнга составляли исключение на этом кладбище.

Мартин узнал имя юнги: его звали Иваном.

И вот воображение мальчика, так и не узнавшего подробностей этого происшествия, воссоздало предыдущую картину, соединило ее со старинной сказкой о «Бедном Гансе» и собственными впечатлениями.

Юнга Иван был смелым и сильным парнем. Ему плохо жилось на этой шхуне. Все, кому было не лень, помыкали им. Юнга голодал, подвергался насмешкам и побоям капитана.

И он вместе с частью команды решил расправиться с капитаном и его помощниками.

И вот теперь он здесь — замечательный юнга Иван.

Таким образом, вспоминает Нексе в своей книге «На-

встречу молодому дню», первые мысли о свободе возникли в его сознании в связи с человеком из России.

У писателя Нексе навсегда осталось от борнхольмского периода ощущение простора и свободы. «На борнхольмских годах, пишет он, лежит до сих пор особый блеск, стереть который не были в состоянии даже самые серые дни».

Он чувствовал, что только теперь начинает жить.

«Передо мной встает, как какое-то легкое опьянение, мое первое знакомство со светом и пространством, мой гордый прыжок в жизнь».

Безбрежное море и широкие поля раздвинули горизонты Мартина. Он чувствовал себя предоставленным только своим силам и горел желанием отвоевать себе самостоятельное место в жизни.

Школа на острове Борнхольм, в которой пришлось заниматься Мартину, мало чем отличалась от копенгагенской. Бессмысленная долбежка псалмов — вот в чем заключались занятия в этой школе. Учитель обычно «предоставлял нас самим себе, но чтобы мы вели себя мирно, он заставлял нас хором долбить псалмы; когда мы зазубривали псалом до конца, он подавал нам реплику для следующего».

Вскоре Мартин становится пастухом.

Пастушеский период много дал мальчику Мартину, как вспоминал после писатель Нексе. Он развил в нем чувство самостоятельности и усилил чувство ответственности за порученную работу.

«Жизнь под открытым небом, солнце, воздух и здоровая пища — все это вместе сделало то, что эти три лета, проведенные мною на пастбище, заполнили собою мое детство».

Наконец Мартин достиг четырнадцати лет и должен был конфирмоваться [1]. Сотня псалмов и добрая половина Библии были с блеском отбарабанены пастору, и мальчик с этого дня считался взрослым.

В семье уже давно ждали этого момента. И за два дня до 1 ноября, когда обычно сменяются все рабочие, отец сказал Мартину:

— Ты бы пошел и поискал себе место, потому что теперь тебе придется самому содержать себя.

---

[1] Конфирмация — религиозный обряд у лютеран. Подросток, достигший четырнадцати лет, сдает «экзамен» у пастора, после чего считается как бы самостоятельным человеком.

И вот мечта мальчика сбывается — он уходит в жизнь, отплывает от успевших ему надоесть берегов, теперь он предоставлен самому себе, все зависит только от него.

Мартин срезал себе суковатую палку и, маленький, хрупкий, но с большим запасом мужества, зашагал на поиски счастья.

2

Следующие годы — цепь непрерывных скитаний, тяжелого труда, голодовок и мучительной жажды знания.

Мартин батрачит у богатого крестьянина в поселке Повльскер. Он живет в холодном бараке вместе с другими работниками. По утрам их одежда покрывается снегом, так как щели в стенах пропускают ветер, дождь и снег.

Отслужив год, обусловленный контрактом, Мартин оставляет работу для того, чтобы поступить в обучение к сапожнику в городке Коппе. «Я, собственно, не метил в сапожники,— пишет Нексе,— я предпочел бы какой-нибудь менее рабский труд. Но ничего другого не подвертывалось». Итак, Нексе — сапожник. Этот период жизни очень важен для формирования его мировоззрения.

Ребенком Мартин мечтал о жизни, в которой не приходилось бы ни голодать, ни мерзнуть. «Но мне скоро внушили, что это мечты несбыточные, всего, что человеку нужно, попросту не могло хватить на всех людей. Вот бог в своей справедливости и устроил так, что усердным достается больше, ленивым — меньше. Внушалось нам это с детства и учителем в школе, и пастором, когда мы готовились к конфирмации. Значит, если на земле так много бедняков, то это потому, что и ленивых здесь больше, чем прилежных и усердных».

И Нексе старается быть усердным. Он работает не покладая рук, выбивается из сил. Но результатов своей работы не ощущает: хозяин не собирался ни изменить к нему своего отношения, ни повысить жалованье.

В случайно попавшейся ему школьной хрестоматии Мартин прочел рассказ о леснике, который, не умея плавать, бросается в воду, чтобы спасти графскую собаку.

Рассказ привел его в недоумение.

Значит, рассуждал Мартин, если бы у него, к примеру, вырвалась из рук хозяйская тачка и погрузилась в навоз-

ную жижу, то он тоже должен был бы прыгнуть за ней, рискуя жизнью из-за старой навозной тачки?

«Но я пришел сюда,— писал Нексе в повести «В чужих людях»,— с полной готовностью делать свое дело, с почти болезненной потребностью угодить своим хозяевам. Но что толку? Самая добросовестная услужливость сил не прибавит, а только еще больше измотает их. Нет, не уйти от бедности и приниженности усердием и преданностью... Усердие и преданность — свинцовые гири на ногах. Они только тянут тебя все глубже вниз, вместо того чтобы помочь выкарабкаться наверх... По моим наблюдениям, доброе никогда не побеждало; наоборот, все обращалось против него: только когда человек выучивался, где можно, царапаться и драться, он добивался сколько-нибудь сносных условий жизни».

В поисках за разрешением волнующих его вопросов Мартин обращается к книгам: каждый раз, когда его товарищ — чахоточный сапожный мастер — посылает Мартина за книгами, он оставляет одну для себя.

Книги становятся любимыми друзьями Мартина. За них не надо было платить денег, так как мастер был записан в местную библиотеку. Мартину было разрешено самому лазить по полкам и выбирать книги. «Я и торчал на верхушке лесенки, знакомясь с заглавиями и с именами авторов и отыскивая что-нибудь поинтересней».

Позже Мартин начинает посещать Дом Высшей народной школы и там впервые знакомится с произведениями Ибсена и Бьернсона.

Труд сапожника становится невыносимым Мартину. Он покидает мастерскую и вскоре попадает на постройку новой церкви, неподалеку от Высшей школы.

С большой теплотой вспоминает Мартин Андерсен-Нексе об этих днях его юности — именно тогда он познакомился с замечательным человеком — мастером-немцем, рассказавшим Мартину о революционных организациях германских рабочих, об их столкновениях с полицией, о стачках, охватывающих сотни тысяч трудящихся. «Лозунг «Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих!» вновь и вновь повторялся в речах мастера и превратился в моем представлении в сияющую надпись на громадном портале, открывавшем вход в иной, новый мир».

Когда постройка церкви была закончена, немец обнял Мартина и сказал ему со слезами на глазах:

— Если когда-нибудь будешь писателем, не забывай о пролетариате.

«Двадцатью годами позже,— пишет Нексе,— когда «Пелле-завоеватель» печатался на страницах «Форвертс», я поблагодарил своего немецкого товарища». В предисловии к роману Нексе послал привет неизвестно где находившемуся в то время, но когда-то работавшему в Эстермарийской церкви мастеру привет и сообщение, что его тогдашний неловкий помощник остался верен его заветам.

3

В повести «Конец пути» Нексе говорит, что буржуазное общественное мнение часто делало попытки использовать его пример как живое доказательство того, что даже последний бедняк, в условиях капиталистического строя, может пробить себе дорогу.

И писатель разрушает эту легенду. Жизнь Нексе доказывает, что своей удачей он обязан постоянной воле к борьбе. Не будь этого, его ожидал бы тот самый черный конец, который подстерегает жизнь каждого бедняка.

...Зимой, когда строительный сезон закончился, Нексе решил поступить в народную школу в Аскове. Его привлекала умственная деятельность. Мартин мечтал, окончив школу, получить место учителя где-нибудь на западном побережье, нанять «себе каморку у какого-нибудь хусмэна или рыбака, наполнить ее книгами и преуютно коротать вечера за книгой: в зубах трубка с длинным чубуком, в голове легкий туман от табака, чтения и от шипящей керосиновой лампы. Больших требований к жизни я не предъявлял».

Таковы были планы Мартина, когда он высадился на маленькой станции у поселка Вейен и спросил дорогу к Асковской высшей народной школе.

4

Нексе — слушатель Асковской народной школы. Он учится на деньги, собранные для Мартина друзьями из Дома народной школы. С жадностью накидывается он на книги, не пропускает ни одной лекции, все свободные часы проводит в лабораториях.

Он был единственным представителем городского пролетариата в школе и, естественно, чувствовал себя отщепенцем. «Школьная администрация как будто и не считалась с людьми моего сорта».

Но постепенно Мартин охладевает к лекциям, разочаровывается в их содержании. Он начинает понимать, что всемирная история, например, излагается в школе с буржуазной точки зрения.

Если верить лектору, то все права человека находят высшее воплощение в одном — праве собственности.

Но Нексе трудно было романтизировать крестьянина-кулака: слишком хорошо знал он ему цену.

И однажды, когда обсуждалась лекция, Мартин сказал: «Я думаю, что в основе всего лежит труд».

Преподавание в школе было проникнуто духом буржуазного лицемерия.

«Упор в преподавании делался на идеалы. Нам проповедовали: живи только духовными интересами, и ты будешь чувствовать себя бесконечно богатым, каким бы бедняком ты ни был».

К подобным утверждениям Нексе испытывал органическое отвращение еще с того момента, когда он в школьной хрестоматии прочел рассказ о леснике, спасшем графскую собаку.

Да и вся его жизнь отрицала то, что выдавалось в школе за идеал. Разве не работал он с той самой поры, как выучился ходить, и разве он получил за это какую-нибудь награду? «Если общество богатело от моей работы, то и у меня должны были накопляться излишки, чтобы выручать меня в час нужды... А куда же шли эти мои излишки?»

Разочаровавшись в школьном преподавании, Нексе усиленно занимается самообразованием. В школе образовалась группа юношей, человек десять, которые собирались поочередно то у одного, то у другого и устраивали дискуссии. Много говорили о социализме. Нексе был в этих дискуссиях одним из главных спорщиков.

«Я был и не был в то время социалистом. Чувства у меня были социалистические, но никаких обоснованных социалистических убеждений и оформленных аргументов еще не имел,— вспоминает Нексе.— Однако какие-то зачатки или особые приметы, которые позволяют угадать заранее, что за плод вырастет из завязи, видимо, позволяли и учителям и учащимся угадывать во мне социалиста».

Все же Асковская школа много дала Нексе. Она воспитала в нем стремление к систематизации знаний.

После окончания курса (1893 г.) Нексе становится преподавателем частной школы в городе Одензе.

Нексе торжествует, его мечты сбываются. Он «мог уже зарабатывать себе средства к существованию трудом умственным. Проклятие, тяготевшее над миром бедняков и приковывавшее их к нескончаемому физическому труду, отрезывая от всякой умственной деятельности, было с меня лично снято».

Но, когда улеглась первая радость, Нексе убедился, что все обстоит не так благополучно, как ему казалось на первый взгляд. Очутившись на самостоятельной работе, Нексе понял, что его знания недостаточны.

Он не принадлежал к тем людям, которые легко отступают перед трудностями. Жизнь научила его упорству. Ночами он изучает то, что ему нужно излагать днем ученикам. Но это не смущает Нексе, не приводит в отчаяние. Он чувствует, что достиг своего. Его окружают книги, любимые книги, и он может читать сколько угодно, без боязни, что его выругают или прибьют за это.

Неожиданно тяжелая болезнь отрывает Мартина от занятий. Он никогда раньше не бывал у врача, и теперь ему даже в голову не пришло обратиться в больницу. С высокой температурой, в ознобе, он отправляется на родину, в деревеньку Нексе. Он прогостил дома с неделю.

В Аскове болезнь проявилась с новой силой. Старый асковский доктор не верит в выздоровление Мартина. Ему кажется, что подорванный непосильной работой и постоянным недоеданием организм не выдержит.

Однако и из этой борьбы Нексе выходит победителем.

Он иронически замечает, что не умер «только из упрямства».

«Я увидел страшный конец жизни,— писал он,— конец, который постоянно грозит бедняку, но я не хотел потерять эту жизнь в тот момент, когда свет только забрезжил перед моими глазами».

У Нексе находятся друзья, протянувшие ему руку помощи.

Осенью 1894 года Нексе с одолженными ему 400 марками отправляется в Испанию и Италию.

Что же увидел там Нексе?

Без особых сожалений расстался Нексе с Италией, направляясь в Малагу. Его манила неизвестность, страна, недавно открытая в литературе Проспером Мериме.

«...Италия — слишком уж знакомая страна,— писал потом Нексе.— Гете, Байрон, каждая пядь земли покрыта целой грудой бумаги, полотен, воспоминаний». «И когда несчастный современный писатель пытается как-нибудь по-новому подойти к этим старым темам, его заклинает и предостерегает целый рой величественных духов, давно отошедших в вечность, творцов. Куда ни обернешься — всюду предки, как в Китае»,— иронически замечает Нексе.

И вот на грязном голландском грузовом пароходе (спать приходится в маленьких кладовых, расположенных над машинным отделением, среди открытых ящиков изюма, чернослива, манной крупы и сушеной рыбы) Нексе плывет в Испанию.

Здесь его настигает болезнь. Несколько недель длится поединок со смертью, именно поединок, ибо Нексе, безвестный и одинокий, провел эти страшные дни в своей комнате почти без всякой помощи.

Выздоровев, он решает прежде всего восполнить так сильно ощущаемый им недостаток своего образования.

Еще будучи учеником в сапожной мастерской, Мартин самостоятельно, по произведениям Шиллера, изучил немецкий язык. Теперь, с настойчивостью, отличающей каждый поступок Нексе, один, без преподавателя, в сравнительно короткий срок, он изучает испанский и итальянский языки и историю литературы.

Нексе побывал в Севилье, Кордове и Гренаде, бродил по Пиренеям, плавал на пароходах, всюду он изучал жизнь народа. Посещал рабочие кварталы, фабрики, тюрьмы, больницы, собрания социалистов и анархистов. Одна из датских провинциальных газет заказала Нексе серию статей об Испании и Италии, но статьи эти оплачивались настолько скупо, что писателю приходилось отказывать себе в самом необходимом.

Путешествие дало Нексе очень много. Во время своих скитаний он собрал огромный материал о жизни и нравах народа, и это дало ему впоследствии возможность выпустить сборник прекрасных очерков об Испании — «Под солнцем».

Путешествия и знакомство с жизнью народов других стран способствовали развитию в Нексе замечательного

чувства интернационализма, которое отличает его творчество и современную общественную деятельность.

В 1896 году Нексе возвращается на родину. В высшей школе Мелерипа он выступает с докладом об Италии и вскоре получает место учителя в гриберзенской школе.

Одновременно с работой в школе Нексе пишет свою первую книгу, сборник рассказов «Тени».

5

«Если бы для того, чтобы стать писателем, художником, необходимо было с детства отличаться особенной, ясно выраженной склонностью к сочинительству, то я мало годился бы в писатели,— заявляет Нексе в своей автобиографии.— Правда, я с детства отличался врожденной способностью писать вполне грамотно, но эту особенность я разделял со всеми моими братьями и сестрами, особенной же любви к письменным упражнениям я не обнаруживал, и рефераты мои, а также школьные сочинения всегда носили пометку: «Слишком коротко», да и впоследствии я никогда не садился за письменный стол из прямой потребности сочинить что-нибудь. Искусство для искусства никогда не владело моим сердцем... Я предпочитал выпекать для своих собратьев людей чистый ржаной хлеб, а не кондитерские изделия. Я изумлялся, когда критика отмечала оригинальность моего языка, между прочим, его афористичность, говорившую о моем богатом запасе пословиц, поговорок. Я позволю себе ответить, что мои пословицы и поговорки не так-то легко найти в каком-нибудь фольклорном сборнике. В большинстве случаев я сам их автор... Писатель-художник — внутреннее око человечества, открытое для всего малого, не заметного на поверхностный взгляд.

И я стал тем, чем я стал, не в силу каких-либо особых способностей, но в силу всего пережитого — нужды, борьбы, разочарования и радостей, которые я разделял с другими людьми».

Итак, Нексе никогда не думал быть писателем. Сама жизнь сделала его литератором.

Первым литературным опытом Нексе было шутливое стихотворение-пародия на мастера в сапожной мастерской в Коппе. Но мастер не оценил таланта своего помощника,

Он выругал Мартина и пообещал избить. Это было первым гонораром Нексе.

Теперь, после значительного перерыва, Нексе опять берется за перо. На этот раз его привлекает проза. Он описал праздник св. Иоганна в Борнхольме, и этот очерк был напечатан 10 июля 1893 года в газете «Зимс айгенде».

Наконец в 1898 году выходит первый сборник рассказов Нексе «Тени».

Книга была принята восторженно. Даже буржуазная пресса, полагая, очевидно, что народ, беднота являются для писателя лишь преходящей темой, что это только своеобразная «экзотика», желание выделиться, также включилась в хвалебный хор. «Тени» посвящены описанию жизни обитателей копенгагенских окраин.

Автору хорошо был знаком быт датских рабочих, быт нищеты, голода и лишений. Но своими рассказами Нексе доказал, что не только эта, так сказать, фактическая сторона жизни известна ему. Нет, в «Тенях» Нексе проявил себя и как блестящий психолог, проникающий в самые интимные, самые сокровенные глубины души человеческой.

Уже своим первым рассказом сборника — тонким психологическим этюдом «Смертельная борьба» Нексе зарекомендовал себя как зрелый писатель.

В таком же духе написаны и остальные рассказы сборника, в особенности «Лотерея шведа».

Швед, рабочий-каменотес, отказывает себе в самом необходимом, покупая лотерейные билеты. Может быть, когда-нибудь ему улыбнется счастье, думает каменотес.

И действительно, он выигрывает четыре тысячи крон!

Но счастье было недолгим. Сорвавшийся камень убивает шведа. Вот и все содержание рассказа. Даже счастье не впрок бедняку, говорит его автор.

В «Лотерее шведа» чувствуется пессимизм Нексе — настроение, некоторое время владевшее писателем. Печальный конец уготован бедняку, и никакие «счастливые» случайности не в силах предотвратить его, как бы хочет сказать Нексе. В это время писатель еще не видит выхода из тяжелого положения народа. Причина этого — в слабости, раздробленности революционного рабочего движения в Дании. На глазах Нексе гибли десятки бедняков, задавленных нуждой; казалось, нет просвета в жизни бедняка, нет людей, нет организации, способной вывести народ к счастью.

Таким же настроением проникнуто и более позднее произведение Нексе — «Искупление».

Но бесспорно, что в «Тенях» Нексе выступил как поэт народа, поэт бедноты. С этого момента он никогда не изменяет своей теме.

В 1900 году выходит новое произведение Нексе — «Мать». Оно свидетельствует о дальнейшем развитии таланта Нексе, таланта изображения самых глубоких переживаний народа.

Спокойно, подчас с мягким юмором описывает Нексе жизнь молодой вдовы и ее дочери. Но страсть, боевой темперамент нарушают это спокойствие, как только Нексе начинает говорить о бедняках. Такова, например, история сапожного подмастерья, забитого, больного мальчика, умирающего в нищете.

«Землетрясение» — следующий сборник новелл Нексе — вновь переносит нас в самую гущу народа.

Мы видим испанца, прошагавшего сорок миль во время холерной эпидемии, чтобы достать лед для любимой, умирающей от холеры; женщин, посвящающих свою жизнь инвалидам войны, видим картины нужды (рассказ «Платежный день» и др.).

Новый роман Нексе — «Семейство Франк» (1901) посвящен проблеме алкоголизма.

Писатель показывает на примере распада одной семьи, какую угрозу представляет алкоголь трудовому народу.

Нексе вносит в литературу оригинальное, самобытное содержание, находит новые сюжеты и прекрасную, четкую форму. Сила произведений Нексе заключается в том, что центральное место в них занимает народ и его психология. Нексе прекрасно владеет богатым, красочным языком народа, исполненным вековой мудрости и великолепного юмора.

Датский язык плохо знают в Европе, и поэтому лишь немногие из датских писателей сумели приобрести мировую известность. И Нексе принадлежит к этим немногим. Но путь Нексе к всеобщему признанию был тяжелым. Казалось, все объединилось против Нексе — этого человека из народа, плебея, пишущего о плебеях. Его книги шокировали «добропорядочную» буржуазную критику: и содержание — жизнь народных низов и форма изложения — простая, местами даже нарочито грубая. Но голос его не мог остаться неуслышанным. Блестящий талант и непо-

колебимое мужество в изображении жизни народной, талант писателя, вышедшего из народа и знающего жизнь этого народа,— ибо она была его собственной жизнью,— вот что дало Нексе аудиторию миллионов. Радость жизни, пробивающаяся, несмотря ни на что, утверждение жизни, уверенность в победе людей труда — вот основной мотив творчества Нексе.

Правда, иногда кажется, что в произведениях Нексе горе заслоняет все. Слишком уж много горя на земле, слишком много испытал лишений Нексе, чтобы не сказать о них на страницах своих книг.

«Действительно ли я оптимист по натуре, как часто утверждали? — спрашивает Нексе в своем последнем произведении «Конец пути».— Я с этим не соглашался, но все-таки люди были, пожалуй, правы. Не будь я оптимистом в глубине души, я бы, верно, давным-давно утратил веру и продал свое первородство за чечевичную похлебку».

Из этого признания видно, сколько веры в людей, сколько веры в будущее рабочего класса нужно было накопить писателю с такой биографией, чтобы, несмотря на все страдания, которыми его щедро наделяла жизнь, стать все-таки поэтом радости.

Были периоды, когда казалось, что Нексе станет писателем глубоко пессимистическим.

И действительно, сам Нексе писал, что «в годы юности и вплоть до того как перешагнуть за тридцать» он «страдал меланхолией или, скорее всего, чем-то вроде мировой скорби. Я жалел широкие массы человеческие, мучился мыслью об их овечьей — как мне представлялось — покорности. Они казались мне слишком добродушными, самым непростительным образом они мирились и с жандармерией, и с «временными законами» прусского образца, и с нуждой, и нищетой. Я еще не понимал тогда, что долготерпение широких народных масс, медлительность их поступательного движения связаны с процессом внутреннего развития и созревания» («Конец пути»).

Эти настроения, проявившиеся еще в «Лотерее шведа», отразились в романе Нексе «Пыль», вышедшем в 1902 году.

Герой книги — хилый, болезненный юноша Бандер — покидает дом отца-крестьянина и отправляется на поиски счастья. Но тщетно бродит он по земле, напрасно ищет он, усталый и замученный, уголок, где можно было бы спо-

койно отдохнуть. Он обречен, этот маленький Бандер. Его судьба предопределена, как и судьба сотен и тысяч бедняков, подчиненных воле слепого случая: хорошее и злое одинаково оплачивается в этой жизни.

Как бы для подтверждения этого последнего тезиса в романе действует персонаж — антипод Бандера, здоровый, сильный духом и волей человек.

Казалось бы, именно его и ждет счастье. У него достаточно сильные руки и умная голова, чтобы суметь отыскать себе место под солнцем.

Напрасно! И его побеждает жизнь: он заболевает тифом и в течение двух дней умирает.

«Один конец в этом мире: и для хорошего и для плохого».

В этой книге — тяжелой и мрачной — как будто нет места надежде. Но вчитайтесь внимательно, и вы увидите, что писатель страстно ищет средства для изменения тяжелой участи бедняков.

«Пыль» — мужественная книга, ибо немалым запасом смелости надо было обладать, чтобы издать ее в мещанской Дании. Книга эта свидетельствует о борьбе в сознании молодого писателя, борьбе чувства обреченности с верой в человека, верой в конечную победу жизни. Написав ее, Нексе как бы освободился от груза тяжелых переживаний, которыми была так богата его жизнь, и в следующих своих произведениях безоговорочно выступает как поэт борьбы, труда и любви к жизни.

В последующих произведениях Нексе на первый план выдвигается тема революционной борьбы народа, мотивы которой появились уже в сборнике рассказов «Солнечные дни» (1903), написанном в результате двадцатимесячного путешествия по Италии и Испании.

В этих рассказах Нексе, с большим мужеством и самостоятельностью, не поддаваясь влиянию литературной традиции писателей типа Клода Фаррера, изображает тех, кому меньше всего уделяли внимание беллетристы, путешествовавшие в качестве «знатных иностранцев». Он пишет о народе, о бедняках.

Нексе — блестящий очеркист. Ничто не ускользает от его зоркого взгляда — ни красоты природы, ни очарование местного колорита, но все это не заслоняет самого главного для писателя — народа.

Нексе на пароходе. Он наблюдает пассажиров, прогу-

ливающихся по палубе или отдыхающих в удобных креслах, лакеев, одетых в черное, снующих по пароходу. Он думает о моряках, большинство которых — его земляки: норвежцы, датчане или шведы, он размышляет о безвестных тружениках моря, здесь, на чужбине, тяжелой работой и постоянными лишениями добывающих жалкий кусок хлеба своим женам и детям. «Раз в три или четыре года моряки совершают короткие путешествия к себе на родину для того, чтобы повидать семью и прибавить к голодным ртам еще один лишний» («В пути»).

Но вот Нексе в Севилье, в городе, воспетом в бесчисленных европейских романах. С теплым сочувствием пишет Нексе о севильских работницах-сигаретницах, этих «Las Cigarreras», факт существования которых «несколько примиряет понятия «Испания» и «Революция».

«Сигаретница всегда готова поднять мятеж,— пишет Нексе.— Из ее рук полетит первый камень: из ее уст раздастся зажигающий боевой клич... Не раз энергичные женщины, ползая на четвереньках, собирали с мостовой уличную грязь для защиты против вооруженной саблями и револьверами конной полиции...»

Да, не пестротой красок, не поверхностной экзотикой увлекается Нексе, осматривая табачную фабрику — эту огромную тюрьму, где ослепляет табачная пыль, где нет ни одного вентилятора.

«...Моего уха достигает странный звук,— пишет Нексе,— неужели это скрип люльки? Эта мысль невольно наполняет сердце ужасом.

Действительно, совсем близко от нас стоит старомодная деревянная люлька, еле видная за закрывающими ее корытами с табаком и рабочими столами. Женщина, качающая ребенка, бледна; на виски наклеен пластырь, чтобы умерить головную боль. Темная табачная пыль пластом ложится на белые пеленки, покрывает волосы матери. Несмотря на отчаянный шум и ядовитый воздух, малютка крепко спит. Щеки его даже покрыты бледным румянцем. И при взгляде на колыбель по изможденному лицу матери вдруг мелькнет и спрячется светлая улыбка».

Ничто не скрывается от глаз Нексе.

Вот восьмидесятилетний старик, исполненный веры, что настанет день — «будет революция и все устроится». «Тогда у нас будет республика. И начальство придет ко мне и к моим товарищам и скажет: «Много-много лет ты

обрабатывал землю графа и он весь урожай забирал себе. Теперь земля твоя и ты сам сможешь съедать все, что на ней растет. И если тебе захочется послать твоих детей учиться в университете — двери будут для них широко открыты...»

«...Испания хорошо знакома с революцией,— пишет Нексе,— ни в какой другой европейской стране революции не представляли столь частого явления. Целые поколения воспитывались на живых, действенных революционных лозунгах. Импульсивному испанцу гораздо ближе революционные приемы борьбы, чем постепенные парламентские реформы, которые не могут его увлечь... Каждый день в Испании то тут, то там вспыхивают беспорядки; только из-за полного отсутствия организованности эти столкновения, как бы они ни были часты, остаются разрозненными, не выливаясь в форму планомерного революционного выступления. Но случалось уже не раз, может случиться и впредь, что организация оказывается достаточно сильной, и вспыхивает поголовное восстание. Ощущается еще недостаток в тех средствах, обладание которыми обеспечивает революции счастливый исход,— оружия, денег и руководителей. Пока не найдутся люди, которые станут во главе движения в Испании, до тех пор народ будет служить пушечным мясом, умирая с искренним, столь свойственным испанскому народу, презрением к смерти.

А оставшиеся в живых будут мечтать о новой революции».

Так писал Мартин Андерсен-Нексе в 1903 году. Через тридцать шесть лет, член Интернациональной бригады революционной Испании, писатель Нексе убедился в том, что слова его оказались пророческими.

6

Перед тем как приступить к выполнению своей давнишней мечты — созданию книги о революционном рабочем, Нексе выпускает сборник борнхольмских новелл «Кротовьи кочки» (1900—1905).

Книга эта, помимо своих художественных достоинств, свидетельствует о замечательной разносторонности дарования Нексе. Она лишний раз доказывает абсурдность «теории» буржуазной критики о том, что Нексе является

писателем «автобиографическим», так сказать, лишь певцом своей жизни.

Вот одна из новелл этой книги — «Дитя любви». Она посвящена Болине — «незаконному» ребенку хуторянки.

Хуторянка откупилась от своего ребенка за известную сумму «раз навсегда», отдав Болину на воспитание пьянице-портному.

И вот Болина катится под откос. «Хотя она и была «дитя любви», но ласку узнала только на семнадцатом году жизни. И приласкал ее, вдобавок, в темном углу лестницы чужой человек, не очень-то серьезно смотревший на нее».

Грязная, нищая, забитая, она растет, более похожая на воплощенную немощь, чем на живое существо, зарабатывая тем, что нянчит других приемышей, повторяющих ее историю.

Она видит, как многие из них умирают; одни тихо, почти незаметно, другие — сопротивляясь, цепляясь за жизнь. Болине кажется странным это необъяснимое упорство. Смерть не представляется ей чем-то страшным. Куда страшнее для нее жизнь.

С детства Болина пошла в услужение. Однажды ее арестовывают по подозрению в краже серебряной ложки. Ложка нашлась, но у Болины при обыске обнаружили массу хозяйских мелочей.

«Вся воровская добыча сложена была на столе: лоскутки ситца, клинья и полоски трикотажа, остатки лент, старое рваное белье.

Следователь бросал любовные взгляды на этот ворох улик; все это был хлам, но именно потому, что он ничего не стоит, он и выражал идею высшего правосудия, которая не интересуется мелочами, но ревниво охраняет самый принцип собственности. Здесь личность не играла никакой роли, и Болина не могла претендовать на более внимательное расследование, если бы даже была королевой воров».

Мы привели эту цитату из великолепной новеллы Нексе для того, чтобы показать одно из сильнейших свойств его таланта — сарказм.

Нексе всегда спокоен. Никогда не возвышает он голос до крика. Он всегда разговорно, подчеркнуто прост. Но при этом он умеет быть злым, и тогда его простые, спокойные строки обретают жало сатиры.

Юмор, великолепный народный юмор переливается

яркими красками в произведениях Нексе. Иногда он беззлобно-насмешлив (новелла «Птицы перелетные»). Иногда обретает силу сатиры («Деньги дядюшки Петера»), иногда полон злого сарказма («Дитя любви»). В «Кротовьих кочках» есть великолепный, полный злой иронии рассказ. Он называется «Рабыня свободы» и посвящен девушке, которую при рождении назвали Верой в честь какой-то княгини из немецкого переводного романа. Но Вере не была суждена судьба этой «героини». Следуя по проторенной дорожке бедняков, она четырнадцати лет становится прислугой и рада, что наконец-то вырвалась от родителей — голодная, нищая жизнь позади, теперь она свободна!

И «когда никто из близких не видел, радость щипала щечки бедной служаночки и нашептывала ей на ухо всякие несуразности... Именно так и пришел к ней соблазн, под прикрытием мрака, и Вера, от начала времен предназначенная быть рабыней других, понесла под сердцем дитя свободы».

Таков был первый результат «свободы». Но вот в Вере просыпается человек, она обретает чувство достоинства. «Она возымела дерзость самой решать для себя, что есть добро и что зло, и не могла не поплатиться за это».

К чему бедняку свобода, если он остается тем же бедняком? Вера хочет поступить в рукодельную мастерскую. Напрасно — у нее нет связей.

Она оставила место горничной — и вот она без денег, без крова.

«Можно было бы вернуться к прежнему положению, к господам, но Вера не хотела расстаться со своей свободой. Это было ее дитя, купленное дорогой ценой, единственная отрада ее бедного существования, и она дрожала над ним, как покинутая мать, готовая на все жертвы ради своего ребенка».

Наконец она поступает на завод. Как будто мечта ее осуществилась, она «свободна», лишь определенное количество часов отдает она работе, остальное время — в ее распоряжении. Но уже «волосы ее поредели и не хотели завиваться, лицо похудело». Желанная свобода не принесла девушке счастья.

В детстве родители мечтали выдать замуж Веру за «графа».

Появился и граф. Один из шикарных господ стал на короткое время любовником Веры. «Правда, он не был

«молодым графом», но играл графа в любительских спектаклях в Народном доме».

У Веры рождается ребенок. «Граф» бросает ее на произвол судьбы, и несчастная мать проводит вечера на холодных углах улиц, там, где кончаются окраины города.

Так «осуществляется» мечта Веры. Веру ограбила «свобода».

Новеллы Нексе поражают своим мастерством. В двух-трех фразах, народной поговоркой, иногда просто восклицанием Нексе умеет создать образ. И «Кротовьи кочки» являются наилучшим подтверждением этому.

Несмотря на то что место действия в произведениях Нексе всегда Дания, творчество его не имеет национальной ограниченности, ибо оно заключает в себе жизнь во всем ее многообразии.

Именно поэтому Нексе быстро завоевал мирового читателя. Книги его вскоре по написании переводились и издавались за границей. Так, например, его произведения «Искупление», «Семья Франк» и «Пыль» вышли во многих немецких изданиях.

Следующее крупное произведение — «Пелле-завоеватель» — доставило Нексе мировую известность.

Нексе глубоко социальный писатель. Общественные проблемы, взаимоотношения классов, жизнь бедноты всегда являлись основным содержанием его произведений. И в этом отношении первый большой роман Нексе — «Пелле-завоеватель» (1906—1910) — представляет для нас особенный интерес.

Действие «Пелле» происходит в Дании во второй половине девятнадцатого столетия.

События в «Пелле» относятся к тому периоду, когда «чудодейственная волна, которая перекатывается по всему земному шару, подымая на своем хребте народные массы и вызывая переоценку ценностей, докатилась и до нас, заставила и нашего простолюдина посмотреть вокруг себя» («Кротовьи кочки»).

Вот краткое содержание романа «Пелле-завоеватель».

Из Швеции, в поисках заработка, приезжают на остров Борнхольм батрак Лассе и его сын Пелле. Мальчик взволнован суматохой на пристани, он внимательно следит за

всем происходящим, вместе с отцом ждет, пока кто-нибудь предложит им работу.

И вот они — отец и сын — батраки в поместье. Описание жизни Пелле, вплоть до конфирмации, во многом носит автобиографический характер. Этого мальчика мы уже знаем из первых двух томов автобиографической эпопеи Нексе.

Но вот Пелле наскучила жизнь в деревне, он хочет увидеть жизнь, померяться с ней силами, он прощается с отцом и уходит в свое первое странствие.

Дальше изображаются «университеты» Пелле. Мальчик работает у сапожника. И вот постепенно в нем пробуждается чувство неприязни к богатым. В первый раз он почувствовал эту неприязнь, когда богатый заказчик отказался уплатить Пелле за работу.

В Пелле просыпается классовое сознание. Он осматривается кругом, прислушивается к беседам товарищей в надежде услышать что-нибудь созвучное своим думам.

Но тихо вокруг.

Кажется, ни у кого не рождается мысль о новом, более счастливом времени, кажется, все смирились со своим бесправным существованием. Только сумасшедший часовщик меланхолически выкрикивает, стоя на лесенке своего дома: «Новое время! Я спрашиваю о новом времени!» Он хочет изобрести часы, которые «должны быть устроены так, чтобы могли идти лишь в том случае, когда в стране у каждого было бы все необходимое».

Образ часовщика не случаен в начале романа. Все еще тихо в Дании, говорит Нексе этим образом, еще спит сознание людей, и, чтобы мечтать о «новом времени», надо быть сумасшедшим.

Но время идет, события разворачиваются, все чаще начинают поговаривать ремесленники о новых людях — социал-демократах, все чаще говорят об их целях.

«— Ты стал социал-демократом,— беседуют между собой сапожники.— Чего они хотят? Говорят, что они снова появляются в Копенгагене.

— Да, эта штука появляется и исчезает вместе с безработицей,— сказал Иеппе.

— ...Но чего, собственно, они хотят? — сказал Ларсен-деревянная нога.— Я сталкивался со многими, и насколько я могу понять, они хотят лишить короля права

чеканки денег и передать это право другим. И вообще все разрушить, это несомненно.

— М-да. Мне думается, то, чего они хотят, очень хорошо! Но только они этого никогда не достигнут. Я ведь немножко разбираюсь в этом, благодаря Гарибальди. Да чего они хотят? Того, чтобы у всех было всего поровну.— Андрес говорил неуверенно.

— В таком случае корабельный юнга будет иметь столько же, сколько капитан?

Булочник, смеясь, хлопнул себя по ляжкам.

— Они хотят и короля свергнуть,— сказал Ларсен-деревянная нога».

И вот в сознании Пелле прочно застревает одно слово «забастовка», и слово это проделывает огромную работу в сознании молодого рабочего.

Меняется не один Пелле, становятся другими и окружающие Пелле. «Вокруг все кипело. Массы дрогнули, как бы внезапно пробудившись. Люди, которые всю жизнь знали только один путь — из дома на работу и с работы домой,— вдруг останавливались среди дороги и начинали предлагать наивные вопросы о смысле всего существующего. Попадались даже такие, которые осмеливались сомневаться в правильности существующего порядка».

Пелле становится организатором профессионального союза. Путем жестокой борьбы с придворным сапожником Майером он устанавливает тарифные ставки, выгодные рабочим.

«С Пелле произошла большая перемена... Город представлялся ему полем сражения, где гибнет одна армия за другой, и все новые сменяют погибших».

Теперь Пелле — один из самых популярных рабочих-руководителей. Правда, на некоторое время под влиянием своей жены мещанки Эллен, для которой цель жизни — собственное «уютное гнездышко», Пелле на время отходит от рабочего движения, но затем он вновь находит себя.

«Пелле-завоеватель» — книга о формировании классового пролетарского самосознания.

В 1915 году Нексе печатает драму «Мыза Дангаард», темой которой является борьба двух классов — буржуазии и пробуждающегося сельского пролетариата.

В это же время Нексе начинает работать над следующим крупным произведением.

Мы имеем в виду «Дитя человеческое».

7

«Дитя человеческое» — второе крупное произведение Нексе (1917), посвященное изображению жизни трудящихся Дании.

На стиле ее отразилось влияние датской народной поэзии и старинных скандинавских саг. Роман этот посвящен истории девушки Дитте, двадцати шести годам ее жизни, пресеченной постоянным недоеданием и туберкулезом.

Жизнь Дитте напоминает историю «Рабыни свободы» с тем лишь отличием, что туберкулез и смерть уберегли ее от последнего этапа истории Веры.

С первых дней жизни Дитте готовили для услужения другим людям.

Ни одного дня не жила эта незаконная дочь рыбачки для себя.

Очарование Дитте заключается в ее доброте и отзывчивости, постоянной готовности и потребности делать людям добро. Желание это, ничего общего не имеющее с религиозным смирением (Дитте всегда была безразлична к религии), находится в постоянном противоречии с отношением к Дитте ее окружающих.

Единственная радость, доступная ей,— радость труда. Единственное наслаждение, которое она вправе позволить себе,— нянчить чужих детей.

Лишь в общении со своим отчимом Ларсом-Петер-Хансеном, человеком исключительного обаяния и простодушия — датским Кола Брюньоном,— находит утешение Дитте.

Тернист путь Дитте. Ее обижают, обманывают, третируют. Ее лишают всех удовольствий жизни, лишают детства, юности, радости любви. И все же Дитте — оптимистка, всегда готовая отозваться на просьбу о помощи.

Казалось, все в деревне вооружились против Ларса-Петера и его падчерицы Дитте.

Их не любили за гостеприимство, презрение к мещанству и предрассудкам, за трудолюбие.

Один лишь раз счастье улыбнулось этой датской Золушке. Это была встреча ее с Вангом — писателем-гуманистом, честным и пылким идеалистом.

Но счастье не было уделом Дитте, о романе узнает жена Ванга, и Дитте снова на улице.

В картинах трагической развязки — смерти Дитте — замечательное дарование Нексе разворачивается во всем блеске.

Нексе описывает человеческую трагедию, в которой, кажется, нет ни проблеска света. На секунду кажется, что меланхолия сделалась его музой, что рок «Пыли» снова навис над писателем. Но это лишь на секунду.

В том-то и сила Нексе, что он одними лишь темными красками умеет нарисовать такое полотно, что сквозь мрак и страдания людские все же ощущается радостное утверждение жизни.

Голодная и забитая Дитте умирает от туберкулеза. Ее гибели предшествует смерть ребенка — первый траурный аккорд финала ее страдальческой жизни. До этого буржуазные газеты, узнав о пропаже у Дитте ее приемной дочери, делают из происшествия «гвоздь номера» под шапкой «Нерадивая мать».

Дитте, этого друга человечества, маленькую Дитте, «маму Дитте», обвиняют в плохом уходе за ребенком!

Но у Дитте находятся друзья. К ней приходят рабочие — члены революционных организаций, они превращают похороны ребенка в демонстрацию протеста против подлого ханжества буржуазии.

В романе нет героя-пролетария, ясно видящего свою цель и знающего пути к ее достижению. Но Нексе пишет о том, что видит, и не его вина в том, что конец XIX века еще не выдвинул в его стране подлинных героев революции.

Дитте умирает.

И Нексе заканчивает роман — эту потрясающую книгу о дочери датского народа, книгу о жизни и психике еще очень отсталых, раздробленных реформизмом кадров рабочего класса — великолепным символическим обобщением, заслуживающим того, чтоб его привести целиком:

«...Полтора миллиарда звезд в мировом пространстве, и насколько известно — полтора миллиарда человеческих существ на земле. Одинаковое число. Недаром утверждали в древности, что каждый человек рождается под своей звездой. Сотни дорогостоящих обсерваторий возведены на земле — и на равнинах, и на горных высотах, и сидят в этих обсерваториях тысячи ученых, вооруженных самыми чувствительными телескопами, и ночь за ночью наблюдают, обшаривают мировое пространство, высматривают и

фотографируют. Всю свою жизнь они занимаются одним: добиваются обессмертить свое имя, открыв новую звезду или установив исчезновение старой: стало ли одним небесным светилом больше или меньше среди миллиарда с половиной вращающихся в мировом пространстве?

Ежесекундно умирает на земле одно человеческое существо. Погасает светоч, который уже никогда не зажжется вновь,— во всяком случае, отличавшийся своим собственным, никогда раньше не виданным спектром.

Ежесекундно покидает землю человеческое существо, которое, может статься, излучало гениальность, сеяло вокруг себя доброе и прекрасное. Никогда раньше не виданное, неповторимое чудо, ставшее плотью и кровью, перестает существовать. Ни один человек не бывает ведь повторением другого и сам неповторим. Каждое человеческое существо напоминает те кометы, которые лишь раз в течение вечности пересекают орбиту земли и лишь краткое время чертят над нею световой путь свой. Мгновенная фосфоресценция между двумя вечностями тьмы!

Стало быть, люди горюют о каждой угасшей на земле жизни человеческой? Стоят у смертного ложа с серьезными лицами и говорят: «Смотрите, какая потеря для мира, невозместимая потеря! Смотрите, какое чудо гостило у нас на земле!»

Увы! Дитте была не погасшей звездой, опустевшее место которой в мировом пространстве должно быть зарегистрировано на все времена. Она была незваной гостьей, украдкой прошмыгнувшей в мир, во всяком случае, принята была как таковая. С трудом, всякими правдами неправдами, пробила она себе путь на белый свет.

И, став одной из миллиарда с половиной единиц, составляющих серую массу человечества, взялась за свое дело и до конца не складывала рук. Она сделала землю богаче, но этого никто не заметил. Она была и осталась одной из бесчисленных безымянных тружениц. Дитя человеческое — вот ее настоящее имя, а примета — загрубелые, шершавые руки!»

8

«С тех пор, как мне исполнилось шестьдесят лет,— пишет Нексе,— меня все чаще и чаще спрашивают: когда ты дашь нам свою автобиографию? Этот вопрос сначала

вызывал досаду: значит, меня уже считают достаточно старым для этого... Пока я еще не чувствую себя в том периоде жизни, когда пишут мемуары».

Этими словами Нексе начинает свое первое произведение задуманной им автобиографической эпопеи. Это произведение называется «Малыш» и охватывает детство Мартина до восьмилетнего возраста.

За «Малышом» следует «Под открытым небом» — отрочество Мартина — с девятилетнего возраста до конфирмации, то есть до четырнадцати лет.

Третьей книгой была «В чужих людях» и четвертая, выходящая в недалеком будущем книга,— «Конец пути».

Автобиографические произведения Нексе, конечно, не мемуары.

Восстанавливая картины прошлого, Нексе никогда не забывает о сегодняшнем дне. Именно поэтому страницы его автобиографических произведений изобилуют многочисленными отступлениями и своеобразными «окнами в будущее».

Мартина Андерсена-Нексе зовут датским Горьким. Не только биография сближает Нексе с великим пролетарским писателем. В самом творчестве этих замечательных людей есть очень много общего.

И Нексе и Горький вышли из народа. Оба они не боялись показать народ таким, как он есть.

И Нексе и Горького объединяет великолепное знание народной жизни и, что самое главное, любовь к жизни, подлинный гуманизм, пафос труда. И не случайно так много общего и в публицистической деятельности этих писателей. И Горький и Нексе не раз поднимали свой гневный голос в защиту правды, против врагов человечества.

Как великолепно умеет изображать Нексе людей из народа! Вот перед нами персонаж любой из его книг — безразлично, крестьянин, каменщик или рыбак. Кажется, ничего человеческого не осталось в нем, все задавила нужда, погоня за куском хлеба. Но вот один штрих, один незаметный поворот, и образ этого человека начинает излучать такую теплоту, такое очарование, что сразу становится видно, насколько хорош, насколько прекрасен этот человек.

Какие замечательные лирические тона умеет находить Нексе для характеристики своих героев!

Для примера приведем сцену из романа «Дитя человеческое». Вот умирает Серен — старик рыбак, проживший долгую трудовую жизнь. Рядом с ним его жена, старуха рыбачка.

«Как ты хорошо сохранился,— говорила она.— Волосы у тебя и теперь почти такие же густые и мягкие, как в дни нашей молодости.

Серен отвалился на спину и довольно долго лежал молча, не сводя глаз с Марен и не выпуская ее руки из своей. Выцветшие глаза его как будто любовались ею.

— Послушай, Марен... не распустишь ли ты для меня свои косы? — застенчиво прошептал он наконец с запинкой, как будто ему трудно было высказать это.

— Ну, что за выдумки,— сказала Марен, пряча лицо у него на груди.— Мы с тобой уж старики, Серен.

— Распусти для меня свои косы,— прошептал он уже настойчивее и своими ослабевшими пальцами попытался сам распустить ей волосы.

Марен вспомнился вечер на берегу моря, много-много лет тому назад, когда они вдвоем укрылись в тени вытянутой на сушу лодки... И она, вся в слезах, распустила свои седые волосы, так что они упали на голову Серена и окутали их лица. Бережно захватил он рукою несколько прядей.

— Какие они длинные и густые... закроют нас обоих,— тихо прошептал он.

Отголоском из далеких лет юности прозвучали эти слова.

— Нет, нет,— твердила Марен, рыдая.— Они поседели и стали такими жидкими и жесткими. Но как ты любовался ими тогда!»

Как и Горький в своих автобиографических произведениях, Нексе показывает нам целую галерею великолепных образов. Среди них мать Мартина — прямая и настойчивая женщина, наделенная исключительным оптимизмом и высоко развитым чувством собственного достоинства. «Она вообще никогда не падала духом и оставалась такой до глубокой старости. Никакие разочарования не брали ее». Первое время она вызывает ненависть борнхольмских мещан. Затем умом и силой она завоевывает их уважение. Любви, правда, ей завоевать так и не удалось.

Вот Ганс Андерсен, отец Мартина. С замечательным мастерством описывает Нексе этого каменотеса, резкого,

непокорного начальству, часто грубого, но честного и отзывчивого.

С исключительной теплотой вспоминает Нексе о чахоточном мастере-сапожнике, пробудившем в нем любовь к книгам.

Никогда не унижает Нексе изображаемых им людей, никогда не взывает о жалостливом сочувствии к ним. Он всегда сурово правдив, всегда честен. Его люди — живые люди, и если в них много плохого, то в этом виновата сама буржуазная действительность.

«Обязан же кто-нибудь в современном обществе,— писал Нексе,— сказать беспощадную правду — и кому это сделать, как не человеку, испившему до дна чашу труда?»

И до сегодняшних дней перо Мартина Андерсена-Нексе верно служит народу.

9

Нексе с первых лет Октябрьской социалистической революции — верный друг Советского Союза.

Чувство любви Нексе к Стране Советов естественно вытекает из его творчества.

Мог ли писатель, отдавший свой талант изображению бедствий и горестей народных, остаться безразличным к первому в мире социалистическому государству?

В 1923 году Нексе решил поехать в Страну Советов. Нексе отговаривают. Нексе запугивают.

«Ведь это сущее безумие,— говорили ему,— такой неосторожный прыжок в неведомое».

Но Нексе смеялся над этими «людьми». Еще в 1921 году он передал авторский гонорар за сборник превосходных рассказов «Пассажиры свободных мест» — сборник, посвященный «борющемуся русскому народу»,— комитету по оказанию помощи голодающим в России.

И вот в 1923 году Нексе приезжает в Страну Советов.

«Я чувствую себя на неведомой почве, как существо, очутившееся в другом мире и принужденное начать жизнь заново»,— пишет он в своей страстной книге «Навстречу молодому дню».

Кажется, ничто не укрылось от взора Нексе. Он восхищенно пишет о возрождающейся стране, о детях, о титани-

ческой борьбе большевиков. Это книга не гостя, но хозяина, болеющего за порядок в своем доме.

Рядом с восторженными строками о новых городах, о советских людях Нексе говорит: «Я вижу, у Мурманской гавани сотни вагонов стоят на месте и превращены в жилище, в то время как транспорт переживает острый кризис».

Или: «Из волн залива высовываются грандиозные стальные рукава, баркасы и мониторы, полупогруженные в воду: англичане их затопили, когда второпях очистили Мурманск, машины следовало бы извлечь, прежде чем морская вода окончательно их не разъест...»

...И все последующие годы Нексе — верный, испытанный друг Страны Советов. Не раз поднимал он свой гневный голос в защиту социализма, не раз, подобно Горькому, вопрошал он: «С кем вы, мастера культуры?»

Он призывает к защите СССР в брошюре «Руки прочь», выпущенной в 1934 году, когда буржуазная пресса пыталась организовать поход против родины трудящихся. Он пропагандирует завоевания Советского Союза в книге «Два мира».

«В Советский Союз возвращаешься, как домой,— говорил Мартин Андерсен-Нексе в 1934 году на встрече с советскими писателями.— Недаром буржуазия старого мира называет нас, пролетариев, безродными. В ощутимой действительности у нас не было родины; наша родина была делом вымысла, утопией. Она существовала лишь в наших мечтах как желание и надежда наших измученных сердец.

Только в Советском Союзе пролетарии всего мира обрели родину, и такую родину, которая превосходит все мечты и надежды и даже самые несбыточные желания...

Посреди увядающего мира вы создали цветущий оазис, покрывающий шестую часть земли.

От имени всех пролетариев старого мира, также и тех, которые еще не проснулись и не знают своей судьбы, я благодарю вас за то, что вы указали нам путь, благодарю за веселую действительность, более веселую и прекрасную, чем все наши мечты, за чудеснейшую действительность всех времен: за Советский Союз».

Шестьдесят лет тому назад норвежский писатель Бьернсон, открывая памятник другому норвежскому писателю — Вергеланду, сказал:

«Вам, конечно, всем случалось слышать, что Генрик Вергеланд одно время своей жизни расхаживал с карманами, наполненными семенами различных деревьев, и разбрасывал пригоршнями эти семена во время своих прогулок, убеждая и товарищей своих делать то же самое, «потому что никто не знает, что может произрасти от них».

Мартин Андерсен-Нексе, сын народа, тоже сеятель, с той лишь разницей, что ему хорошо известно, что произрастет из посеянных им семян.

Он сеет семена правды народной, семена гнева к угнетателям, лжецам и лицемерам, семена любви к Советской стране.

И всходы будут такими же: правдивыми, несгибаемыми.

Нексе — семьдесят лет, но душою он молод. Люди его склада, люди, взращенные соками земли, овеянные соленым дыханием моря, люди великого, созидающего труда — такие люди не стареют.

И все верят, что и впредь будет звучать правдивый голос Нексе на горе врагам, на счастье народа!

«В старой Дании,— писал Нексе,— когда каменщики строили крепость, они клали рядом с собой меч, чтобы в случае нападений врага было чем ее защитить».

Меч Мартина Андерсена-Нексе остро отточен.

Пусть это запомнят враги!

1940

АНРИ БАРБЮС

Знаменитый французский писатель Анри Барбюс сочетал в себе талант писателя с темпераментом бойца. Он был революционером в литературе и жизни.

Барбюс родился 17 мая 1873 года в Аньере (департамент Сены). Он окончил в Париже лицей, учился в Сорбонне на филологическом факультете и двадцати одного года защитил там диссертацию по философии.

Еще в лицее, а потом в университете Барбюс отличался исключительной работоспособностью и усидчивостью. По окончании лекций можно было видеть, как этот высокий худощавый юноша направлялся в лицейскую библиотеку. Часами просиживал он за томами Аристотеля и Платона, Руссо и Вольтера, перечитывал Ронсара и стихи своего современника Катюля Мендеса.

Окончив университет в 1894 году, Барбюс возвращается в родной Аньер. Занимается журналистикой. Работает хроникером в аньерских газетах. Но с первого же дня приезда на родину Барбюса не покидает мысль о возвращении в Париж. Жизненный темп, пульс огромного города ощущается им даже на расстоянии.

Все последующие месяцы Анри живет надеждой вновь увидеть Париж. К двадцати двум годам скоплено немного денег. Стихи, которые он писал еще в студенческие годы, переплетены в объемистую тетрадку. Над заголовком «Плакальщицы» выведено посвящение парижскому «мэтру» поэтов — Катюлю Мендесу. Барбюс садится в поезд и через несколько часов выходит из вокзала Сен-Лазар.

Барбюс снова в Париже. Провинциального покроя костюм неловко сидит на его худощавой высокой фигуре.

Грохот экипажей, гудки автомобилей, трамвайные звонки, свет реклам — все это оглушает Барбюса. В тихом Аньере он уже успел отвыкнуть от столичного гула.

В шумной уличной толпе юноша чувствует себя одиноким. Упрямо идет вперед.

90-е годы прошлого века — Париж.

Журналы, редакции газет, литературные кабачки. Волны символизма захлестывают литературу. Вождь символистов, поэт Поль Верлен, выпускает свой знаменитый манифест в стихах. Этот манифест — теоретическое обоснование нового литературного направления — символизма. Верлен развенчивает поэтическое слово — образ. Вместо низвергнутого кумира на пьедестал возводится новый — музыкальность. Верлен требует музыки, музыкальности стиха прежде всего.

Правда, в нескольких часах езды от Парижа, в Медане, живет Золя,— упорный и методичный, не признающий новой литературной моды, упрямо идущий своим путем, целиком захваченный гигантской идеей, сначала «Ругон-Маккаров», а затем «Трех городов» и «Четырех евангелий»,— почти ежегодно бомбардирующий мир новым романом. Но в это время литературной модой Парижа был символизм. Поэты собираются на Монмартре в кабачках у Фредерика или «Гюбера Великодушного», и Барбюс — частый посетитель этих собраний.

Стихи 22-летнего Анри — «Плакальщицы» — посвящены Катюлю Мендесу. И — какая удача! — «король поэтов» в ответ на посланную ему тетрадку стихов приглашает к себе молодого Барбюса. Прием превосходит все ожидания. Юноше пророчат славу и великое будущее. Дочь Катюля, Гелион, будущая жена Барбюса — любит поэта.

Благодаря стараниям Мендеса «Плакальщицы» в 1895 году выходят в свет. Оскар Уайльд присылает Барбюсу томик своих стихов с благосклонным посвящением. О Барбюсе начинают говорить в литературных салонах.

Но странное дело — он не радуется. Любознательному, стремящемуся к знанию, к правде жизни, Барбюсу уже скучно: символистские неистовства успели ему смертельно надоесть. «Монмартр не для меня,— говорит Барбюс.— Здесь слово стало целью. Поэты душевно пусты, скучны, неинтересны. Кажется, что и живут-то они не для себя, а

для зрителей. Это актеры, постоянно чувствующие себя на сцене. И Барбюс принимает решение: надо проститься с литературными салонами и кабачками Монмартра. Последний раз заходит он дождливым ноябрьским вечером к «Гюберу Великодушному». Поздно ночью, окруженный поэтами, стоя на мраморном столике, он декламирует строфы из своих «Плакальщиц»:

Когда наступит час, поверьте мне,
Мои желания, мои идеалы, моя доброта
Заискрятся в беспощадной правде,
Чтобы умереть от радости.

...Тысяча девятьсот третий год.

Рабочее движение усердно подавляется буржуазией, но с трибуны еще продолжает греметь голос Жана Жореса. Тысячи людей слушают с напряженным вниманием этого плотного человека с красным лицом, в маленьком котелке, в пальто с поднятым воротником. Следят за его движениями, резкими и устремленными. Он бросает мысли пригоршнями, голос оратора доходит до последних рядов огромного зала.

Барбюс часто посещает собрания, на которых выступает Жорес. Поэту уже 30 лет. Символические «Плакальщицы» — позади. Но он еще не нашел своего пути.

И вот в тот период, когда поэт, измученный своими исканиями, не знающий, кого признать своим учителем, путешествует с анархистских собраний на социалистические, он перечитывает произведения Золя. Позже Барбюс вспоминал, что это были лучшие вечера в его жизни. И с этого времени начинается увлечение Барбюса Эмилем Золя, увлечение страстное, захватившее его целиком, увлечение, которое впоследствии никогда не покидало его.

— Как мог я не замечать Золя? — восторженно говорит он жене о своем новом учителе.— Вот где подлинная жизнь! Только здесь ощущается земля, течет живая кровь, герои живут настоящей жизнью.

Под влиянием книг Золя Барбюс немедленно принимается за новую книгу. Теперь он знает что и как сказать. Через несколько месяцев Барбюс сдает в печать роман «Ад».

Роман ли это? Нет, скорее — ряд новелл, объединенных переживаниями одного героя, который и находится в центре событий книги. В погоне за счастьем в Париж при-

езжает некий молодой человек. Он останавливается в «семейном отеле». И вот случайно сквозь маленькую щель комнаты — своеобразное окно в жизнь — ему удается наблюдать в соседнем номере людей, уверенных, что их никто не видит. Любовников, жену, обманывающую мужа, сменяют подростки, жаждущие познать запретное. Проходят интимнейшие сцены, отвратительные поступки людей свершаются с бесцеремонной откровенностью.

— У меня впечатление, что я здесь один,— говорит герой «Ада»,— один против всех; я как бы внутри этого дома и вместе с тем вне стен его.

— Так это истина! — восклицает он, и его взволнованный голос очень напоминает голос самого Барбюса.— Истина? Почему же она так неприглядна? И когда же наконец глубочайшая правда соединится с подлинной красотой?..

В этом романе Барбюс показывает «накипь» капиталистического общества, чтобы призвать к ее уничтожению.

Писатель публично бросает вызов символизму, объявляет, что отныне между ним, Барбюсом, и любителями словесных побрякушек нет ничего общего.

Барбюсу мстят. Его новую книгу замалчивают. Ни слова, ни полстрочки. Делают вид, что книги не существует. Золя, единственный, кажется, кто мог бы поддержать сейчас Барбюса, уже год как лежит в могиле. Одиноко прозвучал голос Анатоля Франса:

— Вот, наконец, книга настоящего человека! — и снова молчание.

Барбюс все чаще посещает социалистические митинги, ищет знакомства с Жоресом, впитывает идеи демократизма.

Приближались трагические дни осени 1914 года.

ВОЙНА

События развертывались молниеносно.

Телеграмма № 39 097, отправленная 5 августа 1914 года в 8 часов утра из Брюсселя, в 8 часов 50 минут была доставлена в Елисейский дворец. В телеграмме сообщалось, что началась атака Льежа.

Восемь часов спустя министерство иностранных дел Великобритании, а затем и правительство Франции объявили состояние войны с Германией.

Париж возбужден. По улицам несется людской поток. Толпа стремится вниз по бульвару Итальянцев.

В большом салоне Елисейского дворца президент французской республики принимает представителей различных газет. Их много — начиная от роялистов до социалистов включительно. «Я благодарю печать за поддержку, которую она нам оказывает в момент, когда решается судьба Франции» (*Пуанкарэ*. Воспоминания).

История повторяется! Как и в наши дни, военная подготовка в буржуазных странах началась с варварского удара по рабочим организациям, с разгула шовинизма и ложного патриотизма.

За день до объявления войны фанатик Виллэн убивает Жана Жореса.

Война началась. Казалось, мир сошел с ума: кроме немногих, все повторяли нелепую мысль, что победа над Германией раз навсегда положит конец войне. Печать неистовствует.

Барбюс в это время не покидает парижских улиц, слушает и наблюдает. Он решает идти на фронт.

Барбюс пошел на войну, потому что считал недостойным быть в безопасности, когда люди идут на смерть. Ему казалось, что все лучшее, что есть в народе, объединилось в желании уничтожить насилие. И Барбюс считал себя не вправе оставаться в стороне.

И вот ранним утром в военном комиссариате на улице Ляпаран появляется высокий худой человек. Он подходит к мобилизационному столу и длинными костлявыми пальцами протягивает свои документы, диктуя чиновнику, заполняющему анкету: «Барбюс, Анри... 41 год... доброволец».

Медицинская комиссия заключает, что «по состоянию своего здоровья Анри Барбюс не может быть зачислен в действующую армию». Барбюс отказывается принять это свидетельство. Весь последующий день он затрачивает на беготню по военным и медицинским учреждениям, но зато к вечеру справка высшей медицинской инстанции с лаконическим «годен» у него в руках.

14 августа 1914 года писатель Анри Барбюс получает назначение рядовым в 231-й полк действующей армии. Перед отъездом на фронт Барбюс, временно ослепленный шовинизмом, пишет редактору «Юманите»:

«Я иду добровольцем на войну, простым пехотинцем.

Я иду не потому, что отказался от идей, которые всегда защищал бескорыстно. Нет, я думаю послужить им, взявшись за оружие. Эта война — социальная. Она может быть решающим шагом по пути к осуществлению нашего общего дела. Она направлена против наших исконных врагов: милитаризма, империализма, сабли, рапиры и короны...

...Если я принес в жертву свою жизнь и с радостью иду на войну, то не столько в качестве француза, сколько в качестве человека».

Итак, писателя Анри Барбюса пока не существует. Есть Барбюс, рядовой пехотного полка, доброволец.

Сам Барбюс скорее рад, нежели опечален подобным обстоятельством. Не случайно пошел он на войну добровольно. Пусть другие отсиживаются в тылу, устраиваются в канцеляриях. В одном из писем к жене он сообщает: «Посылаю вам номер «Бюллетеня писателя». Вы увидите, как мало этих господчиков на линии огня. Это все-таки отвратительно». Это несовместимо с его, Барбюса, понятием о чести.

Вчитайтесь в лаконические фразы его записной книжки. Они поражают на первый взгляд своей сухостью и бесстрастием. Но из них встает перед вами Барбюс-солдат, самоотверженный, точный и правдивый.

Вот некоторые из этих пожелтелых страниц толстой, аккуратно переплетенной тетради:

«7 января 1915 года. Ужасные дни. Отправление из Плуази в 2 часа дня. Снабжение патронами. Постой на стеклянных заводах Воро. Атаки марокканцев и охотников. Голые коридоры. Сквозняк. Холод. Ужасная ночь в полях около траншеи. В 11 часов всходит луна. Грязь по колено. Спим немного, несмотря на холод, на куче земли».

«Суббота, 9 января. Есть почти нечего. Я съедаю остаток хлеба и шоколада. С удвоенной силой возобновляется бомбардировка. На расстоянии полуметра от меня Д. снесло полчерепа. Он еще хрипит, я же зарываюсь в землю в ожидании взрывов. Ж. с оторванной рукой кричит, чтобы ему перевязали руку. Ужасный огонь в течение всего дня. Пули, свист. К одиннадцати часам у нас требуют 24 человека, чтобы поднести колючую проволоку на линию огня. Я попадаю в это число».

«Понедельник, 11 января. Ночью нас приняли за немцев. Я поранил себе ногу о колючую проволоку. Невредимы. Мы кричим, и солдаты в траншеях, поняв свою ошибку, пропускают нас. Мы возвращаемся по истечении полутора часов. Все время снаряды и пули. Начинаем дремать. Внезапно новый приказ. Двадцать человек в наряд, чтобы нести в то же место мешки и колючую проволоку. Повторяется та же история. Едва мы выходим, как падает несколько снарядов. Среди развалин в этой темной ночи царит ужас».

«14 марта. Лейтенант Брен говорит мне, что я буду упомянут в приказе по армии или произведен в солдаты первого класса».

«17 апреля. Солдат 1-го класса».

Барбюс стоически переносит все тяготы войны. Его письма с фронта полны ужасающими подробностями военных будней и при этом проникнуты таким невозмутимым спокойствием духа, что на мгновение кажется, что писал их не очевидец, не рядовой участник событий, а посторонний наблюдатель.

Первые месяцы войны Барбюс переносит как будто молча, стиснув зубы. Ни одной жалобы на ужасы бойни и условия фронтовой жизни, ни одного стона не вырывается со страниц его писем и записных книжек. Наоборот, бодростью, даже, мы бы сказали, стилизованной солдатской удалью, проникнуты первые десятки страниц его фронтовых тетрадей, первые письма к друзьям, к жене.

Но проходят месяцы — и все меняется. Сначала — упреки Барбюса высшему командованию. Иронические замечания по поводу истинных целей войны вкраплены между строк его писем, перемешаны с панегириками храбрости и выносливости французов.

«Командование вернуло нам перчатки и кашне. «Запрещается испытывать холод» — приказал генерал. Ранее он уже приказывал: «воспрещается промокать во время дождя», а капюшон строго воспрещен в 231-м линейном полку, даже в случае проливного дождя. Мы имеем право надеть пелерину, но капюшон должен быть откинут назад, и ни в коем случае не разрешается надевать его на голову, особенно если идет дождь. Эти приказы подкреплены другим: борода должна быть острижена остроконеч-

но и никоим образом не иначе. Не для того ли это, чтобы она могла служить оружием? По-видимому, так».

Вскоре Барбюс становится более резким:

«Большинство солдат и офицеров недовольны. Вчера многим сделали прививку, и у них лихорадка и ноют плечи. Перспектива похода в этих условиях встречена без всякого энтузиазма. В действительности ждать кануна отправления на линию огня, чтобы делать противотифозную прививку, кажется мне наиболее тупым и... военным из всего того, что я видел с начала войны. А я, черт возьми, видел немало глупостей».

Письма Анри Барбюса — это вехи пробуждающейся мысли. Каждый день войны открывает Барбюсу нечто новое.

Например, в одном из своих первых писем Барбюс безоговорочно обвиняет в ужасах войны Германию. «Право, Германия словно обезумела. Почти вся Европа против нее»,— пишет Барбюс в августе 1914 года. Через полтора года он замечает по этому же поводу: «Но если при этом заявляют, что мы вели себя, как праведники, почитавшие и оберегавшие мир, и что никогда — боже упаси! — у нас не было мыслей о реванше, о военных триумфах и никогда мы не допускали по отношению к Германии ни единого враждебного или провокационного действия, то это значит «маленько заливать и загибать», как говорят солдаты».

Такая же переоценка ценностей производится Барбюсом и по отношению к союзникам.

«Единственный выход — надежный и роковой,— пишет Барбюс в феврале 1915 года,— это приток затребованных Китченером [1] трех миллионов англичан, которые в любом месте прорвут немецкий фронт, как только соберутся в достаточном количестве... Все зависит от новой английской армии».

Но Англия осталась верна себе. Войска не приходят. И 18 апреля 1915 года Барбюс пишет, что... «для меня кажется ясным, что англичане не в таком уж большом количестве идут добровольцами, как это предполагалось и как бы это следовало». А месяцем позже он печально констатирует: «Обещанной английской армии все еще нет... Вот история так история!»

---

[1] Английский главнокомандующий.

С самого начала, с первого дня войны Барбюс резко отделил себя от «начальства», от буржуазного мира, от офицеров.

«Я никогда ничего не буду просить и стараюсь не водиться с офицерами»,— пишет Барбюс жене. И поэтому письма и заметки Барбюса всегда переполнены сведениями о фронтовых буднях, солдатах-товарищах, об их горестях и надеждах.

Ночь...

Взвод 231-го стрелкового полка восемнадцатые сутки не выходит из траншеи под Артуа. На посту стоит высокий солдат. Длинные пальцы его сжимают ствол винтовки, большие черные усы видны из-под поднятого воротника шинели. Часовой смотрит на тела, лежащие на дне окопа. Люди спят тяжелым свинцовым сном.

Девять месяцев прошло с тех пор, как он покинул Париж. Девять месяцев! Они кажутся жуткой бесконечностью. Ему уже не верится, что где-то есть другие люди, дома и постели, не похожие на скользкое, глинистое дно окопов. Девять месяцев свиста пуль, мокроглинистых ям, девять месяцев без смысла... А тогда, в памятный день, когда увлекаемый людским потоком он бродил по городу, этот смысл был ему так ясен.

Мимо проходит какая-то воинская часть. Потом тихо. Затем опять шаги. Часовой сжимает винтовку. Вытягивается в положении «смирно». Подходит группа офицеров генерального штаба и несколько неизвестных штатских.

— Внимание, господа журналисты,— вполголоса говорит один из офицеров.— Здесь находится взвод двести тридцать первого пехотного полка. На посту — рядовой Барбюс. Это известный французский писатель.— В голосе офицера переливаются заученные интонации.— Один из славных сынов родины. Доброволец. Имеет два боевых отличия, из которых одно за спасение раненых под пулеметным огнем...

Журналисты пишут что-то в блокноты. Затем один из них громко обращается к часовому:

— Вы — писатель Анри Барбюс? Я знавал отца вашей супруги.

Часовой не меняет положения:

— Я рядовой Барбюс, и если вам не покажется невежливым мое замечание,— потише. Дайте товарищам спать. Они хотят воспользоваться перерывом.

1916 год. Барбюс болен воспалением легких. Госпиталь. Медленное выздоровление. Каждый час, каждую минуту отдает Барбюс приведению в порядок своих записок о войне. Они начаты с первого дня пребывания на фронте...

Дивизионный врач, вежливый, корректный, говорит:

— Простите меня, мосье Барбюс, я вас не понимаю. По документам вижу, что вы могли бы не идти па войну, вы пошли добровольцем,— сейчас вы расплачиваетесь за это... Простите меня, я не имею права так говорить с военнослужащим, но мы — двое интеллигентных людей, скажите, к чему вам все это? Сила примера? Но вы уже показали ее. Газеты полны сообщениями о вас... Мосье, послушайте меня, старого врача,— уезжайте-ка отсюда. Иначе я ни за что не могу поручиться.

Барбюс смотрит на врача. Похудевший, осунувшийся.

— Доктор, около двадцати лет своей сознательной жизни я прожил в Париже. Я был поэтом, писателем. Сейчас я солдат... неужели вам кажется, что Гонкуровская премия Французской академии дешевле этого креста: я легко получил его. Вынес под огнем двух раненых товарищей... Я шел не за крестами, доктор. Я шел сражаться за мир, за демократию, против империализма...

С недоумением слушает его дивизионный врач. Странные речи. Пошел убивать людей ради торжества демократии. Чудак! Или уж он, старый военный врач, разучился понимать людей.

К Барбюсу — официально:

— Как вам будет угодно. Но я выполню свой долг: дам заключение о немедленной демобилизации.

Барбюс отвечает с легкой иронией:

— А я не уеду. Ведь записки мои еще не закончены.

И он не уехал.

...Двенадцать месяцев пребывания па фронте — целый год!

Война! Как непохожа она на ту картину, которую он рисовал себе в Париже. Барбюс настойчиво вглядывается в побледневшие лица солдат и с каждым днем все сильнее убеждается, что солдаты — это те же крестьяне, рабочие,

мелкие буржуа. Это — люди, войной оторванные от родной почвы. Зачем же они сидят здесь и ждут сигнала, чтобы начать убивать?..

В глубокий окоп еле пробивается лунный свет. Однако достаточно светло, чтобы различить буквы. Лежа, положив бумагу на ранец, Барбюс лихорадочно пишет огрызком карандаша...

Луна скрылась. Барбюс переходит в полуразрушенный сарай, где расположились свободные от нарядов солдаты. Он достает огарок свечи, несколькими каплями стеарина закрепляет его на консервной банке и достает из ранца книги. Это Вергилий и Гете, его любимые книги. Раскрывает «Фауста». Читает. Затем прислушивается. Рядом тихо говорят. Он узнает сиплоfísатый голос Вотана. Он знает, что этот солдат подозревается в антиправительственной деятельности, что он или социалист, или кто-то еще левее. Жажда знать все заставляет Барбюса прислушаться.

— Там, в тех окопах, тоже люди... Ты думаешь, им хочется воевать?.. Не думай. Но тогда зачем же они здесь? Я-то отлично знаю, что не в них дело.

Барбюс слушает этот хриплый голос и внутренне соглашается с ним. Да, не в «них» дело. Но в ком же?

Напряженно работает мысль...

Утром, на перекличке, офицер, уткнувшись носом в бумагу, бормотал имена солдат, расстрелянных за отказ повиноваться. Барбюс слушал, и ему казалось, что флегматичному полковнику не было дела до тех, о ком он читает:

...Виллэн, Карпантье, Вотан...

В тишине раздавались имена людей, ставших уже мертвецами.

Чтение закончилось. Начальник пытается подбодрить людей.

— Друзья мои,— говорит он, не меняя интонации,— друзья мои, я уверен, что война скоро кончится... Мы победим. Для этого нужно только одно: молчать и действовать.

Солдаты расходятся по местам. Бредет к своему окопу Барбюс. Этого парня... звали Вотан. Сегодня его уже нет. Он не существует.

...Они идут. Проходят по равнине. Исчезают в траншеях. Ползут на животах по желобу. Вязкое дно. Двигаться трудно. Барбюс пытается не отставать от других, но

сердце его останавливается от ужаса и напряжения. Ему кажется, что могильная теснота этой ямы замкнется над ним.

К свету! Как соскучился он по солнцу, по чистому воздуху, не отравленному газами, испарениями и ядом лживых слов.

Беспредельны равнины. Широки поля, местами залитые водой.

Да когда же наконец кончится этот ужас? Для чего все это?

Барбюс ищет ответа в своем сознании и вместе с тем боится этого ответа, боится лишиться привычных понятий, осознать правду. Он ищет разницу между теми, кто убивает друг друга, и находит лишь сходство. Он видит: люди носят различные одежды, говорят на разных языках, но они похожи друг на друга так же, как будут похожи их раны, как похожи их трупы. Дело не в них. Не в людях, одетых в серые и красные куртки.

Когда Барбюс был санитаром, он услышал от летчика, пришедшего сделать перевязку, потрясающий рассказ. Он записал его. Вот этот рассказ перед ним, на листке бумаги, такой, каким вошел впоследствии в роман «Огонь».

«С высоты, с неба, мало что увидишь, как вам известно.

Среди квадратов полей и маленьких кучек деревень дороги кажутся белыми нитками.

Различаешь еще впадины, точно вычерченные булавкой на песке.

Эти углубления, покрывающие равнину,— окопы.

В воскресенье утром я летел над линией огня.

Между нашими и неприятельскими передовыми окопами, между двумя огромными армиями, стоящими друг против друга, расстояние невелико: иногда сорок метров, иногда шестьдесят.

И вот я разглядел у бошей и у нас, на параллельных линиях, которые как бы соприкасались, совершенно одинаковую суету и движение.

Затем все это замерло в неподвижности. Я опустился пониже, чтобы понять, в чем дело.

И понял: было воскресенье, и внизу с обеих сторон совершалось воскресное богослужение: алтарь, священник и стадо солдат!

Одна церемония была как бы отражением другой.

Мне казалось, что у меня двоится в глазах.

Я опустился ниже. И тогда я услышал...

До меня долетела как бы единая молитва, один общий гул возносился к небу, проходя мимо меня.

И в тот момент, когда вокруг меня начала разрываться шрапнель, я уловил два слившихся на разных языках крика: «С нами бог».

Когда летчик рассказывал эту историю, глаза его лихорадочно блестели; окончив ее, он воскликнул возбужденно:

— Как понять это, друзья мои?.. Две совершенно одинаковые толпы, кричащие совершенно одинаковые слова и, несмотря на это, враждебные друг другу».

...Барбюс спрашивает солдата, ползущего рядом:

— Друг, за что ты сражаешься?

Солдат поворачивает к нему свое заросшее щетиной волос лицо и хрипит:

— Чтобы спасти мою родину, дурак...

«Несчастный!..» — думает Барбюс.

А человек ползет рядом с Барбюсом и хрипит:

— Я сражаюсь за мою родину, глупый. Но это в последний раз. Больше меня никто не заставит. Дудки! Больше войны не будет.

Несчастный... После этой войны будет другая. Одни и те же причины будут вызывать одни и те же результаты. Так почему же, почему нет никого, кто осмелился бы встать во весь рост и крикнуть: «нет!»

И Барбюсу кажется, что его кто-то спрашивает спокойно и настойчиво: «А почему бы тебе не произнести это слово?»

...В кучке солдат идет разговор:

— Вот ты, Анри, пишешь свои записки, пишешь много, а что ты издашь потом? Ведь война — это, простите, неприличная штука. По душе ли придется она твоим читателям? На войне мы ругаемся, ловим вшей, не говоря уже обо всем остальном. Неужели ты обо всем этом напишешь?

Барбюс встал. Какая-то внутренняя дрожь потрясает его. Он поднимает вверх свои длинные худые руки с растопыренными пальцами.

— Всю правду, друзья мои! Вы слышите, всю, всю правду!

1916 год. Париж. Редакция газеты «Эвр».

В кабинет Густава Тери — редактора газеты — входит солдат.

Высокий. Выцветшая голубая шинель мешковато висит на нем. Бледное, изможденное лицо. Светлые мечтательные глаза.

Солдат подходит к столу редактора и кладет объемистую рукопись.

— Это книга о войне. Ее никто не хочет печатать. Меня назвали изменником и пораженцем. Но в ней рассказана правда, только правда. Прочтите.

— Хорошо,— сказал Густав Тери,— я прочту ее.

«ОГОНЬ»

Первое упоминание об этой книге мы читаем в письме Барбюса от 13 июня 1915 года.

«Густав Тери,— сообщает Барбюс жене,— просит меня прислать «зарисовки» (обещает оплатить) для своей газеты...»

И с этого дня Барбюс каждую свободную минуту уделяет своим запискам.

«Я собираю, накапливаю строчки в свою сокровищницу записей,— сообщает Барбюс жене,— чтобы потом литературно обработать их».

Барбюс хочет написать правдивую книгу о войне. «Моя книга... не будет «новинкой», вовсе нет. Я просто хочу написать историю одного взвода в различных стадиях и перипетиях войны».

Почти все факты, о которых мы читаем сейчас в замечательной книге Барбюса, взяты им из жизни. Например, знаменитая сцена, когда солдат-француз впервые называет имя Либкнехта, в жизни выглядела так. Однажды, когда Барбюс очутился на перевязочном пункте среди больных и раненых солдат, он услышал, как маленький солдат-француз, которому ампутировали ногу, повторял в бреду имя Либкнехта. Имя это случайно услышал проходивший интендантский офицер. И он тоже начал говорить о Либкнехте. Но слова его дышали звериной злобой, когда он упоминал имя Либкнехта или других спартаковцев.

— Полная ненависти речь «бульдога»,— рассказывал много позже Барбюс,— как прожекторами осветила все

положение. Виновники войны обеих враждующих стран договариваются друг с другом против тех, кто истекает кровью на войне. Наживающиеся на страданиях объединяются против тех, кто страдает. Мысленно я в эту минуту в первый раз протянул руку Либкнехту. Либкнехт... он был в глазах обманутых страдающих солдат точно гигантский факел, указывающий путь. Он хорошо указывал путь — и указывал верный путь. Мне он указал путь в красную Москву.

...2 августа 1916 года «Эвр» сообщает о начале печатания «Огня».

3 августа в газете появляется первый кусок романа, а 6-го в Париж летит возмущенное послание Барбюса:

«Я взбешен, «Эвр» — безобразничает. В конце второго фельетона выброшена фраза...»

Это — первое письмо целой серии последующих протестов против бесцеремонного либерала-редактора, по-своему расправившегося с романом.

Начинается нескончаемая переписка,— отчаянная драка Барбюса с Тери, всеми силами пытающегося «смягчить» роман, выбросить из него «вульгаризмы», а по существу лишить книгу боевой направленности.

С того дня, как начал печататься «Огонь», почти в каждом письме Барбюса к жене мы находим негодующие строки по адресу «Эвра». «Опять меня здорово искромсали в «Эвре»,— пишет Барбюс 7 сентября 1916 года.— Они выкинули слово «паршивец», смазали то место, где говорится о шикарных «свинских журналах с рисуночками». Наверняка они выбросят и фразу о Мильеране, а также некоторые реплики в конце «Великого гнева».

«Я решил не читать больше «Огня», пока его печатает «Эвр»,— пишет Барбюс 18 сентября 1918 года.— Эти постоянные махинации приводят меня в отчаяние».

Из переписки видно, что спор Барбюса с Тери не носил характера дискуссии о стиле. Поправки Тери касались не только языка книги: их цель была по возможности уничтожить революционный смысл романа. Недаром писал Барбюс, что «люди, враждебные моим взглядам, стараются их смягчить, затушевать, опошляют и лишают значимости всю книгу дурацкой заменой отдельных слов и фраз и произвольным выбрасыванием целых кусков».

Да это и понятно. Либерал-буржуа Тери не мог пропагандировать взгляды автора «Огня», потому что Барбюс

последних лет войны был уже не тем Барбюсом, каким мы его знали несколько лет тому назад. Из пацифиста он стал социалистом-интернационалистом, непримиримым врагом капитализма, человеком, понимающим истинные причины войны.

Читая письма Барбюса, мы видим, как постепенно понятие социализма входило в плоть и кровь рядового 231-го полка.

26 января 1916 года Барбюс, оценивая «Эвр», пишет: «Я согласен с критикой, которую изо дня в день ведет «Эвр», за исключением того, что эта газета пишет о социализме, в котором я с математической неизбежностью вижу единственную возможность предотвратить войны в будущем. Никаких других возможностей нет».

«Социализм,— пишет Барбюс в другом письме,— это единственная справедливая политическая доктрина, которая озарена не только светом человечности, но и светом разума».

Барбюс уже знает, в чем истинные причины войны и как их уничтожить.

«Огонь» сразу был замечен во всем мире.

Библиотеки всех стран осаждены требованиями на ранние книги Барбюса, до сих пор мирно лежавшие в недрах книгохранилищ.

О новой книге говорят с каждым днем все больше и больше, наконец наступает время, когда название ее можно услышать у каждого газетного киоска.

Банкиры и биржевые маклеры сделались критиками, соперничая в этом искусстве с профессионалами. Буржуазное общество превратилось в грозное судилище.

На скамье подсудимых — небольшая книга в желтоватой обложке.

«Некий» Барбюс свершил святотатство. Оскорбил священную войну. Общество возмущено — изображаемая Барбюсом война не похожа на святыню.

Разве раньше не было книг о войне? В них ни одна рана не кровоточила, ни одно страдание не кончалось агонией. Души умиравших отлетали на небо с заключительными строками национального гимна на устах. Страх был неведом солдатам. Было лишь приятное нервное возбуждение, как от коньяка после сытного обеда. Не слышно было запаха гнили. Трупов вообще не было, вернее, были только трупы врагов.

И вот появляется человек, который «обнажает» войну. И поля сражения заливаются кровью, воздух наполняется проклятиями, люди с развороченными внутренностями висят на колючей проволоке, окопы перестают казаться розовыми гостиными и становятся грязными, вонючими ямами, вошь заедает людей.

Вместо патриотизма — стремление бежать из этого ада, воткнуть штык в землю или пропороть им брюхо офицеру-начальнику.

Ужасная книга. Ужасный человек!

Но те, которым на своих плечах приходилось выносить все тяготы войны — рабочие, крестьяне и солдаты,— встретили книгу восторженно. Характерен следующий эпизод, рассказанный в воспоминаниях немецкого писателя (тогда матроса) Теодора Пливье:

«...Небольшой немецкий крейсер чуть покачивается на рейде.

Вечер. Сигнал: «Трубки и огни гасить».

Перед сном, сидя на койках, матросы обмениваются новостями. Новости скучны и похожи друг на друга: капустный паек, кутежи в офицерской кают-компании.

С тех пор, как стали известны события в России, говорят о русской революции.

— В России это могло случиться, у нас нет.— Матрос раздевается и лезет на свою койку. Бывший гамбургский котельщик подходит к нему.

— Тедхен, я принес одну любопытную штучку,— сказал он и протянул товарищу книгу. Бесчисленные отпечатки пальцев рассказывали о длинном пути, который проделала эта книга.

— Я начал читать,— рассказывает Пливье,— и всю ночь не мог оторваться.

Это был дневник роты, французской роты.

С той стороны доносился к нам голос.

Мучившие и нас вопросы звучали со страниц книги. Но автор уже знал ответ.

Враг французского солдата, поднимавшийся со страниц книги, был не немецкий солдат...

Я продолжал читать и только на несколько минут спрятал томик под подушку, когда проходил по нашей палубе вахтенный боцман, сменявший караул. Я читал, и от красного света ночной лампы буквы плыли перед глазами.

Но и тогда я не бросил книги, потому что как раз до-

шел до места, где французский пехотинец выскакивает из окопа и через все преграды протягивает руку с криком:

— Либкнехт!..

Чтение продолжалось две ночи.

Днем я отдавал книгу одному из товарищей, и следующим, к кому она попала, был фельдфебель отделения.

Он застал за чтением книги матроса, спрятавшегося с ней в рабочее время в закоулок.

После того как книга обошла всю унтер-офицерскую кают-компанию, он принес ее нам обратно.

— Вот ваша игрушка, но смотрите, чтобы у вас ее не зацапали.

...Настоящее вставало перед нами в другом свете».

В чем сила «Огня», превратившего в пепел все старые, годами воспитываемые буржуазной прессой представления о войне?

В правде, и только в правде.

В 1936 году,— через двадцать лет после появления «Огня»,— А. М. Горький писал в предисловии к советскому изданию книги:

«Каждая страница книги — удар железного молота правды по всей той массе лжи, лицемерия, жестокости, грязи и крови, которые в общем зовутся войной».

Книга Барбюса правдива. Факты, только факты излагаются в ней. Она лишена сюжета, в ней нет интриги, в обычном смысле этого слова, там собраны только факты, и они говорят сами за себя.

Книга Барбюса мрачна. Кажется, никогда не всходит солнце над полями сражений, ни на одну страницу книги не падает и слабый отблеск его лучей. Создается впечатление, что действие происходит в каком-то страшном подземелье, в гнилом, душном склепе среди заживо погребенных людей.

Эти люди живут, говорят, действуют в каком-то ужасном сне. Они низведены до уровня животных: отвратительная похлебка, холодный кофе и кружка кислого вина — вот и все их земные радости.

Буржуазная пресса изображала окопы чем-то вроде великосветских салонов, а солдат — этих храбрых «пуалю» — как героев-идеалистов.

Барбюс с первых страниц своей книги ведет полемику с этой литературой: он пишет о вшах, вони, грязи, оди-

чании, мраке, тупости, бессмысленной жестокости совершающегося, он пишет об отсутствии цели и идеалов.

Книга Барбюса произвела огромное впечатление во всем мире. В одной из тридцати тетрадей, копии с которых хранятся сейчас в некоторых публичных библиотеках Европы и Америки (а также и в московской Ленинской библиотеке), под датой «28 февраля — 1 марта 1916 года» Ромен Роллан записал:

«Прочел «Огонь» А. Барбюса. Глубоко поражен, что такое смелое произведение могло появиться в Париже без каких бы то ни было сокращений... Это — важнейший документ о французском солдате в условиях окопной войны, и этот *пролетариат в армии* с полной очевидностью предвещает социальную революцию, единение истребляемых народов.

Охваченный восторгом, я написал за несколько часов статью, которую послал Зейпелю для «Журналь де Женев», но сомневаюсь, чтобы этот орган крупной буржуазии поместил приводимые мною грозные цитаты».

Роллан оказался прав. Буржуазная газета испугалась революционных выводов «Огня», но зато несколько позже, после того как вышла вторая книга Барбюса «Ясность»,— книга о мелком буржуа, которого война втянула в свой чудовищный кругооборот,— в журнале «Коммунистический Интернационал» появилась статья, написанная великим Лениным.

В ней говорилось:

«Одним из особенно наглядных подтверждений повсюду наблюдаемого массового явления роста революционного сознания в массах можно признать романы Анри Барбюса: «Le feu» («В огне») и «Clarté» («Ясность»). Первый переведен уже на все языки и распространен во Франции в числе 230 000 экземпляров. Превращение совершенно невежественного, целиком подавленного идеями и предрассудками обывателя и массовика в революционера именно под влиянием войны показано необычайно сильно, талантливо, правдиво».

«НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ»

1917 год. Барбюс еще на фронте. Он в госпитале: тяжело болен. Воевать больше не придется.

По странной случайности его лечит опять тот же диви-

зионный врач, с которым Барбюс встречался во время своего первого пребывания в госпитале.

Врач уже читал книгу Барбюса. Спрашивает со снисходительным любопытством старого службиста:

— Я не хочу быть нескромным, мосье Барбюс, но скажите, как вы дошли до всего этого? Как вы смогли увидеть все то, о чем написали?

— Имеющий глаза да видит,— улыбается Барбюс, перефразируя Евангелие, и добавляет серьезно: — Я видел солдат, одетых в различные военные формы, охотившихся друг за другом. И я понял, что военные формы не отличаются друг от друга, когда покрыты грязью и кровью.

— Я понимаю вас,— прерывает врач,— от того, что вы сказали, еще далеко до тех выводов, которые сами напрашиваются из вашей книги.

— Подождите,— продолжает Барбюс,— естественно, что мне пришлось искать глубокую причину, заставляющую одинаковых людей убивать друг друга. И вот оказалось, что причиной этой является не различие военной формы, а интересы кого-то, интересы, чуждые народу. И когда я это выяснил, для меня все стало ясным.

Барбюс улыбается.

— Теперь, доктор, мои записки окончены, и я могу уехать...

21 мая 1917 года Барбюс пишет последнее письмо жене с фронта. В нем говорит о желании посвятить свою жизнь борьбе против порядка, «из которого неизбежно происходят катастрофы, подобные совершившейся».

«Жизнь воскресить нельзя,— пишет Барбюс,— но можно избежать смерти». Это было последнее письмо к жене с фронта. Через месяц — Барбюс у себя дома, на тихой парижской улице Ляпаран.

1918 год. Мир заключен. На снежных вершинах Карпат, на полях Марны, под стенами Вердена расстреляны вера и идеалы буржуазной демократии.

...В Париже, на улице Ляпаран, живет Анри Барбюс — бывший солдат-доброволец.

Он недавно приехал с фронта и всего несколько дней как отдыхает. О своем приезде он сообщил только самым близким друзьям. Барбюс еще не снял военной формы. Они

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, с. 106.

приходят в течение всех этих дней и видят его, постаревшего, замечают новые глубокие морщины на высоком лбу.

Барбюс нашел свой путь. Он доволен. Он знает теперь, кто его враги, знает, с кем нужно бороться. Он будет служить человечеству—в этом его призвание. Он должен будить народ. Многим людям война помогла обрести себя. Тысячи из них жаждут деятельности, ждут сигнала. Он, Барбюс, подаст этот сигнал.

— Надо действовать, надо действовать! — часто повторяет Барбюс. Он знакомится с руководителями Французской коммунистической партии. Под их непосредственным влиянием у Барбюса рождается мысль о создании организации людей, лично перенесших ужасы войны.

«Мы создадим республиканскую организацию бывших фронтовиков. Ее целью будет объявление войны — войне. Мы избавим будущее поколение от ужасов и катастроф»,— говорит Барбюс.

Огромный успех романа «Огонь» дал Барбюсу значительные средства, и он широко пользуется ими для создания новой организации. Вообще деньги как таковые никогда не представляли ценности для Барбюса. Он всегда отдавал их до последнего франка на дело, которое считал правым и нужным.

В это время внезапно обнаруживается, что болезнь легких, полученная им на войне, прогрессирует.

Врачи предписывают Барбюсу строжайший режим — покой и усиленное питание.

Барбюс смеется над врачами. Бледный, еще не вполне оправившийся от болезни, приезжает он 7 октября 1918 года в Лион на первое заседание Национального конгресса республиканской ассоциации бывших участников войны.

Друзья пытаются отговорить его, по крайней мере, от выступления на конгрессе, уберечь от лишних волнений. Но разве можно справиться с Барбюсом?! Он будет выступать на конгрессе, чего бы это ему ни стоило.

...Конгресс бывших участников окончен — Барбюс не успокаивается. Через несколько дней он выступает на собрании фронтовиков в Италии с докладом о задачах новой организации.

«...Думали ли вы, когда отправлялись на войну, о жестокой радости тех, кто оставался?

Вы говорили себе: наша цель — освобождение человека. Мы страдаем для того, чтобы наши дети не страдали.

Если мы не объединимся для борьбы с капитализмом,— нас ждут новые войны. Если мы хотим избегнуть бойни,— мы должны показать пример».

Барбюс — неутомим. Он почти не бывает дома. Для работы он приобрел небольшой домик в Мюрамаре, близ Лазурного берега. Часами работает там со своим секретарем — Аннетой Видаль,— диктует ей воззвания и прокламации.

В это время, в конце 1918 года, у Барбюса рождается мысль о создании литературной группы на платформе новых, ставших ему близкими идей; все лучшее среди интеллигенции должно объединиться.

Барбюс много раз возвращается к этой мысли. Наконец он сообщает о своих планах Аннете Видаль. Они обсуждают этот вопрос в маленьком домике, в Мюрамаре, в промежутках между работой и охотой за морскими ежами — любимым развлечением Барбюса.

С заданиями Барбюса Аннета мчится в Париж. За эти дни с ней познакомилось большинство писателей Парижа. Вслед за ней приезжает в Париж Барбюс, а через несколько дней на улице Ляпаран происходит совещание.

Предложение Барбюса о создании революционной группы передовой интеллигенции находит горячий отклик.

В начале 1919 года решено издавать журнал и назвать его, как и группу,— «Клярте́» («Свет»).

Через несколько дней появляется манифест группы. Он выходит под заголовком «Свет из бездны», это целая брошюра — сто страниц убористого текста.

Со страстью обрушивается манифест на социальные устои буржуазного общества: «Мы больше не хотим различать людей по их национальности. Всюду, во всех странах света имеются два рода чужестранцев и два сорта врагов — эксплуататоры и эксплуатируемые. Мы все, питающие жалость к роду человеческому и веру в разум, мы победим. Будем же вместе бороться за возмездие, не за тот или другой капиталистический блок, но за всех бедняков. Наш идеал, идеал угнетенных — пока еще мечта.

Но если мы все вместе захотим, то придет день, когда свет сойдет с облаков и через нас осветит всю землю...»

Этот последний абзац объясняет и название группы — «Клярте» («Свет»).

В манифесте «Клярте» есть слова, которые особо знаменательно звучат в наши дни.

«Во время войны союзники не огласили целей войны,—

говорится в главе «План варваров осуществляется».— Никогда не забудем этого обвинения. Оно просто, ясно, неопровержимо и неизгладимо... Преступление Версальского договора, который лишний раз защищает национальное разбойничество и содержит в себе столько же зародышей будущих войн, сколько вопросов он якобы «уладил»,— является предумышленным».

Пророческие слова манифеста сбылись на наших глазах. Гнилой Версальский мир, наскоро сцементированный, рассыпался, как карточный домик. Вновь гремят пушки на полях Европы. Но изменились ли обстоятельства преступления? Известны ли, наконец, цели нынешней войны, уже много месяцев истребляющей народы? Объявила ли их Франция или Англия?

Англия?.. «Британская империя, роль которой во время войны была более гнусной, чем мы себе представляем, британская империя, которая захотела заставить поверить, что она приняла участие в войне, только чтобы защитить права Бельгии, британская империя, которая устами Бонар Лоу провозглашала: «Мы воюем за человечество против варваров... Мы и на мизинец не увеличим нашу территорию...» — эта Англия захватила 3 миллиона квадратных километров и даже еще более, владычество на море и верховную власть на трех четвертях земного шара. Из этой войны, в которой так нуждалось ее ненасытное расчетливое честолюбие, Англия сделала вопрос своего окончательного первенства. С помощью беспримерно жестоких репрессий,— продолжает свою обвинительную речь автор манифеста Барбюс,— Англия старалась удушить освободительное движение Ирландии, Индии, Египта...»

Кто же поверит сегодня этой Англии? Кто поверит чистоте ее намерений? Кого введет сегодня в заблуждение эта полинялая маска целомудрия?

«Политической программой,— объявляла группа «Клярте»,— наиболее приближающейся к социальному идеалу, является доктрина III Интернационала».

Но «Клярте» была далеко не однородной по составу. В нее входили такие различные писатели, как Жув и Ами, Маг и Поль Фор, Сальмон и Рони, Маргерит и Брейль.

В группе уживались прямо противоположные тенденции. Коммунисты были непреклонны в своем стремлении перевести журнал на боевые позиции. Им сопротивлялись поборники «демократических» тенденций и мелкобуржуаз-

ные пацифисты, предлагающие устроить чуть ли не банкет в честь американского «миротворца» Вудро Вильсона.

Барбюс привлекает к участию в журнале революционных графиков — Франца Мазерееля, Георга Гросса, и художников индустриальных мотивов — Цильдера, Мюрви, Меллу Мутер.

Октябрьская революция в России восхищает Барбюса. На заседании редакции он, буквально с пеной у рта, доказывает необходимость самого решительного осуждения интервенции в Россию.

После этой большевистской речи правые окончательно отходят от журнала.

15 ноября 1922 года Владимир Ильич Ленин пишет группе «Клярте»:

«Дорогие друзья!

Пользуюсь случаем, чтобы послать вам наилучший привет. Я был тяжело болен и более года не мог видеть ни одного произведения вашей группы. Надеюсь, что ваша организация «des anciens combattants»[1] сохранилась и растет и крепнет не только численно, но и духовно в смысле углубления и расширения борьбы против империалистической войны. Борьбе против такой войны стоит посвятить свою жизнь, в этой борьбе надо быть беспощадным, все софизмы в ее защиту надо преследовать до самых последних уголков.

Лучшие приветы.

Ваш *Ленин*»[2].

Письмо воодушевляет Барбюса.

Но группа «Клярте» заметно редеет. Ее лебединой песней был антивоенный номер, выпущенный в 1925 году, в котором под декларацией Барбюса «Осуждаете ли вы войну или нет?» подписалось более ста писателей.

Манифест этот был напечатан на обратной стороне оттиска картины Стейнлейна «Цивилизация»: по пустыне, залитой кровью, по трупам негров движутся дикие банды империализма.

Большинство членов Французской академии и университета подняли дикий вой по поводу этого манифеста.

Они издали контрманифест: «Интеллигенция на стороне родины».

[1] бывших участников войны.
[2] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 299.

В это время руководство ассоциации бывших фронтовиков постигает несчастье. Трагически гибнет Раймонд Лефевр, возвращаясь из Москвы с III конгресса Коминтерна. Умирает от туберкулеза Жорж Брюйер.

Немецкая революция задушена. Буржуазия торжествует. В Западной и Центральной Европе многие «мастера культуры», забыв свой недавний революционный энтузиазм, становятся покорными прислужниками буржуазии.

Многие приверженцы «Клярте» оказались реакционными и буржуазными карьеристами. Некоторые объявляют себя пацифистами, врагами диктатуры пролетариата.

Барбюс с горечью смотрит на развалины «Клярте». Жадно вглядывается он в политический горизонт. Живет мыслями о России.

В это время правительство Пуанкарэ наносит тяжелый удар коммунистической партии, арестовав ее политбюро «по обвинению в государственной измене».

И подобно тому как война была огромным событием, потрясшим все существо Барбюса, заставившим его действовать, так и в этот тяжелый момент Барбюс решает быть последовательным до конца.

И в 1923 году это сознание приводит его в ряды коммунистов.

Барбюс появляется в маленьком кабинете секретаря ЦК Французской компартии и с порога, протягивая к нему свои длинные руки, говорит:

— Дорогой друг, я с вами...

Через несколько дней Барбюс пишет в «Юманите»:

«Присоединимся безоговорочно к этой партии, к этой централизованной организации, которая по своей сплоченности и размеренной последовательности своих усилий является уже прообразом будущего человечества и которая имеет свои разветвления повсюду, а великое сердце этого организма бьется в великой стране, такой жизненной и такой новой».

«НА РОДИНУ!»

Барбюса не оставляет мысль о поездке в СССР. Он называл Страну Советов своей родиной. В 1927 году Барбюс решил осуществить свою мечту. Но формальности с выдачей паспорта, обычно не столь сложные, на этот раз заняли массу времени.

Создавалось впечатление, что кто-то невидимый, но влиятельный, поставил своей целью помешать Барбюсу осуществить эту поездку.

В министерстве иностранных дел придирались ко всякому пустячному поводу. Требовали бесконечное количество справок и объяснений. Со дня на день откладывали выдачу визы. Но потом, видя настойчивость Барбюса, разрешили выехать.

— Я надеюсь на ваше национальное чувство, мосье Барбюс,— говорил ему на прощание министерский чиновник,— я надеюсь, что чувство патриотизма не позволит вам сделать ничего такого, что могло бы уронить престиж Франции...

И вот Барбюс укладывает чемоданы. За несколько часов до отъезда он посещает заключенного в тюрьму Кутюрье и радостно сообщает ему:

— Я еду на родину, Поль, я еду на нашу родину...

В зале Виндавского вокзала в Москве идет митинг.

На трибуне стоит высокий худой человек, и громкоговоритель разносит его речь по всему городу.

«Я приношу сюда свою веру в окончательное торжество пролетариата во всем мире.

...Я приношу вам привет от французского пролетариата и тех, кто томится в капиталистических тюрьмах.

...Может быть я, как интеллигент, не имею права говорить от имени рабочих, но интеллигентность и заключается в полном единении и слиянии с рабочими массами, и поэтому я считаю себя вправе говорить от их имени.

...Я приехал сюда учиться, а не поучать.

...Привет свободному русскому народу и освободителю!»

Вечером, принимая представителей печати, в дружеской беседе Барбюс рассказывал о своих планах:

— Я хочу разоблачить басни о так называемом «большевистском варварстве» — это моя первая задача. Моя вторая задача — правильно осветить положение в Грузии.

— Чего только не пишут о Советской Грузии буржуазные газеты,— иронически улыбается Барбюс.— Я хочу поехать на юг, побывать на Кавказе, посмотреть нашу Советскую Грузию и потом написать книгу.

Барбюс не хочет много говорить. Пусть говорят другие. Он будет слушать и спрашивать, спрашивать без конца.

Беседа длится далеко за полночь...

Через три дня Барбюс выехал в Одессу. В дороге простудился. Доктор сказал: «Легкое еще пошаливает. Никаких публичных выступлений».

В Одессу Барбюс приехал в девять часов утра. В полдень он выступал. Через два дня выехал на Кавказ.

Его путешествие превратилось в научную экспедицию исследователя. Он требовал цифр, сводок, точных данных, подлинных материалов. Собирал и систематизировал все, характеризующее владычество царизма на Кавказе.

Каждая цифра, каждый новый факт наполняли его душу возмущением.

Перед ним вырисовывалась картина полного пренебрежения царизма к культурным интересам населения, картина систематической и грубой русификации пролетариата и крестьянства.

Шаг за шагом восстанавливает он картину истории Грузии. Ему недостаточно книг, его не удовлетворяют голые цифры.

Побывал в деревне. Беседовал с теми, кто на своих плечах вынес тяжесть царизма. В беседах проходили долгие вечера.

Барбюс исследует каждый уголок современной Советской Грузии. Знакомится с сельским хозяйством, с хлопководством и разведением риса. Побывал на нефтяных промыслах в Баку.

Пишет в Москву:

«Пример Закавказья, восстановленного и превращенного из бывших развалин в течение шести лет в страну, пользующуюся благосостоянием,— является символом того, что произошло во всем СССР за эти десять лет».

Через пять минут отходит поезд. На ступеньках вагона стоит Барбюс, окруженный друзьями. Каждый хочет сказать ему что-нибудь на прощанье.

Второй звонок.

Барбюс бросает провожающим последние слова:

— Братский привет трудящимся Грузии. Я напишу о них книгу. Я назову ее «Вот что сделали с Грузией».

«ПРАВДИВЫЕ ПОВЕСТИ»

В посвящении к «Правдивым повестям» (1928) Барбюс указывает, что приводит лишь случаи из жизни.

Он ничего не выдумал в этих рассказах. «Я заимство-

вал их содержание и даже форму из того, что мне удалось узнать из достоверных источников».

Он хочет, чтобы эти наблюдения, взятые наудачу из различных областей ужасной современной цивилизации, «открыли перед глазами общественного мнения, убаюканного всякими ханжескими легендами, новую перспективу на истинный облик нашего двадцатого века в Европе, который можно назвать и золотым веком, и веком стали, и веком джаз-банда, но правильнее всего будет назвать веком крови».

Кровь!.. Ее действительно много на страницах этих рассказов. Вот первый из них — «Жак, который плачет, и Жак, который смеется».

Присяжного шутника и остряка — Мартэна и угрюмого Жоэля призвали на войну. После ранения и последующей трепанации черепа в памяти Мартэна образовались странные провалы. Он по-прежнему шутил и смеялся, но иногда приплетал к своим каламбурам внезапно всплывшие из сознания изречения из катехизиса и истории Франции. Солдаты, когда он вновь вернулся в их ряды из лазарета, говорили: «Он рехнулся».

Но иного мнения было начальство, пославшее Мартэна в атаку.

«И когда выступил весь батальон, и бедный наш паяц с продырявленным черепом вдруг увидел вздымающиеся со всех сторон стены огня и услышал ужасающий металлический свист, от которого некуда было скрыться, рассудок его окончательно помутился. Вне себя от страха он спрятался в воронку, вырытую снарядом, откуда не так явственно слышно и видно все, что происходит вокруг...»

Трибунал судит сумасшедшего Мартэна. В глазах судей он всего лишь симулянт, спрятавшийся от опасности. Расстрел.

Рассказ этот открывает серию рассказов Барбюса о войне.

Бывший солдат, Барбюс пишет о бессмыслице бойни, об озверении людей, о преступлениях офицерства, о безумной жестокости генералов.

Вот фельдфебель, зарезавший солдата только за то, что тот пел слишком громко. Вот садист-генерал, из-за прихоти расстреливающий группу ни в чем не повинных солдат. («Убийца? Нет, не один, а тысячи!» — называется этот рассказ.)

Это — одна группа рассказов. Вторая — посвящена жертвам белого террора.

«Какая пытка ужаснее всех?» — спрашивает Барбюс в одноименной новелле. Клетка — нечто вроде ящика длинных стенных часов, куда тебя втискивают? Или герла — дыра, высеченная в камне, в которой человека приковывают цепями, сплющивая до тех пор, пока он не заткнет собою, как пробкой, всего отверстия? Или, может быть, тюрьма Галата, вся пропитанная испариной и гноем, тюрьма, зараженная сынняком, таящимся под корой пола, под обивкой стен, под густым слоем грязи?

Волей, несокрушимой волей к борьбе дышит каждая страница правдивой книги Барбюса.

Коммуниста и его возлюбленную сажают в тюрьму.

«Эй, вы, там,— сказал им тюремщик,— вы любите друг друга? Ну так вот, мы вас...

— Разлучим?

— Наоборот. Мы свяжем вас вместе».

И людей веревками привязывают друг к другу.

Сначала все им казалось прекрасным: и эти расширенные зрачки, «такие большие, как будто смотришь на них сквозь луну», и длинные трепещущие ресницы...

Но... «пойми, два тела, вцепившиеся друг в друга... В первое время двойное чудовище, в которое мы обратились, не знало сна. Сон бежал от наших выпяченных на осунувшихся лицах глаз...»

И вот два человека, прикованные друг к другу, когда-то любившие друг друга, становятся сдержанными и скрытными. Потом они начали стонать. Потом стоны сменились криками, воплями отчаяния.

Целые месяцы длилась пытка. Но вот они на свободе — и теперь избегают друг друга, страшась призраков минувшего».

«Товарищ! — заканчивает свой страшный рассказ коммунист.— Каждое живое человеческое существо, знает ли оно об этом или нет, несет в сердце своем свернутое красное знамя. И я, такой, какой я есть, я готов положить все свои силы и вдохновение на то, чтобы эти знамена развернулись и морем заколыхались на земле.

Видишь ли, в тюрьмах дряхлеет тело, но зато молодеет революционный дух. Говорю тебе — ненависть, которую я питал к бандитам, господствующим над современным обществом во всех странах, за исключением одной,— эта не-

нависть одухотворена теперь великим дыханием радости. Да здравствует революция! Ура!» Но апофеозом воли и веры в победу коммунизма является самый замечательный из рассказов Барбюса — «Неукротимый».

Коммунист-адвокат брошен в белый застенок. Цепями его приковали к каменной скамье. Дни, месяцы, годы лежит он на холодном камне, в молчании.

Наконец одной самоотверженной девушке-коммунистке, путем неимоверных усилий и ухищрений, удается на несколько минут проникнуть в застенок. Она увидела прикованного к камню, изможденного, похожего на скелет человека. Заключенный поднял голову, в следующую минуту он спросил посетительницу:

— В России большевики по-прежнему у власти?

— Да, конечно,— ответила девушка.

— Благодарю,— сказал заключенный. И еще через минуту свидание было окончено.

«Упорнее всех живет и крепнет вера в единственный на свете свободный народ и в заразительную роковую силу поданного им примера. И вера эта страшнее всех взрывчатых веществ»,— заканчивает Барбюс свой потрясающий рассказ.

УЭЛЛС

Три дня, как Барбюс в Лондоне.

Поездка эта (1930 г.) предпринята специально с целью установить личный контакт с деятелями английского рабочего движения. Но все попытки оказались тщетными. Лейбористские «вожди» всячески давали понять Барбюсу, что его деятельность не совпадает с их точкой зрения, что надо «выжидать»... «наблюдать».

Однажды вечером в номер, где остановился Барбюс, приносят письмо.

Барбюс берет конверт из плотной желтоватой бумаги. Письмо от Герберта Уэллса.

Уэллс пишет, что совершенно случайно узнал о пребывании Барбюса в Лондоне и очень опечален тем, что сегодня ночью должен уехать. Был бы чрезвычайно рад, если бы смог провести сегодняшний вечер с Барбюсом.

Они сидят на диване за маленьким столиком в уютной гостиной.

Барбюс курит одну сигарету за другой и слушает Уэллса.

Уэллс — здоровый, краснощекий. Говорит громко, усиленно жестикулируя. Его грохочущий смех тонет в коврах и портьерах. Барбюс сосредоточен. Иронически печален.

Пепел сигареты падает на пиджак. Барбюс не замечает. Потом, случайно увидев, смущается, поспешно обеими руками стряхивает пепел. Растерянно ищет пепельницу.

Барбюс недостаточно свободно владеет английским языком и потому избегает говорить на нем.

Уэллс говорит очень быстро на какой-то ужасной смеси французского с английским и сам иронизирует по этому поводу.

Это их первая встреча.

Присматриваются друг к другу.

Уэллс рассказывает об истории пейзажа, висящего на стене, над ними. Он вставил его в оригинальную рамку и тем самым разделил на три самостоятельные части.

Барбюс говорит вполголоса.

Разговаривают на нейтральные темы.

Неизвестно, кто первый произнес слово «Россия».

Голос Барбюса становится резким. Его высказывания о России полны страстности. Уэллс сдержан.

Несколько минут разговор вращается вокруг международного значения Октябрьской революции.

— Сегодняшняя Россия — это последняя надежда Европы,— говорит горячо Барбюс,— это залог обновления Европы.

— Вы преувеличиваете, мой друг, явно преувеличиваете,— прерывает его своим хрипловатым голосом Уэллс.

— Россия — это только эксперимент, очень интересный и... даже удачный, но это только опыт. Европейские нации не обновятся русскими методами.

— Вы боитесь социализма,— возражает Барбюс,— вы его определенно боитесь. Вы отвергаете только «методы», а на самом деле боитесь их результатов.

— Ну, это позвольте! — поднимается с места Уэллс. Ходит по комнате. Он — широкоплечий, стареющий, но не поддающийся годам спортсмен.— Ну, это позвольте, вы, коммунисты,— известные сектанты. Кто не с вами, тот против вас. У нас могут быть разные пути, но одни идеалы. Нетерпимость не идет к нашему веку...

Лакей сообщает: чай подан.

Уэллс широким жестом приглашает Барбюса перейти в другую комнату...

Барбюс закуривает новую сигарету. Уэллс играет с комнатной собачкой, маленькой, похожей на клубок шерсти.

Опять начинает говорить о незначительных вещах.

Потом, как будто что-то вспомнив, выбегает в соседнюю комнату и возвращается с бумагой в руках.

— Вот вам конкретный случай помочь нам,— обращается он к Барбюсу,— это протест против ареста человека, отказавшегося по убеждению от военной службы.

Барбюс внимательно прочитывает бумагу.

Потом, качая головой, возвращает ее Уэллсу.

— Нет... Это не то. Нельзя направлять народ по этому пути. Война будет побеждена интернациональной организацией рабочих. Не в единичных протестах дело! Простите меня — я не могу подписать бумагу.

Уэллс явно недоволен. Щеки его краснеют.

Нетерпеливым, почти грубым жестом отгоняет он собаку и, бросив бумагу на стол, говорит:

— Прекрасно, не смею настаивать, конечно. Но вы не будете возражать, что именно благодаря агитации против военной службы двести тысяч англичан во время мировой войны отказались взять винтовку в руки.

Барбюс смотрит на него пристально и тихо замечает:

— И что же, война не состоялась? Или, может быть, они помешали Англии вступить в нее? Или Англия перестала из-за этого быть злым гением всех европейских и колониальных войн?

Уэллс явно не ожидал такого ответа. Он смущен и старается перевести разговор на более нейтральную тему. Это ему не удается, и после двух-трех фраз разговор снова устремляется в прежнее русло.

— Это мы, мы виноваты,— кричит Уэллс,— мы, «интеллектуальные»! После войны человечество ждало откровения, оно с радостью приняло любой план социального переустройства. Человечество, подобно взрыхленной почве, ждет своего сеятеля.

Во время этой тирады лицо Барбюса меняется. Взгляд уходит куда-то вглубь, на лбу появляются морщины.

— Мы, мы молчали тогда,— продолжает Уэллс,— желания масс безотчетны, им надо дать моральные формулы, масса бессознательна, ей необходима конечная цель.

— Простите,— прерывает его Барбюс,— простите, я рискую быть невежливым, вы извините меня, но это политика неумных людей. Покажите мне то буржуазное правительство, которое позволило бы народу добровольно следовать по вашему пути. Известно ли вам, что французское правительство, допустив «ошибку» разрешением напечатать «Огонь», исправляло ее тем, что посылало специальные пропагандистские миссии в страны Европы и Америки с целью контрагитации... Неужели вам ничего не известно о революционерах, которые уже не помнят, когда были свободными, революционерах, брошенных в тюрьмы сейчас же, как только правительство убеждалось, что планы их серьезно угрожают ему...

Барбюс почти бегает по комнате.

Уэллс сосредоточенно молчит, разглядывая ногти.

Потом начинает, стараясь говорить спокойно, как будто чужим голосом:

— Вот мы говорили о России... Я сам симпатизирую Советам. Но объясните мне, как может человек, посвятивший себя служению гуманизму, оправдывать всю ту систему красного режима, которую мы не могли принять даже тогда, когда обстоятельства еще оправдывали ее. Там все красное,— старается иронизировать Уэллс,— красное правительство, красная армия, красная дисциплина и,— добавляет он осторожно,— красный террор...

Но это уже слишком для Барбюса. Он стоит посреди комнаты, какая-то дрожь потрясает его тело, экзальтированный резкий голос слышен по всей квартире:

— Это ложь... ложь... Советы обязаны защищаться любыми средствами. В их страну посылают диверсантов, взрывают заводы, покушаются на вождей. И все это при молчании людей, которые «симпатизируют» Советам... Мерзавцев мало казнить... Их надо четвертовать!..

— Господин Барбюс,— прерывает его Уэллс,— остановитесь! Вы проповедуете насилие...

— Тысячу раз «да»,— я не против насилия, когда оно утверждает справедливость!

Уэллс молчит, подавленный энтузиазмом этого худого взволнованного человека.

Несколько минут проходят в абсолютном молчании. Слышен ход больших стенных часов.

Барбюс успокаивается, закуривает сигарету и усаживается на свое старое место.

Тогда Уэллс подчеркнуто безразлично, желая дать понять, что спор имеет чисто теоретический характер, говорит:

— Может быть, вы и правы... Но вы должны согласиться с моим тезисом, что толпа останется толпой, даже если ее назовут пролетариатом. И в России все нормы внушены толпе горсточкой умных людей. И толпа чтит эти нормы, как катехизис.

— Чепуха,— возражает Барбюс,— пролетарская воля и сознание существуют. Они двигают революцию, перестраивают страну, создают Днепрогэсы...

Уэллс смеется своим грохочущим раскатистым смехом.

— Вы идеалист, мистер Барбюс, ха-ха...

Барбюс лукаво щурится.

— Вы мне испортили эффект, мистер Уэллс, именно вам я хотел сказать это.

«Я ОБВИНЯЮ»

Газетчики бежали по улицам, стараясь обогнать друг друга, размахивая пачками свежих газет.

Скоро вся улица наполнилась их криками:

— Тан — вечерний выпуск... вечерний выпуск... Фигаро — вечерний выпуск... Русский большевик убил французского президента Думера...

Русский большевик убил французского президента Думера...

Агентство Гавас сообщает:

— Во время допроса при установлении личности покушавшегося на Думера убийца Горгулов заявил:

«Я пожертвовал своей жизнью. Мое существование окончено. Моя родина мертва, но я не бандит, я политический убийца.

У меня не было личных мотивов для убийства Думера, которого я не знаю.

В течение четырех месяцев я проживал в Монако, так как мне запрещено пребывание во Франции.

Я желал отдаться политической пропаганде, и в частности борьбе против советского режима. Я покушался на Думера, чтобы заставить Францию бороться против Советов».

Эти события застают Барбюса в Омоне. Книга о Золя

окончена и уже отослана издателю. Телеграмма с вызовом на заседание политбюро ЦК Французской компартии приходит в 9 часов утра. С 10-часовым поездом Барбюс выезжает в Париж.

Из первых же газетных сообщений ясно, что задумана чудовищная провокация.

До заседания политбюро Барбюс успел увидеться с рядом друзей.

Взволнованно ходит он по маленькому залу заседаний ЦК. Говорит:

— Взвесьте факты, товарищи: шестого мая белогвардеец Горгулов, хорошо известный французской полиции, подошел без всяких затруднений к президенту Думеру и смертельно ранил его выстрелом в упор.

Свидетель, хорошо известный журналист Жак Мортан, заявил, что между первым и вторым выстрелами прошло не меньше десяти — пятнадцати секунд. Жена Клода Фарера указала шефу полиции Гишару на подозрительное поведение Горгулова. Но Гишар не задержал Горгулова. Почему? Потому, что он его знал. Полиция причастна к убийству Думера. Я внимательно прочел газету. Порядок событий таков: первые заявления Горгулова являются вполне нормальными. Они были воспроизведены в первых изданиях вечерних газет шестого мая, и даже в некоторых газетах седьмого утром. Но тут официальные верхи бросают лозунг о необходимости использовать выступление Горгулова: возможный дипломатический инцидент и осложнения могут привести к антисоветской кампании и, надо думать, к войне.

Мне известно, что Тардье был возмущен первыми сообщениями газет и дал нагоняй одному крупному журналисту, ошибка которого заключалась в том, что он сказал правду...

...Барбюс начинает действовать. Призрак войны появился вновь. Отечество Барбюса — Советский Союз — в опасности. Тревога.

Писатель с головой уходит в работу.

Прежде всего надо установить связи Горгулова. Дни и ночи проводят Барбюс и Видаль за чтением белогвардейских изданий.

Барбюс становится следователем. Он изучает каждую страницу жизни Горгулова, сына кулака из станицы Лабинской.

Аннета уезжает в Чехословакию. Именно сюда ведут ответвления этой провокации.

Ей удается установить, что Горгулов и ряд других белогвардейских террористов состояли на субсидии у чехословацкого правительства.

Вооруженный десятками неопровержимых фактов, Барбюс выступает на митинге рабочих Бордо, потом в Руане.

Шаг за шагом, цитируя, сопоставляя факты, доказывает Барбюс, что террористический акт Горгулова является естественным развитием деятельности белогвардейцев, вскормленных французским правительством.

В органе компартии «Юманите» Барбюс выступает со статьей — страстным обвинительным актом французскому правительству.

Статья озаглавлена: «Я обвиняю».

«Я обвиняю,— писал Барбюс, как некогда Золя,— все французские правительства, сменявшие друг друга после войны, в том, что они дали приют, поддерживали, помогали, подстрекали, финансировали и вооружали всевозможные белогвардейские сообщества, представляющие собой международную организацию преступников, задавшихся целью убивать и подготовлять войну!

Я обвиняю эти правительства в том, что они несут ответственность за убийства, совершенные этими бандитами, многочисленные группы которых простирают свои щупальца по всему миру и которые свили себе гнездо во Франции.

Я в особенности обвиняю правительство Тардье в том, что оно ответственно за убийство, совершенное белогвардейцем Горгуловым, находившимся в связи с французской полицией.

Я обвиняю Тардье в том, что он играл комедию более чудовищную, чем смехотворную, распространяя путем пропаганды и при помощи подручной продажной печати слух о том, что Горгулов был большевиком, «необольшевиком» или орудием в руках большевизма,— гнусную ложь, которая тем не менее была использована всеми врагами рабочего класса».

Правительство Тардье подало в отставку.

Инсценировка «московских козней», связанная с убийством Думера, позорно провалилась. Попытка возложить

ответственность за покушение на коммунистов окончилась полной неудачей.

Барбюс доволен. Они разоблачили этого авантюриста Тардье и всю его компанию.

С наслаждением читал он заграничные газеты, высмеивающие неуклюжие приемы бывшего французского премьера.

Барбюс понимал, что победа не была и не могла быть полной. Очаг чумы — белогвардейские гнезда не уничтожены. Разделаться с ними не так-то легко. Новое французское правительство не торопилось с мероприятиями против белогвардейцев. Было очевидно, что ликвидация контрреволюционных организаций не в интересах правящих кругов.

Белогвардейцы продолжали бряцать оружием. Их газетки, захлебываясь от восторга, перепечатывали сообщения о событиях на Дальнем Востоке. Там собирались грозовые тучи. Япония хозяйничала в Маньчжурии, участились провокации на советских границах.

Барбюс решил не возвращаться в Омон. Угроза войны требует немедленных действий. Над Советским Союзом — его родиной — сгущаются тучи. Дело Горгулова показало всему миру, что буржуазия жаждет войны. Одной искры достаточно, чтобы произошел взрыв.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС В АМСТЕРДАМЕ

Общественное мнение взбудоражено горгуловским процессом. Надо ковать железо, пока оно горячо.

В конце 1931 года Барбюс едет в Швейцарию, в маленький городок Вильнёв.

Наконец-то после длительного перерыва он встречается с Ролланом.

Оба ненавидят капитализм. Оба страстно преданы новой России. Оба враги войны. Правда, каждый по-своему.

Два дня проводит Барбюс в Вильнёве.

На третий — в парижских газетах появляется воззвание, подписанное Ролланом и Барбюсом. Они призывают к организации международного антивоенного конгресса. Конгресс ставит своей задачей в точности осветить историческое положение, познакомить массы с реальными опасностями, которые им угрожают, и организовать волю всех

трудящихся для защиты социалистического отечества на случай опасности войны. Конгресс предполагается созвать в Амстердаме.

Вскоре Барбюс получает письмо из Цюриха. Секретарь II Интернационала Адлер хочет встретиться с ним, обсудить вместе ряд вопросов, вытекающих из воззвания.

Барбюс едет в Цюрих. Адлер принял его в своем роскошном кабинете. Сидит за огромным письменным столом, маленький, выжидающий.

— Не кажется ли вам, господин Барбюс... я хочу сказать, товарищ Барбюс,— если это не покажется слишком фамильярным,— что такой конгресс преждевременен,— спрашивает Адлер,— что политическая обстановка не позволяет нам обострять и без того напряженные отношения между социальными группами?..

Адлер говорит осторожно, желая выиграть время. Что еще выдумал этот Барбюс? Насколько это серьезно?

Барбюс отвечает, сдерживая раздражение:

— Не кажется ли вам, господин Адлер, что вы рассуждаете нелогично. Если обстановка напряжена, если опасность войны реальна, то не наш ли с вами долг уничтожить эту опасность? Может быть, вы сочтете конгресс своевременным лишь тогда, когда разразится война?

Адлер пробует отшутиться:

— Господин Барбюс известен всему миру крайностью своих суждений.

— Я не вижу, чтобы это было препятствием конгрессу,— отвечает Барбюс.

Адлер решает идти напролом.

— Господин Барбюс. Говорю прямо. Я знаю, что коммунисты, представителем которых является мой уважаемый собеседник, любят говорить о нас, социал-демократах, неправду... Мы любители расплывчатых формулировок!.. Враги действий!.. Разрешите мне четко формулировать мою точку зрения и тем самым опровергнуть это распространенное мнение...

Адлер вынимает из коробки, стоящей на столе, сигару, аккуратно обрезает ее ножичком, зажигает и затягивается.

— Утверждаю: этот конгресс инспирирован так называемым III Интернационалом.

Негодующий жест Барбюса.

— ...Я утверждаю это, господин Барбюс. Вы известны всему миру своими симпатиями к этой организации, и это является лучшим доказательством правильности моего утверждения. Я не против конгресса вообще. Но я против конгресса коммунистического. Я против того, чтобы Коминтерн под видом единого фронта продолжал раскалывать рабочее движение. Мы не поддержим этого конгресса, господин Барбюс. А это значит, что он будет обречен на неудачу. Послушайте дружеского совета: не торопитесь, выждите время, политическая обстановка прояснится, тогда...

— ...Тогда разразится война, и наши с вами имена, господин Адлер, рабочие будут произносить с презрением и ненавистью наряду с именами Носке, Шейдемана и... некоторых из ныне здравствующих... — доканчивает Барбюс.

Он встает. Прощается. Адлер взбешен: написал Роллану длинное письмо. Пусть господин Роллан одумается, поймет, в какую авантюру вовлекают его коммунисты.

Роллан не ответил.

Барбюс погружен в работу.

Маленький домик в Мюрамаре на берегу Средиземного моря превратился в настоящий штаб: Аннета Видаль разрывается между телефонами, письмами, воззваниями; делает вырезки из газет всех направлений, обобщает сводки повсеместно созданных организационных комитетов.

Именно в эти дни можно было особенно ясно наблюдать замечательный талант Барбюса, талант революционера-агитатора:

«Мои взгляды на войну вообще, и в частности на готовящуюся мировую схватку и агрессию против СССР,— это взгляд революционера и коммуниста»,— писал Барбюс в это время в одном из своих посланий к друзьям.

Барбюс с проницательностью хорошего политика видел всю гнилость, всю несостоятельность Версальского мира.

«При настоящем положении вещей,— писал он,— вследствие несправедливых и бесстыдных актов, которые война, питавшаяся кровью пролетариев, навязала побежденным странам, жертвой опять-таки является пролетариат этих стран».

Подготовка к конгрессу идет все возрастающими темпами. 16 августа 1932 года Теодор Драйзер публикует заявление, в котором опровергает мнение, будто бы конгресс

имеет исключительно коммунистический характер. Это опровержение направлено против секретаря II Интернационала Фридриха Адлера, утверждавшего в одной буржуазной американской газете, что конгресс «является коммунистическим маневром по созданию единого фронта».

В десятках французских городов организованы инициативные комитеты. В Бордо 28 различных групп рабочих объединились вокруг этих комитетов, в Руане таких групп насчитывается уже 78.

Барбюсу доставляет огромное удовольствие сообщение о том, что члены союзов социалистической молодежи группируются вокруг комитетов.

Барбюс мечется по Франции. В один и тот же день выступает на различных митингах. Утром он приезжает в Страсбург и узнает, что вчера вечером комфракция муниципалитета выдвинула предложение о присоединении к конгрессу. Барбюс выступает в муниципалитете.

Предложение коммунистической фракции принято.

В тот же день он выступает на митинге в Эльзасе, где рабочие строят фортификационные укрепления. Рабочие голосуют за поддержку конгресса.

Барбюс простудился в дороге и возвращается в Париж с температурой 39°. Это не мешает ему принять тотчас по приезде две делегации от учебных заведений.

Мир взволнован. Конгресс, конгресс... Нет газеты, которая не отвела бы ему места — от нескольких строк до целых полос и подвалов.

Барбюс радуется. Во всех этих резолюциях, митингах и статьях он видит подтверждение тому, что конгресс будет действительно массовым, что в нем заинтересованы миллионы.

Он не находит слов, чтобы выразить возмущение поведением руководителей II Интернационала. Нет, все, все, что угодно, но только не такой наглый саботаж. Можно быть врагами, видеть ошибки других, отстаивать свою точку зрения, наконец, но такой саботаж, такое махровое предательство!

— Это им не пройдет,— говорит Барбюс на заседании оргкомитета,— рабочие-социалисты через головы своих вождей протянут нам руки.

Как бы в подтверждение этих слов «Юманите» печатает 21 августа 1932 года сообщение о том, что в образовавшийся в Страсбурге комитет вошли представители со-

циалистических, унитарных профсоюзов, автономного союза деревообделочников, антивоенного женского союза, федеративного союза студентов.

Газеты публикуют постановление административной комиссии социалистической партии, запрещающее членам партии участие в Амстердамском конгрессе.

С возмущением читает Барбюс это постановление. Оно не должно остаться без ответа.

«Юманите» публикует интервью с Барбюсом, в котором он задает несколько вопросов Фридриху Адлеру.

«Амстердамский конгресс,— указывает Барбюс,— это попытка создать объединенное движение трудящихся, рабочих и интеллигентов против угрозы непосредственной опасности войны. Почему господин Адлер так боится этого единства, почему он пытается сорвать его?..

Международный Амстердамский конгресс состоится, вопреки желаниям Адлера, и будет образцом широкого единого фронта, созданного рабочими, крестьянами и интеллигенцией различных политических направлений».

Однажды вечером Барбюсу на парижскую квартиру принесли телеграмму.

В ней сообщалось:

«Ввиду неполучения разрешения на въезд в Голландию советских делегатов, избранных на антивоенный конгресс, нельзя получить нужные транзитные визы. Поэтому просим принять все необходимые меры для получения разрешения на въезд в Голландию».

Такой низости со стороны голландского правительства Барбюс не ожидал. Дать разрешение на созыв конгресса в своей стране и срывать его запрещениями на въезд делегатов — это позорно даже для буржуазного правительства. Очевидно, правительство в заговоре с лидерами II Интернационала.

Конгресс состоялся. Он открылся 27 августа 1932 года в Амстердаме в огромном здании Дворца автомобильной промышленности.

Роллан был болен. Не мог присутствовать на конгрессе.

В своей телеграмме он приветствовал тех, кто откликнулся на призыв к борьбе против империалистической войны.

Месяцы подготовки к конгрессу не прошли для Роллана даром.

Все больше и больше убеждается он в несостоятельности гандистской доктрины пассивного сопротивления.

«Судьба предстоящей войны находится в руках пролетариата. От него зависит, будет ли империалистическая война задушена в самом корне. А роль интеллигенции состоит в том, чтобы ответственность рабочего класса за судьбу империалистической войны сделать своей ответственностью. От этого зависит судьба всего мира».

Барбюс достиг своей цели. Поджигатели войны разоблачены.

Барбюс работает. В домике, в нескольких километрах от Лазурного берега — французского курорта па Средиземном море,— порывистый, угловатый, заваленный грудою писем с почтовыми штемпелями всех стран, он живет и неутомимо работает.

Он пишет почами — необходимо, чтобы корреспонденция поспела к утренней почте. Читает и пишет без устали.

Наконец гаснет лампа. В комнате почти светло. Небо за окном светлеет. Ни одно письмо не осталось без ответа. Аккуратно сложенные в стопку конверты ожидают утренней почты.

Барбюс поднимается. Открывает окно и с наслаждением вдыхает соленый морской ветер.

«УМЕРЕТЬ НЕ СТРАШНО — СТРАШНО НЕ ЖИТЬ»

Летом 1935 года они приехали в Москву: Барбюс и его верная спутница Аннета Видаль.

Подъезжая к городу, Барбюс начал заметно волноваться.

Поминутно смотрел на часы.

Последние километры...

Замелькали здания. Приехали. На вокзале толпа. Торжественная встреча.

— Куда? — спрашивает Барбюс и тут же отвечает:— В «Савой», ну, конечно, в «Савой», это же мой дом, моя квартира...

С первых же дней он решил засесть за работу. Роман «Один день мира», который Барбюс недавно задумал, попрежнему занимал его. Барбюс не раз пытался серьезно приняться за книгу, но это ему не удавалось.

Мысли ежеминутно устремлялись к текущим московским делам. Несколько раз он бросает работу, чтобы приняться за сценарий об Октябрьской социалистической революции и ее вождях. Каждый день развивает он перед друзьями различные варианты своего кинофильма.

Барбюс чувствует глубокую радость от того, что он в Москве. Всем своим существом вдыхает он атмосферу этого города.

Было бы хорошо остаться здесь навсегда. Поселиться где-нибудь недалеко от центра, от Красной площади, совершать замечательные ночные прогулки и слушать бой курантов на Кремлевской башне.

Здесь в Барбюсе пробуждался поэт. Он чувствовал непреодолимую потребность мыслить поэтически. Заставлял переводить ему русских поэтов.

Там, в Париже, его будни — деятельные, утомляющие. Здесь его отдых.

Подолгу гуляет он по городу.

Ему хочется приветствовать каждый дом, каждый камень. Все ощущалось здесь как-то по-иному, не так, как в Париже.

Барбюс чувствовал, что принадлежит весь этому городу, весь без остатка.

Больше всего его занимала мысль о русском переводе его книги «Сталин». Подолгу беседовал он с русскими товарищами, спрашивая их мнение об этой книге, в которой пытался рассказать об основных этапах развития советского общества.

— Не забудьте, товарищи,— говорил он,— что эта книга для заграницы, пожалуй, она будет слишком популярна для русских друзей. Ведь заграничным товарищам приходится рассказывать много такого, что вам уже давно известно...

Метро особенно восхищало Барбюса. Подолгу стоял он в вестибюле перед грандиозным зрелищем ползущих вниз и вверх лестниц в огромных залах, залитых ослепительным светом причудливых ламп, отражающихся на полированной поверхности мрамора — красного, серого, белого...

Вошел в поезд. Его сейчас же узнали.

— Товарищ Барбюс! — восхищенно воскликнула девушка-пассажирка.— Камрад Барбюс,— подтвердил ее спутник.

Барбюс смотрел на них улыбающийся и счастливый.

...На VII конгрессе Коминтерна делегаты устроили ему овацию.

Барбюс стоял, протянув вперед руки, как бы желая обнять присутствующих.

То, что он слышал здесь, было для него радостным и близким. Речи ораторов казались ему прекрасней всякой музыки.

Всем ходом своей жизни он был подготовлен к этим речам.

С восхищением слушал он доклад Димитрова.

«Именно так,— думал Барбюс.— Мы должны показать всем трудящимся: крестьянам, ремесленникам и трудовой интеллигенции, откуда им грозит действительная опасность».

После речи Димитрова Барбюс решил пойти в гостиницу пешком. Он еще возбужден только что слышанной речью. Находит ее предельно ясной и яркой.

— Это не речь, не речь,— говорит Барбюс,— это памятник. Над этим документом мы должны работать, популяризировать его. Это гимн вере, гимн победе...

Была половина второго ночи. Он шел медленно по одной из главных московских улиц. Несмотря на поздний час, было много народу.

Барбюс дышал глубоко, полной грудью. Он наслаждался воздухом Москвы.

Наутро он встал бодрый, жизнерадостный. Долго работал. Отдохнув, предложил своим друзьям поехать в зоологический сад.

Каждый раз, когда Барбюс приезжал в Москву, он обязательно бывал в зоологическом саду.

Бродил по бесчисленным аллеям. Тихо сидел на скамеечке у пруда, наблюдая за дикими утками.

Здесь у Барбюса были свои любимцы, главным образом, среди обезьян. Обезьяны неизменно приводили его в хорошее настроение. Он мог часами наблюдать их возню, изучать повадки каждой из них.

Какой чудный день, как хорошо греет августовское солнце!.. Барбюс расстегивает пальто, снимает шарф и кладет его в карман.

Выходя из зоосада, Аннета Видаль замечает, что Барбюс бледен.

— Что с вами?

— Ничего... я устал.

Дома Видаль настаивает на том, чтобы он измерил температуру.

Сорок. Сильный озноб. Но лечь в постель Барбюс не хочет. Сидит, облокотившись на письменный стол, где лежат груды писем из-за границы, заботливо подобранные Аннетой.

Только сегодня утром он разбирал их. Наивные и смешные люди спрашивают: преследуется ли религия в Советском Союзе, как живут служители культа, кто санкционирует закрытие церквей...

Из этих писем Барбюс готовил радиопередачу «Религия в СССР».

Он сидит, тяжело опираясь на стол. Дышит с трудом. Врач уже приехал. Настаивает на немедленном переезде в больницу. Машина «Скорой помощи» из Кремлевской больницы ждет у подъезда. Аннета робко сообщает об этом Барбюсу.

Он приподнимается. Нет, нет, никаких носилок. Он сам... Он почти... почти... здоров... Идет и падает.

...Вчера врачи думали, что у Барбюса рецидив гриппа. Сегодня окончательно установлено — воспаление легких.

В тишине больничной палаты раздается стук пишущей машинки. Секретарь печатает.

Барбюс потребовал, чтобы машинку перевезли сюда вместе со всеми бумагами. Его огромная энергия, сверхчеловеческая жажда жизни с особой силой проявлялись в тяжелые моменты.

Тревога жила в его сердце. Он знал правду о своем изношенном организме и мало надеялся на него. Гнал от себя неприятные мысли, иронизировал над собой и своей «временной квартирой».

«Умереть не страшно, страшно не жить» — любил повторять Барбюс. Друзья и товарищи Барбюса с тревогой ждут сообщений о его здоровье.

— Это излишне,— говорил сначала Барбюс.— Зачем волновать их...

Дни казались бесконечно длинными.

К маленькой комнате большого серого дома прикованы мысли сотен тысяч людей в Москве, сотен тысяч людей в мире. Каждый час по прямому кремлевскому проводу справляются о здоровье Барбюса.

Барбюс не сдается. Никаких уступок, никаких компромиссов. Болезнь не опасна. Он не хочет менять порядок дня. Будет продолжать работу. Он согласен прерывать ее для врачей, для этих консилиумов, если они уж так неизбежны... Но в остальном все должно оставаться по-старому.

К вечеру 29 августа, на восьмой день пребывания в больнице, Барбюс на несколько минут потерял сознание.

Тело его покрылось холодным потом. Густые мокрые волосы совершенно закрыли лоб.

Обычно электрический свет вверху резал Барбюсу глаза, поэтому по вечерам зажигали маленькую настольную лампу.

Он бессильно лежит на подушках и, кажется, не дышит. Блуждающие глаза. Фиолетовые губы.

В комнату входит профессор. Он склоняется над кроватью. Беспрерывным конвейером подают подушки с кислородом.

— Дышите, умоляю вас, дышите,— наклоняется к уху Барбюса сестра.

Барбюс смотрит на нее. Все, что осталось в нем живого, сосредоточилось в его глазах.

Невероятное усилие воли... Улыбается:

— Да... — и глубоко вздыхает.

Больше сил не хватает. Барбюс лежит без движения.

Врачи напряженно вслушиваются в его слова:

— ...Прошлый раз... Буся Гольдштейн... маленький скрипач, просил меня... струны... струны... Я привез... Пошлите в...

Наступает агония.

Барбюс умер в Москве 30 августа 1935 года — накануне Международного юношеского дня.

Прах его был перевезен в Париж, и десятки тысяч преданных социализму людей провожали его на кладбище Пер-Лашез к Стене коммунаров.

1937

БЛАЖЕННЫ ЛИ НИЩИЕ ДУХОМ?

В этой книге собраны некоторые из моих статей, опубликованных в недавние годы в газетах и журналах («Правда», «Известия», «Литературная газета», «Коммунист», «Иностранная литература», «Смена» и др.). Часть из них значительно расширена.

Первый раздел посвящен полемике с зарубежными идеологами современного антикоммунизма и содержит попытку проанализировать определенные аспекты идейной борьбы на мировой арене, в частности те «теории» и «концепции», при помощи которых наши зарубежные политические противники пытаются разложить духовное единство социалистического общества.

Следующий раздел книги обращен непосредственно к молодежи. На примере жизни и творчества Николая Островского я пытаюсь показать, что́ является главным, ведущим в поведении советского молодого человека — сознательного бойца, строителя нового мира. Две другие статьи этого же раздела рассказывают о некоторых явлениях определенного периода в жизни молодежи капиталистических стран.

Последний раздел книги небольшой, он включает всего две статьи, обе они полемические и посвящены вопросам коммунистической нравственности.

Хотелось бы обратить внимание читателя на одно обстоятельство, которое следует иметь в виду при чтении статей. Они написаны в разное время. Поэтому некоторые из упоминающихся в них имен или конкретных событий сегодня могут показаться несколько устаревшими. Это естественно. Жизнь не стоит на месте. Те или иные факты, вчера злободневные, сегодня уже заслоняются другими, более актуальными. Те или иные высказывания наших идейных противников, сделанные ими в свое время, сегодня уже забываются, поскольку появились новые. Потре-

бовалось бы заново написать все или почти все собранные в этой книге статьи, чтобы ту «конкретику», которой они насыщены и которая была «сегодняшним днем» лишь вчера, полностью заменить новой, той, что приносит нам реальный сегодняшний день. Разумеется, от этого статьи выиграли бы в своей злободневности, хотя трудно предвидеть, какие имена, факты и события станут актуальными к моменту выхода книги.

И все же я в целом ряде случаев не пытался «осовременить» статьи за счет конкретных фактов, имен, цитат. Потому что моя цель — говорить о явлениях. Актуальность не просто факта, а явления, процесса, характерного для современного этапа идейной борьбы,— вот что было для меня главным критерием отбора статей для этой книги. Я полагал, что если определенные коллизии идейной борьбы, если методология наших противников, о которой идет речь в той или иной статье, остается в основе своей актуальной и сегодня, то вне зависимости от того, к какому времени относится «фактография» статьи, она имеет право быть включенной в этот сборник.

И если подобный отбор, возможно, и ведет к некоторым издержкам в смысле чистой информативности, то он сулит и определенные преимущества, поскольку читатель сможет проследить *историю* зарождения или развития того или иного явления в сфере нашей духовной жизни и идейной борьбы.

Мне не хочется более подробно характеризовать предлагаемые в сборнике материалы — хочу верить, что читатель, который прочтет книгу, не будет в этом нуждаться.

Позволю себе лишь заметить, что, несмотря на различие публикуемых работ по содержанию, они объединены тем главным, ради чего и были написаны.

Речь идет об идеологической борьбе. Мне хотелось бы в меру своих сил помочь молодому читателю разобраться в тех сложных коллизиях, которые для этой борьбы характерны. Мы являемся активными участниками бескровной, но ожесточенной битвы идей. Эту битву ведут социалистический и капиталистический миры, коммунизм и антикоммунизм. Исход этой, как и любой, битвы решают в первую очередь убежденность и вооружение.

Я прошу моих молодых товарищей прочесть эту книгу в надежде, что она поможет им пополнить свой боевой арсенал.

I. ЭТОТ СВОБОДНЫЙ СВОБОДНЫЙ, СВОБОДНЫЙ МИР...

БЛАЖЕННЫ ЛИ НИЩИЕ ДУХОМ?

I

Большинство буржуазных социологов утверждает, что безразличие к любым формам идеологии стало характерной особенностью духовной жизни послевоенного общества. Если, говорят они, в конце прошлого и в начале нынешнего века философы владели умами людей, то сейчас обладают лишь эфемерностью, имя которой — Ничто.

Всего десятилетия назад, пишет американский социолог австрийского происхождения Шламм в своей книге «Молодые хозяева старой земли», «Ницше и Фрейд, которые разверзли неизведанные бездны; Бодлер и Джойс, которые рвали цветы в этих безднах; Планк и Эйнштейн, которые впервые сумели *мысленно* представить себе расщепление всего сущего; Вагнер и Шенберг, которые превратили человеческое ухо в орган разума; Сезанн и Пикассо, которые перестали рисовать натуру, а стремились переосмыслить ее,— все они... были столпами духовного мира Запада».

Что же случилось с этим миром потом? Он, отвечает Шламм, «постоянно, вновь и вновь сам ставил себя под сомнение, и его апостолы одновременно создали Ничто — последнюю главу европейской философии, которая обрела в экзистенциализме оружие для изучения этого Ничто». Почему же упал интерес к идеологии в буржуазном мире, если действительно верить в то, что он упал?

Французский социолог Раймон Арон объясняет это научно-техническим прогрессом. Он утверждает, что научный

прогресс, техническое обновление, увеличение производственной эффективности составляют сущность общества индустриального типа. Темпы этого прогресса столь велики, что невозможно предсказать будущее мира. И разве не естественно, что в подобной ситуации любую философию, любую идеологию, опирающуюся на закономерности и прогнозы, ныне заменяют прагматизм, деидеологизация, то есть, по существу, антифилософия и антиидеология? На первый взгляд современная действительность дает некоторые основания для подобных заключений.

Технический прогресс последних десятилетий способен рождать и гениев здравого смысла, и мистиков. Вторая половина XX века ознаменовалась фантастическим ростом техники и научных открытий. Человек, закрывший глаза всего лишь четверть века назад и открывший их сегодня, очутился бы в качественно ином мире. Он знал только радио, но перед ним оказался бы телевизор, он привык к винтовым самолетам, а увидел бы реактивные корабли и космические ракеты, кибернетические машины...

Столетия отделяли друг от друга изобретение компаса, пороха, печатной машины, телескопа и парового двигателя. Но в наше время лишь годы и месяцы отделяют появление телевидения, электронного микроскопа, транзисторов, радаров, спутников, лазеров.

Ошеломленное небывалым темпом научных достижений человечество спрашивает, что ждет нас в дальнейшем? Каковы перспективы? Что последует за водородной бомбой и лазером? Освоение новых миров или тотальная гибель? Эти вопросы сопровождаются размышлениями.

Разумеется, есть все основания предполагать, что научно-технический прогресс может пойти — и наверное пойдет — еще более быстрыми темпами. Это великолепно! Но последствием такого развития может явиться смерть. А страх смерти способен даже самые радужные ожидания окрасить в блеклые тона умирания. К тому же для пессимизма есть и другие основания. Разве самолеты с атомными бомбами не бороздят небо днем и ночью? Разве западногерманские реваншисты не рвутся к атомным боеголовкам? А ведь армия, которую они усиленно возрождают, доказала свою способность опустошать землю даже обычным оружием. Вспыхивают и «эскалируются» «малые» войны. А кто даст гарантию, что они не превратятся в большие?

Время от времени та или иная американская бомба «теряется», как это случилось в свое время у берегов Испании. Призрак Голема, занесшего руку над кнопкой атомного устройства, стоит перед глазами охваченных тревогой людей.

Нет, по-видимому, человечество все забыло и ничему не научилось... Следовательно, долой философию, опирающуюся на объективные закономерности! Только прагматизм, только экзистенциализм, отрицающие все закономерности, все прогнозы, признающие лишь конкретную ситуацию и лишь ей соответствующее решение, заслуживают какого-то признания.

Таков примерно ход рассуждений буржуазных социологов и философов. Что же удивительного в том, заключают они, что люди, в особенности молодежь, ведут себя соответственно сложившейся «трагической ситуации»?

Наступил век «кика» *, утверждает Шламм, который «стал важнейшим фактором в жизни нового общества... Все, что типично для «кика»,— джаз, увлечение сумасшедшими скоростями, литература битников... «холодный» юмор и совсем «холодная» сексуальность,— все доходит до кульминации в соприкосновении бедер, в негативной судороге и вегетативном расслаблении».

Что же лежит в основе «кика»? Ну конечно, страх, осознанный или бессознательный. Он порождает цинизм, который Оскар Уайльд определял как способность знать цену всему и не придавать ценности ничему. Напомнив это определение, Шламм пишет: «Цинизм — это явление, присущее тем, кто не способен на что-либо надеяться, а потому не способен даже на разочарование. Циники никогда не предавались иллюзиям. Они появляются там, где царит Ничто».

Между прочим: как-то я слушал американскую радиопередачу. Заботящиеся о нашем «всестороннем просвещении» господа сообщили о новой форме бытия определенной части заокеанской молодежи, названной «пиплз-флауэрс» — «люди-цветы». Эти юноши и девушки, если верить американской информации, прикрепляют к своим экзотическим одеждам эмблемы тех или иных цветов и проводят время в лесу или на морских побережьях в полном безделье, молча, слушая часами поп-музыку. Если опять-

* Кик — возбуждение *(англ.)*.

таки верить информации, то подобные «цветы» стали произрастать и в Англии, и к ним примкнули даже знаменитые битлз, и нередко, как сообщил радиоголос, над поляной, где «цветы» наслаждаются музыкальной нирваной, льется «некий благоуханный аромат» — намек более чем прозрачный на увлечения наркотиками *.

Когда я слушал эту радиопередачу, перед глазами моими встала другая картина. Это было в Западном Берлине. На одной из улиц сквозь огромное стекло витрины я увидел странное зрелище. В маленькой полупустой комнате (мне сказали, что это ателье для моментальных фотоснимков, которое никем не обслуживается, поскольку полностью автоматизировано и редко кем посещается) я увидел более чем странное зрелище. Ребята в возрасте, по-моему, от шестнадцати до восемнадцати лет, длинноволосые (волосы до плеч), в рваных куртках, в протертых на коленях брюках из легкой материи, сидели в этой комнате. Нет, «сидели» — не то слово. Они расположились на полу прямо у стен, как бы прилипнув к ним, на подоконниках, прижавшись лбами к стеклу витрины. Я наблюдал за ними минут пятнадцать. Ребята сидели молча и неподвижно, точно в летаргии, в каталепсии. Казалось, что они живут в каком-то ином мире, в том самом, который называется «Ничто». У них — юношей и девушек — были мертвые, безжизненно бледные лица и остановившиеся глаза. Они сидели, обхватив руками колени, откинув назад головы или прижимая лбы к стеклу, сидели неподвижно, молча, с пустыми, устремленными в «Ничто» немигающими глазами. В Западной Германии таких ребят называют гамперами, или они сами себя так называют,— не знаю. Известно

* В наши дни подобная характеристика «цветов» или хиппиз, как их еще называют по-английски, представляется несколько устаревшей. Но не потому, что эта часть западной молодежи изменила своим пристрастиям к поп-музыке или наркотикам,— в этом смысле ее вкусы относительно стабильны.

Однако само явление стало более сложным. Часть хиппиз на своем пути в «никуда» оказалась в руках представителей уголовного мира, формирующих из «цветов» своего рода гангстерские «общины», в которых наркотические и сексуальные оргии нередко предшествуют садистским убийствам. В то же время других представителей хиппиз можно нередко встретить в рядах молодежных демонстраций, которые в наши дни стали часты в капиталистических городах. Тем не менее мне показалось целесообразным говорить о «цветах» сегодня в той последовательности, в какой я написал о них в те дни, когда явление это лишь зарождалось.

лишь, что «гампер» — это старое немецкое слово и в переводе значит «старик».

Разумеется, и «цветы» и гамперы — это, так сказать, «крайние проявления», экзотический продукт «тотальной деидеологизации», абсолютное «Ничто». Это слово можно было бы заменить и другим — «пустота». Но это странная пустота, поскольку она способна находить свое реальное выражение во всех областях человеческой деятельности, начиная от конкретных поступков в быту и кончая искусством. Многие буржуазные искусствоведы согласны с мыслью, что их ультрасовременное искусство является как бы материальной иллюстрацией пресловутого «Ничто» (если согласиться с парадоксальной возможностью материализовать пустоту), поскольку картина в формалистическом творчестве перестала быть призывом, посланием, превратившись в хаотическое нагромождение цветовых пятен и линий.

«Ничто» торжествует в музыке — ведь и здесь возможно произвольное чередование звуков. И конечно же, что-то адекватное возможно и в литературе. Ведь ее краски, ее звуки — это слова или даже слоги. Школа французского «нового романа» представляет разительные примеры деидеологизации литературы, превращая мысли в «Ничто».

Итак, деидеологизация духовной жизни буржуазного общества — свершившийся факт? Значит, она возможна, как возможно пребывание человека в состоянии физической невесомости?

Именно в этом хотят убедить мир буржуазные социологи. Опираясь на факты, о которых шла речь выше, добавляя к ним и многие другие, они делают свои далеко идущие выводы. Ими настойчиво утверждается мысль, что совокупность обстоятельств той стадии, которую проходит сейчас человечество, противопоказана любой идеологии, поскольку лишена каких-либо закономерностей. С другой стороны, любая идеология, заключают они, противостоит свободному развитию человечества, превращается в вериги, стесняющие его шаги.

В журнале «Сатердей ревью» была напечатана статья А. Шлезингера, одного из крупнейших американских историков и социологов. Названная «Идеология и американский опыт», она является воинствующим «антиидеологическим» выступлением. Что, по утверждению Шлезингера, следует вообще понимать под словом «идеология»? «Сово-

купность систематизированных и застывших догм, с помощью которых люди пытаются познать окружающий мир и охранять или, наоборот, переделывать существующий строй». Какова альтернатива признанию необходимости идеологии? На этот вопрос уже ответил цитированный выше Шламм: «Кик, деградация искусства, господство «Ничто».

Таким образом, Шламм признает факт деидеологизации, но считает его трагическим. А вот Шлезингер видит в этом факте своего рода благодать. Он, по существу, объявляет нищих духом блаженными, то есть счастливыми, и утверждает, что те «минуты истин», когда «США, так сказать, поднимались над идеологией», были «наиболее славными».

Шлезингер не одинок. В отличие от Шламма целый легион буржуазных философов и социологов награждает пинками идеологию и поет гимн во славу деидеологизации. Гвозди в гроб идеологии усердно забивает американец Д. Белл в своей ставшей бестселлером книге «Конец идеологии». Не отстает от Белла и его коллега по другую сторону океана, уже упоминавшийся французский социолог Раймон Арон. Он также провозглашает «конец эпохи идеологий». Профессор Гарвардского университета К. Бринтон в своей книге «Формы современного сознания» изрекает, что «система идеалов» всегда антинаучна.

Что же предлагают эти современные властители дум, или, точнее, бездумья, западного мира вместо идеологии? Пресловутое «Ничто»? Нет, такое утверждение было бы неполным. Идеологии как «системе идеалов» они обычно противопоставляют прагматизм.

Прагматизм не новое направление в буржуазной философии. Прошло почти восемьдесят лет с тех пор, как его основные положения были изложены Ч. Пирсом и развиты затем У. Джемсом и Дж. Дьюи. Однако сегодня на фоне борьбы против идеологии прагматизм, который, по выражению того же А. Шлезингера, ориентируется только на факты, опыт, эмпирические исследования, кажется будто специально «изобретенным», чтобы воевать против любой «системы идеалов».

Итак, факт деидеологизации и распространение прагматизма признают и Белл и Шлезингер, и Шламм и Арон. Они лишь по-разному оценивают его. Шлезингер, например, прагматист воинствующий, он видит в эмпиризме

благо. Шламм же характеризует эту модную философию так: «Он (прагматизм.— *А. Ч.*) презирает идеологию, а следовательно, не понимает истории...» Из него вытекает «то ложное учение, с которым новое поколение вышло в жизнь из второй мировой войны: оно гласило, что в стремлении к самоутверждению моральные категории не только могут, но и должны быть отброшены».

Как видим, Шлезингер радуется, а Шламм опечален. Их объединяет констатация, а разделяют оценки. Тот и другой объективно признают сумерки идеологии. Только Шлезингеру представляется, что в этих сумерках парит торжествующий ангел прагматизма, а Шламм видит в них лишь полет летучих мышей.

О том, что «факты — упрямая вещь», принято напоминать очень часто. Реже обращают внимание на то, что обладающие впечатляющей силой факты способны проявлять свое гипнотическое влияние и тогда, когда из них делают ложные выводы.

И невиданный в истории человечества научный прогресс, и заключенная в нем потенциальная возможность осчастливить человечество или принести ему страдания, и тревога, переходящая в отчаяние, охватившая духовный мир буржуазного Запада, и разочарование в буржуазных философиях, пытающихся объяснить мир, но отказывающихся от попыток его переделать,— все это бесспорные факты.

Находящемуся под их гнетущим влиянием человеку капиталистического общества совсем не трудно внушить, что деидеологизация и вытекающий из нее прагматизм являются следствиями столь же объективными, сколь и причины, их порождающие. И если Арона, например, научная честность побуждает признать, что «никто, кроме марксистов-ленинцев, не представляет себе общественного порядка, радикально отличающегося от существующего», то его менее щепетильные коллеги пытаются убедить человечество в универсальности процесса деидеологизации.

Тем не менее любому человеку, читающему многочисленные сочинения современных ниспровергателей идеологии, но сохранившему способность к объективному анализу, не могут не броситься в глаза две основные особенности.

Первая. Борьба против идеологии приобрела столь широкий характер именно в последние десятилетия, то есть в то время, когда буржуазный мир с особенной наглядно-

стью продемонстрировал свое духовное убожество, отсутствие всякой позитивной идеи, способной овладеть массами. Создается впечатление некой мистификации, борьбы с «отсутствующим противником», наступления на пустующий плацдарм. Мало кому приходило в голову объявить поход против идеологии в то время, когда буржуазия еще имела свою, относительно прогрессивную идеологию. «Всеобщая антиидеологическая мобилизация» началась тогда, когда ходом истории буржуазный мир оказался обреченным на духовную пустоту. Борьба против идеологии развернулась тогда, когда буржуазия уже лишилась позитивной «системы идеалов» и все попытки создать ее заменители под различными громкими названиями претерпели очевидную неудачу.

Такова первая особенность «антиидеологической войны». Но есть и вторая. В подтексте, а иногда и на поверхности высказываний «антиидеологов» неизменно ощущается тенденция придать своим теориям, так сказать, экспортный характер, точнее, навязать их социалистическому миру.

«Заголимся и обнажимся!» — призывал один из персонажей Достоевского. «Забудьте о всякой идеологии! — взывают к нам современные прагматики.— Отбросьте ее, выкиньте вон! Все беды от нее. Идеология — лишний груз, вериги! Нет объективных законов истории. Смелее рубите сук, на котором сидите! Нет идеалов, кроме «кика», наживы, сумасшедших скоростей, холодной сексуальности, опасного спорта. Выкиньте идеологию из политики! Выбросьте ее из литературы — из ваших романов, стихов, пьес, картин! И тогда вы станете современными людьми, достойными современного технического прогресса. Идеология — порождение века дилижансов и парового двигателя. Она старомодна в век атомных реакторов и лазеров. Вперед — в «Ничто»!..»

II

Я не ставлю своей задачей ни анализ духовного мира современного буржуазного общества, ни сколько-нибудь полную характеристику высказываний проповедников новейшего прагматизма. Мне, как советскому писателю, хочется поговорить о том, что таит в себе буржуазный экспорт деидеологизации и достигает ли он своих адресатов.

Положение о том, что мирное сосуществование государств с различными социальными системами не означает смыкания идеологий, стало уже аксиомой. Борьба идей будет продолжаться до тех пор, пока существуют классово-антагонистические социальные системы. Однако было бы серьезным просчетом не учитывать того, что истина эта существует не в политическом вакууме, что есть много обстоятельств, влияющих на борьбу идеологий, что обстановка, в которой эта борьба происходит, все время меняется. Небывалый размах научного прогресса и связанное с ним научное сотрудничество в мировых масштабах, рост международных культурных связей, радио- и газетная пропаганда не проходят и не могут проходить бесследно для сознания людей.

Да и само это понятие — «люди» — несколько абстрактно. В любом обществе — в данном случае я имею в виду наше, советское общество — происходит естественная смена поколений. Реакция на буржуазную пропаганду тех, кто прошел сквозь классовые битвы, кто воочию видел, как идеология переплетается с социальным поведением, кто за долгие годы приобрел бесценный исторический опыт конкретного строительства коммунизма, естественно, отличается от реакции молодых людей, подобного опыта не имеющих. Все это требует от коммунистов особого внимания к повседневному анализу идеологической ситуации, сосредоточенной вдумчивости, учета меняющихся обстоятельств, глубокого понимания процессов действительности. На этом мне хотелось бы остановиться более подробно.

Общеизвестно, что в нашей общественной среде, и в молодежной в особенности, вопросы, которые мы обычно называем морально-этическими, приобрели особую популярность. Разумеется, понятие «молодежь» является несколько общим. Несомненно, что вопросы, которые нередко с такой страстью обсуждают в своей среде молодые литераторы или, скажем, молодые физики, чем-то отличаются от тех, что являются предметом споров среди рабочей или колхозной молодежи. И тем не менее есть вопросы, которые в той или иной форме волнуют многих молодых людей. Я имею в виду категории нравственности в широком смысле этого слова.

Каким должен быть «настоящий человек»? Что такое «правда» и одна ли она на свете? Что значит быть «поря-

дочным»? Как совмещаются понятия «личпой дружбы» и «общественного долга»? Что это значит — быть «подлинным коммунистом»? — эти и многие другие аналогичные вопросы нередко волнуют советских молодых людей. Обратившись к истории нашего последнего десятилетия, не трудно найти и объяснение этому повышенному интересу.

Но трудность не в объяснении причин. Трудность в другом. Она заключается в правильном восприятии этого интереса людьми старшего поколения.

Могут спросить: «Какая же тут трудность?» Разве ответы на эти вопросы затруднительны для взрослых людей, способных мыслить философски и политически? Разве они в свое время не получили на них ответы из трудов Маркса и Ленина, из решений партии, из опыта политической борьбы и коммунистического строительства?

Вот в этом и заключается трудность. Случается, что тот или иной воспитатель — в широком смысле этого слова,— партийный работник, педагог, просто умудренный опытом жизни человек, доведись ему слышать споры молодых, недоуменно пожимает плечами и раздраженно говорит: «Ересь какая-то! Повторение нигилистических, либерально-буржуазных «задов»! Да на все эти вопросы давно отвечено нашей Революцией! Достаточно открыть Ленина...», ну и так далее.

Не помню, кому принадлежат слова о том, что опыт предыдущего поколения никогда и ничему еще не научил последующее. Разумеется, слова эти нельзя принимать всерьез — это не больше чем крылатая фраза. И если она в чем-то и справедлива, то лишь в том, что собственный опыт является для каждого поколения в конечном итоге решающим, подлинной «школой жизни».

Представьте себе советского молодого человека. Того, кому сейчас двадцать — двадцать пять лет. Он родился на свет, когда кончалась или уже отгремела Великая Отечественная, а все те этапы нашей истории, на которых училось и мужало старшее поколение, известны ему лишь по книгам и рассказам, причем, прямо скажем, в некоторые периоды нашей истории далеко не всегда объективным, а подчас и противоречивым.

Итак, в грозовые сороковые этого человека еще не было на свете. В 1956-м ему в лучшем случае было десять — шестнадцать лет. Следовательно, как сознательный человек этот подросток, юноша стал формироваться в сложные

годы. Именно они, эти годы, были для него уже не «пересказом», не книгой-учебником, а *собственным* опытом. Достаточно ли мы, старшее поколение, учитываем всю «конкретику» этого опыта, весь тот «резонанс», который вызвал он в душе молодого человека,— вот в чем вопрос!

Я не принадлежал и не принадлежу к числу тех, кто склонен подчеркивать лишь негативные стороны этого опыта. Как и миллионам людей, мне известны и славные дела, свершенные в прошлом. Но упускать из виду объективные сложности, бесспорно повлиявшие на формирование характера определенной части нашей молодежи, человек, чувствующий ответственность за ее будущее, не может, не должен!

Какой же отсюда следует вывод? Думаю, что, по крайней мере, один: не раздражаться, не лениться в своей воспитательной работе, иной раз начинать все сначала, терпеливо и аргументированно вести наших молодых людей к тем выводам, к которым мы прошли путем долгих лет борьбы за коммунизм.

Эта задача осложняется прежде всего тем, что выполнять ее приходится не в «безвоздушном пространстве». Борьба за молодые души не является односторонней, за них ведут борьбу и наши идейные противники, которые очень хорошо и, естественно, в своих интересах используют подчас все те обстоятельства, о которых говорилось выше.

Каждый этап идеологической борьбы, каждая попытка идеологической экспансии наших противников требует от нас специфических, хорошо продуманных контрмер. Мы должны быть готовы к отражению любых действий нашего идеологического врага, как его лобовых атак, так и обходных, замаскированных маневров, к которым он все чаще и чаще стал прибегать. Вспомним хотя бы экспорт прагматизма в упаковке индивидуальной свободы, экспорт буржуазной демократии под видом «всечеловеческой правды», экспорт империалистической идеологии под флагом деидеологизации.

В этой связи хочется сказать следующее: мне думается, что, оценивая то или иное отрицательное явление в нашей духовной жизни, мы нередко повторяем одну и ту же ошибку, а именно: анализируя явление, мы прежде всего ставим перед собой вопрос, имеет ли оно социальные кор-

ни в нашей действительности, и... по существу, ограничиваемся этим.

Принципиально против самой методологии доходить до социальных корней явлений жизни вряд ли можно возразить. Но в нашей конкретной аналитической практике эта методология подчас принимала упрощенный, механический характер.

...Существует ли у нас, скажем, социальная проблема «отцов и детей»? Конечно, нет! Ведь эта проблема неразрывно связана с теми общественными условиями, которые коренным, принципиальным образом отличаются от наших. Значит, у нас ее нет, не может быть, и те, кто ее затрагивает, в лучшем случае ошибаются, в худшем — поют с чужого голоса. Конечно, в отдельных случаях бывает, случается, но называть это проблемой, явлением — чепуха, бессмыслица!

...Существует ли у нас, к примеру, проблема алкоголизма? Конечно, нет! Алкоголизм — прямое порождение капиталистических общественных отношений. Правда, в результате ослабления воспитательной работы имеются случаи, скажем, частные случаи... Но — проблема? Нет, этого не может быть.

...Существует ли у нас тенденция деидеологизации? Смешно предположить. Ведь она порождение безысходности буржуазного бытия, отсутствия социальной перспективы, высоких идеалов... При чем тут мы?

Да, спору нет, с точки зрения социальной, в нашем обществе нет корней для перечисленных явлений. Неотвратимые в буржуазном мире, они устранимы в социалистическом обществе. Сложившееся и окрепшее морально-политическое единство советского народа — надежная тому гарантия.

О чем же тогда разговор? Дело в том, что и в условиях морально-политического единства социалистического общества есть объективные противоречия общественного развития, борьба нового и старого, есть пережитки прошлого, и, хотя за ними не стоят классы, забывать об этом не следует. Наша цель — добиться того, чтобы не было ни одного человека с «вывихнутым» сознанием. Собственно, в этом и состоит одно из проявлений гуманизма нашего общества. Вот почему принципиально правильный отказ характеризовать, скажем, встречающиеся в жизни факты различного подхода к некоторым жизненным явлениям у молодежи и

у взрослых как социальную проблему «отцов и детей» нельзя сводить, как это порой имело место, к абстрактным «утешительным» констатациям.

Наше общество — идейно закаленное, красота наших идеалов привлекает умы и сердца людей всех поколений. Однако нельзя заявлениями об органической связи поколений, о нашей замечательной молодежи подменять серьезный и вдумчивый идеологический разговор о дифференцированном подходе к воспитанию молодежи, к повседневной работе с нею.

Если вернуться к разговору об алкоголизме, то и в данном случае, мне думается, надо говорить всерьез, а не просто рассматривать этот порок как следствие «суммы фактов» плохой воспитательной работы на том или ином предприятии.

Короче: речь идет о том, что в современных условиях совокупность буржуазных влияний, с одной стороны, и противоречия, трудности в ходе поступательного развития нашего общества — с другой, могут породить и порождают явления, серьезности которых нельзя преуменьшать, утешаясь разговорами об их неорганичности на социалистической почве. Это вопрос не только теоретический, но и сугубо практический. *От правильной оценки отрицательного явления зависят масштабы, интенсивность и успех борьбы с ним.* Нельзя связывать себе руки прямолинейно-социологическими, поверхностными констатациями. Они, эти успокоительные констатации, лишь усыпляют нашу бдительность перед лицом идеологических противников за рубежом.

Нельзя не видеть того, что сфера искусства вообще и литературы в частности, подобно сфере политики, неразрывно связана с вопросами идеологии. Разумеется, в политике такие связи и опосредствования выступают в иной, наиболее прямой форме. Однако это не меняет существа дела, поскольку и в искусстве весь эстетический комплекс так или иначе выражает идеологическое содержание. Таким образом, в этой сфере духовной деятельности проблемы эстетические и идеологические переплетаются. Нет эстетики вне идеологии. И тот факт, что идеология проявляется в литературе в форме эстетической, подчеркивает не только специфичность творчества, но и взаимопроникаемость эстетики и идеологии.

Из всего сказанного следует вывод: «бомбардировка» «идеологического ядра искусства» не может пройти бесследно для всей его эстетической сущности.

В связи с этим остановлюсь на тех явлениях, которые особенно меня волнуют. Уже не первый год наблюдаются некоторые деидеологические явления в нашей литературе. Не хочу делать оговорок, что они не затрагивают основного, генерального процесса развития литературы и искусства. Это разумеется само собой. Однако в данном случае важно, чтоб такие оговорки не ослабляли наше внимание к отрицательным явлениям.

Каковы основные «вехи» этих явлений? В чем выражаются они? Прежде всего в настойчивых попытках некоторых писателей и даже отдельных печатных органов в ряде своих выступлений подменить социальные, классовые, то есть остроидеологические, концепции иными — чисто эмоциональными, «общечеловеческими», «универсальными». Такие эксперименты чаще всего производятся с понятиями нравственными и эстетическими. Например, понятие правды в искусстве трактуется так, что идеологические, социальные критерии при этом снимаются, третируются. Имеются тенденции размывания понятия «социалистический реализм» — концепции остроидеологической, поскольку этот творческий метод требует оценки жизненных фактов с позиций коммунистического идеала, с учетом ведущих тенденций эпохи. В результате в последнее десятилетие появился ряд художественных произведений, лишенных коммунистической устремленности — качества, которое, по существу, является *основным, выделяющим* социалистическую литературу в общемировой.

Тенденции к бессюжетности, к фиксации потока жизни, к «дезорганизации» описываемых явлений, к уклонению от их социальной оценки мы можем наблюдать не только в литературе, но и в кинематографии.

Очевидно, не все еще у нас сознают, что именно на возникновение, на распространение таких явлений и рассчитан буржуазный «экспорт деидеологизации» в нашу страну. Эти экспортеры, организуя свои «внешнеторговые операции», учитывали и объективные сложности, трудности, существующие в социалистическом мире. Они рассчитывали и на естественную для советских литераторов неприязнь к догматизму, к схематическим, вульгарно-социологическим литературным конструкциям, на их особенно

усилившееся после XX съезда КПСС стремление к нравственной чистоте. Нашим идейным противникам казалось и кажется до сих пор, что среда советских литераторов, особенно молодых,— наиболее благоприятная почва для проповеди деидеологизации.

Они радовались, наблюдая явления, которые могли истолковать как успех своих попыток. «Своеобразный бунт молодого поколения — сибаритский и инертный протест людей... против всего, что пахнет идеологией,— распространяется в глубь советского Востока...— писал все тот же Шламм.— И все сильнее ощущается резкое преобладание индивидуального, физического начала, стремление удовлетворить свои чувственные потребности, а не участвовать в решении общественных задач».

Как следует отнестись к подобным констатациям? Отбросить их? Заклеймить гневной филиппикой, и только? К утверждениям врагов, думаю, следует относиться внимательно и поразмыслить над ними, даже если они, эти утверждения, отличаются обычными для их авторов преувеличениями или даже имеют клеветнический характер. Мы настолько духовно сильны, что можем позволить себе такую «роскошь». Между прочим, что признает и Шламм, заканчивая свои откровения сожалением, что «Западу нечего надеяться на заражение советской молодежи цинизмом». Это признание Шламма весьма симптоматично. Оно является прямым признанием идеологической закаленности нашего общества, невозможности ниспровергнуть те идеалы, которые привлекают под коммунистические знамена сотни миллионов людей.

Но мы уже говорили, что люди не однородны ни по своему возрастному составу, ни по социально-политическому опыту. Следовательно, реальный процесс жизни не исключает возможности тех или иных деидеологических симптомов и в нашем обществе, то есть в условиях чистой, здоровой морально-политической атмосферы. Разберемся в их причинах.

Принципиально в целеустремленном обществе, преобразующем жизнь на началах коммунизма, трудно допустить возможность пренебрежения идеологией. Симптомы подобного рода для такого общества не органичны, не типичны, и, следуя упрощенной методологии социалистического анализа, их следовало бы свести к «отдельным»,

«кое-где встречающимся» и не обращать на них серьезного внимания.

Однако в данном случае, как и в ряде других, такой вывод представляется мне ошибочным. Думаю, что у нас есть объективные (объективные — это совсем не значит постоянные, органически присущие) причины для «деидеологических» проявлений. К ним следует отнести прежде всего сложности и противоречия в ходе нашего поступательного развития — об этом я уже говорил. Затем известное увлечение техницизмом, естественное и оправданное, если принять во внимание бурный технический прогресс, однако нередко идущее в ущерб наукам гуманитарным, хотя объективная роль последних в жизни общества возрастает. Наконец, серьезные недостатки в развитии нашей философской мысли.

Нет необходимости говорить, что есть причины, объясняющие эту ситуацию. Не всегда продуманные и научно безупречные переоценки ценностей, субъективизм, врывающийся в научную работу, мешали объективному анализу и исследованиям. И конечно, нельзя забывать об усилении натиска прагматических теорий из-за рубежа.

Однако этими обстоятельствами далеко не исчерпываются причины названных выше явлений. В каждой идеологической сфере они дополняются своими, специфическими для данной области.

Возвратимся к художественной литературе. Я убежден, что не только перечисленные выше причины объясняют отрицательные явления, которые встречаются в нашей литературе. Им немало способствуют идеологическая инертность некоторых писателей, своего рода интеллектуальная пассивность, неумение разрабатывать проблемы так, как этого требует конкретный этап исторического развития. Например. Мы вполне естественно остро реагируем на все попытки подменять социалистический реализм реализмом «критическим», то есть таким реализмом, который лишь констатировал бы недостатки, «срывал маски» с их носителей, но был бы лишен главного — коммунистического идеала, аналитических, сознательных, социально-воинствующих качеств коммунистической идейности. В то же время мы почему-то привычно-спокойно относимся к факту отставания *теории* социалистического реализма от потребностей времени.

Много лет назад сама формула социалистического реализма, дополненная комментариями о его многообразии, звучала новаторски. Сегодня она требует дальнейшего обогащения в связи с конкретной практикой развития литературного процесса.

Хорошо, что мы уже давно не мыслим себе советской литературы вне русла социалистического реализма, вне органической связи с этим творческим методом. И плохо то, что, привыкнув к социалистическому реализму как к чему-то само собой разумеющемуся, иные теоретики и писатели «разучились» относиться к этому методу аналитически, то есть рассматривать его в глубокой связи с богатейшей духовной жизнью советского общества и могучим развитием социалистического искусства, а также с развитием всего мирового литературного процесса. Между тем справедливые определения основных признаков нашего творческого метода, если их лишь повторять до бесконечности, не облекая каждый раз новой литературной плотью (плотью, а не просто именами!), могут превратиться в фетиш.

Более того, любые утверждения и определения, не будучи проверяемы и сопоставляемы с особенностями развития литературного процесса, могут привести к такому положению, когда теория литературы изучается «сама по себе», а литературные процессы — тоже «сами по себе».

Наши литературоведение и критика справедливо выступают против абстрактного, расширительного понимания реализма; между прочим, такое понимание — результат теоретической слабости, а не силы его сторонников. Противопоставляя прокрустову ложу догматического анализа сложные явления современности, такое понимание предлагает просто-напросто вобрать в реализм все, в том числе и уродливые, болезненные — декадентские в своей основе — произведения художественного творчества, и, следовательно, делает из нищеты декаданса модную добродетель.

Не ставя своей задачей разбор концепции «безграничного реализма», с которой в разных странах выступают различные философы и литераторы, я хотел бы заметить, что есть два подхода к сложным явлениям действительности. Первый предполагает их серьезный научный анализ, творческое применение критериев материалистической диалектики к явлениям жизни, их объективно верное рассмотрение и изучение.

Возможен и другой подход, хотя он и не плодотворен. Речь идет о расширении критериев до безграничности. В этом случае марксизм становится самой «терпимой» философией. Но не теряет ли он при этом свою социальную, классовую сущность?

В связи с этим приведу такой пример: современный католицизм готов как будто использовать научные достижения, лишний раз опровергающие теологию, для доказательства ее незыблемости. Разумеется, такая тенденция свидетельствует об известной гибкости князей современной церкви. Но научный прогресс не может быть объяснен с точки зрения религии. Ее все большая терпимость является вынужденной. С другой стороны, буржуазные философы, отрицая объективную истину познания, пытаются сочетать мистику и практицизм либо открыто проповедуют поповщину, примирение с нею.

Но марксизм-ленинизм не может проявлять терпимость к чуждой ему идеологии. Самые сложные факты действительности могут и должны быть проанализированы, объяснены с помощью марксистской философии без того, чтобы ее приспосабливать к тем явлениям, которые она критикует.

Несомненно, что произведения литературы и искусства, которые не укладываются в понятие реализма — тем более социалистического реализма,— могут тем не менее оказывать немалое воздействие на умы людей. Это элементарно. Однако нельзя объявлять все произведения без исключения, в том числе и продукты декадентского распада, реалистическими из желания продемонстрировать широту суждений или под флагом пополнения идеологического арсенала марксизма. Такая тенденция рано или поздно отомстит за себя *.

В современной печати появилось немало статей, спорящих с «отчуждением» марксистской терминологии от марксистского анализа. *Однако позитивная разработка проблем социалистического реализма* в нашей научной среде оставляет желать лучшего.

---

* Любопытно отметить, что автор концепции «широкого реализма» Роже Гароди в то время, когда писалась эта статья, выпустивший книгу «Реализм без берегов», впоследствии стал на путь активной ревизионистской деятельности и ныне исключен из рядов Коммунистической партии Франции. Поучительный пример «связи теории с практикой»!

Было бы наивно призывать нашу литературную критику, анализируя то или иное произведение, каждый раз решать, воплощен ли в нем метод социалистического реализма. Но альтернативой к столь примитивному подходу не может, не должна быть тенденция к «размыванию» понятия социалистического реализма или подмена его реализмом вообще под флагом защиты абстрактной правды.

К этой проблеме тесно примыкает другая. Имеется в виду вопрос о положительном герое советской литературы.

Некоторые наши критики и публицисты, не без основания высмеивая умозрительные образы или догматические требования создавать типы идеального героя, соблюдая «арифметические» пропорции между положительными и отрицательными персонажами, нередко ставят точку там, где следовало бы поставить запятую. Ибо борьба с подобного рода догматизмом, если ее ведет марксист, неминуемо должна быть дополнена пафосом *социалистической устремленности* произведения, несовместимой с идейной аморфностью.

К сожалению, в последнее десятилетие у нас появились книги, которые были лишены такой устремленности. Наша критика, говоря о явлениях подобного рода, обычно по традиции подкрепляла их ссылками на прозу некоторых молодых авторов или на произведения о молодежи. Это плохая традиция. Во-вторых, критика подобных произведений иной раз шла по поверхности и поэтому была неубедительной. Этих писателей ругали, скажем, за употребление жаргонов, за то, что они пишут о ребятах, не стоящих на переднем крае борьбы за коммунизм, и т. д. Но жаргон, который эти авторы использовали в своих книгах, они не выдумали — они слышали его в жизни. Не выдумали они и своих персонажей, поскольку люди подобного рода также встречаются в жизни. Вот почему такая критика воспринималась как догматическая, ограничивающая писателей в выборе темы и характеров.

Недостаток такой критики состоял в том, что мы не очень ясно и не очень дружески говорили авторам, что не присутствие «звездных мальчиков», не жаргон, а отсутствие *коммунистической* целеустремленности и воинственности, стремления завоевать души людские — вот что снижает значение критикуемых книг, а то и вовсе сводит на нет их идейно-воспитательную роль.

Нужно ли говорить, что все описанные выше явления тоже следует отнести к деидеологическим? Они, эти явления, отнюдь не ограничиваются сферой литературного творчества. Подобные примеры, как уже говорилось, есть и в области киноискусства.

Да и в последнее десятилетие мы создали немало хороших, исполненных социального звучания кинокартин. Как и основная масса наших книг, они проникнуты пафосом коммунистического созидания, антидогматизма, заботой о чистоте нравственного облика советского человека. Они свидетельствуют о духовном здоровье нашего общества, о стремлении его к самосовершенствованию. Но, к сожалению, для некоторых наших картин характерно и другое. Я имею в виду приглушенное социальное звучание, отсутствие коммунистической классовой воинственности.

Среди причин, породивших отрицательные явления в нашей творческой среде, мне хочется указать еще на одну. Я назвал бы ее эмоциональной. Как это ни парадоксально, но некоторые литераторы, кинематографисты, художники сознательно или безотчетно ставят знак равенства между деидеологизацией и «современным» стилем творчества. Удивительное совпадение! Ведь именно в этой упаковке, под флагом современного стиля, и происходит экспорт буржуазного прагматизма в нашу творческую среду. Нам настойчиво стараются внушить, будто бы печать идеологии на художественном творчестве означает, что произведение сделано старомодными, примитивными средствами, и наоборот, принципиальная «деидеологичность» произведения, выраженная в отсутствии социальной идеи, в деформации сюжета, в выборе нарочито асоциальной ситуации, есть признак подлинной современности, высокого интеллектуального уровня автора, его независимости от любой системы идеалов.

Буржуазные идеологи и ревизионисты марксизма утверждают, что опасность идеологии в том, что она в силу самой специфики человеческого мышления всегда является лишь извращенным сознанием и поэтому противостоит жизненной реальности.

На это мы отвечаем: да, любая *буржуазная* идеология есть извращенное сознание, поскольку она опирается либо на отвлеченные критерии, либо берет за основу бескрылый эмпиризм. Другое дело — марксизм, сила идей которого заключается в их научности, в постоянной связи

с жизненной практикой, с историческим опытом человечества! Именно поэтому в схватках с марксизмом фатально терпели поражение все идеологии, созданные для оправдания капиталистического бытия. Теперь на очередной приступ идет деидеологизация...

Только справа? Только из капиталистического мира?

Нет. Как ни парадоксально это звучит, деидеологизация наступает и, так сказать, «слева», и в этом случае — под флагом, я бы сказал, «сверхидеологизации».

В данном случае я имею в виду ту идеологическую политику, которую вот уже несколько лет проводит руководство КПК во главе с Мао Цзэ-дуном.

В мою задачу не входит всесторонний анализ этой антинародной, антисоциалистической и антисоветской политики, которая по своей озлобленной направленности может сравниться лишь с откровенно империалистической,— на эту тему написано много статей. В данном случае я говорю о «теории» и практике руководства КПК лишь в связи с темой деидеологизации.

На первый взгляд может показаться, что для политической жизни современного Китая, характерной бесконечным цитированием высказываний Мао, требованиями насытить духовную жизнь не только партии, но и каждой китайской семьи «денным и нощным» изучением «учения Мао», проблема деидеологизации по меньшей мере не актуальна.

Но это только на первый взгляд. Ибо деидеологизация — это, кроме всего прочего, и патологическое оскудение мысли. Политическая трескотня, бесконечное повторение «сверхреволюционных» лозунгов, сведение марксизма-ленинизма к нескольким вариациям письменных или устных высказываний Мао, не только не популяризирующих, но и прямо извращающих марксизм-ленинизм,— все это, по существу, является одним из наиболее отвратительных видов деидеологизации.

Это не просто сведение марксизма к его антиподу — догматизму. Это стремление поставить марксистскую терминологию на службу антикоммунизму, воспитать людей-роботов, лишенных способности мыслить, но могущих по любому поводу выпалить соответствующую фразу из цитатника, заменившего сейчас в Китае труды классиков марксизма.

Итак, деидеологизация может быть различной по своей форме и по источникам, откуда она поступает.

...Но есть ли она в природе, эта деидеологизация? Не опровергает ли ее существование старое, парадоксальное утверждение, что человек, отрицающий все идеи, тем самым признает по меньшей мере одну? Не повторяется ли в данном случае сказка о голом короле с той лишь поправкой, что современный король настолько обнищал, что нагота осталась его единственным платьем?

«Странный вопрос!..» — может воскликнуть читатель после всего того, что уже было сказано. И все же такой вопрос вполне закономерен. Ибо деидеологизация при всем отрицании системы идеалов не есть пустота, «Ничто». Она существует, если под этим громоздким словом разуметь отсутствие в буржуазном обществе каких-либо позитивных целей, каких-либо идеалов. Ее нет, если это отсутствие воспринимать как некую идеологическую невесомость. Потому что деидеологизация не менее воинственна, чем любая из буржуазных идеологий, а по существу, она и является такой идеологией.

Ведь «голый король» еще жив. И у него достаточно придворных философов, социологов, моралистов и мистификаторов, чтобы пытаться убедить народ в блеске своей наготы, внушать ему, что нагота не следствие нищеты, а наряд, соответствующий требованиям века. Король и его мистификаторы выдают свою духовную нищету за всеобщую, используя для этого раздробленность, недоверие, разочарованность и тревогу, царящие в капиталистическом обществе. Они хотят превратить слабость в силу. Они делают вид, что не видят победного шествия идей, выступающих под флагом открытой идеологии — идеологии марксизма. Они хотят заставить людей поклониться «Ничто», а точнее, голому прагматизму, а еще точнее — казначейскому билету.

Нет необходимости тратить слова для доказательства обреченности этих попыток. Из этого, однако, вовсе не следует, что мы, коммунисты, должны быть равнодушными к любым симптомам деидеологизации. Мы заявляли и заявляем, что никогда не останемся безразличными к капиталистическому экспорту контрреволюции. Не вытекает ли отсюда и наша непримиримость к экспорту духовной нищеты, ко всем видам и формам буржуазной идеологии?

В течение веков христианская религия тщетно убеждала людей в том, что нищие духом блаженны. Сейчас, в век атома, в век победоносного шествия коммунистических идей, эту задачу взял на себя современный империализм.

Духовная нищета защитников старого мира заслуживает не только осмеяния; тут нужна и бдительность: умирающие имеют привычку тащить за собою живых.

СОЦИАЛИЗМ И СВОБОДА ПЕЧАТИ

Каждый, кто наблюдает сложные коллизии идеологической борьбы на современном этапе, не может не заметить парадоксального на первый взгляд явления: наиболее активные сторонники империалистического строя объединили свои высокооплачиваемые усилия в требовании... свободы печати для социализма.

Диву даешься, но это так. Создается впечатление, что потомки тех самых, заклейменных в «Коммунистическом Манифесте», «папы и царя, Гизо и Меттерниха, французских радикалов и немецких полицейских», столетие назад объединивших свои усилия для «священной травли призрака коммунизма», сегодня, когда идеи коммунизма победили на значительной части нашей планеты, неожиданно поставили себе задачей еще более укрепить новое общество своей заботой о свободе социалистической печати как непременного условия «истинного социализма».

Кто только не заботится ныне об «истинном социализме»! «Голос Америки» и Би-Би-Си, немецкие реваншисты и заокеанские «ястребы», «Нью-Йорк таймс» и просто «Таймс», «марксоидные» экзистенциалисты и выросшие на «подножном корму» прагматики, неоколониалисты и либералистские ревизионисты, китайские антисоветчики и католические проповедники. Центральное разведывательное управление США как таковое и состоящие на его иждивении «либеральные» органы печати — имя им легион,— все, все они ждут «истинного социализма» и прежде всего свободы его печати... Ах, какое умилительное зрелище, ах, какой «реприманд» неожиданный!

Но, может быть, не стоит вступать в полемику с этими «друзьями» социализма? Разве элементарная логика не подсказывает любому здравомыслящему человеку, что есть

вещи несовместимые по своему существу, что грабитель не может бескорыстно заботиться о вооружении своей жертвы, цели поджигателя расходятся с интересами страхового общества, а люди, чье благополучие строится на эксплуатации и порабощении себе подобных, не могут быть кровно заинтересованы в процветании социального строя, покончившего с эксплуатацией и порабощением.

Однако в реальной жизни не все так просто, как в логической схеме. Современные черти — ловцы душ человеческих — искусно прячут свои хвосты, а крылья давно уже перестали быть привилегией только ангелов.

Но если в свое время чертей еще можно было узнавать по запаху серы, то в наши дни они благоухают самыми привлекательными запахами, подобно коммивояжерам от Кристиана Диора.

Да и товар, который они распространяют, ничем по виду не напоминает варево жаровен. Он упакован с учетом новейших достижений рекламной индустрии, с тонким пониманием того, что в процессе обращения концепции и лозунги нередко теряют свои опознавательные признаки, по которым можно было бы легко определить, на какой из дьявольских кухонь лжи их произвели.

И вот, подхваченные всевозможными радиоголосами, размноженные типографиями в миллионах экземпляров, они начинают витать в атмосфере подобно микробам и вирусам, проникая в умы людей.

Разумеется, речь идет об умах, иммунитет которых ко лжи и способность к социальному анализу значительно ослаблены, поскольку миллионы людей все еще живут в таком обществе, где человек становится отчужденной игрушкой злонамеренных сил, бумажным корабликом в океане неуправляемых, враждебных ему стихий.

Самая крепкая сталь не выдерживает систематической бомбардировки, а ведь радиотелегазетная бомбардировка не слабее орудийной. К тому же человеческие ум и сердце не покрыты броней. Поэтому они, эти формулы, лозунги и концепции, нередко падают на уже подготовленную почву, и немало психологически изнасилованных людей, жаждущих получить ответы на волнующие их вопросы и в то же время неспособных сопоставить причины и следствия, разобраться в каждодневно деформируемой средствами массовой информации картине мира, воспринимают эти извращенные понятия как истинные, хватаются за них,

как за путеводную нить в лабиринтах и тупиках капиталистического общества.

Одной из таких лживых концепций является легенда о свободе буржуазной печати.

Не будем преуменьшать силы ее психологического воздействия, разберемся в ее механике. Человек стоит, зажатый огромными зеркальными витринами магазинов. В них отражается мир изобилия. Ты можешь купить любые продукты питания. Любую одежду. Любую из этих автомашин, из этих моторных лодок. Ты можешь, наконец, приобрести этот дом. Никто не в силах запретить тебе совершить покупки. Ты можешь. Точнее, ты имеешь полное право.

И в этот момент вопрос о том, есть ли у тебя деньги, отходит на задний план. Сознание, что «если бы они у тебя были», то ты можешь, *имеешь право* купить такой же автомобиль, как и тот, в котором ездит президент Соединенных Штатов, одеваться в том же доме моделей, что и прославленный киноартист, послать своих детей учиться в то же учебное заведение, где учатся дети банкиров, сенаторов,— это сознание пьянит тебя.

К тому же: если у тебя нет денег, то разве кто-нибудь *запрещает* тебе их заработать? Нет, все дело в удаче, в тебе самом.

Такова иллюзия буржуазной демократии. Она способна утешать. Утешать и помогать верить, что, пока ты молод, тебе может и «повезти». Она существует, эта иллюзия, пока не наступает сорок. Или чуть позже. До тех пор, пока не начинают слезиться глаза и дрожать руки. А потом? Что ж, *тебе* не повезло. В ином случае ты бы все мог. Имел бы право...

Действие иллюзии «свободы печати» имеет ту же механику. Ты читаешь пухлые, хорошо иллюстрированные газеты. В них кандидаты на посты президента, сенатора, депутата, прокурора, судьи поносят друг друга. Знаменитый обозреватель критикует политику правительства. Владелец фирмы печатает увлекательно, с тонким психологическим расчетом составленное рекламное объявление.

И ты, «Man of the street», «человек улицы», имеешь равные со всеми этими людьми права на «самовыражение». Ибо нет такого закона, по которому ты не имел бы *права* стать кандидатом в президенты и высказывать свои взгляды на политику. Никто не вправе запретить тебе истратить десяток-другой тысяч долларов или фунтов на рекламное

объявление, в результате чего в твою лавчонку повалят покупатели. Ты стоишь на лондонской Флит-стрит, где расположены главные английские газеты, или на Таймс-сквер, возле здания «Нью-Йорк таймс», и мысль о том, что *формально* никто не может запретить тебе печататься рядом с Уолтом Липпманом, льстит тебе, успокаивает твои издерганные нервы. В эти минуты ты не думаешь или не знаешь о том, что реальное право критиковать президента или премьер-министра, реальное в том смысле, чтобы тебя *услышали* миллионы людей, ты мог бы получить лишь тогда, если бы представлял интересы других, могущественных и богатых людей, не посягающих ни на один из устоев общества, но страстно желающих им управлять. Если бы обладал умением так писать или говорить, что эти люди согласились бы предоставить тебе слово в газетах, на радио или телевидении. Если бы в кармане твоем была чековая книжка, а в банке счет, достаточный для того, чтобы оплатить рекламу, превосходящую по размерам, по количеству строк ту, что только что напечатал твой конкурент...

Но сейчас ты не думаешь об этом. Иди, открой эту зеркальную дверь редакции. Никто не воспрещает тебе войти в нее. Положи на стол редакционного клерка свою статью. Никто не откажется взять ее. Свобода печати гарантирует тебе *эти* права. А то, что твои исписанные листки бросят через мгновение в корзину,— это уже другое дело...

* * *

Идеалистические философы и буржуазные политики прокламируют свободу как нечто не связанное с конкретными социально-экономическими условиями. Они превратили эту концепцию в своего рода религиозное заклинание. Из «существительного» они превратили ее в «прилагательное», цель которого «освятить» все, с чем это понятие связывается, хотя бы эта связь и была парадоксальной. Вдумаемся в эти определения-вывески: «свободный мир» (в применении к обществу, построенному на эксплуатации человека человеком). «Свободное предпринимательство». «Свободная торговля». «Свобода продажи оружия» (бандитам и населению). Кажется, что достаточно лишь на мгновение призадуматься над сочетанием этих слов, чтобы понять их принципиальную несовместимость.

Но столь велика сила пропагандистского аппарата буржуазии, столь искусны многими десятилетиями вырабатываемые формы маскировки лжи, заключающейся в этих понятиях, что еще и сейчас многие люди на земле, лишенные правдивой информации, воспринимают их иллюзорность как реальность.

К числу подобных иллюзий относится и буржуазная «свобода печати», выдаваемая антикоммунистами как образец, достойный подражания в социалистических странах.

В. И. Ленин неустанно и страстно клеймил лицемерную ложь, заключающуюся в этом понятии.

И может быть, именно в данной связи уместно напомнить, что далеко не все, кто ныне направо и налево клянутся его именем, называя себя марксистами-ленинцами, исповедуют его идеи.

Ни те сектанты-догматики, чьи взгляды Ленин заклеймил еще в «Детской болезни», ни другие — либералы, готовые лить елей о «доброте» Ленина, его «терпимости» ко всяческого рода буржуазным шатаниям, его «демократизме и гуманизме вообще», не имеют ничего общего с поступками и взглядами человека, сочетавшего в себе доброту к трудящимся, безжалостность по отношению к врагам социалистического строительства, способность страстно убеждать людей, искренно заблуждающихся и в то же время ненавидеть компромиссы и заигрывания с теми, кто скатился в буржуазное болото. Именно этот, реальный Ленин неустанно разоблачал лживые «свободы» буржуазного мира.

Вот несколько из тех многих слов, которые он писал и произносил в этой связи: «Маркс всю жизнь больше всего боролся против иллюзий мелкобуржуазной демократии и буржуазного демократизма. Маркс больше всего высмеивал пустые слова о свободе и равенстве, когда они прикрывают свободу рабочих умирать с голоду, или равенство человека, продающего свою рабочую силу, с буржуа, который будто бы на свободном рынке свободно и равноправно покупает его труд...»

«Свобода печати» является одним из краеугольных камней буржуазной демократии и, следовательно, одним из самых крупных обманов.

Для меня, человека, много раз бывавшего за рубежом и никогда не отказывавшегося от встреч с журналистами

или от участия в радио- и телевизионных дискуссиях, эта истина не только чисто теоретическая, но и проверенная личной практикой.

Я встречался с десятками буржуазных журналистов. Многие из них казались мне людьми субъективно честными, думаю, что такими они и являются. Некоторые из них в личных беседах, случалось, сочувственно комментировали ту или иную мою статью или выступление за рубежом. И тем не менее я ни разу — ни разу! — не видел ни в одной буржуазной газете какого-либо изложения моих взглядов без того, чтобы (даже при точном воспроизведении тех или иных моих слов) они не были бы поданы так, чтобы восстановить против них читателей.

Подобных случаев были десятки, некоторые из них я позволю себе воспроизвести.

Это произошло в Канаде. В Монреале состоялась международная писательская встреча, на которой мне довелось делать доклад о советской литературе. Некоторые его положения вызвали сочувствие аудитории. Потом были заданы вопросы, и среди них ни одного враждебно-антисоветского.

Этот «недостаток» был восполнен журналистом, подошедшим ко мне после окончания заседания, когда его участники уже разошлись. Между нами возник спор.

На другой день я прочел в газетах, что именно эти (то есть заданные журналистом) вопросы больше всего интересовали аудиторию и именно на них я не смог дать убедительного ответа.

Через несколько дней случай свел меня с тем журналистом. Наш диалог выглядел примерно так:

Я. Как же это получается? Ни один из приведенных вами в газете вопросов, как вы сами знаете, не был мне задан из аудитории. Правильно?

Он. Да. Но я же вам их задал?

Я. Задали. Но ваши читатели, очевидно, больше интересовались настроением писательской аудитории, чем вашим. Они хотели получить о встрече объективное представление. В данном случае решающим является то, что никто из присутствующих не клюнул на антисоветскую удочку. Кроме того, если бы вопросы, подобно поставленным вами, были бы заданы, то судить, убедительно или нет отвечал я на них, можно было бы по настроению аудитории. Но поскольку подобных вопросов на заседании за-

дано не было, а поставили их вы, и к тому же после заседания, то, значит, вы и являетесь единственным судьей моих ответов. Верно?

Он. До некоторой степени.

Я. Но ведь вся эта «механика» скрыта от ваших читателей.

Он. Тем не менее мои вопросы отражают общественное мнение.

Я. Допустим. Но было бы правильнее предоставить читателям судить об этом самим. Взять и написать хотя бы так: «Ни один из приводимых мною вопросов на заседании задан не был, задал их я, уже когда все разошлись, ответы были такими-то и такими-то, и мне лично они кажутся неубедительными».

Он. Это заняло бы вдвое больше места в газете. Редакция никогда не пошла бы на это. Кроме того, я не понимаю ваших претензий. Все главное в моем отчете сообщено. Вы выступали с докладом? Выступали. Вам были заданы вопросы? Были. Вы отвечали? Отвечали...

Я. Да, но кому и когда?

Он. Простите, но это частности, не интересующие наших читателей. Боюсь, что вы придаете чрезмерное значение деталям. Может быть, зайдем в бар?..

Газета, в которой все это было напечатано, вышла утром. Однако вечерние газеты повторили ее версию: тот журналист представлял агентство, снабжавшее редакции информацией. Разница заключалась лишь в том, что благодаря дальнейшему сокращению «деталей» («Какой смысл повторять вечером в полном объеме информацию, уже напечатанную утром?») у читателей не должно было оставаться ни грана сомнений в том, что аудитория, в которой я делал доклад, встретила меня более чем недружелюбно.

На другой день некоторые из участников встречи выражали мне сочувствие и просили не относиться всерьез к газетным трюкам.

Одного из них я спросил:

— Может быть, мне стоит написать письмо в редакцию и попытаться восстановить истину?

— Ни в коем случае! — воскликнул мой собеседник.

— Не напечатают?

— Наоборот. Обязательно напечатают. Это будет выглядеть примерно так. Сначала — броский заголовок: «Гос-

подип Чаковский оправдывается». Затем обстоятельное перечисление всех наиболее ходовых клевет, которые в последнее время использовались где бы то ни было для нападения на вашу страну и литературу. Потом мелким шрифтом ваше письмо. Затем изложение вашей беседы с журналистом — уверяю, вы будете выглядеть в ней более чем неприглядно. Потом интервью с рядом «уважаемых лиц», конечно, тоже не в вашу пользу. Словом, не советую...

— Тогда, может быть, вы на предстоящем заседании выскажете публично свое отношение к вчерашним газетным отчетам?

— Зачем? Вы наивный человек. Во-первых, это почти наверняка не будет напечатано — газеты вправе отбирать то, что им кажется наиболее существенным. В крайнем случае будет сообщено, что мистер такой-то «неуклюже и неубедительно пытался защищать мистера Чаковского».

...Мне доводилось участвовать во всевозможных радио- и теледискуссиях на Западе, целью которых, если говорить о гласных намерениях организаторов, было продемонстрировать слушателям и зрителям торжество «свободы слова». И в самом деле: «представитель коммунистического мира» свободен говорить все, что ему вздумается!

На одном из примеров хочу показать, как это делается. Некоторое время тому назад Би-Би-Си предложила мне принять участие в дискуссии с видным английским публицистом на тему «Роль и место писателя в обществе».

У нас были «равные возможности» в этой сорокапятиминутной дискуссии, за нижеследующими исключениями: во-первых, для одного из участников (моего оппонента) английский язык был родным. Во-вторых, перед дискуссией в течение часа демонстрировался «включенный в программу» откровенно антисоветский фильм, и мой собеседник все время пытался свести дискуссию к «продолжению» этого, ну конечно же, «основанного на фактах» фильма. В-третьих, накануне и в день дискуссии английские газеты постарались убедить своих читателей в том, что все, что я буду говорить, наверняка не может быть правдой. И наконец, клеветнический фильм, который английским зрителям предстояло посмотреть в качестве «введения» в дискуссию, в тех же газетах был отрекомендован как выдающийся и к тому же основанный на «контрабандно вывезенных из Советского Союза подлинных документах».

Вот так. Во всем остальном у нас, повторяю, были совершенно «равные возможности». Если к этому добавить, что на другой день миллионам англичан (в том числе, разумеется, и тем, кто не видел передачи) газеты сообщили как о само собой разумеющемся факте, что все, что говорил мой собеседник, было образцом логики и справедливости, которым «советский представитель правящих кругов» не мог противопоставить «ничего, кроме обычной пропаганды», то исключались уже и малейшие сомнения насчет того, что «возможности» были действительно «равны».

Позволю себе рассказать еще об одном эпизоде, характеризующем практику применения «свободы печати» на Западе.

Несколько лет назад широко распространенная западногерманская газета «Вельт» опубликовала статью, озаглавленную «Суровая критика советских авторов» *. Статья была без подписи и, следовательно, являлась редакционной.

Поскольку в статье этой речь шла обо мне, точнее, об одном моем газетном выступлении, в котором подчеркивалась важность современной темы для советской литературы, то я счел необходимым ответить «Вельт».

Ответ свой я публиковал в журнале «Иностранная литература», который в те годы редактировал, и при этом *полностью* процитировал статью западногерманской газеты, с тем чтобы советские читатели имели бы объективное представление о существе спора.

Не думаю, чтобы сейчас, по прошествии многих лет, стоит вновь целиком воспроизводить статью газеты «Вельт», смысл которой сводился к тому, что советские писатели вопреки-де призыву Чаковского игнорируют современную тему потому, что «бегство в прошлое становится для деятелей советского искусства бегством во внеполитическую сферу, а тем самым и бегством в творческую свободу».

Итак, я полностью воспроизвел в советском журнале статью газеты «Вельт» и далее обратился к редактору этой газеты с ответом, который хочу повторить:

«Дело заключается не только в том, что, приведя цитату из моего выступления в «Литературной газете»,

* «Harte Kritik an Sovietautoren». «Die Welt», 15.IV.1956.

«Вельт» в соответствии со всем духом своей статьи придала моим словам ложное толкование. Мимо этого я мог бы пройти.

Но вы написали неправду о всех советских писателях. Мне не хотелось бы давать более резких определений — слово «неправда» имеет достаточно много синонимов и в русском и в немецком языках.

Вы утверждаете, что советские писатели игнорируют темы современности, то есть нашей советской жизни, и бегут во «внеполитическую сферу» — в так называемую «творческую свободу».

Я хотел бы сказать читателям вашей газеты, что «Вельт» их обманывает. Было бы еще терпимо, если бы обман этот совершался неумышленно, по незнанию.

Однако неправда ваша кажется мне столь тенденциозной, столь предумышленной, что я не могу избавиться от ощущения тщетности любых аргументов, обращенных к вам. Боюсь, что ни факты, ни логика вещей — ничто действующее на разум и сердце не сможет заставить «Вельт» отказаться от лжи.

Напечатав свою статью, редакция доказала, что мышление ее в данном случае паралогично, законсервировано на льду «холодной войны», надежно забронировано от проникающего действия даже самой безупречной аргументации и, следовательно, не подвержено влиянию как фактов, так и логики. Итак — не хочу скрывать,— решив написать это письмо, я имел в виду прежде всего ваших читателей.

«Вельт» приводит цитаты из нескольких советских статей, в которых подчеркивается значение темы современности и критикуются те литераторы или деятели кино, которые эту тему недооценивают.

Да, у нас печатаются такие статьи, и думаю, что они будут печататься и впредь. Но из этих статей и тенденциозно подобранных цитат ваша газета делает заведомо ложные выводы и обобщения.

Обобщения по частностям — нехитрый журналистский прием. Я до сих пор помню, как много лет назад одна зарубежная белогвардейская газетка перепечатала советскую заметку о том, что из Московского зоологического сада сбежал волк, снабдив ее огромным заголовком: «Волки на московских улицах».

Но это столь же устаревший и скомпрометированный прием, как и тот, которым воспользовались вы.

Как же обстоит дело в действительности?

Да, мы, советские писатели, в полном соответствии с желаниями читателей хотим, чтобы наша литература была связана с реальной жизнью, с современностью. Это желание полностью вытекает из нашего отношения к художественной литературе, которую мы считаем не только источником наслаждения, но и «зеркалом жизни», могучим средством воспитания в человеке высоких нравственных качеств.

И наша литература связана с жизнью и современностью. В этом одна из главных ее особенностей.

Я не могу быть голословным и предлагаю вам проделать следующий нехитрый опыт. Давайте назовем имена самых крупных советских писателей-прозаиков, как умерших, так и ныне здравствующих, и перечислим их главные произведения».

И далее я привел имена нескольких десятков советских писателей и названия их общеизвестных произведений, переведенных на десятки иностранных языков, свидетельствующих о том, что советские художники не только не пренебрегают темой современности во имя «бегства в творческую свободу», но «как раз наоборот» — активно разрабатывают в своих книгах, пьесах и киносценариях именно проблемы современной жизни нашего народа.

«Но раз все обстоит так благополучно, спросите вы,— продолжал я свой ответ редактору газеты «Вельт»,— почему же советские литераторы в своих статьях так настойчиво призывают творить на современные темы? Потому что мы хотим, чтобы книг, в которых читатель видит сегодняшний день, которые помогают ему жить и творить, любить и ненавидеть, было бы еще больше, но чтобы в их числе не было книг поверхностных и схематичных. Потому что стремление к изобилию духовных и материальных благ — это закон нашей жизни.

Мы часто пишем: больше заводов, обеспечивающих лучшие условия жизни народа! Следуя этой «логике», вы немедленно воскликнете: «Ага, значит, у них нет заводов, значит, советские люди не хотят строить заводы». Мы призываем — «больше школ, театров, больниц!» «Так, так! — усмехнетесь вы.— Значит, у них нет школ, театров, больниц, или народ не хочет их строить, а коммунисты заставляют». «И конечно,— скажете вы,— советские люди против «принуждения», они бегут в «творческую свободу», в

некую воображаемую телемскую обитель современного Запада, где можно не ходить в школу, заменить театр бурлеском, читать комиксы для малограмотных, плевать в потолок, восхищаться западногерманским экономическим чудом и голосовать за оснащение бундесвера атомным оружием». Примитивно? Но я лишь следую вашему методу доказательств.

Конечно, не все советские писатели пишут на темы непосредственной современности. Видимо, тех, кто работает над сюжетами недавней или далекой истории, вы и называете «беглецами» во «внеполитическую сферу», в «прошлое», в «творческую свободу».

И далее, приведя названия некоторых в то время только недавно появившихся произведений на историческую тему, я продолжал:

«Что ж, поговорим об этих (опять-таки известных) писателях. Может быть, вы объявите «внеполитическими» произведениями такие, как пронизанная ненавистью к старому, буржуазному миру дилогия К. Федина? Или «Абай» М. Ауэзова, роман, удостоенный Ленинской премии, этот гимн борьбе казахского народа за свободу? Или исторические романы Л. Никулина? Или «Глубокий тыл» Б. Полевого, книгу о тружениках войны и тыла, рассказывающую, как советские люди боролись за самое для них дорогое — за наш советский образ жизни, и, заметьте это, о хороших и честных немцах-антифашистах? Или отмеченную Ленинской премией драматургическую трилогию о Ленине Н. Погодина? Или романы Э. Казакевича?

Куда же «бегут» советские писатели? Я вам могу подсказать. Они, правда, не бегут, но едут на поездах и пароходах, летят на самолетах, спешат на передний край советской современности, туда, где кипит работа, туда, где особенно ярко проявляется мужество человека в его борьбе с трудностями, со стихией, туда, где живут герои их будущих книг.

Месяцы провела на заводе Г. Николаева, прежде чем написать свою «Битву в пути»; около года Д. Гранин работал диспетчером машинно-тракторной станции, чтобы написать роман «После свадьбы»; много лет провел Б. Полевой в городе Калинине, где живут и работают его героини — работницы-ткачихи; В. Катаев на строительстве Магнитогорска увидел героев своей книги «Время, вперед!».

Вам не нравится такой метод работы, такой стиль жизни? Это ваше дело. Но не пишите о нас неправду.

Я не буду вступать с «Вельт» в спор о пресловутой «свободе творчества», видимо, это бесполезно.

Вы хотите внушить своим читателям, что советские писатели пишут по приказу, по «диктату» государства и партии.

Старая песня!

Партия коммунистов не скрывает своей заинтересованности в связи литературы с жизнью, с современностью, в появлении таких книг, которые вдохновляли бы людей на строительство нового общества. Партия проявляет эту свою заинтересованность в статьях, написанных коммунистами, в выступлениях своих руководителей, помогает писателям изучать жизнь во всех ее проявлениях.

Но как далеко все это от смехотворной, вульгарной версии о «диктате», о «принудительном выборе» тем и сюжетов — клеветнической сказке, до сих пор состоящей на вооружении идеологов западного мира.

Вы привели цитату из моей статьи в «Литературной газете» как пример такого понимания литературы, которое влечет за собой якобы принудительное обращение к теме современности, которое порождает определенные требования к писателю. Естественно, что взгляд на литературу как на общественное служение несовместим с разговорами о пресловутой «независимости» писателя от общества, о творчестве «из самого себя».

Ваш великий соотечественник, который по печальной традиции нацистских времен, кажется, и поныне не в особой чести на западногерманских землях, рассказал как-то о споре, возникшем между пчелой и пауком. Последний обвинил пчелу, выражаясь на современном языке западной пропаганды, в «завербованности» и «зависимости», поскольку ей приходится собирать сок с сотен цветков, прежде чем сотворить свой «дом». Паук же, конечно, «независим» и «творит из самого себя». Помните, чьи это слова? Гейне.

Очевидно, паук был прав, хотя еще не было человека, который предпочел бы паутину пчелиному меду.

В своей статье «Вельт» пишет: «В этой нередко страстной полемике — касается ли она советской литературы или советского фильма — снова и снова встает вопрос о причинах, которыми обусловлена дистанция между худож-

никами и советской действительностью. Но никто не дает ответа на этот вопрос».

Вы правы. Никто не дает и не может дать. По очень простой причине: для подавляющего большинства советских писателей нет такой «дистанции» и не существует такой «проблемы». Есть споры, естественные в творческой среде, есть страсти и преувеличения, которые в спорах неизбежны. В планах некоторых киностудий на том или ином отрезке времени может быть тот или иной «крен». В этой связи могут появиться и появляются критические статьи, отстаивающие первоочередность современной темы. Все это есть. А вот желаемой вами «дистанции» нет.

Да, мы ратуем за современность в литературе и искусстве. Мы хотим, чтобы реальная жизнь и героические свершения народа в еще большей степени стали источником творческого вдохновения. И в то же время мы с наслаждением читаем хорошие произведения на исторические сюжеты.

Писать о современности нелегко. Но совсем не по тем причинам, которые хочется отыскать газете «Вельт». Советское общество находится в постоянном движении. Мы — свидетели и участники событий, не имевших прецедентов в истории. В литературе есть вековые традиции в описании крестьянства, рабочих, помещиков, капиталистов...

Но где искать образцы в изображении колхозников, рабочих — хозяев заводов, людей, раскрепощенных от оков старого мира?

Для того чтобы правдиво описать все это, надо знать жизнь, надо быть тесно, активно связанным с ней. Поэтому современность — для нас главное. Книги, проникнутые духом современности, помогают нам жить, строить, познавать самих себя, бороться с трудностями. Между прочим, эти наши вкусы распространяются не только на советскую литературу. Издавая многотысячными тиражами классиков всех времен и народов, мы нетерпеливо переводим каждую зарубежную книгу, правдиво отражающую те или иные стороны сегодняшней жизни народа. Почему? Да потому, что эти книги не только способствуют духовному взаимообогащению, но и помогают нам понять, чем живут и дышат народы. А разве это не основа для мира и дружбы между людьми?..»

Я чувствую, что несколько затянул цитирование моего тогдашнего ответа газете «Вельт». Но это кажется мне необходимым, и читатель сейчас поймет почему. Вот еще одна, на этот раз последняя цитата из моего ответа,— его заключительные абзацы:

«Простите за длинный перечень фамилий и названий. Я все-таки верю в человеческий разум и в неотразимость фактов. Я уверен, что они сильнее химер «холодной войны». Может быть, вам покажется это старомодным?.. Что до меня, то я верю в грядущий день, когда старомодной окажется «холодная война». Как бабушкин салоп. Как геббельсовские методы пропаганды.

Господин редактор! Я привел статью, опубликованную в «Вельт», целиком, чтобы наши читатели знали, сколь «объективна» ваша газета, когда дело касается советской культуры.

Не согласились бы вы перепечатать это мое письмо в своей газете?»

Итак, теперь моим читателям ясно, почему я столь подробно воспроизвожу свой ответ газете «Вельт». Мне хотелось бы, чтобы они знали, в чем заключалось его содержание, поскольку представляющая «свободный», на этот раз западногерманский, мир газета мой «Ответ» не только не опубликовала, но вообще оставила его «без ответа».

Поэтому, когда уже значительно позже советское издательство предложило мне снова воспроизвести «переписку» с газетой «Вельт» в одном из сборников, посвященных проблемам иностранной литературы, я охотно согласился, снабдив публикацию следующим примечанием:

«Я не возражал против перепечатки этого моего, написанного в 1959 году, письма не потому, что сегодня я написал бы его точно так, как и девять лет назад. Проходят годы, люди меняются, уточняется оценка произведений в результате проверки временем, проблемы, бывшие актуальными раньше, сменяются новыми.

Не меняется лишь одно: упорное желание наших идеологических оппонентов видеть в каждом нашем споре, в каждой выдвигаемой жизнью проблеме признак *«политического раскола» или «непреодолимого препятствия»*.

«Требуют больше произведений на современные темы»? «Значит, советские писатели *не хотят* их писать», а это, в свою очередь, означает, что они «не приемлют советскую действительность». Видите, как все просто обстояло в

1959 году. Не менее просто, чем теперь, когда наличие споров в нашей литературной среде западные аналитики объявляют признаком «оппозиционности», а отсутствие таковых — «подавлением».

Чрезвычайная прямолинейность, своего рода «арифметическая логика» пронизывают большинство подобных высказываний. Это нередко обусловливает и некоторую прямолинейность наших ответов. Разумеется, не все так просто обстоит в советской литературной жизни. И если у «противной стороны» мы обнаружили бы хоть малейшие признаки желания понять специфику нашего литературного развития (а не просто использовать ее в тенденциозных целях), конечно же, и мы в своих ответах уделили бы большее внимание всестороннему анализу ситуации, объективному рассмотрению конкретности литературного развития в связи с развитием общественным, политическим, государственным.

Но мы знаем, что любой подобный анализ будет отвергнут. Любой, кроме одного — кроме такого, который подтверждал бы правильность их, «западного», анализа.

Возможности доставить подобное удовольствие нашим противникам мы лишены. И не потому, что нас держит за руку «страшный цензор», а потому, что это было бы ложью. К большому сожалению для наших противников, на два решающих вопроса — «куда» и «с кем» — советские писатели отвечают: «к коммунизму» и «с партией». Но что при наличии таких ответов любой дальнейший, самый объективный анализ будет отвергнут оппонентами, так сказать, на корню — это известно.

Итак: поскольку за годы, минувшие с 1959-го, я не обнаружил в буржуазных публикациях изменения основных «принципов» в подходе к советской литературной жизни, мне показалось возможной и публикация без изменения моего письма в редакцию газеты «Вельт».

Это показалось мне целесообразным хотя бы потому, что письмо это упомянутая газета так и не опубликовала...»

Не скрою, дав согласие на повторное воспроизведение моего ответа (вместе со статьей газеты «Вельт», в связи с которой он и был написан), я все-таки питал тайную надежду, что, может быть, на этот раз, когда вопрос приобрел уже широкую гласность, читатели ФРГ получат возможность ознакомиться с полемикой.

Но увы! Предоставляя на своих страницах полную свободу клевете на советскую культуру, газета «Вельт», насколько это мне известно, еще никому не предоставила свободы защиты этой культуры.

* * *

Социализм отвергает буржуазную «свободу печати» как ложь, и это не удивительно.

Гораздо более показателен тот факт, что ее отрицают, высмеивают как фарс, клеймят за лицемерие многие люди западного мира, даже те, кто не питает никаких симпатий к коммунизму. Несколько лет назад в США вышла книга американского социолога и философа Эриха Фромма «Бегство от свободы». Фромм совсем не сочувствует социализму в марксистском понимании этого слова. Точнее, он антикоммунист, один из пропагандистов идей «конвергенции».

Тем не менее в своей книге он нападает на буржуазные средства «массовой коммуникации», считая, что они разрушают реальную картину мира и парализуют способность людей к самостоятельному мышлению. Известно, что газеты капиталистического мира подчеркивают свою приверженность «только фактам». Их издатели и редакторы уверяют, что не навязывают читателям своих мнений. Они дают факты — выводы за читателем.

На первый взгляд (если, конечно, согласиться, что буржуазные газеты ограничивают свою роль информацией) подобного рода практика служит гарантией «свободы мышления» читателей.

Однако Фромм решительно утверждает, что именно эта «фактология» является хитроумным способом парализовать способность публики к выводам и ассоциациям. «В этом смысле,— пишет американский философ,— буквально опустошительное влияние оказывают радио, кино и газеты. Сообщение о бомбардировке какого-то города и гибели сотен людей бесстыдно перемежается или прерывается рекламой мыла или вина. Тот же диктор тем же убедительным, вкрадчивым и авторитетным голосом, которым он только что внушил вам серьезность политической ситуации, теперь твердит вам об особенном аромате мыла, производитель которого платит за рекламное вещание. В очередном выпуске кинохроники за кадрами, показывающими торпедированный корабль, следуют кадры де-

монстрации мод. Газеты пишут о банальных мыслях или любимых кушаньях какой-нибудь восходящей кинозвезды так же подробно и серьезно, как о событиях большого научного или художественного значения. Из-за всего этого мы утрачиваем подлинный интерес к тому, о чем слушаем. Мы перестаем волноваться. Наши эмоции и критические суждения скованы, и в конечном счете наше отношение к происходящему в мире окрашивается налетом скуки и равнодушия. Во имя «свободы» жизнь теряет целостность; она уже составлена из множества кусочков, лишенных какого бы то ни было единства. Человек остался наедине с этими кусочками, как ребенок со строительным ящиком. Но разница в том, что ребенок все-таки знает, как выглядит домик, и, вглядываясь в строительные детали, находит им верное место в игрушечной конструкции, тогда как взрослый не представляет себе сути «целого», части которого попадают к нему в руки. Он растерян и испуган, он бессмысленно таращится на свои маленькие «кусочки».

Так пишет Эрих Фромм. Он упрекает буржуазную печать (радио, телевидение) в том, что она навязывает людям стандартное мышление и «разрозненные» желания, убивая в них стремление к какой бы то ни было осознанной цели. Они оглушены, забиты и деморализованы непрестанной бомбардировкой, которой подвергают их мозг и душу печать, радио и телевидение.

«Но если бы, прервав эту исступленную деятельность,— продолжает Фромм,— они задумались, то в их сознании мог бы возникнуть такой вопрос: «Если я получу эту новую должность, если куплю новый автомобиль, если смогу совершить это путешествие, то что же дальше? Что толку от всего этого? Неужели именно мне все это нужно? Неужели я гонюсь за чем-то, что предположительно должно сделать меня счастливым и что ускользает от меня, едва я добьюсь своего?» Если такие вопросы возникают у человека, то они пугают его, ибо ставят под сомнение саму основу всей его деятельности, понимание им смысла своих желаний. Поэтому люди стараются поскорее избавиться от этих тревожных мыслей. Усталые или подавленные, они чувствуют, как такие вопросы бередят им душу, и вновь устремляются в погоню ради достижения целей, которые кажутся им свободно выбранными...

Все это позволяет хотя бы смутно осознать истину о том, что современный человек находится во власти

иллюзии, будто он знает, что желает, тогда как в действительности он желает того, что обязан желать...»

Такова, по свидетельству Фромма, механика воздействия «свободной» буржуазной печати на «свободного» человека буржуазного мира. Однако проникнуть в суть этой механики дано далеко не всем.

И здесь мне хотелось бы, сделав некоторое отступление от темы, ответить на вопрос, нередко возникающий у людей, которые лично не сталкивались с практикой капиталистического мира.

Этот вопрос обычно формулируется примерно так:

— Конечно, там, на Западе, власть в руках банков и монополий. Однако трудно отрицать, что в буржуазной прессе, в радиопередачах и т. д. время от времени появляются критические материалы, которые по нашей терминологии следовало бы назвать самокритичными. Не противоречит ли это утверждению, что тамошняя печать всегда классова, то есть неуклонно проводит линию своих хозяев?

На этот вопрос необходимо ответить.

Не является ли и в самом деле парадоксальным то, что государство, основанное на эксплуатации и жестоко подавляющее всякие *реальные* посягательства на свое господство, позволяет критиковать себя в печати, разрешает забастовки и т. д.?

Разумеется, предположение, что государство, заинтересованное в своем господстве, может быть в равной мере заинтересовано в создании благоприятных условий для подрыва этого господства, было бы нелепым, противоречащим здравому смыслу.

Капиталист, жизненно заинтересованный в том, чтобы меньше платить и больше получать, и в то же время благоприятно относящийся к попыткам своих рабочих увеличить свою зарплату и, следовательно, снизить доходы хозяина,— такой капиталист мыслим разве что в рождественских сказках.

Нет, не о «свободе» здесь идет речь. Просто социальная структура любого классово-антагонистического общества такова, что буржуазное государство в своей обычной практике *не в состоянии* ликвидировать те завоевания, которые обрел рабочий класс в результате многолетней ожесточенной борьбы. И те случаи, когда коммунистическая печать

имеет возможность критиковать основы буржуазного строя, объясняются именно этим обстоятельством.

Пытаясь пропагандистскими приемами обратить свою слабость в силу, это государство объявляет те формы классовой борьбы, подавить которые оно не в состоянии, добровольно дарованной «свободой». При этом конкурентные схватки буржуазных партий, из которых ни одна не посягает на основы капиталистического общества, дележ правительственного пирога это государство также объявляет «свободой», а отражение этой конкурентной борьбы в печати — соответственно «свободой печати».

Однако вопросы могут быть продолжены:

— Чем же тогда объяснить легальное существование в ряде буржуазных государств коммунистических партий и их прессы? Ведь они-то заинтересованы именно в радикальном изменении самих устоев общества!

Но и компартии добились своей легализации также в жестокой классовой борьбе. Капиталистическое государство и сегодня делает все, чтобы не допустить коммунистов к микрофону или телеобъективу, все, чтобы тиражи их изданий не превышали десятков тысяч, все для того, чтобы заглушить голос этих изданий «исступленной» деятельностью своих средств «массовых коммуникаций». Всячески пытаясь — путем прямых или финансовых репрессий — свести на нет влияние подлинно свободной прессы, буржуазные идеологи одновременно выдают ее существование за свое благодеяние. Однако во всех случаях, когда соотношение классовых сил складывается в пользу буржуазного государства, оно немедленно «забывает» о всех «свободах» — запрещает компартию, бросает в тюрьмы ее деятелей, закрывает ее газеты и журналы, объявляет «незаконными» забастовки и жестоко их подавляет.

Так обстоит дело в реальности.

Однако вернемся к «свободе» буржуазной печати. Не будучи теоретиком, я, естественно, больше всего опираюсь на собственный опыт. В свое время в качестве редактора журнала «Иностранная литература», а позже, работая в «Литературной газете», мне доводилось и доводится близко сталкиваться с практикой западной прессы. И за эти годы мне не приходилось наблюдать ни одного случая, когда какая-либо из ведущих буржуазных газет, воспроизводя выступление какого-либо советского литератора, идущее вразрез вкусам и политическим симпатиям западного

мира, сделала бы это объективно. Никогда! И речь здесь идет не о прямых искажениях слов или мыслей (хотя и это случается нередко) — нет, десятилетиями шлифовавшаяся методология обмана располагает куда более изощренными способами.

Любой литератор, вольно или невольно сыгравший на руку буржуазной пропаганде, будет немедленно отрекомендован на страницах буржуазных газет и соответствующими радиоголосами как «выдающийся писатель», «отец русской демократии», как «наследник и хранитель лучших традиций русской литературы», как человек «неподкупной честности». Но стоит советскому литератору (пусть тому же самому!) высказать мысли, не соответствующие тем представлениям о советском обществе и его литературе, которые из года в год, из месяца в месяц создает буржуазная пресса, и об этом человеке будут писать и говорить в микрофоны не иначе как о «партийном функционере», «литературном чиновнике» и т. д. и т. п.

Путем бесконечных и многократных варьирований выражений вроде: «В здешних литературных кругах...», «В результате многих частных бесед...», «Из хорошо осведомленных источников...», «В сферах либерально настроенной интеллигенции...», «Здесь считают», «не сомневаются», «уверены» и т. д. и т. п., те, кого Ленин заклеймил презрительной кличкой «чернильные кули империализма», изо дня в день пытаются внушить западным читателям мысль о своей «многосторонней» осведомленности в советской культурной жизни и создать о ней извращенное представление.

* * *

В начале этой статьи мы уже говорили о том, что лозунг «свободы печати» предназначен буржуазными идеологами отнюдь не только для «внутреннего» употребления.

Под этим флагом антикоммунисты ведут наступление на социалистическую демократию вообще, и на советскую печать в частности.

И было бы неверно предполагать, что границы социалистических стран являются непреодолимым «санитарным кордоном» на пути буржуазных теорий,— вспомним, они не только не несут на себе явного антикоммунистического клейма, но, как правило, направляются за рубеж в привлекательно-«дружеской» упаковке.

Чем объяснить то, что и в социалистическом мире находятся люди, к этим теориям восприимчивые? Многими обстоятельствами. К ним относится степень политической зрелости человека, которая, в свою очередь, определяется и тем, давно ли данное общество встало на путь социализма, и соответственно силой традиций старого мира. К этим обстоятельствам следует отнести и те сложности, а иногда и временные противоречия, которые неизбежны на пути любых первооткрывателей, тем более социальных.

Убежден, что немалую роль в деле проникновения некоторых неверных представлений в сознание людей социалистического мира играет способность антикоммунизма паразитировать на этих сложностях и противоречиях.

«Забота» антикоммунистов о социалистической печати, несомненно, является одним из проявлений такого паразитирования. Используя естественное стремление передового в социально-экономическом смысле этого слова общества к критике своих недостатков, стремление к тому, чтобы печать этого общества все больше и больше становилась бы средством приобщения миллионов людей к активному участию в строительстве новой жизни, чтобы на ее страницах все чаще и чаще происходил бы обмен конструктивными мыслями и предложениями, направленными на укрепление мощи социалистического государства, антикоммунизм всячески пропагандирует тезис об отсутствии в нашем обществе подлинной свободы печати. Он объявляет, что заботится об этой свободе во имя «подлинного социализма»,— такова техника паразитирования.

В силу вышеизложенных причин на эту приманку поддаются не только многие из людей Запада, находящихся в плену капиталистических представлений, но и кое-кто из тех, кто считает себя коммунистами. И это не может не вызывать недоуменного сожаления.

В предании о троянском коне люди хорошо помнят первую его часть — о том, что греки при осаде Трои использовали это деревянное сооружение, чтобы спрятать в нем своих воинов-интервентов.

К сожалению, они часто забывают о том, что сами троянцы забыли о бдительности и, обманутые заверениями пленного грека Синона, собственными руками втащили коня в свой город, а когда он не проходил через ворота, разобрали часть крепостной стены...

* * *

Что ж, поговорим о нашей, советской печати. Но прежде всего мне хочется сказать несколько предварительных слов.

В отличие от буржуазного мира, мира, расстреливающего свободу не только на своих улицах и площадях, но за тысячи километров от собственной территории, обрекающего пишущего человека, осмелившегося говорить правду, на голод и нищету, мира, опутанного паутиной лицемерия, ханжества, мира злобного, жадного, своекорыстного и в то же время громко кричащего о своих «вольностях», мы, советские люди, отнюдь не настаиваем на том, что достигли полной свободы.

В. И. Ленин по этому поводу говорил, что мы далеки от мысли утверждать, что в нашем советском обществе достигнута полная свобода, поскольку такая *полная* свобода несовместима ни с элементами материального и духовного неравенства, ни, если уж быть последовательными, с государством.

Однако, подчеркивал В. И. Ленин, по сравнению с обществом буржуазным мы и сейчас пользуемся поистине великими завоеваниями свободы и демократии,— поскольку нет государственного акта в нашей стране, который не был бы принят в интересах миллионов людей, а не кучки богачей, пользующихся свободой в мире капитализма.

В свое время один из наиболее умных и агрессивных апологетов старого мира, любитель «крылатых фраз», Уинстон Черчилль сказал, что хотя и считает демократию (буржуазную, разумеется) несовершенной, однако предпочитает ее всем другим формам правления.

Что же касается нас, то, считая свою, социалистическую демократию еще далекой от совершенства, мы убеждены, что она во сто крат выше, человечнее и честнее, чем буржуазная демократия.

И тем не менее опять-таки во имя истины, во имя сознания людей, для которых не прошла бесследно тысячеустая буржуазная ложь, направленная против социалистической демократии, поговорим о нашей печати, рассмотрим направленные против нее главные антикоммунистические аргументы.

Наши политические противники утверждают, что советская печать «несвободна», поскольку возможность критики в ней ограничена.

И если в ответ на это пытаться приводить сотни, тысячи фактов критических выступлений наших газет, касающихся различных сторон жизни советского общества и работы наших правительственных и партийных органов, оппонент останется глухим к этим доводам. Ибо под критикой он в применении к социалистическому обществу всегда негласно подразумевает лишь ту, что направлена против основных устоев этого общества.

Да, мы заинтересованы в том, чтобы наша печать еще более широко отражала бы общественное мнение страны. Партия хочет, чтобы мысли, предложения активных участников социалистического строительства все громче и громче звучали бы со страниц наших газет и журналов.

Однако все это совершенно безразлично нашим врагам. Они хотят другого. Они согласились бы признать нашу прессу «свободной» лишь в том случае, если бы из рупора народа, из активного помощника партии она превратилась бы в пропагандиста антисоциалистических идей, стала бы изо дня в день подрывать основные социальные устои советского общества. Только тогда наша печать вызвала бы удовлетворение идеологов старого мира.

Вспомним: как только газеты, радио и телевидение Чехословакии оказались в руках людей, которые в ряде случаев сознательно, а иногда сами не отдавая себе отчета в том, чей социальный заказ выполняют, стали атаковать партию, ее руководящую роль, требовать реставрации буржуазного парламентаризма, то немедленно эти «массовые средства коммуникаций» были объявлены «свободными». Все антикоммунисты, все враги социалистической демократии, от южноафриканских расистов до американских империалистов, от греческих «черных полковников» до джентльменов с берегов Темзы, от китайских «леваков» до ревизионистов фишеровского толка, стали кричать о том, что чехословацкая пресса наконец обрела истинную свободу.

Ей расточали комплименты на тех же газетных страницах, где котировались биржевые курсы и поощрялась американская интервенция во Вьетнаме, перед теми же микрофонами, в тех же радио- и телестудиях, где за минуту

до этого изрыгалась хула и клевета на коммунистический образ жизни...

Да, советская пресса не нуждается в провокационных комплиментах своих классовых врагов. Убежденность, что хвала с «того берега» означает, что мы делаем что-то неправильно, не на благо социализму, вошла в сознание советских людей еще с первых дней революции. Эта убежденность основана на логике социальной борьбы, на опыте более чем пяти десятилетий коммунистического строительства.

Свобода советской печати означает многое. Она включает в себя право гражданина высказываться по серьезнейшим вопросам государственного и партийного строительства, бичевать любые отклонения от социальных и этических норм советского образа жизни, критиковать недостатки правительственного аппарата, открыто обсуждать предлагаемые партией и правительством реформы и законопроекты.

Было бы непростительным самохвальством утверждать, что наша печать, радио, телевидение идеально выполняют свои вытекающие из социальной структуры нашего общества функции. Они должны совершенствоваться, как и все наше общество, ибо стремление к всестороннему росту и совершенствованию заложено в самой природе социализма.

Но когда нам предлагают купить звание «свободных» ценой предательства интересов народа, когда уговаривают обрести «свободу» размывания тех социальных завоеваний, за которые отдали жизнь поколения революционеров и которые были упрочены и приумножены в полувековой борьбе партии и народа, то ответ может быть только один: «Нет!»

В 1968 году в связи с очередной антисоветской кампанией (по поводу осуждения некоторых литераторов, распространявших клевету на нашу страну) австралийский журнал «Риэлист» опубликовал своего рода «симпозиум мнений» относительно свободы в Советском Союзе вообще и свободы печати в частности. В нем приняли участие десять писателей. Слова одного из них, Нормана Фрихилла, мне бы хотелось привести.

«В течение пятидесяти лет мировая пресса вела непрерывную кампанию против Советского Союза. Никакая ложь не считалась слишком глупой или слишком гнусной

для печатания — начиная от национализации женщин и кончая обвинениями, что Советский Союз — это-де агрессор, против которого мир должен вооружаться. Лживые басни, разоблаченные и опровергнутые, бесстыдно публиковались вновь и вновь через определенные промежутки времени.

И так продолжается до сих пор. Вблизи границ СССР расположены американские военные базы, и вокруг них рыскают подлодки, вооруженные «поларисами».

В существующей международной обстановке социалистическая страна нуждается в законах, отличающихся от законов капиталистических стран, которые знают, что их не окружает активно действующий, неумолимый, вездесущий и (не говоря уже об этом) горластый враг. Это бесспорно. Справедливо можно спорить и доказывать, что пришло время какие-то из этих законов изменить.

Но тогда не пора ли также изменить и некоторые законы в западных странах, а также и в нашей.

Лицо, нарушающее законы своей страны, знает, что его ждет наказание. Так почему же эти писатели пошли на сделку с заведомыми врагами своей страны?

И разве человек, тайно сносящийся с заведомыми врагами своей страны и их агентами, вправе ждать снисходительного к себе отношения? Или надеяться, что его вообще никак не накажут?..

Как обычно бывает в спорах, иные у нас обнаруживают склонность к преувеличениям. И в прошлом и сейчас в Советском Союзе не было и нет недостатка в откровенных критических писательских произведениях, хотя капиталистическая пресса и старается создать противоположное представление. Писатели же, вокруг которых идет дискуссия сейчас,— это жертвы антисоветской пропаганды насчет свободы, которые еще не знают, каким ограничениям эта свобода подвергается у нас. Один американский издатель недавно поведал (об этом сообщалось в газетах), что «некто» дает инструкции ведущим американским издателям, каких писателей им печатать *не надо*.

Так почему же правительство социалистической страны, окруженной неустанно действующими врагами, должно позволить какой-то группе писателей делать, что им захочется, в ущерб своей стране? Перед кем это правительство несет ответственность — перед горсткой людей или перед всей страной?

Протестам (австралийских писателей) также с восторгом «создают прессу» и другую рекламу известные всем заклятые враги социалистов и либералов во всем мире. Я не хочу, чтобы меня нашли в одной с ними компании».

Я позволил себе привести эту длинную выдержку для того, чтобы все знали, что и там, в западном мире, есть люди, знающие подлинную цену буржуазным «свободам».

Несколько десятков лет назад великий Ленин сказал:

«Капиталисты называют свободой печати свободу подкупа печати богатыми, свободу использовать богатство для фабрикации и подделки так называемого общественного мнения».

Кто решится с чистой совестью утверждать, что сегодня в мире буржуазной печати что-либо изменилось?

Именно поэтому социализм отвергает буржуазную легенду о «свободе печати». Пропаганде «равных возможностей» для капиталистов и народа социализм противопоставляет теорию и практику социалистической печати, созданной для открытой и бескомпромиссной защиты интересов народа, являющейся его орудием в деле строительства нового, коммунистического мира.

О СВОБОДЕ МНИМОЙ И ПОДЛИННОЙ

Буржуазный мир ни на минуту не прекращает антисоветской пропаганды. Ей посвящены десятки радиочасов в сутки и сотни газетных статей ежедневно. Буржуазные журналы от чисто политических до литературных печатают нескончаемые лживые статьи о «природе» и «истории» нашего советского строя и Коммунистической партии. Шумной, крикливой, кликушествующей толпой идут на нас чернильные кули капитализма. Бьют барабаны, захлебываются трещотки, стреляют хлопушки, шуршат доллары, сотрясаемый воздух колышет грязноватые, потрепанные флаги антикоммунизма — главной идеологии современного империализма.

Наши идейные враги пытаются представить коммунизм как тиранию, противопоставить ее «свободному миру» буржуазии. От имени этого «свободного мира» выступают Соединенные Штаты Америки, той самой Америки, в которой, как писал еще много лет назад Ленин, «мы имеем самую свободную республику, самую демокра-

тическую, но это нисколько не мешает тому, что империализм там действует так же зверски, что там не только линчуют интернационалистов, но что толпа вытаскивает их на улицу, раздевает донага, обливает смолой и зажигает».

«Мы — это свободный мир! — оглушительно кричит буржуазная пресса.— Свобода! Да здравствует свобода!» «В Советском Союзе нет свободы!» — провозглашает «Лайф»-протодьякон. «Нет свободы, нет свободы!» — автоматически откликаются на империалистическом журнально-газетном клиросе.

Что ж, давайте поговорим о свободе, достопочтенные леди и джентльмены. Мы охотно принимаем эту тему для обсуждения. И пусть не сочтут нас невежливыми, если мы с самого начала признаемся, что не желание убедить оппонента руководит нами в данном случае. В конце концов, ведь вежливость — это не категорический императив, а стремление заставить антисоветчиков отказаться от хорошо оплаченных взглядов свидетельствовало бы о нашей плохой осведомленности о нравах буржуазного мира и, следовательно, о той самой простоте, которая подчас бывает хуже воровства.

Нет, тема свободы интересует нас сама по себе. Очень интересует.

Ведь в новой Программе КПСС записано: «Коммунизм выполняет историческую миссию избавления всех людей от социального неравенства, от всех форм унижения и эксплуатации, от ужасов войны и утверждает на земле Мир, Труд, Свободу, Равенство, Братство и Счастье всех народов». Так что тема «свободы», а следовательно, и «равенства» и «демократии» — это наша тема. Ведь не «Лайфу» же, за зеркальной витриной которого линчуют людей, торгуют человеческой жизнью и совестью, травят и заключают в тюрьму инакомыслящих, подобает рассуждать о свободе.

* * *

Мы не уверены, есть ли в истории человеческого мышления понятие более запутанное и противоречивое, чем свобода. Это удивительно емкое слово подчас вмещало и еще до сих пор вмещает в мире капитализма прямо противоположное его смыслу содержание.

Борьба первобытного человека за свободу ограничивалась борьбой с природой. Однако с тех пор, как человечество обрело способность мыслить в современном смысле этого слова, в ушах его не переставая зазвучали самые противоречивые толкования свободы и самые разнообразные призывы к ней.

«Свобода означает неограниченность ничем не связанных действий индивидуума»,— говорили одни. «Нет свободы, кроме внутреннего сознания ее»,— утверждали другие. «Человек свободен по природе своей»,— провозглашали одни. «Смирись, гордый человек»,— взывали другие. «Я мыслю, следовательно, я существую»,— заявлял философ. «Освободи себя от всех мыслей, и тогда даже горячие угли окажутся для тебя холодными»,— отвечал ему другой. «Вперед, к свободе, к знанию!» — призывали французские энциклопедисты. «Назад к Канту», «Назад к Гегелю», «Назад к Декарту», «Назад к святому Фоме»,— стали начиная со второй половины прошлого века заклинать человечество дряхлеющие буржуазные философы.

В Англии, в Оксфордском университете, мне пришлось долго беседовать с одним из студентов — будущим специалистом по древнегреческой литературе.

Из ста, условно говоря, бесед, которые мне приходилось вести в капиталистических странах, минимум девяносто пять обязательно касались проблемы и концепции свободы. На этот раз мой собеседник, убежденный эллинист, критически настроенный к современности, утверждал, что только в Древней Греции человеческий дух достиг полной свободы самовыражения и одним из свидетельств этого явилась древнегреческая литература.

Я заметил, что довольно странно видеть максимальное проявление свободного духа в государстве, в котором рабов было примерно в двадцать раз больше, чем свободных людей, и что нам, марксистам, несмотря на глубочайшее уважение к бессмертным достижениям культуры Древней Греции, античная философия во многом представляется все же философией рабовладельцев.

Как и следовало ожидать, мы не пришли к общему мнению о том, что же такое свобода духа, и это меня опять-таки не удивило: к подобному же результату мы приходили и в идеальных девяноста пяти случаях из ста, когда спор касался проблемы свободы.

Собственно, за многие тысячи лет человеческой сознательной истории людям к этому можно было бы уже привыкнуть. Римские рабы под водительством Спартака восстали во имя свободы. Но античный философ Демокрит, которого мы, пользуясь современной терминологией, назвали бы «прогрессивным», поскольку он был материалистом, тем не менее советовал гражданам, на этот раз во имя свободы рабовладельцев, уничтожить как хищных зверей тех, кто восстает против системы рабства.

В течение полутораста лет, вплоть до революции 1789 года, французская аристократия в своих петициях к правительству всегда требовала свободы. Разумеется, она имела в виду свободу пользования своими привилегиями, которые автоматически сводили на нет свободу буржуазии, горожан.

А французская буржуазия того времени шла на штурм Бастилии, как известно, тоже под лозунгом свободы, имея в виду ограничение прав аристократии и свободу действий для своего класса.

«Нет другого такого слова,— говорил Морис Торез,— первоначальное значение которого было бы так искажено, урезано и которое употреблялось бы так часто в противоположном смысле, как слово «свобода». И если это утверждение справедливо по отношению к прошлому человечества, то оно во сто крат вернее, если говорить о современности.

...Нам хочется начать с комплимента современным буржуазным пропагандистам и идеологам. Определение «свободный мир» — это, конечно, словесная находка, если, разумеется, не быть излишне щепетильным в употреблении слов и понятий. Потому что в применении к современному империализму слова «свободный мир» звучат так же ошеломляюще парадоксально, как вывеска «Тихая обитель» над публичным домом или лозунг «Все люди братья» в подвале, где собирается для дележа добычи банда гангстеров.

Однако ложь должна быть колоссальна, утверждал д-р Геббельс, а он понимал толк в этом деле. С точки зрения колоссальности и, мы бы сказали, оригинальности лжи авторов термина «свободный мир», разумеется, следует поздравить с удачей.

Подумать только: отныне и во веки веков все государства, основанные на эксплуатации человека человеком,

объявляются свободным миром. Все, от Южно-Африканской Республики до сайгонского режима. Кровавый режим в Южной Корее, колониальные системы Африки — все это, видите ли, тоже «свободный мир»!

В этом мире слово «свобода» расщеплено подобно атомному ядру, с тем чтобы его хватило для прикрытия любого обмана, любой несправедливости. Эксплуатация человека человеком называется «свободой труда». Избирательная система, при которой в парламенте не оказывается ни одного рабочего, ни одного крестьянина, объявляется «свободой выборов». Право капиталистов владеть типографиями, газетами, подкупать журналистов, травить сторонников мира и коммунистов, разжигать расовую ненависть и раздувать атомный психоз именуется «свободой печати». Любая подлость, совершенная в интересах капитала,— все это проявления «свободы» в «свободной стране».

И в то же время все ответные действия людей: рабочих — в защиту своего труда, коммунистов — в защиту своих убеждений, угнетенных народов колониальных стран — в защиту своего права на жизнь, сторонников мира — против атомной войны, черных и желтых — в защиту расового равноправия,— все это объявляется кощунственным посягательством на «священные свободы» и подлежит суду. А уж «судьи, лакействующие перед буржуазией, умеют сводить на нет даже обеспеченные конституцией свободы, когда дело касается борьбы труда и капитала» (В. И. Ленин).

«Свободный мир» — это спрут, протянувший свои щупальца к сердцу, мозгу и рукам человека. Он предлагает деньги за право высосать их до конца. Если человек попытается ответить: «это не продается»,— он подвергнется травле. Если соблазнится, сдастся, предаст то, чему верил раньше,— то будет оплачен.

«Свободный мир» зовет каждого на путь предательства. Для этого нужно лишь произнести магическую формулу: «я выбрал свободу», фразу, которая уже давно в условиях капитализма стала синонимом, означающим: «я отрекаюсь от всего, во что верил. Я предаю товарищей и продаю себя».

Мне довелось побывать в Японии и познакомиться с бытом и условиями работы многих японских писателей. Я встретил среди них немало талантливых людей. Но чтобы жить в элементарном достатке, у них есть только один

путь: закабалить, продать свой талант и свои руки одному из сотен журнальчиков-пиявок, тех, что выходят огромными тиражами, печатая бульварщину, граничащую с порнографией.

Продай им свое перо, и тогда у тебя будут деньги, и большие деньги. Правда, отныне ты станешь рабом своего издателя. Он заставит тебя вставать в пять утра и с шести садиться за работу. Ты будешь обязан написать для него за один день рассказ, за неделю — повесть, за месяц — роман, и при этом определенного содержания.

Разумеется, Япония — это тоже «свободный мир», и никто не вправе заставить тебя продать себя. Ты имеешь охраняемое законом право писать то, что хочешь, писать свой роман годами и говорить в нем то, что считаешь правдой. Но если ты умрешь с голоду или будешь безрезультатно слоняться по издательствам, предлагая свой роман, то это уж твоя забота. Кто в «свободном мире» может принудить издательство брать то, что оно не хочет?

Обо всем этом рассказывали мне многие литераторы Японии, и в том числе одна из старейших писательниц — Ногами Яико. Помню, я задал ей наивный вопрос: почему в Японии так мало появляется хороших книг на современные темы, правдивых книг о сегодняшней жизни японского народа?

Теперь я уже знаю ответ.

Однажды мне довелось прочесть стихи одного из известных французских писателей — Эрве Базена, поэта и романиста. Вот несколько строк из них:

«Он черным был, была она белой, но пела любовь, наплевав на закон, и вторили песне она и он... Он черным был, была она белой. Когда же два тела сгорели в костре, то пепел их был одинаково сер». Это стихотворение называется «Благочестивая песня».

Я прочел его в тот же день, что и лондонскую газету «Санди таймс». Эти два факта ассоциировались в моем сознании потому, что на первой странице английской газеты было напечатано большое фото, запечатлевшее африканскую семью: отца с ребенком на руках и молодую женщину-мать. Эти люди были сфотографированы на одной из лондонских улиц, а подпись под фотографией поясняла: «Г-н Луис Гиранду-Ндьяй, советник посольства республики Берег Слоновой Кости, надеется, что его четырехмесячные поиски квартиры в Лондоне приходят наконец к

завершению». В нижерасположенной корреспонденции говорилось, что африканский дипломат высшего ранга не может в течение уже четырех месяцев снять в Лондоне квартиру и что он, возможно, попросит свое правительство отозвать его из города, где цветной барьер действует так же неумолимо, как и в Нью-Йорке... Как в Нью-Йорке!

Много лет назад В. И. Ленин писал: «...положение негров в Америке недостойно цивилизованной страны: капитализм *не может* дать *полного* освобождения ни даже полного равенства... Позор Америке за положение негров!»

Что же изменилось с тех пор?!

А вот еще строки из стихов Эрве Базена, названных «Анкета»:

«Адрес? В мой адрес упреки летят: работаешь, платишь налоги и все же не можешь пальто купить для жены. Занятия? Чем бы ни занимался, товаром не был: не продавался».

Несколько лет назад я встречался с Эрве Базеном в его доме под Парижем, в местечке Шель. Он, этот очень далекий от коммунизма человек, говорил мне тогда:

«Писатель целиком зависит от прессы и от издателя. Нет, издатель никогда не скажет писателю прямо: не пишите прогрессивной книги, не ставьте острых, жизненно важных для народа вопросов. Но если вы расскажете ему, что задумали такую книгу, он пожмет плечами и ответит: «Разумеется, вы вольны писать о чем угодно. Но уверяю вас, такая книга не будет читаться. Публика ждет совсем другого. Я не могу рисковать, издавая такую книгу. Я разорюсь на ней. Если вам пришло в голову разориться самому, не заставляйте меня следовать вашему примеру...»

Если уже зашла речь о Франции, то мне хочется вспомнить другую свою встречу, на этот раз с известным кинорежиссером. Его зовут Андре Кайят.

Мы беседовали с Кайятом в его «бюро» на улице Ля Боэси, на углу Елисейских полей. В то время он недавно поставил нашумевший во Франции фильм о молодежи «Перед потопом». Я знал о цензурных злоключениях этой разоблачающей буржуазные нравы и рисующей безотрадные судьбы молодых французов картины. Но мне хотелось узнать подробности, так сказать, из «первоисточника».

И Кайят — я хочу заметить, что, как и Базен, он весьма далекий от коммунизма человек,— рассказал мне о двух ступенях французской киноцензуры. Вопиющее лицемерие буржуазных свобод проявляется и здесь. На этот раз в том, что ни одна из «комиссий» якобы не читает сценарий, а потом не судит о фильме с политической точки зрения. Они оценивают произведение лишь «с точки зрения его рентабельности, возможности экспорта и т. п.».

Надо ли говорить, что именно по этим «чисто коммерческим» причинам первая комиссия потребовала исправления сценария «Перед потопом». Кайят внес некоторые изменения. Но когда фильм был снят, то картину все же запретили. Кайят забыл еще об одной силе, которая на этот раз взяла на себя инициативу запрещения,— церковь. За ней всегда остается право объявить политически неугодный фильм безнравственным.

В конце нашей беседы Андре Кайят, как бы подводя итоги, сказал: «Впрочем, может быть, я и не прав, нападая на цензуру, на церковь. Может быть, дело было совсем в другом и виноват непосредственно месье Бидо (тогдашний министр иностранных дел.— *А. Ч.*), который посмотрел картину накануне своей поездки в США по поводу займа. Я был тогда в просмотровом зале и ясно слышал, как он сказал: «Что ж они думают, что я поеду в Вашингтон просить денег вот с такой картиной, живописующей разложение Франции?..»

Да, тысячу раз был прав Ленин, который десятилетия тому назад писал:

«В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствуют массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не может быть «свободы» реальной и действительной. Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин писатель? от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в романах и картинах?..

Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания».

Так обстоит дело со свободой в «свободном мире».

* * *

На заре нашей революции В. И. Ленин сказал:

«Нас, большевиков, постоянно обвиняют в отступлении от девизов равенства и братства. Объяснимся по этому поводу начистоту».

Произнося эти слова, Владимир Ильич, конечно, меньше всего имел в виду возможность в чем-либо убедить буржуазных клеветников. Однако он считал необходимым, так сказать, внести ясность в постановку вопроса о «равенстве и братстве», тесно связанного с марксистской концепцией свободы. Не один раз касался Ленин в своих речах и трудах проблемы свободы и демократии в стране победившего пролетариата. Его высказывания и сегодня остаются непревзойденными образцами марксистского анализа одного из самых сложных и запутанных философами, теологами и политиками понятия.

Есть ли смысл после всего того, что было сказано Лениным о свободе и демократии для подавляющего большинства народа, для трудящихся, снова касаться проблемы свободы в советском обществе?

Нам кажется, что есть. Во-первых, потому, что высказывания нашего великого учителя относились к Советскому государству на самой ранней ступени его развития. Во-вторых, потому, что за прошедшие десятилетия буржуазные клеветники газетно-журнального и, так сказать, академического толка снова нагромоздили вороха обывательской чепухи, пытаясь противопоставить «свободный мир» современного империализма «коммунистической тирании».

Итак, что же такое наконец подлинная свобода? Как проявляется она в капиталистическом мире, мы уже говорили. Но может быть, свобода — это вообще фикция, идеал недостижимый и противоречащий человеческой природе, и как утверждают философы-теологи, «царство божие внутри нас», и свобода может быть достигнута только на пути морально-этического самосовершенствования человека, отделенного от общества? Может быть, правы современные экзистенциалисты, которые видят смысл жизни в обособлении от общества, в своеобразии личной позиции, в «решениях», которые каждый раз в новой ситуации принимает человек?

Может быть, об истинной свободе говорили анархисты и их современные мелкобуржуазные последователи, утверждающие, что только в отсутствии всякого государства,

партии, всякой организации, всяких законов и норм поведения человека и заключается «раскрепощение» личности?

Может быть, наконец, свобода, пролетарская демократия, как утверждают некоторые ревизионисты, должна стать своего рода синтезом буржуазных свобод и социализма?

Известно, что марксисты решительно отвергают все эти идеалистические концепции свободы. Они рассматривают свободу как сознательный выбор определенного исторически возможного пути. Классическое марксистское положение о переходе к социализму как скачке общества из царства слепой необходимости в царство свободы означает, что, познавая объективные законы развития природы и общества, мы активно и сознательно превращаем слепую, непознанную необходимость в свободу.

Социализм и коммунизм несовместимы с подлинной свободой, утверждают буржуазные фальсификаторы. Да, отвечаем мы, он действительно несовместим, но только с такой концепцией свободы, которая смешивает ее с индивидуализмом, частной собственностью и правом человека эксплуатировать ему подобных.

Мы утверждаем, что социализм и в гораздо большей степени коммунизм воплощают в себе новую и высшую форму свободы. И на путь завоевания этой свободы советский народ стал в октябре 1917 года.

Общеизвестны слова Ленина о том, что, взяв власть в свои руки, мы на первом этапе строительства социализма обеспечиваем «свободы» и демократию *не* для всех, а *для* трудящихся и эксплуатируемых масс в интересах их освобождения от эксплуатации. Эксплуататоры будут беспощадно подавляться — говорил Ленин. Центр тяжести передвигается *от* формального *признания* свобод (как было при буржуазном парламентаризме) *к* фактическому обеспечению *пользования* свободами со стороны трудящихся, свергающих эксплуататоров, например, от *признания* свободы собраний к передаче всех лучших зал и помещений рабочим, от *признания* свободы слова к *передаче* всех лучших типографий в руки рабочих и т. д.

Так учил Ленин. Он не забывал напомнить при этом, что справедливости и равенства эта первая фаза коммунизма дать еще не может, что различия в богатстве, и различия несправедливые, еще останутся, но эксплуатация человека человеком станет уже невозможной.

Мы уже говорили, что подлинная свобода человека начинается тогда, когда миллионы людей сознательно и добровольно берутся за дело, научно обоснованное и исторически закономерное,— дело строительства лучшего мира.

И мне хочется в этой связи рассказать об одном эпизоде теперь уже большой давности.

Это было время нашей первой пятилетки. Трудное, романтическое, жестокое, голодное и вместе с тем светлое.

Да, оно было трудное, потому что решалась задача в кратчайший срок переделать экономику нашей бедной, отсталой, измученной недавней войной и интервенциями страны. Жестокое, потому что надо было сломить кровавое сопротивление капиталистических элементов города и особенно деревни, голодное, потому что революционным путем взрывались старые уклады, на которых зиждилась экономика государства, и огромное количество средств вкладывалось в тяжелую индустрию за счет производства средств потребления.

И вместе с тем это была романтическая пора, когда охваченный энтузиазмом советский народ переделывал облик нашей страны.

В то время я, семнадцатилетний парень, работал на московском «Электрозаводе». Для меня и для тысяч людей, бок о бок с которыми мне довелось работать, завод стал родным домом. Охваченные подлинным творческим горением люди были неразрывно связаны не только с заводом, нет, но со всеми новостройками страны. Наша личная, трудовая и общественная жизнь была слита воедино. Мы мало философствовали, и теоретическая сторона концепции свободы нас, комсомольцев, да и наших старших товарищей — рабочих — мало занимала.

Но в один прекрасный день неожиданно пришлось с ней столкнуться. Это случилось тогда, когда на завод приехала группа деятелей реформистских профсоюзов из Скандинавских стран и они пожелали встретиться с советскими рабочими, чтобы, так сказать, «просветить» их.

Мне никогда не забыть тот вечер. Мы собрались в цехе, освещенном сотнями электроламп, проходивших испытание на специальных стендах. И тогда профсоюзный «просветитель», обращаясь к нам, выразил удивление: как это мы можем существовать без парламента буржуазного типа, с одной-единственной партией, с газетами, все страницы которых заняты сообщениями о новостройках и коллекти-

визации, с профсоюзами, которые не организуют забастовок,— словом, с отсутствием «свободы»?

Первое время мы молчали, и оратор, очевидно, принял это за замешательство.

Мы и в самом деле были в некотором замешательстве. Мы размышляли. Свобода? О какой свободе он нам говорит? Этот завод — наш дом. Мы приходили в этот дом рано утром, если работали в дневную смену, вечером, если выходили в ночную. Потом мы учились в разных кружках, на разных курсах, проводили собрания, спорили, дрались за первое место в соревновании, ездили на другие заводы для обмена опытом, вместе ходили в театры и в кино, влюблялись в девушек, которые работали бок о бок с нами, залпом глотали международные сообщения в газетах, мечтали, ели в столовой суп с головизной, получали ордера на пальто и ботинки, выезжали в деревню помогать ликвидировать кулачество как класс и агитировать за колхозы, читали Ленина, определяли свои позиции в борьбе партии с правым и левым уклонами, любовались огнями, которыми был иллюминирован наш завод в революционные праздники, писали стихи и очерки в заводской многотиражке, выдвигали встречные промфинпланы, и в этом заключалась наша жизнь, наша вера, наше счастье!

И вдруг пришелец из другого мира, диковинный марсианин, что-то бубнит нам о парламенте, о партиях, как будто может быть что-то лучше нашего советского ЦИК, как будто нам нужны какие-то партии, кроме нашей родной Всесоюзной Коммунистической партии большевиков!

И тогда мы подумали, что именно в этой, исполненной романтического пафоса, трудной, но сознательно выбранной нами жизни и заключается дорогая нам свобода и что мы сочли бы грубейшим насилием, если бы кто-нибудь попытался заставить нас отказаться от всего этого в угоду чуждой нам, ненужной, иной «свободе».

Все это, стараясь придерживаться необходимых норм «парламентаризма», мы и высказали пришельцам из другого мира.

Боюсь, что они ничего не поняли или решили, что мы их обманываем.

С тех пор прошло много лет. Но время остановилось для буржуазных умов или проходит бесследно для них. И когда сегодня в нашей стране люди осваивают целину или взлетают в космос, наши буржуазные оппоненты по-

прежнему кричат, что у нас нет свободы и что советских людей надо спасать от самих себя.

Нет, мне кажется, неверно думать, что мы здесь встречаемся с элементарным жульничеством и что наши критики сознательно называют белое черным. Очевидно, дело здесь обстоит несколько глубже. Проблема, может быть, заключается в том, что идеологи буржуазного мира убеждены, что «рожденный ползать летать не может» и что в условиях свободы человек, следуя неистребимым свойствам своей натуры, должен был бы неминуемо пытаться вскочить на шею другого человека, тащить в свое логово все, что плохо лежит, и, будучи «свободным индивидуалистом», плевать на судьбы себе подобных.

Проповедникам такой философии может искренне казаться, что если люди строят свою жизнь на совершенно иных принципах, срываются с насиженных мест, чтобы поднять тысячи гектаров целины, объединяются в бригады коммунистического труда, единодушно голосуют за партию, исповедующую идеалы коллективизма и равенства, оставляют материально более выгодную работу и переходят на отстающий участок, чтобы помочь товарищам, принимают Программу построения коммунистического общества,— если они делают все это и многое другое в таком же духе,— значит, свободы нет, значит, людей *заставляют* делать то, что они делают, поскольку человек — неизменяемый эксплуататор, скопидом, эгоист и индивидуалист — по доброй воле ничего подобного делать не может и не будет.

Да, нашим оппонентам не дано понять, что мы, советские люди, понимаем свободу не как «всевластие левой ноги», не как право человека пытаться создать свое благополучие за счет ближних, не как призыв добиваться счастья за счет несчастья других, не как право за большие деньги создавать для себя рай земной, в то время как другим, живущим в трущобах, небо кажется с овчинку,— а, так сказать, совсем наоборот.

Для нас свобода заключена в обеспеченной государством и охраняемой законом возможности строить новую жизнь, строить будущее.

Если наш человек хочет свершить нечто такое, что, принеся ему радость, не ухудшит, а улучшит жизнь его товарищей, если он хочет духовно расти, учиться, хочет изобрести нечто такое, что облегчит труд человека и уве-

личит его производительность, если он хочет написать книгу, прославляющую дружбу между людьми, или книгу, бичующую те недостатки и препятствия, которые стоят на пути строителя коммунизма, то он свободен это сделать. Его свобода безгранична, если он пользуется ею во имя строительства общества, в котором осуществится равенство и братство между людьми, общества, предсказанного всем ходом предыдущей истории, теоретически обоснованного классиками марксизма. Именно в этом смысле мы и говорим о свободе как о «познанной необходимости», поскольку никому не дано обрести успех, борясь за дело, осужденное историей или несовместимое с логикой ее поступательного движения.

Мы далеки от мысли идеализировать свое находящееся в развитии общество. В этой связи вспоминается один эпизод. Как-то мне пришлось присутствовать на рабочем собрании. Докладчик рассказывал о нашей Конституции. Это был «свой» докладчик, мастер этого же завода, мастер отличный, но пропагандист еще недостаточно опытный.

Доклад кончился, стали задавать вопросы. И среди них был задан и такой:

«Вот вы сказали, что в капиталистическом обществе нет настоящей свободы и демократии, нет равенства. Это, конечно, верно. Ну, а у нас? Разве у нас все равны? Один получает такую-то зарплату, а другой куда меньше. Один живет в хорошей квартире, а другой — в коммунальной. Одни живут в городах, для них и театры, и кино, и вузы, и асфальт на улицах, а другие — в деревне. Как же это получается? Значит, свобода-то не для всех одинаковая?»

Мне показалось, что докладчик смутился. Потом нахмурился. Видимо, он был недоволен товарищем, задавшим «каверзный» вопрос, и еще больше собой за то, что не находит слов для убедительного ответа. А потом сбивчиво и, прямо скажем, не очень доказательно начал говорить, что квартиры и театры — это не главное и что о зарплате говорят прежде всего эгоисты и т. д.

Нет, докладчик был неправ. Мы уже говорили выше о том, как ставил вопрос о справедливости и равенстве в первой фазе коммунизма В. И. Ленин.

Напомним и другие слова Владимира Ильича:

«Маркс не только точнейшим образом учитывает неизбежное неравенство людей, он учитывает также то, что один еще переход средств производства в общую собствен-

ность всего общества («социализм» в обычном словоупотреблении) *не устраняет* недостатков распределения и неравенства «буржуазного права», которое *продолжает господствовать,* поскольку продукты делятся «по работе».

Да, мы далеки от мысли утверждать, что в нашем советском обществе достигнута полная свобода, поскольку такая *полная* свобода несовместима ни с элементами материального и духовного неравенства, ни, если уж быть последовательными, с государством.

Однако по сравнению с обществом буржуазным мы сейчас пользуемся поистине великими завоеваниями свободы и демократии, поскольку нет дела, нет партийного решения, нет государственного акта в нашей стране, который не был бы принят в интересах миллионов людей, а не кучки богачей, пользующихся свободой в мире капитализма.

Но только на высшей фазе коммунизма, приводит В. И. Ленин слова Маркса, после того как исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда; когда вместе с всесторонним развитием людей вырастут и производительные силы и все источники общественного богатства польются полным потоком,— лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права и общество сможет написать на своем знамени: «Каждый по способностям, каждому по потребностям».

«Только теперь,— продолжал Ленин,— мы можем оценить всю правильность замечаний Энгельса, когда он беспощадно издевался над нелепостью соединения слов: «свобода» и «государство». Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства».

* * *

Итак, следуя ленинскому завету, мы никогда не уклонялись от разговора о свободе «начистоту». Мы не боялись этого разговора раньше, а сейчас даже, так сказать, приветствуем его. Да, мы еще не достигли той фазы коммунизма, которая явится царством подлинной свободы, в том единственно правильном значении этого слова, в котором его употребляли Маркс, Энгельс и Ленин. Но мы уже завоевали тот уровень свободы в интересах миллионов людей, по сравнению с которым буржуазная демократия представляется то никелированной клеткой, то волчьей

ямой, хитроумно прикрытой западней для трудящихся, несущих ярмо капиталистического рабства.

Любопытно: чем глубже проникают империалисты на территорию чужих стран, чем больше строят там военных баз, чем безжалостней подавляют сопротивление народов, плетут заговоры, устраивают интервенции, тем сильнее барабанная дробь пропагандистов «свободного мира».

Фашисты, ведя людей в газовые камеры, включали на территории лагеря трансляцию легкой музыки.

Я понимаю, это жестокое сравнение. Хочу лишь сказать, что глушить человеческое горе барабанами и фанфарами — не новый прием. И разве не жестоко убеждать людей, задыхающихся от социального неравенства, голода, расового гнета и бесправия, что они свободны?

Чем больше в мире капитализма душат свободу, тем громче кричат там о «свободном мире». И чем быстрее растет наш социалистический лагерь, чем величественней достижения творческого духа советского человека, чем сильнее оборонная мощь нашего государства, тем громче, тем истеричнее кричат враги об отсутствии у нас свободы.

Мальбруки империалистической пропаганды фиглярничают, кликушествуют, зазывают, оглушают. Они хотят одурманить разум пленников буржуазного «свободного мира», соблазнить подлинно свободных людей мира социалистического.

Что ж, каждому свое. Может быть, не стоит быть слишком придирчивым к дряхлеющему, старому и злому человеку, который уже не способен любить и творить, но еще в состоянии наделать немало зла. Ведь у этого человека нет ничего, кроме золота и атомной бомбы. У него, по существу, нет и идеологии, и старик мечется в поисках ее от «морального перевооружения» до антикоммунизма. Вывеской «свободный мир» он старается прикрыть нищету своей философии и неприглядность своих дел.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И АНТИКОММУНИЗМ

В этой далекой от претензии на исчерпывающий характер статье мне хотелось коснуться всего лишь двух аспектов проблемы, а именно: антикоммунизм и интеллигенция буржуазного Запада, антикоммунизм и интеллигенция социалистического мира.

Однако, прежде чем перейти к конкретному рассмотрению вопросов, мне представляется необходимым несколько задержать внимание читателей на некоторых исходных предпосылках.

Подобно тому как империализм является такой формой капитализма, в которой все пороки и противоречия этой социальной системы обостряются до крайности, подобно тому как фашизм или неофашизм свидетельствуют о неспособности империализма достигать своих целей обычными, так сказать, классическими для него методами, так и антикоммунизм в его современном виде является крайней, экстремистской формой буржуазной идеологии, свидетельством ее бессилия и в то же время агрессивности.

Поэтому естественно, что антикоммунизм — этот конгломерат из обрывков философских и политических теорий, тактических приемов и подрывных методов — не является чем-то постоянным, застывшим, раз и навсегда данным. Он меняет и свои лозунги, и свои методы в зависимости от тех форм и направлений, которые приобретает на том или ином этапе исторического развития та самая идеология, порождением и частью которой он является.

В чем основные причины того, что в послевоенные, а особенно в последние годы антикоммунизм как форма идеологии приобрел черты крайней агрессивности, а его методы стали отличаться особой изощренностью?

Несомненно, что основных причин две. Первая — все углубляющийся политический и духовный кризис современного империализма, накал ненависти, которую испытывает к этой античеловеческой системе все большее и большее количество людей на всех пяти континентах. Вторая причина определяется тем фактом, что уже одна треть человечества стала на социалистический путь, показывая вдохновляющий пример всем тем, кто еще несет на своей шее капиталистическое ярмо. В самом этом факте заключена смертельная угроза для империализма.

Поэтому буржуазная идеология и ее крайнее проявление — антикоммунизм — активно ищут пути и методы для успешного решения двусторонней задачи: скрыть или, по крайней мере, затушевать зияющие, неразрешимые противоречия, разъедающие современное капиталистическое общество, и одновременно сокрушить социалистический мир. Сокрушить, если удастся, при помощи оружия или, что

стало особенно актуальным в последние годы, путем разложения его изнутри.

В осуществлении этой последней цели антикоммунизм делает одну из главных ставок на интеллигенцию. Вот уже многие годы интеллигенция как капиталистических, так и социалистических стран является объектом изощренных атак антикоммунизма.

Эти атаки, эти попытки то сокрушить свою собственную интеллигенцию, зажать ей рот, отстранить от участия в политической и общественной жизни методами прямого террора (например, маккартизм в США), то привлечь на сторону господствующих классов славословиями об ее «избранности» в течение ряда лет чередовались, сменяли друг друга, а иногда и сочетались.

Полагаю, что назрела необходимость объединенными усилиями рассмотреть, проанализировать существо и закономерность этих методов.

* * *

Разумеется, есть, так сказать, главная причина, «причина причин» того, что антикоммунизм отводит интеллигенции как объекту своего пристального внимания столь важное место. Я имею в виду, с одной стороны, логику классовой борьбы, а с другой — ту специфику буржуазной интеллигенции как социального слоя, о которой не раз говорил Ленин.

К сожалению, мы редко напоминаем об этих высказываниях Владимира Ильича. Но именно они дают ключ к пониманию не только тех причин, по которым интеллигенция стала одной из целей антикоммунистического наступления, но и методологии, так сказать, «механизма» этого наступления.

Итак, Ленин, сам интеллигент в лучшем смысле этого слова, беспощадный ко всякого рода проявлениям огульно недоброжелательного отношения к интеллигенции, презиравший «махаевщину» и, как никто другой, умевший привлечь лучшую часть работников умственного труда к активной партийной работе, к участию в социалистическом строительстве, вместе с тем никогда не закрывал глаза на специфические особенности этой группы людей, обусловленные ее местом в буржуазном обществе.

«Никто не решится отрицать,— писал Ленин,— что *интеллигенция, как особый слой* современных капиталисти-

ческих обществ, характеризуется, в общем и целом, *именно индивидуализмом* и неспособностью к дисциплине и организации (ср. хотя бы известные статьи Каутского об интеллигенции); в этом, между прочим, состоит невыгодное отличие этого общественного слоя от пролетариата; в этом заключается одно из объяснений интеллигентской дряблости и неустойчивости, так часто дающей себя чувствовать пролетариату; и это свойство интеллигенции стоит в неразрывной связи с обычными условиями ее жизни, условиями ее заработка, приближающимися в очень и очень многом к условиям *мелкобуржуазного существования* (работа в одиночку или в очень мелких коллективах и т. д.)».

Эту мысль Владимир Ильич повторяет в другой своей работе, анализируя причины и особенности внутрипартийной борьбы.

«По сравнению с пролетариатом интеллигенция всегда более индивидуалистична уже в силу основных условий своей жизни и работы, не дающих ей непосредственно широкого объединения сил, непосредственного воспитания на организованном совместном труде. Поэтому интеллигентским элементам труднее приспособиться к дисциплине партийной жизни, и те из них, которые не в силах справиться с этой задачей, естественно, поднимают знамя восстания против необходимых организационных ограничений и свою стихийную анархичность возводят в принцип борьбы, неправильно обозначая эту анархичность, как стремление к «автономии», как требование «терпимости» и т. п.».

Объясняя причины готовности интеллигенции принимать активное участие в прогрессивных акциях и в то же время совершать другие, противоположные им по политическому смыслу поступки, Ленин писал:

«Образованные люди, вообще «интеллигенция» не может не восставать против дикого полицейского гнета абсолютизма, травящего мысль и знание, но материальные интересы этой интеллигенции привязывают ее к абсолютизму, к буржуазии, заставляют ее быть непоследовательной, заключать компромиссы, продавать свой оппозиционный и революционный пыл за казенное жалованье или за участие в прибылях или дивидендах».

Хочу верить, что читатель не посетует за столь обильное цитирование,— мне оно казалось необходимым.

Наступление буржуазной идеологии на интеллигенцию каждый раз в зависимости от исторического периода имеет свою специфическую окраску и выражается в различных методах.

Какие же характерные обстоятельства предопределили тот повышенный интерес к судьбам интеллигенции, который в послевоенные годы столь активно проявляет антикоммунизм?

В качестве одной из таких конкретных причин мне хотелось бы назвать тот небывалый научно-технический прогресс, свидетелем которого стало, особенно в последние годы, изумленное человечество. Будучи свидетелями и активными участниками великих событий в мире науки и техники, мы иной раз не задумываемся о еще небывалых в истории человечества масштабах этих событий.

В самом деле, если предположить, что человек, живший в начале двадцатого столетия, мог бы внезапно перенестись, скажем, в Древнюю Ассирию, то он, без сомнения, смог бы легко освоиться с основными условиями жизни той эпохи. Так, он не увидел бы большой разницы в циклах и способах земледелия, основанных на применении ручного труда или использовании домашних животных. Разумеется, чудеса техники существовали и пятьдесят — семьдесят лет назад, но разница между зажиганием свечи и светильного газа не была столь разительной, чтобы человек не мог к ней легко привыкнуть.

Вспомним, что еще только в девяностых годах прошлого столетия, да и в начале нашего века путь, скажем, от Москвы до берегов Тихого океана отнимал столько же времени, что и столетия назад. Но спустя всего лишь десятки лет люди стали преодолевать это расстояние за несколько часов. Технический прогресс между десятым и тринадцатым веками ознаменовался лишь изобретением компаса и пороха. Потребовалось еще два столетия, чтобы появился сначала микроскоп, а затем телескоп. Прошло еще сто лет, прежде чем появились прядильный станок и паровой двигатель, и еще целый век, прежде чем в человеческий быт вошли аэроплан, телефон, автомобиль, телеграф и электромотор.

Но вот во второй половине двадцатого века качественно новые чудеса посыпались точно из рога изобилия, принципиальным образом меняя взаимоотношения человека с природой и открывая все новые перспективы. Была раскрепощена энергия атома, в космос отправились корабли

и спутники Земли, появились телевидение, радары, лазеры, электронный микроскоп, транзисторы, реактивные двигатели, кибернетические машины и многое, многое другое. Человек подошел к самому порогу тайны живой материи.

В буржуазном обществе склонность к мистической фетишизации тех или иных социальных или научно-технических явлений бывает одним из характерных для этого общества признаков. Разрыв между фактами и правильным познанием происхождения и сущности этих фактов неизбежен при капитализме. До изобретения компаса мореплаватели ориентировались только по солнцу и звездам и верили в своенравие Нептуна. До развития современной химии алхимики безраздельно «управляли» тайнами превращения материи. Однако было бы ошибочно думать, что суеверия зависят только от уровня развития техники. Они зависят и от развития наук социальных. А так как суеверия, пусть в новой, изощренной и наукообразной форме, лежат в основе любой идеалистической философии, то пропасть между небывалым научным прогрессом и его осмыслением по-прежнему остается в капиталистическом мире зияющей и в наши дни. На почве свойственной капитализму фетишизации рождаются и гибнут различные легенды.

На наших глазах родилась легенда о всемогуществе физиков. Их объявили будущими, если не сегодняшними, властителями мира, хозяевами жизни и смерти людей. А так называемых интеллектуалов, то есть людей, внимание которых приковывают к себе проблемы духовного бытия, стали осмеивать как анахронизм в век атомной энергии и кибернетики.

Еще относительно недавно известный американский романист, придерживающийся откровенно антикоммунистических взглядов, Луис Бромфельд так охарактеризовал интеллигента-интеллектуала:

«Личность, незаконно претендующая на интеллектуальность, часто — профессор или протеже профессора. По самой своей природе человек поверхностный. На любую проблему реагирует сверхэмоционально, по-женски. Высокомерный, преисполненный самодовольства и презрения к опыту более здравых и способных людей. Неясно мыслящий и погрязший в смеси сентиментальности и пылкого проповедничества. Доктринерский сторонник социализма Центральной Европы в противовес греко-франко-американ-

ским идеям демократии и либерализма. Склонен следовать старомодной философской морали Ницше, в связи с чем часто попадает в тюрьму или покрывает себя позором. Нерешительный педант, настолько привыкший рассматривать любой вопрос со всех сторон, что в конце концов совершенно балдеет, не сдвигаясь ни на шаг с места. Анемичная, жалостливая душа».

Однако в то же время интеллигенции научно-технической на Западе льстили. Она была нужна большому бизнесу, без нее не могли обойтись милитаристы. Правда, и тогда с теми представителями научно-технической интеллигенции, которые даже робко пытались заговорить о том, как в условиях капитализма используются результаты их открытий, расправлялись сурово, вспомним хотя бы процесс Оппенгеймера.

Однако острие антикоммунизма было направлено против «интеллектуалов», под которыми в отличие от ученых подразумевались писатели, социологи, философы и прочие «яйцеголовые» интеллигенты. Им противопоставлялись «технократы».

И в этом заключается большой классовый смысл. Было бы неверно думать, что ленинская мысль о той потенциальной роли, которую играет интеллигенция в привнесении революционного сознания в рабочий класс, известна только марксистам.

Нет, антикоммунизму, который можно представить себе в виде своего рода Голема, совмещающего функции громилы, изощренного попа-проповедника и провокатора, было с давних пор известно, какую опасность представляет собою для устоев старого мира мыслящая часть интеллигенции, несмотря на все свойственные ей противоречия.

Поэтому наступление на интеллектуализм продолжалось.

В качестве еще одной иллюстрации этого наступления мне хотелось бы сослаться на симпозиум, который под заглавием «Интеллектуалы и борьба за справедливые цели» был проведен английским журналом «Энкаунтер», одним из активных антикоммунистических органов печати.

Во время этого симпозиума его участник, известный драматург Джон Осборн, некогда прогрессивный, а ныне стоящий на реакционных позициях, высказал брезгливое отвращение к участию интеллигенции в каких бы то ни было политических митингах протеста и демонстрациях,—

он видит в них проявление «психопатического фарисейства», сами слова «война во Вьетнаме» превратились, по Осборну, в синоним «левого ханжества». Осборн признается, что у него нет собственного ясного мнения относительно вьетнамской войны, как и относительно других политических проблем современности.

Другой участник дискуссии, Колин Уилсон, заявляет:

«Как ни странно, во время войны самоубийства почти вовсе исчезают, а кривая преступности и душевных болезней резко падает. Страшно подумать, что бы произошло, если бы какое-то всемирное правительство сумело полностью ликвидировать все конфликты и Китай, Америка и Россия подписали бы пакты о взаимопомощи. Преступность, вероятно, за несколько месяцев увеличилась бы в десять раз».

Как бы спохватившись, Колин Уилсон заявляет:

«Я, конечно, не защищаю и не поддерживаю войну. Я только хочу сказать, что, с чисто объективной точки зрения, нынешняя ситуация уж не так плоха, как кажется; сохраняющаяся международная напряженность, небольшие войны, возникающие то тут, то там и наводящие на всех страх,— все это служит своего рода психологическим предохранительным клапаном...»

Поэт и критик Константин Фитцгиббон с глубоким презрением отзывается об интеллектуалах, которые с наибольшим пылом судят о событиях, им мало известных: чем дальше поле боя, на котором развертывается борьба, тем решительнее моральные вердикты, выносимые интеллектуалами, этими «глупейшими общественными животными». Вот почему население двух единственно устойчивых демократий мира — Англии и США — относится со здоровым недоверием к интеллектуальным политическим деятелям.

Фитцгиббону вторит активный антикоммунист Тибор Самюэли, в прошлом заместитель ректора Будапештского университета, ныне преподаватель политических наук в Редингском университете. Он обвиняет западную интеллигенцию в том, что ее позиции по политическим вопросам определяются исключительно эмоциями и, следовательно, по самому своему существу являются неинтеллектуальными. Интеллект, рассуждение, исследование никакой роли в формировании этих позиций, дескать, не играют. (Вероятно, замечает Самюэли, именно этим объясняется тот

факт, что в различных «интеллигентских» политических манифестациях внезапно столь видную роль начали играть актеры и актрисы.)

Издеваясь над такими понятиями, как «левый», «прогрессивный» интеллигент, Самюэли утверждает, что либеральная интеллигенция заменила разум верой, рациональные суждения — спонтанными реакциями. Главным источником эмоциональности интеллигенции является причудливая смесь иррационального ощущения вины, ненависти к самим себе, антиамериканизма, склонности принимать желаемое за сущее, преклонения перед властью, высокомерия, а также в весьма большой степени лицемерия. Интенсивность прогрессивных настроений среди интеллигенции каждой данной страны прямо пропорциональна расстоянию между этой страной и ближайшей тоталитарной диктатурой — таков «всеобщий политический закон», сформулированный Самюэли. Интеллигенты, замечает он, претендуют на то, чтобы правительства прислушивались к их мнениям.

К счастью, продолжает этот современный антикоммунист-«махаевец», у англосаксонских стран имеется давняя традиция не подпускать интеллектуалов к власти и не обращать никакого внимания на их политические взгляды. Судя по всему, есть все основания придерживаться этой традиции и в будущем.

Итак. Ставка на научно-техническую интеллигенцию, столь необходимую буржуазному государству для осуществления своих экономических и милитаристских целей, «плюралистический» подход к гуманитариям, включающий в себя и террор, и моральное подавление, и заигрывание,— таковы в общих чертах признаки, определяющие в известный период тактику антикоммунизма по отношению к людям умственного труда.

Однако скоро выяснилось, что исключить интеллектуалов из сферы духовного бытия общества лишь методами террористическими или сугубо пропагандистскими нельзя. Попытка борьбы с прогрессивными идеями путем открытого противопоставления им идей реакционных также была обречена на провал хотя бы потому, что в арсенале антикоммунизма нет идей, а есть лишь, так сказать, «антиидеи».

Из потребности тотальной, если можно так выразиться, компрометации интеллектуальной деятельности с целью

отвратить духовные взгляды интеллигенции от марксизма выросла одна из главных «антиидей» современности — пресловутая теория деидеологизации.

Разумеется, она явилась не просто следствием «сознательного волевого усилия» антикоммунизма. Ее появление объяснялось прежде всего конкретными историческими событиями.

Послевоенные годы охарактеризовались ярко выраженными стремлениями людей к свободе и независимости. Крушение колониальной системы, народно-освободительные войны, образование новых самостоятельных государств в Азии и Африке, исключительные успехи стран социалистического содружества, советский спутник, приковавший к себе восторженные взгляды миллионов людей,— все эти события заставили содрогнуться идеологов капиталистического мира. Со страхом наблюдали они за тем, как идеи коммунизма, антимилитаризма, дружбы между народами все более и более овладевают массами. Мыслящий человек воспринимался антикоммунизмом как потенциальный революционер.

Терпя одно за другим поражения в открытой борьбе идей, антикоммунизм попытался объявить борьбу всяким идеям, объявить их анахронизмом в век научного прогресса, сбросить с корабля современности любую философию познания и возвести на пьедестал прагматизм.

Теория деидеологизации родилась в ее чистом виде не сразу. Ей предшествовали другие. Была сделана попытка создать новую религию — научно-технический прогресс и нового бога — электронную машину.

Как это происходило?

В сфере американской, например, культуры, пожалуй, нет другого авторитета, на который так часто бы ссылались и чьи высказывания так охотно повторяли, как Маршал Маклюэн, ныне возглавляющий кафедру гуманитарных наук в щедро финансируемом монополиями Фордхэмском университете в Нью-Йорке.

Его книга «Понимающие средства информации. Дополнение и развитие способностей человека» («Understanding Media. The Extentions of Man») выдержала множество изданий и по сей день является бестселлером.

Главная идея всех писаний Маклюэна сформулирована в наиболее популярном его афоризме: «*Средство* информации и *есть содержание* информации» («The medium is the

message»), то есть неважно, что именно передается по радио, телевидению и т. д., важны сами эти средства информации, действующие на подсознание и сферу чувств.

Подробный разбор обскурантистских и «антиидеологических» констатаций Маклюэна завел бы нас слишком далеко, для этого нет места.

Однако, некоторые из них все же стоит упомянуть. Так, например, по Маклюэну, теперь уже нет больше никакой необходимости не только в идеологии, но и попросту в знании, а следовательно, в каком бы то ни было рационалистическом мышлении. Все это отошло в прошлое с «гуттенберговской», как он выражается, или «типографской» эпохой.

Однако, чтобы не думали, будто «антиидеологизм» Маклюэна имеет чисто теоретический характер и практически не связан с политикой, с устремлениями антикоммунистов, хочу сказать, что американский «властитель дум» высказывается и по актуальнейшим вопросам современности. Американцев беспокоят гонка вооружений, угроза ядерной войны, гнусное зрелище того, как великая индустриальная держава обрушивает бомбы и напалм на жителей Вьетнама?

«Радуйтесь! — восклицает Маклюэн.— Воюя с отсталой страной, мы помогаем ей достигнуть прогресса». «Война есть не что иное, как ускоренный процесс развития техники...— пишет Маклюэн.— Милитаризм — это главный путь к техническому образованию и ускоренному развитию отстающих районов».

Однако далеко не все буржуазные идеологи воюют с человеческой мыслью столь обнаженно и прямолинейно, столь явственно обнаруживают прямые связи между призывами к деидеологизации и откровенно империалистическими лозунгами.

Когда известный французский социолог Арон выступил на страницах журнала «Прёв» и провозгласил, что наступил «конец эпохи идеологий», он, хочется верить, не отдавал себе отчета в объективных связях подобного рода утверждений с тем наступлением на интеллектуализм, который из года в год ведут организаторы антикоммунизма. В лучшем случае он, очевидно, улавливал определенные родственные отношения между своими «антиидеями» и теми атаками на прогрессивную мысль, которые систематически предпринимали американские философы Белл, Липсет, Бринтон и другие.

Но, видимо, это не встревожило Арона. Один из видных представителей французской буржуазной интеллигенции, чья профессия — мыслить и поощрять к мышлению других, ожесточенно подпиливает сук, на котором сидит. Он пытается убедить себя и других, что любые попытки вскрыть закономерности развития, предугадать, куда движется человечество, тщетны. Арон пишет: «Мы противопоставляем политике, направляемой философией истории, политику, освещаемую эмпирическим знанием...»

Разумеется, с точки зрения психологической, теорию деидеологизации можно объяснить многими причинами. Здесь и фаустовская разочарованность в нищете буржуазных философий, и тщетность попытки одной лишь «силой разума», «интеллекта» остановить те разрушительные силы, которые властвуют в старом, капиталистическом мире, и поиски пресловутого «третьего пути» между капитализмом и коммунизмом — зыбкая мечта о возможности такого пути все еще руководит мыслями и поступками части буржуазной интеллигенции,— и фетишизация научно-технического прогресса, и влияние философии экзистенциализма, и многое другое.

Но объективно и попытки отделить техническую интеллигенцию от «интеллектуалов», и травля этих интеллектуалов, время от времени сменяемая заигрываниями с ними, и теории деидеологизации или новой «обезмысленной» эпохи, пришедшей якобы на смену «гуттенберговской эре»,— все это в основе своей является порождением антикоммунистического наступления на интеллигенцию, выросло из определенной социальной потребности правящих классов буржуазного общества.

* * *

Если усилия антикоммунизма в применении к интеллигенции буржуазных стран преследуют цель подчинить ее существование нуждам капиталистического государства, то в отношении интеллигенции стран социалистических эти усилия направлены, так сказать, в сторону противоположную. В этом случае цель антикоммунизма — оторвать интеллигенцию от государства, общества, от его господствующих идей.

Знакомство с марксизмом не прошло бесследно и для капитализма: ведь если интеллигенция в состоянии при-

внести революционное сознание в стихийную, экономическую борьбу масс, то почему бы не использовать ее для разложения революционного, классового самосознания путем привнесения в него раковых клеток буржуазной идеологии?

Однако эта новая, обусловленная социальными переменами в мире стратегия антикоммунизма потребовала и разработки новой методологии для ее осуществления.

Вспомним, какие аргументы имел на своем вооружении предвоенный антикоммунизм. Они сводились, говоря несколько схематично, к утверждениям о невозможности завершить строительство коммунизма в Советском Союзе, о тщетности его намерения не только сравняться, но и обогнать ведущие капиталистические страны по уровню производства, к пропаганде неизбежности экономического краха и невозможности в условиях социализма удовлетворить насущные потребности населения.

Победа нашей страны в войне с фашистской Германией, в которой Советский Союз не только доказал несокрушимость своего социального строя, но и вынес на своих плечах судьбы мировой цивилизации, образование социалистического лагеря, рост народно-освободительного движения в странах Азии, Африки и Латинской Америки, обострение противоречий внутри капиталистических государств — все это заставило антикоммунизм пересмотреть свою стратегию и тактику. Разумеется, это не означало ликвидации фронтальных атак. Однако они перестали быть единственной формой наступления на социализм. Идеологи буржуазии стали переносить центр стратегической тяжести на разложение социалистического общества изнутри, используя обходной маневр как один из главных тактических методов. Сумма этих тактических приемов и методов получила название политики «наведения мостов». Она вызвала к жизни ряд новых буржуазных теорий, предназначенных для экспорта в социалистический мир. Разумеется, с гносеологической точки зрения, новизна их относительна, ибо даже в такой «новинке», как теория «конвергенции», о которой мы еще будем говорить, слышатся отзвуки модной в двадцатые годы на Западе концепции «организованного капитализма».

Однако, повторяем, с точки зрения стратегического назначения, терминологии и конкретно-исторических условий, в которых эти теории появились, они являются

последним словом идеологии антикоммунизма, новейшим оружием в его арсенале.

Рассмотрим же, что общего во всех этих новых видах антикоммунистического вооружения.

Прежде всего бросается в глаза неслышный доселе мотив: авторы современных антисоциалистических теорий и концепций — по крайней мере, наиболее изощренные из них — как будто не намерены скрывать наличие зияющих, неразрешимых противоречий современного буржуазного мира. Однако за свою искренность они назначают немыслимую цену: признать наличие аналогичных противоречий в мире социалистическом. Подобно герою старой сказки — злому богачу-скряге, они готовы пожертвовать собственным глазом, лишь бы его конкурент лишился сразу двух...

Что же конкретно представляют собой «новейшие открытия» современной буржуазной, антикоммунистической мысли, рассчитанные на внедрение в мир социалистический? С чем обращаются западные «ловцы душ» к интеллигенции этого мира?

О теории деидеологизации, рассчитанной на «двустороннее» применение, обращенной как к западной, так и к социалистической интеллигенции, мы уже говорили.

Теперь мы рассмотрим другую концепцию, связанную с определением места интеллигенции в современном обществе, концепцию, которую антикоммунизм объявляет универсальной, одинаково применимой к любому обществу — как к буржуазному, так и к социалистическому.

Обращенная прежде всего к той части интеллигенции, которую мы обычно называем творческой, то есть к писателям, деятелям культуры, эта концепция объявляет своего рода категорический императив. Смысл его в неизбежной и постоянной оппозиции художника-творца не только к любому государству, не только к любой руководящей партии, но и к господствующим в обществе идеям.

В наиболее последовательном виде эту концепцию развил известный французский писатель-экзистенциалист, «антикоммунист-интеллектуал № 1», Альбер Камю.

Он нарисовал образную картину древнеримского цирка, на арене которого государство-лев терзает свою жертву.

Любые социальные изменения, утверждал Камю, могут привести лишь к тому, что жертва на арене и художник, до поры до времени сидящий на местах для публики, поме-

няются местами. Однако смысл взаимоотношений между львом и его жертвой, то есть государством и людьми, останется вечным и неизменным — глубоко антагонистическим и враждебным, и задача писателя быть всегда на стороне «жертвы».

Привлекательный для прогрессивной мыслящей интеллигенции смысл приманки, заключенной в этой концепции, состоит, во-первых, в том, что она признает наличие трагических противоречий между людьми и государством в капиталистическом мире, хотя Камю в качестве оплаты за это признание требует согласиться и с тем, что его концепция, одинаково действенна и для общества социалистического. Во-вторых же, Камю, несомненно, рассчитывал на то, что предложенная им схема вызовет сочувственный отклик в тех политически отсталых слоях интеллигенции, для которой мысль о своей приверженности «слабым» мира сего в сочетании с иллюзией избранности, неподотчетности никому представляет определенную прелесть.

С утверждениями Камю близко соприкасается и другая концепция — так называемой автономии культуры, которой, к сожалению, отдали дань и некоторые западные теоретики, считающие себя коммунистами.

Здесь необходимо оговориться. Каждый, кто знаком с высказываниями классиков марксизма о природе художественного творчества, с теоретической деятельностью советской Коммунистической партии, отлично знает, что коммунисты никогда не отождествляли художественное творчество с другими видами идеологии. Они всегда признавали наличие специфических особенностей творчества художественного, отличающих его от деятельности научной, публицистической, пропагандистской, и считались с ними. Однако смысл концепции автономии культуры далеко не исчерпывается констатацией этих особенностей. Предназначенная для экспорта в среду социалистической интеллигенции, она направляет свое острие против какого-либо действенного влияния партии, государства, общественного мнения на творчество ученых, писателей, художников, деятелей кинематографии. Эта концепция требует, по существу, автономии избранных, их независимости от общества и социалистического государства. Надо ли говорить, что от подобной автономии, противоречащей основным марксистским принципам о месте человека творческого труда в обществе, меньше шага до признания кон-

ценции Камю о постоянной оппозиционности художника к государству, независимо от характера этого государства.

С утверждениями о неразрешимости противоречий между «интеллектуалами» и государством в любом обществе и об автономии культуры тесно связана и другая «экспортная» концепция антикоммунизма. Я имею в виду специфическую интерпретацию проблемы свободы личности вообще и свободы художника в частности. Пользуясь тем, что эта проблема исторически являлась одной из тех главных, что волновала интеллигенцию на протяжении многих десятилетий и даже веков развития классового общества, идеологи антикоммунизма пытаются поставить ее как бы заново в применении к обществу бесклассовому.

Что можно сказать по этому поводу?

Вопрос о свободе личности вообще и свободе художественного творчества в частности принадлежит к числу хрестоматийных для марксистов. Вряд ли стоит подробно останавливаться сейчас на этом. Для последователей Маркса, Энгельса и Ленина ясно, что говорить о свободе художника, не отвечая на вопросы: «свобода чего?», «свобода от кого?», «свобода ради чего?» — значит повторять зады буржуазных философий.

Когда буржуазные идеологи обвиняют нашу партию в подавлении свободы вообще и художественного творчества в частности, это, если угодно, закономерно: концепция свободы в ее буржуазной интерпретации уже много лет является наиболее ходовым оружием в арсенале одурачивания народных масс. Все это элементарно.

Однако более чем странно, когда авторы некоторых статей на темы социалистической культурной жизни умудряются одновременно и объявлять себя марксистами, и в то же время ставить вопрос о свободе творчества и о роли индивидуума в Советском Союзе с типично буржуазных позиций.

Думается, что в основе такой постановки вопроса лежит вольная или невольная попытка примирить марксизм с современным экзистенциализмом.

В самом деле: если пусть молчаливо, но все же признать отсутствие общих исторических закономерностей в развитии общества и в поведении людей, если отрицать влияние единства цели на формирование человеческих характеров, если согласиться с тем, что поведение человека — это цепь случайностей и что на место марксистской

концепции детерминизма следует поставить «ситуацию» и «решение», которое в данной, каждый раз новой ситуации принимает отдельно взятый, не связанный с коллективом человек, тогда и вопрос о свободе должен, естественно, ставиться в совершенно ином, чуждом марксизму аспекте. Но тогда это будет полемика против коммунистической концепции свободы не с позиций марксизма, что было бы противоестественно, а с позиций враждебной марксизму буржуазной философии экзистенциализма.

Для того чтобы отвратить социалистическую интеллигенцию от решения общенародных задач, чтобы направить ее энергию на борьбу с призраками, превратить ее из силы созидающей в силу разрушающую, враги коммунизма взяли на вооружение и другую концепцию, первоначально имевшую марксистское происхождение.

Я имею в виду проблему так называемого отчуждения.

Нет смысла напоминать, что под отчуждением молодой Маркс имел в виду противоречия, возникающие на определенной ступени развития общества, порожденные антагонистическим разделением труда и связанные с частной собственностью.

Антикоммунизм объявляет эту философскую категорию опять-таки всеобщей. Он навязывает социалистической интеллигенции мысль, что и в новом обществе результаты человеческой деятельности отторгаются от индивидов, которые являются игрушкой в руках государства и мощной бюрократии.

Маркс, как известно, обосновал задачу ликвидации отчуждения путем коммунистического переустройства общества.

Современные буржуазные идеологи объявляют отчуждение каиновой печатью любого общества. Они готовы признать, что человек в системе капитализма страдает оттого, что общественные отношения формируются стихийно, выходят из-под контроля людей. Демонстрируя дорого оплачиваемую объективность, они готовы даже признать враждебную роль правящих сил общества по отношению к личности.

Но тех, кто признает лишь эту часть концепции, современные антикоммунистические интеллектуалы объявляют старомодными схематиками. Признать независимыми мыслителями, стоящими на уровне проблем века, они готовы лишь тех, кто принимает и вторую часть этой концепции,

то есть распространяет ее актуальность и на социалистическое общество.

Существует ли общая теория, которая в той или иной форме объединяет все эти концепции, схемы и формулы, создает социально-философский фон, на котором они обретают внешнюю формально правдоподобность и логическую взаимосвязь?

Я думаю, что такая роль предназначена для популярной в буржуазно-идеологической сфере теории так называемой конвергенции. Не случайно, что эта теория зародилась первоначально в США — цитадели империализма, в стране, господствующие классы которой наиболее заинтересованы в оружии антикоммунизма.

У колыбели теории конвергенции стояли такие ненавистники социалистического строя, как Уолт Ростоу, человек, неоднократно выступавший в ипостасях ученого-социолога, официального советника правительства по внешнеполитическим проблемам и специалиста по вопросам борьбы с партизанами, а также упоминавшийся в свое время еще Лениным Питирим Сорокин.

В частности, этот последний обогатил антикоммунизм ценным для буржуазной пропаганды предсказанием, что будущее общество «не будет ни капиталистическим, ни коммунистическим». По мысли Сорокина, оно явится «неким своеобразным типом, который мы можем назвать интегральным. Это будет,— продолжает Сорокин,— что-то среднее между капиталистическим и коммунистическим порядками и образами жизни. Интегральный тип будет объединять наибольшее число положительных ценностей каждого из ныне существующих типов, но свободных от присущих им серьезных недостатков».

Проповедуя идею сближения и как бы взаимопроникновения двух различных общественно-политических систем, мысль о сходности условий их существования, теория конвергенции тем самым как бы формирует духовный фундамент, закладывает те «быки», на которые предстоит опираться наводимым мостам.

Идеологи антикоммунистического наступления прекрасно отдают себе отчет в том, что теория конвергенции дает возможности для внешне нового подхода к решению одной из главных задач, стоящих перед империализмом: деформации социалистической идеологии, а следовательно, и подрыва мощи и сплоченности социалистического лагеря.

Поэтому эта теория немедленно поступила в арсенал антикоммунизма.

Выгодность проповеди конвергенции заключается не только в том, что она может быть использована для идеологической интервенции в страны социализма, поскольку сама мысль о «взаимопроникновении» двух систем, об их «общности» автоматически отвергает необходимость бдительной охраны завоеваний социализма.

Теория конвергенции чрезвычайно удобна и для внутреннего, так сказать, употребления, поскольку отстаивает живучесть, «непотопляемость» капитализма, его способность воспринять положительные стороны социализма и в новом, «великом индустриальном обществе» не только избавиться от антагонистических противоречий, но создать некую гармонию интересов всех слоев населения.

А разжигание иллюзий подобного рода жизненно необходимо для современного империализма. Уже упоминавшийся мною правый французский социолог Раймон Арон в свое время писал:

«Сто лет назад антикапитализм был скандальным. Сегодня в еще более скандальное положение попадает тот, кто не объявляет себя антикапиталистом».

Удобство теории конвергенции заключается в том, что, исповедуя ее, можно в то же самое время объявлять себя «антикапиталистом», тем самым не отталкивая, но даже привлекая к себе слушателей.

В качестве примера хочу сослаться на французского социолога д'Ормессона, который несколько лет назад в парижском журнале «Ар», именующем себя «еженедельником французской интеллигенции», утверждал, что хотя у капитализма и существуют несомненные недостатки, однако «основное противоречие между капитализмом и социализмом стирается, уступает место общим чертам...».

И Арон и д'Ормессон, очевидно, уверены, что действуют лишь в сфере чистой науки.

Но в свое время один из философов прошлого сказал: людям кажется, что они сами определяют свои поступки, на самом же деле ими руководит бог.

Очевидно, среди проповедников как теории конвергенции, так и вытекающей из нее политики наведения мостов отнюдь не все отдают себе отчет в том, чей социальный заказ объективно выполняют. Но какие бы моральные, эмоциональные и иные психологические причины ни руко-

водили этими людьми, они неизбежно становятся орудием в руках антикоммунизма. Ибо антикоммунизм действует отнюдь не в сфере «чистых идей». Он агрессивен, вооружен технически и материально. Он ставит интеллект на службу своим подрывным целям. Он не ждет пассивно, кто купит его идеи и концепции, но внедряет их с огромной, с каждым днем нарастающей настойчивостью.

Особенно ожесточенным нападкам подвергается советская культура. Для ведения антисоветской пропаганды в этой области почти в каждой крупной капиталистической стране существуют специальные периодические издания. Это, так сказать, очаги антикоммунистической идеологии. Среди них теоретический орган Ватикана по вопросам культуры — «Чивильта каттолика». Маниакальной ненавистью к коммунизму отличается итальянский журнал «Темпо презенте» во главе с ренегатом Игнацио Силоне. В Англии это в первую очередь журналы «Совьет сэрвей» и уже упоминавшийся «Энкаунтер» — последний до недавнего времени возглавлялся тоже ренегатом Стивеном Спендером и основан на средства не только такой воинствующей антикоммунистической организации, как фонд Форда, но и, как это стало в свое время широко известно, при финансовой поддержке ЦРУ. Во Франции это журнал «Прёв», в ФРГ — «Ост — Европа», в США таких изданий очень много, назовем хотя бы одно: «Ист-Юропиен энд славик ревью».

Разумеется, антикоммунизм исторически обречен, а попыткам антикоммунистов скомпрометировать строительство нового мира противостоят воля и вера коммунистических партий и народов социалистических стран, с негодованием отвергающих вражескую пропаганду, и борьба прогрессивных сил всего мира. Однако было бы глубокой ошибкой недооценивать усилия антикоммунистических пропагандистов. Читая их издания, направленные против нашей культуры, легко увидеть, с каким пристальным вниманием следят враги за ее развитием. Они используют каждый наш промах, каждое отрицательное явление, а если их не хватает, то и положительные, чтобы доказывать слабость нашего строя, неосуществимость наших конечных целей.

Идеологи антикоммунизма внимательно следят за всеми сложностями развития жизни в той или иной социалистической стране. Любая критика несовершенств этой

жизни, ошибок прошлого или настоящего немедленно берется на вооружение, чтобы затем при помощи радио и прессы вернуть ее обратно в ту же страну, но уже в обновленном, расширенном, так сказать, виде.

В этих случаях расчет делается на то, что интеллигенция социалистических стран, встретившись со знакомой терминологией, с проблемами, уже возникавшими в ее духовной сфере, отнесется к антикоммунистической пропаганде с доверием, в том числе и к тем далеко идущим выводам, ради которых эта пропаганда и ведется.

Методология подобной пропаганды станет предельно ясной, если мы проследим ее направление в недавние годы. Используя критику культа личности в нашей стране, печальный опыт некоторых научных дискуссий, для которых были характерны административные, а не профессиональные аргументы, подхватывая споры, которые велись в нашей литературной среде, антикоммунистические пропагандисты воспроизводят эту критику, эти споры, но уже на качественно иной, расширенной основе.

Так, всячески расписывая ошибки и трудности определенного периода нашего общественного развития, тот урон, который был нанесен развитию, например, генетики или кибернетики в этот период, антикоммунисты делают вывод о несовместимости подлинной науки с партийным влиянием и государственным планированием. Из закономерного стремления литературы более глубоко проникать в общественные конфликты и психологию человека делался вывод, что это стремление несовместимо с принципом партийности литературы и методом социалистического реализма. Критика недостатков в нашей экономике, дискуссии об экономической реформе возвращались нам всяческими радиоголосами, но с выводами о невозможности устранить эти недостатки или осуществить реформу без возврата к капиталистическим принципам хозяйствования.

Вообще, стремление паразитировать не только на тех или иных событиях в жизни социалистических стран, но и на их политике является одной из отличительных особенностей пропагандистской методологии антикоммунизма. Подобно хитроумному пекарю из дореволюционного анекдота, который использовал для своих пирожков четверть рябчика и четверть лошади, современные антикоммунисты готовят свой пропагандистский фарш, соблюдая те же пропорции правды и лжи.

Так, формально беря на свое вооружение социалистическую политику мирного сосуществования между различными социальными системами, они пытаются навязать нам якобы логически вытекающий из этой политики вывод: мир в области идеологий, а фактически — капитуляцию перед идеологией буржуазной.

Более того, сама теория конвергенции несет в себе взращенное в угоду капитализму представление о «взаимопроникновении» антагонистических социальных систем как неизбежном следствии той же политики мирного сосуществования.

О том, как трансформируется теория конвергенции и политика наведения мостов, мы могли видеть в свое время на примере Чехословакии. Разве та «новая модель социализма», которую проповедовали некоторые представители чехословацкой интеллигенции, не является почти зеркальным отражением как этой теории, так и концепций, ради внедрения которых антикоммунисты и предприняли свое «мостовое строительство»?

В самом деле, если мы рассмотрим ту самую «модель социализма», которую в 1968 году написали на своих знаменах антисоциалистические силы в Чехословакии, то сквозь дымовую завесу, сотканную из громкозвенящих фраз, благих пожеланий и заверений своей верности социализму, легко можно различить тот самый конгломерат лозунгов и понятий, которые антикоммунистические силы на Западе сделали предметом своего политического экспорта.

Мы видим в этой «модели» прямые отзвуки теории конвергенции, выраженные в обещаниях взять «все хорошее» от социализма и капитализма, мы увидим в ней также призыв к ограничению, если не к сведению на нет руководящей роли коммунистической партии и к передаче этой роли безответственным органам «массовой информации», эта «новая модель» включает в себя признание парламентаризма в типично буржуазно-демократическом смысле этого слова, и т. д.

И в этой связи мне снова хочется вернуться к высказываниям Ленина. Еще на заре формирования нашей партии Владимир Ильич, критикуя «Мартова и К°» за их интеллигентско-анархистские взгляды на сознательную дисциплину, писал:

«Психология буржуазного интеллигента, который причисляет себя к «избранным душам», стоящим выше массовой организации и массовой дисциплины, выступает здесь замечательно отчетливо».

Возникает естественный вопрос: а правильно ли переносить, даже с оговоркой, высказывания Ленина, касающиеся прежде всего специфических черт интеллигенции буржуазной, на интеллигенцию страны социалистической, поскольку в новом обществе она занимает совершенно иное место и играет совершенно иную роль, чем в обществе капиталистическом?

Разумеется, между интеллигенцией, живущей в буржуазных странах, и интеллигенцией социалистической есть огромная принципиальная разница. Эта последняя вместе с рабочими и крестьянами становится активной участницей социалистического строительства. Отсутствие в новом обществе эксплуататорских классов, частной собственности, коллективный способ производства, объединяющая трудящихся высокая цель — все эти обстоятельства коренным образом меняют характер и роль интеллигенции. Она становится равноправным, уважаемым членом нового общества, строителем нового мира.

Однако не все ее специфические, традиционные черты автоматически исчезают, как только в обществе побеждает социализм. Такие из них, как склонность к индивидуализму, восприимчивость к внеклассовым социальным иллюзиям, к переоценке своего места в обществе еще в течение некоторого, иногда продолжительного, времени продолжают оставаться живучими в определенных слоях и социалистической интеллигенции — разумеется, наиболее отсталых в политическом отношении.

Они, эти черты, стираются, исчезают в зависимости от исторических обстоятельств, при которых в данном обществе победил социализм, от продолжительности социалистического опыта, от правильности той политики, которую проводит коммунистическая партия.

Однако до тех пор, пока та или иная социалистическая интеллигенция — точнее, часть ее, все еще сохраняет хотя бы в чисто психологическом плане некоторые традиционные для интеллигенции буржуазной черты, идеологи антикоммунизма будут стараться их всячески раздувать и эксплуатировать.

Но дело не только в этом. Дело еще и в упоминавшейся способности антикоммунизма паразитировать на свойственных социалистическому обществу процессах критики и самокритики. Так, например, в 1968 году на наших глазах эта критика была подхвачена, раздута, доведена до собственной противоположности буржуазной агентурой внутри Чехословакии. И народы социалистического лагеря увидели, что не таким уж долгим был путь от «открытых идей» к тайным радиопередатчикам, от дискуссий на доставленные по «мостам» темы к уличным демонстрациям с антисоветскими лозунгами, от теоретических рассуждений о политическом «монизме» и «плюрализме» к попыткам возродить социал-демократическую партию, лидеры которой открыто заявили, что в случае легализации они добьются того, чтобы, по крайней мере, в течение ближайшего десятилетия ни один коммунист не вошел в правительство Чехословакии.

Только слепец может не увидеть здесь прямой связи между теориями антикоммунизма и его практикой.

Трудность, сложность ситуации заключается в том, что, к сожалению, и некоторые из людей, именующих себя коммунистами, иногда выступают как прямые пропагандисты и «разработчики» теорий, первоначально пущенных в обращение врагами социализма.

Таких псевдокоммунистов немало — за недостатком места хочу остановиться лишь на высказываниях Эрнста Фишера. Он призывает к «конвергенции идей», отрицая неизбежность борьбы между антагонистическими идеологиями. В полном согласии с антикоммунистом Камю он порицает всякую власть, будь она капиталистической или социалистической. Он высмеивает мысль о том, что для художника-коммуниста искусство является оружием борьбы. И наконец, в полном противоречии с Марксом и Лениным он объявляет главной силой современного революционного движения интеллигентскую «элиту», пытаясь восстановить вдребезги разбитую марксистами эсеровскую теорию о главенствующей роли «критически мыслящих личностей».

13 октября 1943 года знаменитый немецкий писатель Томас Манн, находившийся в эмиграции в США, выступил в библиотеке конгресса по случаю десятилетия сожжения книг фашистами.

В этом выступлении он сказал:

«Я думаю, никто не заподозрит во мне поборника ком-

мунизма. Однако я не могу не видеть в страхе буржуазного мира перед словом «коммунизм» — страхе, на котором так долго держался фашизм,— какого-то суеверия, какой-то незрелости, главной глупости нашей эпохи».

Разумеется, это правильные, благородные слова. Однако мы совершили бы огромную ошибку, полагая, что такая «главная глупость эпохи», как антикоммунизм, может автоматически изжить самое себя. Из несомненной исторической обреченности антикоммунизма нельзя делать вывод о том, что он исчезнет от одного лишь столкновения с разумом.

Нет, предстоит ожесточенная борьба, еще более ожесточенная, чем та, что происходит сегодня.

Долг советской интеллигенции, особенно философов, историков, литераторов, в этой борьбе огромен. На глазах нашего поколения империализм делал ставку на немецкий фашизм. Эта ставка была бита, бита не только советским оружием, но и силой коммунистических идей.

Ныне империализм делает ставку на антикоммунизм. В дальневосточной Азии он оперирует бомбами и напалмом. В Европе он сочетает прямые диверсии с различными вариациями «тихой», «ползучей» контрреволюции.

Будет бита и новая ставка империализма.

И в этой борьбе огромная роль принадлежит советской социалистической интеллигенции — плоти от плоти и крови от крови народа, частью которого она является, во имя которого живет и творит.

ПИСАТЕЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В публицистических статьях и социологических исследованиях, выходящих на Западе, в последнее время стало модным сочетать слово «мир» с определением «быстро меняющийся».

Мир, окружающий авторов этих статей, действительно быстро меняется. И дело не только в научно-техническом прогрессе, хотя бесспорным остается факт: если в прошлые эпохи великие открытия были разделены долгими десятилетиями и даже веками, то при жизни нашего поколения они стали сыпаться точно из рога изобилия.

Вошло в моду и другое слово — «взрыв». Взрыв информации, демографический взрыв...

Но все же эти бесшумные, так сказать, символические взрывы не сравнимы с теми реальными, которые сопровождаются смертью людей или стонами избитых и раненых.

Я имею сейчас в виду даже не вьетнамскую трагедию, вот уже много лет являющуюся тем мрачным, кровавым фоном, на котором протекает жизнь крупнейшей империалистической державы — Соединенных Штатов Америки.

Взрывы раздаются непосредственно на улицах крупных капиталистических городов — бросают бомбы, стреляют из пулеметов, автоматов и пистолетов, а иногда даже из танковых пушек. Мостовые сотрясаются под шагами демонстрантов. Студенты баррикадируют входы в университеты. Жандармерия, усиленная регулярными войсками, бросается на демонстрантов, точно перед нею вражеская армия, и ведет осаду учебных заведений, будто это неприятельские крепости. Полицейские овчарки преследуют безоружных людей. Предварительно избитых, искалеченных, их бросают в автомашины и развозят по тюрьмам.

Во всем этом нет ни слова преувеличения. Каждый, кому довелось побывать в последние два-три года на улицах американских, французских, западногерманских или ирландских городов, подтвердит справедливость всего вышесказанного.

В мои намерения не входит социальный анализ потрясающих западный мир катаклизмов — в каких случаях они являются результатом сознательного, классового протеста и в каких — следствием пока еще слепого бунта против уродливостей современного капиталистического бытия.

Мне хочется лишь констатировать факт — никогда еще со времени последнего великого кризиса конца двадцатых и начала тридцатых годов социальные землетрясения не достигали таких высоких баллов, как в наши дни.

Какую же роль играет писатель в этом сегодняшнем быстро меняющемся мире (я, естественно, в данном случае имею в виду писателя, живущего в условиях капитализма)?

Законы и практика повседневного бытия капиталистического мира, несмотря на всю его географическую близость миру социалистическому, несмотря на все контакты в различных областях науки и культуры, все же настолько чужды нам, представляются настолько противоестественными, что воспринимать их конкретное значение подчас бывает нелегко.

Именно поэтому мы нередко склонны пользоваться схемами. В применении к миру литературному эта схема сводится к тому, что в капиталистическом обществе имеются писатели, поставившие своё перо на службу этой социальной системе, есть писатели «левые», прогрессивные, однако нередко колеблющиеся на крутых поворотах истории, и, наконец, литераторы, ведущие последовательную, социально осмысленную, антикапиталистическую борьбу.

Подобный взгляд на расстановку литературных сил в западном мире в основном верен.

Однако любое обобщение имеет тенденцию заслонять конкретность явления, подменять собой тщательный анализ.

Именно поэтому мне хочется попытаться в этой статье коснуться некоторых конкретных особенностей, которые, как мне кажется, должны приниматься во внимание при рассмотрении данного вопроса.

При внимательном подходе к событиям литературно-политической жизни в современном капиталистическом мире нам бросается в глаза одна парадоксальная на первый взгляд особенность. Некоторые писатели, чья литературная и общественная репутация была традиционно связана с прогрессивным, антикапиталистическим движением, открыто перешли в лагерь реакции и, следуя логике ренегатства, перещеголяли на ниве холуйствующего конформизма многих своих открыто консервативных коллег. Это явление кажется парадоксальным именно потому, что происходит на фоне катаклизмов, потрясающих капиталистический мир.

И тем не менее оно, как говорится, имеет место. Коснемся некоторых фактов.

Вспомним о Стейнбеке, ныне покойном американском писателе, авторе знаменитых «Гроздьев гнева» — книги, в которой он беспощадно обличал современное американское общество. Этот человек в глазах прогрессивных людей всего мира умер незадолго до своей физической смерти. Он погиб как личность, когда полетел в американском военном самолете и с вожделением наблюдал, как летчик бьет пулеметными очередями по мирному населению Вьетнама, наблюдал, чтобы потом написать об этом летчике так:

«По тонкости управления его работа напоминала мне медлительные руки Казальса на виолончели...»

Стейнбек сравнивал бомбу, летящую на рисовые поля Вьетнама,— с чем бы вы думали? — с раскрывающейся розой! Несомненно, что интеллигенты типа Стейнбека сделали больше для оправдания американской агрессии в глазах обманутых и лишенных правдивой информации людей Запада, чем десяток официальных деклараций государственного департамента.

Весьма активные и далеко не безуспешные попытки превратить интеллигенцию в активного пропагандиста внешней политики империализма наблюдаются в последнее время в Англии. В свое время наша печать широко сообщала о группе так называемых «рассерженных молодых людей» — писателей, которые довольно резко, хотя и сумбурно, выражали свой протест против уродливостей капиталистического образа жизни. К этим писателям относились такие, как Осборн, Брэйн, Уэйн и другие.

Но посмотрите, как перемолола, разложила некоторых из этих людей буржуазная пропагандистская машина сегодня. Джон Брэйн выступил со своего рода публичной исповедью, озаглавленной «Как один британский социалист стал консерватором». Она была немедленно издана в Англии отдельной брошюрой и, конечно, тотчас же перепечатана в одном из распространенных американских изданий — «Нью-Йорк таймс мэгэзин».

Подобно персонажу Достоевского, призывавшему «обнажиться и заголиться», Брэйн дает нам отвратительный документ политического эксгибиционизма. Он оплевывает все свои «левые» идеалы прошлого, просит прощения за то, что считал внешнюю политику США агрессивной, отрицательно относился к НАТО и выступал в защиту греческих коммунистов. «Исповеди» Брэйна предшествовало его турне по Соединенным Штатам, и он полностью расплатился с организаторами этой поездки, написав, что «Америка и поныне страна, в которой вы можете стать кем угодно — от битника до миллионера».

Поистине страшно и кощунственно звучат эти слова, если вспомнить о других, тех, что высечены на надгробье погибшего от пули расиста Мартина Лютера Кинга: «Свободен, свободен, слава богу, наконец-то свободен!»

Я говорю не о сумме фактов, расширить которые мне не позволяет недостаток места. Речь идет о *явлении*. Ведущие империалистические державы, напуганные ростом прогрессивных сил в среде западной интеллигенции, пы-

таются активно вмешаться и направить процесс дифференциации в нужную им сторону, создать сильный, хорошо оплачиваемый отряд интеллектуалов — активных пропагандистов своей внутренней и внешней политики.

Для этого не жалеют ни сил, ни средств. Устанавливаются все более тесные связи американских университетов, еще недавно кичащихся своей независимостью и «академической свободой», с военным министерством и ЦРУ. Вспомним, что именно в Институте проблем коммунизма, существующем при Колумбийском университете в Нью-Йорке, разрабатывалась стратегия и тактика, при помощи которой — по словам руководителя этого института Збигнева Бржазинского — возможно разложить социалистический лагерь и изменить «без единого выстрела», без прямого использования военной силы политический статус-кво Европы, созданный второй мировой войной.

И успех и крах этой политики мы могли наблюдать в Чехословакии.

Именно против превращения университетов в своего рода отделы госдепартамента, Пентагона и ЦРУ ведут в конечном итоге борьбу прогрессивное студенчество и профессура, борьбу, доходящую до рукопашных схваток с полицией.

И именно в этой связи наиболее влиятельный и официозный журнал США «Тайм» писал с плохо разыгранным недоумением:

«Интересы Пентагона простираются от высоковольтной физики до репетиторской деятельности... США нуждаются в интеллектуалах для обороны... для исследования космоса, для управления счетно-вычислительными машинами... Возможности, открывающиеся перед интеллигентом, почти безграничны. В таком случае почему же он так несчастен?»

Разумеется, по мнению журнала, с активным использованием интеллигенции для агрессивных правительственных целей связан известный риск. Но «кто захотел бы, например,— цинично восклицает «Тайм»,— чтобы во главе ЦРУ стояли одни солдаты и полицейские»?

После всего сказанного своевременно, как мне кажется, поставить вопрос: почему все это происходит? Не является ли незакономерным тот факт, что именно в тот период, когда внутренние взрывы с особой силой потрясают капиталистическую систему, ей удается привлечь на свою

сторону определенное количество интеллектуалов? И каким способом? Какой приманкой?

Вопросы это сложные, и ответы на них не могут быть исчерпывающе однозначными. Дело в том, что именно рост антикапиталистических настроений, народно-освободительной борьбы, укрепление социалистической системы заставляют идеологов современного империализма таким образом модифицировать свою методологию воздействия на интеллигенцию, чтобы этой последней казалось, будто своими действиями она служит не «чистому» империализму, но империализму совершенствующемуся, теряющему агрессивные, антигуманные черты.

Но в чем же конкретное содержание этой модифицированной методологии?

Ответ может быть заключен в одном слове: антисоветизм. Мне могут возразить: что в этом нового? Разве начиная с октября 1917 года антисоветская пропаганда не стала главным оружием врагов коммунизма?

Разумеется, это так. Но если мы проследим *за содержанием* этой пропаганды за истекшие пятьдесят с лишним лет, то убедимся, что оно не раз претерпевало серьезные изменения. Сегодняшнее молодое поколение уже с трудом верит в то, что в первые годы после Октябрьской революции не только газеты капиталистического мира, но весь аппарат буржуазной пропаганды стремился дискредитировать социализм, убеждая мир, что сам факт посягательства на извечное, свойственное человеческой природе право частной собственности означает немедленную гибель социалистической системы, в особенности если она к тому же проповедует безбожие и вводит «общность жен».

Десятилетием позже антикоммунисты стали убеждать свои народы, что советские люди неминуемо вымрут от голода, поскольку ни научный, ни технический, ни экономический прогресс в Советском Союзе невозможен, а планы индустриализации, провозглашенные компартией, не более чем утопия.

Во время войны нам пророчили гибель, используя известное заявление Гитлера, что социалистическая система развалится от первого энергичного «толчка в дверь».

После войны нашей стране «предстояло» опять-таки погибнуть, поскольку она окажется не в силах восстановить разрушенное гитлеровскими армиями...

Разумеется, рудименты всех этих утверждений и сейчас находятся на вооружении антикоммунизма, разве что снято одно: насчет «общности жен».

Однако сам факт более чем полувекового существования Советского Союза, его ставшие уже хрестоматийными успехи в области науки, техники и экономики, а также известные всему миру социальные достижения лишили традиционные антисоветские утверждения даже иллюзии убедительности.

Именно поэтому сегодняшний антисоветизм резко изменил свою окраску, и его изменение особенно бросается в глаза, когда мы наблюдаем за его усилиями в сфере интеллигенции. Нет, антикоммунисты, обращаясь к западным интеллектуалам, уже не рискуют подвергать сомнению ни мощь Советской страны, ни ряд ее социальных завоеваний, ни прогресс в области науки и техники. Все это уже fait accompli — свершившийся факт, как говорят французы.

Теперь антикоммунисты, памятуя, сколь велик традиционный интерес интеллигенции к проблемам духовного бытия, сколь остра в ней неудовлетворенность положением интеллектуала в капиталистическом обществе, сосредотачивают свои усилия, чтобы убедить ее в том, что и социализму не удалось разрешить проклятых вопросов — свободы творчества, независимости личности, автономии культуры и т. п.

Таким образом, интеллектуальный антисоветизм является сегодня одним из главных орудий антикоммунизма.

В этом есть свой глубокий замысел.

Вспомним о том, что исторически Советский Союз, строительство коммунизма привлекали к себе активное сочувствие все новых и новых слоев западной интеллигенции не только своими социальными и материально-техническими завоеваниями. На политическую позицию этих людей активно влияло сознание, что веками лелеемая ими мечта о независимости художника от денежного мешка, от корыстных, антигуманных расчетов, о ликвидации отчуждения личности от государства, которое в условиях частной собственности оказалось причиной мучительных нравственных коллизий в капиталистическом обществе, стала реальностью в социалистическом обществе. И это сознание не только вот уже полвека привлекает сочувствие мировой интеллигенции к нашей стране, но и придает *практиче-*

ский смысл ее участию в антиимпериалистической борьбе. Именно поэтому задача подорвать веру интеллигенции в духовные достижения Советского Союза, всех социалистических стран становится сегодня актуальнейшей задачей антикоммунизма.

И вряд ли это нуждается в дополнительных объяснениях. Ведь если интеллигенция поверит в то, что даже Советский Союз, то есть *иная* социальная система, не в силах разрешить тех мучительных противоречий, от которых страдает западная интеллигенция, тогда уже совсем нетрудно будет убедить ее и в том, что антикапиталистическая борьба бессмысленна *в принципе* и, следовательно, все усилия необходимо сосредоточить лишь на «усовершенствовании» капитализма.

Факты, которые я перечислил в начале этой статьи, свидетельствуют о некоторых успехах этой новой тактики антикоммунизма.

Кого же удается привлечь на свою сторону капитализму? И на этот вопрос трудно ответить с прямолинейной определенностью.

Интеллигенция капиталистических стран, даже если ограничить это понятие определением «художественная интеллигенция», неоднородна.

К ней относятся лица, сознательно находящиеся на службе капитализма, те, кого Ленин в свое время заклеймил презрительной кличкой: «чернильные кули империализма». Значительную часть так называемой левой интеллигенции составляют субъективно честные люди, однако лишенные последовательного, научного миросозерцания и посвящающие всю свою жизнь и деятельность поискам того самого «игольного ушка» между капитализмом и социализмом, пройдя через которое они смогут обрести «царство небесное». Советские читатели нередко удивляются, почему тот или иной из этих художников то встречает поддержку на страницах нашей печати, то критикуется. Если принять во внимание сказанное выше, то подобные факты покажутся естественными и вряд ли должны вызывать недоумение.

Немало среди художников Запада и таких, которые, прямо не присоединяясь к коммунизму, тем не менее в силу своих органических связей с народом и озабоченности будущим мира, своим творчеством объективно помогают антиимпериалистической борьбе.

Есть, наконец, художники-коммунисты, последовательные борцы за освобождение от капиталистического угнетения. Надо ли говорить, что ко всем этим группам интеллигенции антикоммунизм подходит дифференцированно. Однако его главным оружием во всех этих случаях является антисоветская пропаганда.

В этой связи, естественно, возникает и другой вопрос: если на подобную пропаганду могут поддаться те буржуазные интеллигенты, для которых «левизна» была лишь модой, которые не вооружены сколько-нибудь последовательным научным мировоззрением и не в силах понять истинный смысл изощренной тактики антикоммунизма, то как может попасться на такую приманку хотя бы один из тех литераторов, которых мы ранее знали как активных и сознательных участников освободительной борьбы?

Это сложный вопрос, и на него не может быть однозначного ответа.

Во-первых, следует помнить, что писатель, живущий в капиталистическом обществе и примкнувший к народу в борьбе за лучшее будущее, ежедневно и ежечасно вынужден вести не только политическую, но и напряженную психологическую борьбу, оказывая постоянное внутреннее сопротивление многообразному аппарату буржуазной пропаганды, атакующей его прямо и косвенно.

Не каждый способен выдержать этот изнурительный бой до конца.

Во-вторых, такому писателю буржуазия всегда предлагает тайный компромисс: она готова простить ему даже формальную принадлежность к компартии и превознести до небес, если только встретит в нем сочувственное «понимание», когда речь идет об антисоветских нападках.

Проявляя подобное «понимание», такой писатель, видимо, полагает, что антисоветизм не только совместим с коммунизмом, но даже подчеркивает его независимость.

Ленин писал, что «не так важно, *кто* отстаивает непосредственно известные взгляды. Важно то, кому выгодны эти взгляды, эти предложения».

Кстати сказать, мы нередко цитируем слова Ленина о том, что при современной благородной системе капитализма «можно нанять», или купить, или привлечь любое число адвокатов, писателей и т. д. Но не забываем ли мы при этом, что «купить» можно не только в примитивном смысле этого слова, да и сама «купля» может быть в совре-

менных условиях капиталистического мира совершенно непохожа на традиционные представления о вульгарной взятке. Ведь «купить», между прочим, можно и за нечто менее осязаемое, чем деньги,— например, используя тщеславие и тайную неудовлетворенность такого художника, которому в душе кажется, что, присоединившись к компартии, к рабочему классу, он, так сказать, что-то «недополучил» в признании и славе.

Я мог бы до бесконечности воспроизводить слова, произнесенные с различных трибун, написанные в сотнях статей, свидетельствующие о том, что подавляющее большинство честных писателей мира с негодованием отвергает любые компромиссы с совестью, навязываемые им империализмом.

Но этот отрадный факт не должен заслонять от нас полную картину великого сражения за человеческие души, сражения, в котором силы мира и прогресса одерживают не только победы, но иногда терпят и поражения.

Какой же вывод должны сделать из этого советские писатели? Этот вывод должен, как мне кажется, обуславливаться следующими обстоятельствами.

Советская литература не остров. Она составная часть мировой прогрессивной литературы.

Советские писатели не наблюдатели, спокойно регистрирующие победы и поражения своих зарубежных собратьев по перу. Интернациональный долг, историческая ответственность за будущее мира, которую они делят с народами социалистических стран, делают их активными участниками борьбы между силами прогресса и реакции на мировой арене. Главное для писателя — его творчество. Но было бы ошибкой считать, что в этой борьбе литератор участвует только своими книгами. Он влияет на ход битвы и личным своим гражданским поведением.

Нам уже приходилось говорить, с каким вожделением ловят враги малейший благожелательный отклик в социалистической творческой среде на экспортируемые ими «теории» и «концепции», даже если этот отклик находится на интеллектуальном уровне треневской Дуньки. С какой патологической страстью они раздувают и интерпретируют любое выступление, могущее быть истолковано как разброд в советском интеллектуальном мире.

И здесь мне хотелось бы со всей определенностью сказать следующее. Не только наша творческая среда — все

наше общество не может развиваться без повседневной критики и самокритики. Было бы наивным утверждать, что наше общество лишено недостатков — они, безусловно, есть, и с ними надо бороться. Однако главное заключается в том, что из всех существующих на земле политических и экономических систем наша социалистическая система является наиболее передовой, наиболее справедливой и наиболее способной к дальнейшему совершенствованию. В этой правде заключен высший смысл жизни и деятельности советских людей, в том числе и писателей.

В своей творческой и общественной деятельности советский литератор не может, не должен уходить от постоянно стоящего перед ним вопроса: на какую чашу мировых весов ляжет его книга, его статья, его поступок? Вдохновят ли они тех наших зарубежных друзей, которые ведут тяжелую, изнурительную, но бескомпромиссную борьбу за лучшее будущее мира, ободрят ли их в тяжелые минуты, вдохнут ли новые силы или, наоборот, смягчат ночные угрызения совести, которые, хочется надеяться, все же испытывают интеллектуалы, предавшие и продавшие свое высокое звание писателя и превратившиеся в буржуазных пропагандистов.

XXIII съезд партии и апрельский Пленум ЦК, отметив, что литература и искусство в нашей стране идут по народному, партийному пути, обратили внимание и на некоторые тревожащие советскую общественность идейные шатания в среде художественной интеллигенции.

Я далек от мысли утверждать, что все это только дело прошлого, хотя и убежден в том, что отрицательные явления в сфере идеологии в результате созидательной работы партии и несомненной консолидации творческой среды резко пошли на убыль.

И тем не менее они все еще есть. Однако полагаю, что мы сделали бы серьезную ошибку, если бы в целях упрощения методологии свалили бы все эти явления, как говорится, в одну кучу.

Реальность же заключается в том, что эти отрицательные явления различны и по своему происхождению, и по существу.

Так, например, мы все еще являемся свидетелями тех крайних проявлений идейной борьбы, когда литератор не только проповедует в творчестве своем враждебные марксизму, ленинскому пониманию социализма взгляды, но и в

своем поведении прямо смыкается с классово-враждебными нам действиями идеологов капиталистического общества. Наша реакция на подобного рода явления должна быть негодующе-осуждающей. Такой она и является.

Однако было бы ошибкой считать прямыми рупорами классово-враждебных сил и таких литераторов, творчество которых просто оставляет желать лучшего в смысле их социалистической направленности.

Да, время от времени еще появляются произведения, в которых отражен тенденциозно-избирательный взгляд авторов на нашу жизнь, смещены реальные соотношения положительных и отрицательных сторон объективной действительности.

Успешно бороться с такими явлениями можно, только серьезно вникая в их причины.

А причин таких, мне кажется, несколько. Иногда авторами подобных произведений руководит самоуверенность в сочетании с неосведомленностью. Увидев то или иное отрицательное явление в нашей жизни, они, не давая себе труда узнать, какие меры предпринимаются для его ликвидации и какие силы для этой ликвидации уже брошены в бой, становятся в позу колумбов и в крикливо-сенсационной манере отстаивают свое право «самых зрячих», «самых смелых», «самых независимых» первооткрывателей.

Влияет ли на «оформление» их позиций буржуазная пропаганда? Объективно (и нередко против воли их самих), конечно, влияет.

Но не только она, эта пропаганда. Не следует забывать, что и в нашей реальной жизни есть свои трудности и сложности и правильное их понимание дается опытом, марксистско-ленинской теоретической вооруженностью, то есть именно тем, чего некоторым нашим колумбам как раз и не хватает. «Все понять» не значит «все простить». Но именно понимание характера и причин явления необходимо для того, чтобы правильно определить «лечение» и принять меры «профилактики».

Враждебная нам пропаганда во *всех* случаях критики того или иного отрицательного идейного явления в нашей среде поднимает крик о том, что в основе этой критики лежит стремление заставить советских художников видеть в жизни лишь положительное и закрывать глаза на недостатки.

Но это ложь. Право писателя на критику, бичевание

всего отрицательного, вредного, отсталого в нашей жизни неоспоримо. Тот, кто это отрицает, не имеет ничего общего с политикой нашей партии в области литературы и искусства. Но мы за конструктивную, сознательную, деловую критику. И совсем не потому, что такая критика «мягче», «ограниченней» и т. д., но прежде всего потому, что она скорее, точнее, лучше достигает цели: устранения всего того, против чего направлена.

Разумеется, когда тот или иной автор ставит своей главной задачей не устранение недостатков, а заботится прежде всего о том, чтобы поставить «заявочный столб», громче всех крикнуть о недостатках, а потом «хоть потоп»,— в этом случае ему вряд ли приходится надеяться на признательность общественности. Но это уже другой вопрос...

Около четырех десятилетий тому назад Горький с трибуны Первого Всесоюзного съезда советских писателей говорил, что «советская литература при всем разнообразии ее талантов и непрерывно растущем количестве новых, даровитых писателей должна быть организована как единое коллективное целое, как мощное орудие социалистической культуры».

Ощущение «единого целого» предполагает коллективную ответственность, оно выковывается в идейной борьбе, оно дается сознанием единства с Коммунистической партией, пониманием той великой роли, которую играет советская литература в великой битве за будущее человечества, не прекращающейся ни на минуту.

Сегодня мы с гордостью можем сказать, что советская литература стала именно такой, как мечтал Горький.

Вдохновленная идеями ленинизма, проникнутая чувством интернационального долга перед народами всего мира, она несет людям великую правду о первом в мире социалистическом государстве, о высоком назначении человека.

ВОСЕМЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ ВОКРУГ САМОГО СЕБЯ

(По поводу выступлений Альбера Камю)

В наши дни творчество Альбера Камю, писателя, эссеиста и публициста, достаточно известно советскому читателю. Он может прочесть в переводах такие столь характерные для философских взглядов и художественной манеры

французского писателя произведения, как «Чума», «Посторонний» и «Падение». Опубликован также ряд его рассказов и очерков.

В статьях, написанных уже после смерти Камю (он погиб в 1960 году во время автомобильной катастрофы), советские критики подвергли серьезному анализу как творчество Камю, так и философско-политическую основу его произведений.

Скажем прямо, без обиняков: властитель дум определенной части французской (и не только французской, но и вообще западноевропейской) интеллигенции, Альбер Камю, объективно отразивший в своем творчестве вопиющие духовные противоречия послевоенного буржуазного мира, был по своим политическим взглядам антикоммунистом.

Означает ли это автоматически, что он является апологетом современного буржуазного мира? Нет, не означает. Во время второй мировой войны Камю принимал участие в антифашистской борьбе в рядах французского Сопротивления. Какое-то время он даже считал себя «попутчиком революции», по крайней мере, хотел казаться таким до тех пор, пока открыто не перешел в антикоммунистический лагерь в начале 1951 года.

Но, и став «интеллектуалом-антикоммунистом № 1», Камю не отличался политической последовательностью. Он долго метался в поисках иллюзорного «третьего пути», столь характерных для части буржуазной интеллигенции — «третьего пути» между капитализмом и социализмом. Мы знаем, что на деле этот путь приводит человека или к социализму, или в болото антикоммунизма, или, так сказать, в никуда.

Камю, фактически призывавшего «чуму на оба ваши дома», этот путь политически привел в лагерь реакции.

Именно поэтому его публицистико-теоретические высказывания на тему о роли и месте писателя в обществе практически до сих пор используются нашими идейными противниками при обосновании концепции «вечной», «неизбежной» оппозиции писателя по отношению к государству, одинаково якобы применимой как к миру капитализма, так и к миру победившего социализма.

И если произведения Камю в той или иной мере показывают несомненное «расщепление» личности в капиталистическом обществе, ее отчужденность, неверие в созидательные возможности человека и поэтому являются по-

учительными для каждого, кто хочет понять это общество, так сказать, «изнутри», то в политико-литературных высказываниях Камю в последнее десятилетие своей жизни выступал куда более однозначно реакционно.

Эти высказывания не забыты и сегодня. Более того, они активно используются нашими идейными противниками, когда речь идет о духовном экспорте в социалистический мир.

Поэтому мне показалось целесообразным включить в этот сборник статью, написанную и впервые опубликованную еще при жизни Альбера Камю...

* * *

Если считать, что цель ничто, а движение все, то в путешествии, смысл которого выражен в заглавии этой статьи, есть определенный смысл. «Куда вы идете?», «Куда вы пришли?» — могут спросить такого путешественника. Поседевший, изборожденный морщинами, с померкнувшим взором, со сбитыми в кровь ногами и рубцами на сердце, он пожмет плечами в ответ: «Я шел...» В его ответе может прозвучать усталость и разочарование или гордость. Как убедить этого странника, что его многолетнее путешествие было напрасным? И можно ли его убедить? Ирония судьбы: изобретатели вечного двигателя существовали и до того, как люди догадались использовать двигательную силу пара, они есть и в век спутников. Люди, как правило, высмеивают этих «мучеников идеи». Но бесцельность их пути «вокруг самого себя» часто остается неразгаданной.

Известно, что странствовать таким образом можно не только по земле, но и в области мысли. Для этого есть проторенные дороги. Они как модные и благоустроенные туристские маршруты: пара грозных водопадов, которыми можно любоваться и щекотать себе нервы из безопасного далека; может быть, рык диких зверей, если маршрут проходит по хорошо освоенным туристскими компаниями «джунглям»; какой-нибудь ветхий по виду мост, называемый чертовым, поскольку черт, как известно, является обладателем большинства мостов в мире; а потом привычная прекрасная автострада, на которой можно отдохнуть от пережитых опасностей.

Путешествующий по замкнутой философской кривой подобен такому туристу. Он достоин сожаления, если не знает, что весь его «интеллектуальный», «полный неожи-

данных опасностей», «неповторимый», сугубо «индивидуальный» маршрут уже давным-давно разработан невидимыми режиссерами. Но он достоин презрения, если сознает, что сам идет в никуда и ведет в тупик следующих за ним людей.

Непосредственным поводом для написания этой статьи явилась речь Альбера Камю при вручении ему Нобелевской премии, а также последующая лекция писателя, названная «Художник и его время». Эта лекция была ранее известна только по отдельным выдержкам в прессе и лишь теперь появилась целиком в виде специальной брошюры.

Выступления Камю примечательны и показательны как образцы антинародной, политически спекулятивной эстетики.

Лицемерие всегда отвратительно. Лицемерие под маской олимпийской беспристрастности отвратительно вдвойне. Идеологи западного мира любят говорить о несовместимости целей истинной литературы с целями политическими. Выступления Камю примечательны и с этой точки зрения. Они показывают, что кроется под «интеллектуальными поисками» «высоколобых», куда ведет их «путешествие мысли».

Глубокомыслие обычно импонирует. Речь и лекция Альбера Камю по форме чрезвычайно глубокомысленны. В их нарочитой интеллектуальной усложненности есть нечто жреческое. Они рассчитаны на «высоколобых» и противопоказаны «непосвященным». Я бы сказал, что выступления нобелевского лауреата не только сложны, они хитроумны.

Альбер Камю чувствует пульс времени. Он знает мир, в котором живет, и не сводит глаз с календаря. Французский литератор не зовет писателей в пресловутую уединенную башню. Ему хорошо известно, что слоновая кость не предохраняет ни от атомной радиации, ни от народного гнева. Поэтому Камю не только не защищает «искусство для искусства» — он обрушивается на него.

«Лично я не могу жить без моего искусства,— говорит Камю в своем первом выступлении.— Но,— продолжает он,— я никогда не ставил это искусство превыше всего. Напротив, если оно мне необходимо, то лишь потому, что оно ни от кого себя не отделяет и позволяет мне, такому, как я есть, жить на одном уровне со всеми. В моих глазах искусство не уединенное наслаждение. Оно является сред-

ством приводить в волнение наибольшее количество людей, предлагая им исключительные образы страданий и радостей, свойственных всем. Значит, оно обязывает художника не отстраняться от мира, оно подчиняет его правде — самой скромной и самой всеобщей».

Произнося эти слова, Камю завоевывает право на внимание. Люди по обе стороны баррикад прислушиваются к нему. Те, кто знает политическое кредо Камю — одни настороженно, другие чуть изумленно,— приподнимут брови: «Любопытно, что он скажет дальше?»

«Каковы бы ни были наши личные слабости,— продолжает Камю,— благородство нашего ремесла всегда будет уходить корнями в два нелегко выполнимых обязательства: отказ от лжи и сопротивление угнетению».

Это звучит более чем современно. Неужели Камю опостылела ложь буржуазного мира? Неужели переполнена чаша терпения писателя, которым никогда доселе не владел пафос социального обличения? Что случилось с Альбером Камю?

Он продолжает: «Перед лицом мира, которому угрожает распад, в котором наши великие инквизиторы прибегают к попыткам навеки установить царство смерти, оно (речь идет о поколении, к которому причисляет себя писатель.— *А. Ч.*) должно, обгоняя время, восстановить между нациями мир, который не был бы основан на рабстве, вновь примирить труд и культуру и снова построить арку единения со всеми людьми».

Нотки элегической грусти и пессимизма соседствуют в речи Камю с высказываниями, подобными только что приведенным. «Каждое поколение верит, что оно призвано переделать мир»,— говорит Камю, но «мое поколение знает, что оно его не переделает»,— добавляет он. Оптимисты простят эти слова несколько запоздало прозревшему писателю, особенно когда они услышат его заверения, что задача современного поколения, «быть может, еще огромнее. Она состоит в том, чтобы помешать разрушить мир».

Что ж, браво, Альбер Камю! Слушатели вправе предположить, что нобелевский лауреат, незадолго до получения премии рассыпавшийся в симпатиях к венгерским фашистам, претерпел удивительную метаморфозу. Видимо, ему, поднявшемуся на стокгольмский Олимп, внезапно открылась истина: это бывает — ведь, как известно, с горы лучше видишь мир, чем с равнины.

Многое в традиционной «тронной речи» лауреата с сочувствием было выслушано теми, кому осточертели войны, недоверие и подозрительность, царящие в мире, жестокая пошлость буржуазного образа жизни. Они, наверно, были снисходительны к некоторым «туманностям» высказывания Камю, к некоторым неопределенным намекам и экивокам — ведь он все же сказал о главном, дотронулся до тех струн человеческой души, которые не могли не зазвенеть в ответ.

Конечно, не у всех, кто слышал или прочел речь Камю, были время и возможность попасть тремя днями позже в большой амфитеатр Упсальского университета, где увенчанный лаврами француз прочел лекцию, озаглавленную «Художник и его время».

А жаль! В стокгольмской ратуше Камю говорил формулами. В лекции он их расшифровывал. В своей речи он ставил точки. В лекции он заменил их запятыми и двоеточиями, показав поистине страшный талант демонстрировать двойное дно понятий, которые по общепринятой логике должны иметь только одно значение.

В своей речи Камю выдвинул формулу связи художника с обществом. В лекции она конкретизируется. Оказывается, это связь заключенного со своей камерой, раба с галерой, к которой он прикован. «Для художника,— говорит Камю,— речь идет не о добровольном вступлении в армию, а скорее об обязательной военной службе. Всякий художник сегодня прикован к галере своего времени. Он должен с этим примириться, даже если полагает, что она безнадежно провоняла селедкой, что на ней слишком много надсмотрщиков и что, помимо всего, взят неверный курс. Мы в открытом море. Художник, как и все остальные, должен тоже грести и при этом, если может, не умереть, иначе говоря, продолжать жить и творить».

Произнося эти слова, Камю уже не оставляет сомнений у слушателей. В своей предыдущей речи он напомнил человека, который ведет по дороге доверившихся ему товарищей, не подозревающих, что за поворотом пропасть. Камю слишком поторопился отбежать в сторону. Видимо, у него не хватило выдержки. У тех, кто шел за ним, осталось время, чтобы увидеть, куда их вел новоявленный Моисей.

Однако лауреат не так прост, чтобы не попытаться взять реванш за свою опасную поспешность. Он раздваи-

вается и расчетверяется на глазах у слушателей, он пытается стать одновременно Христом и Иудой, пророком Иеремией и инквизитором Торквемадой, кричать одновременно «долой!» и «да здравствует!», звать вперед и вести назад, защищать и предавать.

Он говорит:

«...На арене истории всегда были жертва и лев. Первая поддерживала себя надеждой на вечные утехи, второй — обильно кровоточащей исторической пищей. Но до сих пор художник находился на скамьях амфитеатра. Он пел без цели, для самого себя или, в лучшем случае, чтобы ободрить жертву и немного отвлечь льва от его голода. Теперь же, напротив, художник находится на арене».

Но ведь арена — это галера, не так ли? И к ней ведь можно быть только «прикованным»? Да. Камю сказал именно так. Однако несколькими минутами позже он уже пытается придать своему определению совсем новое истолкование. Продолжая мысль о льве, жертве и художнике, он говорит: «Разумеется, можно вечно противопоставлять такому положению вещей гуманные сетования, стать тем, чем хочет быть во что бы то ни стало Степан Трофимович из «Бесов»,— воплощенным укором. Можно также, подобно этому персонажу, испытывать приступ гражданской скорби. Но эта скорбь ничего в действительности не меняет. По-моему, лучше занять свое место в жизни эпохи (чуть раньше это называлось «быть прикованным к провонявшей селедкой галере»), коль скоро она этого так настоятельно требует, и спокойно признать, что прошло время дорогих метров, художников с камелиями и гениев в кресле».

И далее:

«...Наше время характеризует прежде всего тот факт, что массы и их нищенские условия вторглись в поле зрения современного сознания. Ныне известно, что они существуют, тогда как раньше были склонны об этом забывать. И если теперь это известно, то отнюдь не потому, что избранные круги, артистические и прочие, стали лучше, но потому — в этом можно быть твердо уверенным,— что массы стали сильнее и не дают о себе забывать».

Попробуем проделать маленький эксперимент и пересказать все произнесенное Камю своими словами.

Итак: он стоит за искусство, связанное с обществом. Это общество — провонявшая галера, в экипаж которой нельзя вступить добровольно, на ней плывут лишь прикованные невольники. Нет, впрочем, это общество не галера. Оно арена, на которой столетиями продолжается кровавый пир льва, пожирающего свою жертву. Ныне художник переместился из амфитеатра цирка на саму арену. Это очень хорошо, там его настоящее место вопреки всякому отвлеченному гуманизму...

В этих рассуждениях видны явные противоречия. С «прикованностью» можно примириться, но к ней нельзя призывать и тем более ее нельзя любить. Образ льва, раздирающего свою пассивную жертву, и утверждение, что «массы стали сильнее», тоже не очень вяжутся между собой.

Вернемся, однако, к высказываниям самого лауреата. Он громит безответственность людей искусства буржуазной Европы. Он презирает тех дельцов от искусства буржуазной Европы до и после 1900 года, которые избрали безответственность, ибо ответственность предполагает полный разрыв с их обществом. «Именно к этой эпохе,— продолжает Камю,— относится теория «искусство для искусства», которая является не чем иным, как провозглашением права на безответственность».

Не правда ли, сильно сказано? Но Камю способен и на более категорические утверждения:

«Искусство для искусства, забава одинокого художника, есть поистине искусственное искусство лишенного естественности и отвлеченного общества. Его логическое завершение — салонное искусство, иначе искусство чисто формальное, которое кормится претенциозностью и абстракциями и приводит к разрушению всякой реальности... Что же удивляться, если почти все, что было создано ценного в торгашеской Европе XIX и XX веков, скажем, в области литературы, враждебно обществу своего времени! С того момента как буржуазное общество, рожденное революцией, стабилизировалось, развивается, напротив, литература бунта».

Произнося эти тирады, Камю все еще явно заинтересован в широкой аудитории. Он снова повторяет слова, которые не могут не встретить сочувствия и понимания. Еще несколько таких фраз — и ему начнут доверять даже те, кто знает, какие политические идеи он исповедовал досе-

ле, те широкие массы интеллигенции, которым ненавистен торгашеский дух буржуазного общества, которые видят в литературе одухотворенное орудие борьбы за лучшее будущее, те, кто презирает «искусство для искусства». Итак, еще несколько фраз, слушайте! «...Люди и художники решили оглянуться назад и вернуться к правде. С этой минуты они отвергли право художника на одиночество и предложили ему в качестве сюжета не его грезы, но действительность, пережитую и выстраданную всеми. Убежденные в том, что искусство для искусства, как его сюжеты, так и стиль, не поддается пониманию масс или не выражает ничего из их правды, эти люди захотели, чтобы художник, напротив, поставил перед собой цель говорить для многих и о многих. Пусть он передает страдания и радости всех на языке всех — и он будет понят повсюду».

Значит, да здравствует реализм! Не натурализм, который «по отношению к искусству является тем же, чем фотография по отношению к живописи: первая воспроизводит, тогда как вторая производит отбор», а именно реализм!

Альбер Камю, этот признанный антикоммунист, ходит здесь по острию ножа. Ведь ему остается только уточнить свой принцип отбора жизненных явлений, который, чтобы не быть в противоречии со всем вышесказанным, должен заключаться в выделении наиболее типичных, исторически жизнеспособных, характерных явлений действительности,— и на наших глазах произойдет чудесная метаморфоза: Альбер Камю станет защитником некоторых основных принципов социалистического реализма!

И Камю произносит эти слова: «социалистический реализм». Но теперь он полагает, что слушатели уже настолько расположены к нему, что можно полностью открыть свои истинные цели.

«В самом деле,— продолжает Камю,— он (социалистический реализм.— *А. Ч.*) открыто признает, что нельзя воспроизвести действительность, не прибегая к отбору... Ему остается лишь найти принцип отбора... И он находит его, но не в действительности, известной нам, а в действительности, которая будет, то есть в будущем». Но «как возможен социалистический реализм,— восклицает оратор,— если действительность еще не является полностью социалистической»?

Лауреату кажется (а может быть, он просто хочет создать такое впечатление), что социалистический реализм повергнут в прах силой «уничтожающей логики». Это просто умилительно по своей наивности! Точно средневековый монах или волшебник, Камю произносит заклинание и, убежденный в его несокрушимом могуществе, идет дальше, даже не оглянувшись, чтобы убедиться, подействовало ли оно.

В коллизиях социальной борьбы рождаются подчас явления причудливые. Иной раз люди, одаренные бесспорными способностями, даже талантом в какой-либо области, проявляют необъяснимую на первый взгляд узость и ограниченность мысли в другой — как правило, в области общественно-политической. Примером тому может служить хотя бы книга Уэллса «Россия во мгле».

Конечно, Камю трудно сравнить с Уэллсом как с точки зрения удельного веса в литературе, так и со всяких иных точек и сторон. Автор «России во мгле» во многом заблуждался, но ему нельзя было отказать в *стремлении* понять и разобраться. Камю все ясно. Он выступает как некий носитель истины в последней инстанции, который, подобно католической церкви, не может ошибаться. Сконструировав на ходу невероятную по своей наивности и немыслимости литературно-политическую «теорию», он пытается выдать ее за социалистический реализм. Искусственно созданная «теория» не замедлила тут же развеяться в прах. Ну и что же из этого? Какое отношение имеет подлинный социалистический реализм к измышлениям Камю?

Имей мы дело с искренним заблуждением, с обусловленным логикой классовой борьбы непониманием сложных проблем нового мира, как это случилось с тем же Уэллсом, был бы смысл набраться терпения и поспорить с Камю. Для начала стоило бы просто перечислить хотя бы два десятка советских книг, являющихся творческим воплощением метода социалистического реализма, книг, в которых плоть и кровь современности одухотворены взглядом в будущее и озарены светом этого будущего. Затем, может быть, имело бы смысл объяснить Камю, что социалистический реализм не отбирает «факты» из «будущего», поскольку это попросту невозможно, а лишь учитывает тенденции общественного развития, ведущие в это будущее.

Впрочем, все это было бы бесполезно. Социалистический реализм, такой, какой он есть в действительности, не нужен Камю. Его вполне устраивает лживая схема, призрак, созданный им самим. Отрицая много общепринятых истин, Камю твердо усвоил, по крайней мере, одну: с призраками легче и проще бороться.

Итак, «покончив» с социалистическим реализмом, Камю приступает к объяснению, что же такое, с его точки зрения, истинное искусство. «В известном смысле искусство есть бунт против мира...— объявляет Камю.— Оно одновременно отречение и согласие, и оно может быть только без конца возобновляющимся разрывом. Художник всегда пребывает в состоянии этой раздвоенности...»

И наконец:

«Цель искусства... не в том, чтобы давать законы и властвовать, но прежде всего в том, чтобы понимать... Ни одно гениальное творение никогда не основывалось на ненависти или презрении. Вот почему художник в конце своего пути отпускает грехи, а не осуждает. Он не судящий, но оправдывающий... Воинствующий писатель только тот, кто, вовсе не отказываясь от боя, отказывается, по меньшей мере, присоединиться к регулярным войскам, я бы сказал — вольный стрелок. ...Искусство шагает между двух бездн: пустотой и пропагандой. На этой полоске гребня, по которому продвигается великий художник, каждый шаг — крайне рискованное приключение. Однако в этом риске, и в нем одном,— свобода искусства».

Зигзагообразное путешествие «вокруг самого себя» завершено. Шаг вперед: долой «искусство для искусства», художник должен быть связанным с обществом, он должен быть «ответственным». Шаг в сторону: социалистический реализм «немыслим», его «не может быть». Два шага назад: даже в том случае, когда «ставшие сильными» массы победят, художник не должен присоединяться к ним, его удел и долг — вечная «оппозиция», вечный протест, путешествие «между двух бездн».

Итак, лев по-прежнему на арене и терзает свою жертву. Этот образ непреходящ. Он вечен. Вы сделаете ошибку, если в образе льва усмотрите символ, скажем, капиталистического угнетения (кстати, эту ошибку сделать не так уж невозможно, читая начальные рассуждения Камю), а в образе жертвы — массы угнетенных людей. Такое представление предполагает историческую конкретность

данной аллегории, а Камю хочет доказать своим слушателям, что она не подвластна времени. В крайнем случае лев и жертва могут поменяться местами. И тогда шагающий между «пустотой и пропагандой» писатель, до сих пор защищавший жертву, ныне автоматически становится адвокатом льва. Таким образом, для искусства сохраняется та самая «свобода», которая ныне входит в почти официальное название построенного на угнетении капиталистического мира.

Если неправое дело может делаться талантливо, то это слово приложимо к лекции Альбера Камю. Неправда в его речи искусно переплетена с правдой, отлично «выверена» терминология, «безупречно», «бесшумно» срабатывают «стрелки», посредством которых поезд направляется с правильной дороги в тупик и под откос.

Камю хочет внушить нам мысль, что вечный удел писателя и его императивный долг — быть на стороне жертвы. Но если это так, то вечно и разделение человечества на льва и жертву. Так обстоит дело при капитализме, так и при социализме. Но зачем тогда стремиться к выходу из капиталистического бытия? Чтобы заменить одни страдания другими? Ведь цель — ничто, движение — все...

Капитализм нуждается для своей защиты в кадрах разной квалификации. Ему нужны фашисты и полицейские, дешевые демагоги и «высоколобые» интеллектуалы. Есть такое модное на Западе словечко «завербованность» — его наши враги обычно привешивают в качестве ярлыка советским писателям.

«Завербованность» Альбера Камю совершенно очевидна. Больше того, он, видимо, накрепко «прикован» к провонявшей селедкой галере современного капитализма. Есть знаменитая фраза о том, что раб, осознавший свое рабство, тем самым наполовину уже перестает быть рабом. Но галерный раб, поэтизирующий свое рабство, видящий в нем основу для «творческой свободы» и готовый назавтра стать защитником своих надсмотрщиков, если эти последние по воле возмущенных рабов поменяются с ними местами,— такой раб поистине достоин презрения.

Тема лекции Альбера Камю далека от академизма. Он клевещет на социализм. Он призывает советских писателей обрести «свободу творчества», встав на путь измены

делу народа и на путь защиты и поэтизации жертвы, то есть, говоря на языке политическом, ничтожного меньшинства — того меньшинства, против которого было направлено острие диктатуры пролетариата. Нобелевский лауреат проповедует бесцельность борьбы за лучшее будущее, призывает писателей быть в оппозиции к победившему народу во имя пресловутой «свободы творчества»!

Что же такое «свобода творчества»?

Если очистить зерно рассуждений Камю от красивой и обманчивой словесной шелухи, то мы увидим, что его понимание свободы вообще и свободы творчества в частности выглядит весьма узким и примитивным.

Свобода — в понимании Камю — это оборотная сторона той самой «безответственности», против которой он как будто ратует. Это «свобода» не связывать себя с «армиями» (в том числе имеются в виду большие народные движения, конечно) и пребывать «вольным стрелком»; «свобода» всегда оставаться на стороне «поверженных», не думая, не рассуждая, на чьей стороне правда; «свобода» от ответственности за то, как развивается история. Следуя этим «принципам», надо сегодня защищать тех, кто является жертвами империалистической агрессии, а когда палачам придется (придется!) стоять перед судом возмущенного народа, то защищать их, этих вчерашних палачей. Что стоит такая «свобода»? Кому нужна «высокоинтеллектуальная» свобода властителей дум современного буржуазного общества, которая, если подумать хорошенько, реальна и беспредельна только в том случае, когда надо защищать капиталистический образ жизни, пропагандировать тщетность борьбы и клеветать на Советский Союз.

Прежде чем спорить, надо условиться о терминологии. Под словом «свобода» можно разуметь то, что имеет в виду Камю. Но за этим словом можно видеть и другое, а именно — сознательную, глубоко продуманную готовность связать свои устремления с волей большинства народа, связать не вследствие «прикованности», даже не из отвлеченного принципа, а из святой уверенности, что правда на стороне народа. И она остается правдой и тогда, когда народ идет за ней в бой, и тогда, когда он побеждает.

Мы за подлинную свободу, против обманчиво-красивой мишуры, под которой скрывается политое кровью поколений капиталистическое ярмо.

Изощренная, многими десятилетиями оттачиваемая буржуазная техника духовного воздействия на людей заключается в том, чтобы исказить их представления о реальности. Эта техника многообразна — от примитивных приемов до виртуозных методов психического растления. Но цель одна: заставить рабочего поверить, что он такой же пайщик предприятия, как и его хозяин, убедить владельца заложенного и перезаложенного, отягощенного банковскими долгами клочка земли, что он «самостоятельный собственник»; поощряя искусство обесчеловеченных, враждебных гуманизму абстракций, травя малейшую попытку сделать искусство орудием борьбы народов за лучшее будущее, внушить опутанному тенетами буржуазных предрассудков художнику, что он «свободен».

Капитализму мало подчинить себе художника, заставить делать его то, а не другое. Важно внушить при этом ему мысль, что он делает это «то» свободно, без тени принуждения. Такова капиталистическая техника растления человеческих душ. Наиболее смелые и честные художники стихийно, а иногда и сознательно вырываются из этих тенет. И тогда появляются книги, рассказывающие правду о нашей эпохе.

Но книги эти написаны *вопреки* капиталистическому принуждению, лицемерно называемому свободой. Они написаны во имя свободы подлинной, которую можно обрести только на пути слияния своей воли, своих усилий, своих идеалов с волей, устремлениями и идеалами народов, которые в отличие от пророков в конечном итоге не ошибаются никогда.

«Свобода творчества» — одна из тех роковых приманок, какими пользуется буржуазия, чтобы толкнуть людей искусства в сторону от путей, на которых обретается подлинная, а не эфемерная свобода духа и творчества. Интеллектуальные капитаны современного Запада, и в их числе Альбер Камю, толкают художников на бесплодные умозрительные искания, отравляющие их вкус к реальной жизни и парализующие волю. Кое-кому из писателей Запада кажется, что в этих бесплодных поисках, в стороне от столбовой дороги истории, они обретут Синюю птицу, имя которой Свобода.

Но это трагическая ошибка.

Есть древняя исландская сага — ее мотивы повторяются в преданиях других народов. Человек покинул родину

и отправился в долгое путешествие. Ему кажется, что он отсутствовал несколько лет, но прошли тысячелетия. Когда странник возвращается к отчим берегам, все кажется ему чужим; он не знает никого, и все забыли его. И ставший анахронизмом, человеком далекого и почти нереального прошлого, он рассыпается в прах, в пепел, едва ступив на берег, бывший когда-то родным.

Длительные путешествия «вокруг самого себя» — опасная вещь. Мир, населяющие его люди не стоят на месте. Они идут вперед. Они продвигаются с боями, терпят поражения, побеждают и снова идут вперед и вперед.

И не рискует ли странник, идущий по замкнутому кругу, вернувшись однажды в родные места, оказаться ненужным, чужим и забытым?..

II. БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ МОЛОДЕЖИ

СТАЛЬ ПЛАМЕНЕЕТ

На одном международном конгрессе советский делегат не без удивления переспросил имя африканского юноши, который назвался Павлом Корчагиным. Как это могло произойти? Кто и когда дал молодому человеку это имя?

— Я сам себе его дал, когда еще был мальчиком,— ответил юноша.— Я работал на сахарной плантации. Однажды хозяин жестоко избил меня. Я не мог больше выносить побои и унижения. Решил покончить с собой. Но один из моих товарищей — рабочий принес в эти дни книгу на английском языке. Она называлась «Как закалялась сталь». И я понял, что должен жить, бороться, как Павел Корчагин. И в знак моей решимости жить и бороться я назвал себя Павлом, Павлом Корчагиным. С тех пор это мое имя.

Более десяти лет назад в далекой от нас африканской стране, народ которой в это время еще боролся за свою независимость, на заседании ассамблеи выступил будущий президент этого государства. Говоря о необходимости покончить с колониализмом, завоевать своей стране свободу, оратор воодушевленно произнес:

«Господин спикер, уважаемые депутаты, перед нами стоят грандиозные задачи... Со своей стороны, я могу лишь повторить слова одного великого человека: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подлень-

кое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества».

Господин спикер, а теперь возблагодарим бога за то, что мы дождались этого часа».

В стенах собрания раздались овации. Они продолжались и за пределами ассамблеи. Заседание палаты было прервано на пятнадцать минут...

В чем секрет удивительнейшей судьбы произведения, герою которого принадлежат приведенные выше вдохновляющие слова? А судьба этой книги, название которой «Как закалялась сталь», ныне известной миллионам и миллионам людей на земле, поистине удивительна.

Она не только стала знаменем советской молодежи. Она вдохновляла строителей тридцатых годов, изменивших лицо нашей страны. Советские воины пронесли ее сквозь трудные и победные годы Великой Отечественной войны. Эта книга вдохновляла на бессмертный подвиг Зою Космодемьянскую, Олега Кошевого и Александра Матросова. Герой этой книги, неразрывно слитый с героической жизнью ее автора, в рядах Советской Армии бил фашистов под Москвой и под Ленинградом, под Варшавой и Будапештом, Белградом и Веной, под Прагой, Софией и Парижем... Зарубежные коммунисты, революционеры, томящиеся в фашистских застенках, на империалистической каторге, изучали ее, переписанную мельчайшими буквами на листах папиросной бумаги.

В темноте фашистского застенка обреченный на смерть советский патриот и народный герой, татарский поэт Муса Джалиль кровью сердца своего писал стихи о грядущей победе и эпиграфом к ним ставил строки из книги «Как закалялась сталь».

Ее читали бойцы Интернациональной бригады сражающейся Испании. Партизаны, воины освободительных армий Китая, Вьетнама, Кореи и Кубы в своих кустарных, запрятанных в горах или джунглях типографиях перепечатывали эту книгу или переписывали ее от руки.

Она издана в нашей стране во многих миллионах экземпляров. Она переведена более чем на тридцать пять языков народов мира и почти на все языки народов СССР.

Итак, еще раз: в чем же секрет этой удивительной судьбы, нечасто выпадающей на долю литературного произведения? Как называется та великая, созидательная и

взрывчатая сила, которой наполнена книга «Как закалялась сталь», сила, вдохновляющая людей на подвиг, поддерживающая их в трудную минуту жизни, облагораживающая людей, делающая их беззаветно смелыми, честными, бескомпромиссными?

В советской и мировой прессе написаны многие сотни статей, посвященных жизни Николая Островского и его книгам. Но мне хочется сказать о главном, ответить на поставленный вопрос: в чем сила книг Николая Островского, в чем причина славной, удивительной и завидной судьбы романа «Как закалялась сталь»?

Были люди, преимущественно из среды буржуазных критиков и социологов, которые в начале победоносного шествия романа Островского пытались объяснить успех и популярность книги необычной и тяжелой судьбой ее автора, трагедийностью самой человеческой коллизии, описанной в книге.

Тут бы им и вспомнить о других книгах, рассказывающих о трагических судьбах героев, например о романе Киплинга «Свет погас», в котором ослепший и потерявший трудоспособность художник одновременно теряет не только работу, возлюбленную, друзей, но и саму веру в жизнь.

Но буржуазные критики в данном случае о нем не вспоминали.

Любители по многим поводам подчеркивать значение для развития литературы творчества французского писателя-декадента Марселя Пруста никогда не цитировали слов и этого пастигнутого болезнью писателя о себе, где он говорит об одиноком слепом существе, боящемся внуков, отрезанном от мира пробковыми стенами своей комнаты-убежища...

Нет, эти примеры, эти ассоциации были ни к чему поклонникам литературного психоанализа. Если они попытались бы к ним прибегнуть, то неминуемо пришли бы к выводу, что в биографии Островского, в жизни, которая окружала и сформировала этого человека и писателя как характер, было нечто кардинально иное и вместе с тем решающее, что отличало судьбу писателя и его книг. И это отличное и решающее мы определяем словами — коммунистическая партийность.

С тех давних пор, как в мире появились произведения, проникнутые духом борьбы человека за лучшее будущее, начался исторический спор между силами прогресса и ре-

акции о сущности литературы и о ее назначении. Этот спор приобрел особую политическую остроту с тех пор, как родилась советская литература, а за ней и литературы других народов, победивших эксплуататоров.

Речь идет об идейности литературы, о ее партийности.

Сторонники литературы безыдейной, исследующей потемки опустошенной человеческой души, пропагандисты безответственной независимости писателя от общества, от народных судеб избрали партийность литературы главной мишенью своих атак.

Они фальсифицируют опыт литературы и, ссылаясь на уроки истории, пытаются выдать себя за гегелевских сов Минервы, которые в сумерках вещают истину.

Но они лишь летучие мыши, прилепившиеся к скользким стенам смрадных и темных пещер буржуазной философии. По сигналу своих хозяев они срываются с насиженных мест, чтобы принять участие в очередном шумном налете на идеологию коммунизма.

Они пытаются убедить писателей и народы в том, что литература, вдохновленная идеей братства трудящихся всего мира, классовой борьбой с угнетателями, литература, поэтизирующая мирный, созидательный труд победивших народов,— это всего лишь искусство «завербованных», от которого отвернется читатель.

Судьба Николая Островского и его книг находится в тесной связи с этим идеологическим спором.

Всем, кто знает биографию Островского, всем, кто читал его книги, то есть сотням миллионов людей, ясно, что вся жизнь, все помыслы этого простого рабочего парня из Шепетовки были отданы Коммунистической партии, идее победы коммунизма во всем мире.

Николай Островский никогда не скрывал своей партийной убежденности. Он выстрадал ее всей своей героической жизнью, она являлась существом его сознания, он был неотъемлемой частицей партии и комсомола, и в душе, в поступках его, как в капле воды океана, отражалась их политическая и моральная сущность.

Трудности, которые встали перед Н. Островским, когда он решил написать книгу, были неимоверными. Ведь к тому времени он был уже тяжело больным человеком, слепым и почти недвижимым. Но как это ни парадоксально звучит для тех, кто не знает характера Островского, он именно поэтому и решил стать писателем.

Этот комсомолец и коммунист не мог представить себя в бездействии. Он воспринимал жизнь только как служение партии, как борьбу за коммунистическое дело. Он хотел участвовать в этой борьбе до тех пор, пока бьется сердце. И если болезнь лишила его возможности вести привычную комсомольскую или партийную работу, то он будет участвовать в борьбе иными средствами: станет писателем, напишет партийную, зовущую к победе книгу.

Николай Островский хорошо отдавал себе отчет в стоящих перед ним трудностях. Своей соседке по квартире — Гале, самоотверженной девушке, решившей в качестве секретаря помочь Николаю в его будущей работе, он говорил:

— Трудное дело начинаем мы с вами, Галя. Будем писать о людях, которые кровью своей удобряли землю, на которой мы сейчас живем.

— Как ярко,— говорил потом Островский,— с какой силой гении буржуазной литературы создали образ молодого человека своего класса, его жизнь, формирование, стремления, страсть... С какой силой они показали, как учился он достигать славы, как умножал он богатства отцов... Дело нашей чести, партийное дело, создать образ молодого человека нашей советской эпохи...

Если вести речь только о «физической», так сказать, истории написания «Как закалялась сталь», то и она была подвигом. Островский пробовал писать книгу сам, своей почти не слушающейся рукой. Ему сделали своего рода транспарант — дощечку с прорезями шириной в строку. Но, будучи слепым, Островский не видел того, что писал, строки лезли одна на другую, и потом написанное было очень трудно разобрать.

Тогда он стал диктовать. Шли дни. Дни напряженной, неустанной работы.

Работа была на первом плане. Перед ней даже боль, чудовищная, почти непроходящая боль, отступает на задний план. И все же болезнь прогрессирует. Мышцы отказываются служить. Лишь чуть-чуть приподнимается рука. С раннего утра и до поздней ночи длится жестокий поединок с болезнью.

Наконец первая часть книги закончена и отправлена в издательство. Но тут болезнь решает как бы отомстить Островскому за победу. Крупозное воспаление легких. Плеврит. Врачи настаивают на немедленном переезде на юг.

Весной 1932 года Островский едет в Сочи.

После того как издательство приняло к напечатанию первую часть книги, Н. Островский берется за вторую.

Вот что пишет он в письме Гале, которой теперь уже нет рядом с ним:

«Милая Галя!.. Моя жизнь — это работа над второй книгой. Перешел па «ночную смену», засыпаю с рассветом. Ночью тихо, ни звука. Бегут, как в кинопленке, события, и рисуются образы и картины. Павка Корчагин уже разгромил, глупый, свое чувство к Рите и, посланный на стройку дороги, ведет отчаянную борьбу за дрова, в метели, в снегу. Злобно воет осатанелый ветер, кидает в лицо комья снега, а вокруг бродит неслышным шагом банда Орлика. Вот картина стройки...»

В конце 1932 года выходит в свет первая книга «Как закалялась сталь», в ноябре 1933 года закончена вторая книга и через несколько месяцев тоже выходит из печати.

Жизнь Н. Островского в эти годы была подвигом во имя партии, таким же, как и вся жизнь этого молодого человека, участника революционных битв.

Он поддерживал тесную связь с партийной организацией. Однажды весь состав бюро Сочинского горкома партии пришел на квартиру к Островскому, чтобы заслушать отчет о его творческой деятельности. А когда аттестационная комиссия утвердила писателя-коммуниста в звании военного комиссара — это был один из самых его радостных дней. Конечно, он понимал, что не может выполнять все то, что требует от комиссара Устав Красной Армии, но раз ему дали это звание — значит, его перо приравнено к штыку, и недаром он тиражи своей книги называл полками и дивизиями!

Советское правительство наградило Николая Островского орденом Ленина. Это было воспринято писателем-большевиком как величайшая радость, как признание его бойцом, находящимся в первых рядах битвы за коммунизм.

Со всех концов страны он получал письма с выражением чувств любви, благодарности и поддержки. Вот одно из таких писем от девушки-комсомолки:

«Дорогой, родной Николай Алексеевич!

Сегодня я встала очень рано — мне нужно многое, очень многое продумать.

Я горячо, сильно, всем сердцем люблю жизнь, людей, беспредельно и надежно люблю мою чудесную Родину — «молодую, свободную победительницу страну».

Комсомолка — я с гордостью ношу это имя, знаю, как оно обязывает, сколько требует от человека.

И я всегда училась и работала с большой, большой жадностью, страстью, с большим упорством. Непередаваемыми чувствами наполнила меня ваша книга. Все казалось, что неизмеримо мало делаю. Хотелось скорее по-настоящему бороться и творить. Мучило ужасное чувство неоплаченного долга перед отцами, матерями, братьями — вами, кто завоевал тебе это солнечное счастье полноправной свободной жизни.

Упорно, упорно учиться, работать, готовиться стать настоящим борцом и стать им — вот что все время твердила я себе...

Милый, родной Николай Алексеевич! Вы, наверное, единственный бригадный комиссар, который не может сказать, сколько у него в бригаде бойцов, но вы, наверно, чувствуете сердцем, какая это огромная бригада — ведь это целая комсомолия, вся молодежь нашей необъятной страны, да и не только нашей страны!

Ведь ни к одному литературному герою не было у молодежи столько теплоты, горячей нежности и любви, как к своему такому родному и близкому Павлу Корчагину. Ведь ни одного писателя не любит так искренне и горячо молодежь, как своего Николая Островского. Так искренне, сильно и нежно, как только умеет любить молодежь. Каждое слово от вас ждет и встречает молодежь с огромным волнением, каждую весточку от вас читает и перечитывает.

С горячим волнением ждет она ваших новых изумительных книг, которые так обжигают любовью и ненавистью и закаляют их сталью, нержавеющей, чистейшей плавки сталью.

Такие книги необходимы для жизни.

Такие книги рождают бойцов.

Дорогой бригадный комиссар!

Молодежь — поколение, родившееся в годы войны и Октября, так же будет бороться за счастье человечества, как защищали Страну Советов первые комсомольцы революции, с таким же никогда не стареющим сердцем большевиков, но только уже теперь в полном вооружении.

Все силы на то, чтобы самое лучшее, что есть у человека,— жизнь была прекрасна...»

Таких писем Н. Островский получал великое множество, и в Сочи, и в Москве, и особенно тогда, когда ему для новой книги «Рожденные бурей» понадобились дополнительные материалы по гражданской войне.

Да, Островский был комсомольцем и коммунистом во всем. Дома и на работе, в схватках с классовым врагом и в дружбе с товарищами по идее, в любви и в ненависти.

Именно поэтому ему удалось с такой поистине сверхчеловеческой силой преодолеть те страшные препятствия, которые воздвигла перед ним жизнь, и создать книги, ставшие для миллионов людей символами борьбы и победы.

Да, он жил и боролся в трудное время, когда голодная, разоренная страна, отбиваясь от внутренних и внешних врагов, с молотом и винтовкой в руках закладывала первые камни своего светлого будущего.

Андрей Птаха из «Рожденных бурей» мечтает о счастье для людей. Герои Островского бывают жестокими только с врагами. «Он знает,— говорит Островский о Сергее Брузжаке,— что он будет еще убивать, он, Сергей, умеющий так нежно любить, так крепко хранить дружбу. Он парень не злой,— продолжает автор,— не жестокий, но он знает, что в звериной ненависти двинулись на республику родную эти посланные мировыми паразитами обманутые и злобно натравленные солдаты.

И он, Сергей, убивает для того, чтобы приблизить день, когда на земле убивать друг друга не будут».

Жестокость, возведенная в закон, нечестность и подозрительность по отношению к товарищам по борьбе, нарушения революционной законности противны самому существу дела, которому герои Островского отдают свою жизнь. «За жестокое отношение к безоружным пленным будем расстреливать. Мы не белые!» — говорят герои книги «Как закалялась сталь». Рабоче-крестьянская страна требует, чтобы на знамени Красной Армии не было ни одного пятна,— говорится в цитируемом приказе Реввоенсовета. «Ни одного пятна»,— шепчет Павел...

Итак, далеко не только бесспорный талант писателя помог ему создать книгу, ставшую знаменем революционной молодежи всего мира. В страстной партийности, в величии идей, которыми она проникнута, секрет непреходящего успеха романа «Как закалялась сталь».

Это гимн Коммунистической партии и Ленинскому комсомолу.

Партия присутствует в этой книге не просто как внешняя организующая и направляющая сила. Люди, ее герои, их мысли, поступки, их борьба, дни и ночи этих людей, трудные, трагические и радостные, вдохновленные, боевые — это и есть партия.

И поэтому такие убежденные, такие гневные страницы романа «Как закалялась сталь» посвящены борьбе за партийное единство, против троцкистов и зиновьевцев.

Троцкисты отстаивают свое право на раскол, на борьбу против партийного большинства. «Иначе как мы,— говорит троцкист Туфта,— инакомыслящие — сможем бороться за свои взгляды с таким организованным, спаянным дисциплиной большинством?»

Помните, какой ураган криков обрушился тогда на фракционеров?

«— Позор!

— Долой раскольников!

— Хватит! Довольно поливать грязью!»

— Хватит! — говорим мы сегодня словами Николая Островского всем, кто пытается атаковать великое революционное знамя, которое победно несет Коммунистическая партия Советского Союза вместе с подлинными революционерами всего мира.

Вот уже на протяжении многих лет жизнь Николая Островского и его книги находятся на передовой линии идейной борьбы.

Вспомним: когда некоторое время назад в Венгрии империализм предпринял одну из своих ожесточенных атак на социалистический строй и коммунистическую идеологию, пытаясь при этом взять на свое вооружение те разоблачения, которые сделала сама наша партия в связи с культом личности Сталина, книга Островского была взята под обстрел ревизионистами всех мастей.

Снова летучие мыши стали хлопать своими крыльями вокруг романа Николая Островского. Они пытались объявить его «противопоказанным» современному читателю, говорили, что он призывает к подчинению человека партии и государству...

Они забыли о том, что люди, проливавшие кровь на полях Великой Отечественной войны, те самые, что сокрушили фашизм, раскрыли двери гитлеровских лагерей смер-

ти и вернули сотни тысяч людей к их семьям, те, кто заслонял своим телом пулеметные стволы и пел «Интернационал», когда фашистские палачи надевали петли на их шеи, они, эти люди, несли в своих солдатских мешках, в карманах своих простреленных шинелей гордую книгу Николая Островского!

Они забыли, что целое поколение советской молодежи, те, кто в тридцатых годах строил могучее и несокрушимое Советское государство, у таежных костров, у горы Магнитной, на берегу Днепра читали книгу «Как закалялась сталь», и она вдохновляла их на подвиг во имя счастья людей.

Действие романа Николая Островского происходило во времена, которые молодому поколению наших дней кажутся уже легендой. Подчас им уже трудно представить себе своих дедов, ровесников Павла Корчагина, увидеть их во плоти и крови тех далеких лет.

Нынешнему молодому поколению, свидетелю космических полетов, осуществляемых героями-космонавтами, также припадлежащими к этому же молодому поколению, юношам и девушкам, перед которыми открыты все жизненные пути, трудно представить себе все те тяготы и лишения, которые выпали на долю сверстников Николая Островского.

Кое у кого по этой причине может возникнуть мысль: Павел Корчагин принадлежит не нашей эпохе. Это уже история. Мы, советские юноши и девушки шестидесятых годов, даже вообразить не можем ту жизнь, когда враг стрелял из-за каждого угла, когда свирепствовали голод и тиф, когда Родину нашу терзали интервенты и белогвардейцы.

Мы, говорит кое-кто, принадлежим другому, атомно-космическому веку, веку победившего социализма и победоносного строительства коммунизма, для нас романы Островского не более чем далекая история.

Какое глубокое заблуждение!

Вопрос о наследовании традиций Корчагина-Островского — это очень важный и, конечно же, не только литературный вопрос. Он связан с характером, со структурой нашего сегодняшнего советского общества, с направлением его социального мышления.

Более того, этот вопрос неминуемо встает на всех этапах идейной борьбы, которую советская коммунистическая

идеология ведет с идеологией империализма, с псевдомарксистским догматизмом и ревизионизмом.

В какой мере живы сейчас традиции романа «Как закалялась сталь»? В какой мере идеи, которыми эта книга проникнута, актуальны для нашей молодежи?

Именно эти вопросы нередко задают нам из-за рубежа, иногда с искренним желанием знать истину, но нередко и с плохо скрытым антикоммунистическим «подтекстом».

Наследование революционных традиций может быть и чисто внешним, и глубоко органичным.

Для внешнего характерно безудержное «перепроизводство» революционных слов, стремление доказать, что коммунист в своей житейской практике, в своей политической деятельности «не меняется» и что, таким образом, его поступки не только по содержанию, но и по форме лишь повторяются, как, впрочем, и используемая им терминология.

Такая точка зрения, по меньшей мере, нелепа. Коммунистический, комсомольский активист первых лет революции в нашей стране в период, скажем, гражданской войны и продразверстки отличался от комсомольца периода нэпа и перехода к мирному строительству. И так же совершенно закономерно было различие между комсомольцами первой пятилетки и наших дней.

Тем более комсомолец наших дней при поверхностном сравнении мало чем похож на Павку Корчагина, комсомольца с наганом за поясом и «лимонкой» в кармане, бойца «чонов» — частей особого назначения по борьбе с контрреволюцией, кулацким саботажем и т. д. Да и терминология покорителя космоса и целины не может не отличаться от словаря комсомольцев, живших в совсем иных условиях общественно-политической жизни.

Другие — наши противники из империалистического лагеря,— наоборот, констатируют преданность советской молодежи коммунистическим идеалам и видят одну из главных задач своей пропаганды в том, чтобы скомпрометировать эти идеалы в ее глазах.

Что можем мы ответить на все это?

Прежде всего сказать: мы гордимся тем, что наша молодежь в результате героической, созидательной деятельности партии и народа избавлена от тех страданий и опасностей, которые каждодневно угрожали поколению Павла Корчагина.

Да, мы гордимся тем, что из повседневной терминологии нашей молодежи исчезли такие слова, как «кулак», «оппозиционер», «белогвардеец», «нэпман», «облава», «голодуха», «беспризорник» и т. д.

Но надо быть поистине политическим тупицей, чтобы видеть в этом исчезновении не один из прекрасных итогов строительства нового мира, а исчезновение революционных традиций.

Те, кто изучал историю КПСС, помнят, как Владимир Ильич Ленин распорядился однажды снять плакат, повешенный каким-то малограмотным революционером: «Диктатура пролетариата будет длиться вечно».

Мы боремся не за увековечение таких понятий, как классы, империализм и т. д., а за их конечную ликвидацию. В этом смысл нашей жизни, нашей борьбы.

Следовательно, анализируя проблему наследования нашей молодежью славных традиций поколения Павла Корчагина, надо говорить не о внешнем сходстве и различии поколений, а о том главном, что определяло и направляло их жизнь и борьбу.

И как только мы встанем на этот единственно правильный путь, то духовная неразрывность наших «отцов» и «детей» станет совершенно очевидной.

Честное, правдивое и глубоко впечатляющее описание тех условий, в которых жили и боролись отцы и деды наши, хронологически воспринимается нами как история. История героическая, волнующая, поучительная, но отделенная от нас уже многими десятилетиями.

Но биение сердца Павла Корчагина и сегодня отдается в наших сердцах. Потому что это было сердце комсомольца и коммуниста, отданное партии, и в этом непреходящая ценность книг Островского и его личного примера для всех поколений борцов за коммунистическое завтра.

Настоящий боец, стремящийся всегда к победе, не придает решающего значения трудностям походов и сражений, как бы они тяжелы ни были. Смысл своей жизни он видит в борьбе за идею, которая становится для него превыше всего.

Во имя коммунистической идеи, во имя безграничной веры в Коммунистическую партию шли миллионы наших юношей и девушек на целину, пополняли ряды бригад коммунистического труда, посылали своих лучших представителей в космос, к звездам.

И мы знаем, верим в то, что спокойное, но радостное биение сердца Юрия Гагарина, впервые поднявшего советский флаг выше всех знамен мира, сливалось с биением сердца Павла Корчагина. Потому что подвиги советских космонавтов, так же как и подвиги героев Островского, совершались во имя партии, во имя счастья людей на земле, во имя коммунизма!

Традиции героев Николая Островского мы можем легко увидеть и в больших и в малых делах советской молодежи. И поэтому сегодня мы можем с полным правом сказать, что если в далекие дни Павла Корчагина сталь лишь начинала закаляться, то сегодня она пламенеет, и яркое, негасимое, уверенное свечение этой стали символизирует зрелость и силу нашей коммунистической молодежи!

Да, «Как закалялась сталь» — это современная, боевая книга. Ибо современность литературного произведения проверяется прежде всего тем, какое место в сегодняшней борьбе за коммунизм это произведение занимает.

И когда наши идейные противники пытаются опорочить всю историю нашей партии, нашего государства, стараясь внушить молодому поколению мысль о том, что она писалась лишь черными, мрачными красками, то мы, помня книги Николая Островского, даем им достойную отповедь.

И когда в среде нашей молодежи мы встречаемся иногда с эгоистами или нытиками, то мы говорим им словами Николая Островского:

«Эгоист погибает раньше всех. Он живет в себе и для себя, и если исковеркано его «я», то ему нечем уже дышать, перед ним ночь обреченности. Но когда человек живет не только для себя, когда он растворяется в общественном, когда он живет единым целым со своим народом, то его невозможно убить».

«Итак, да здравствует упорство! — провозглашает коммунист Островский.— Побеждают только сильные духом! К черту людей, не умеющих жить полезно, радостно и красиво! К черту сопливых нытиков!»

Для наших литераторов книги Островского — поучительный и благодарный урок. Мы часто в своих спорах, в газетных и журнальных статьях говорим о партийности литературы, о путях ее воплощения в романах, пьесах, стихах. Партийность книги «Как закалялась сталь» не в декларациях, не в громкозвенящих фразах, оторванных от

сюжета, от логики поведения героев, от сущности этих характеров, от художественности. Художественность и партийность романа слиты воедино, и только эта слитность сделала книгу Островского тем произведением, которое вот уже три десятилетия волнует умы и души миллионов людей.

Мы много спорим о литературном герое нашего времени. Но именно Николаю Островскому удалось создать образ такого героя, показать становление его характера, показать всесторонне, в борьбе, в быту, на фронте и в мирной жизни.

Каждый год приносит советскому читателю немало хороших произведений. Однако есть среди них и книги блеклые, анемичные, подернутые туманом неопределенности.

Думаю, что главным пороком этих книг, помимо всего прочего, является отсутствие у их авторов того, что Толстой называл любимой мыслью, того, ради чего писатель взялся за перо. Потому что если у писателя нет любимой мысли, если он не убежден, что хочет, должен сказать людям что-то очень важное, убедить их, призвать, повести за собой, то лучше ему отойти от письменного стола.

Советский писатель, говорил Н. Островский, «это прежде всего — строитель социализма, а не равнодушный созерцатель». Он подчеркивал, что советский писатель «выдвинут на передовую линию огня, и наша партия требует, чтобы каждое его слово било в цель, чтобы его образы зажигали сердца...».

Николай Островский дает нам великий пример писателя-бойца, писателя, вдохновленного борьбой за счастье людей. Он жил, сражался и писал под единственным знаменем, под которым достойно жить и умирать людям,— под красным знаменем коммунизма.

...Вспоминается, как более трех десятилетий назад в Москве, в квартире на улице Горького, в смертельной схватке с болезнью уходил из жизни писатель Николай Островский.

За два месяца до его смерти к нему в Сочи приехал корреспондент английской газеты «Ньюс кроникл». Он спросил:

— Скажите, если бы не коммунизм, вы могли бы так же переносить свое положение?

Островский ответил ему одним словом:

— Никогда!

В этом резком, категорическом «никогда!» был весь Островский, тот самый писатель-коммунист, который в своей автобиографии написал: «Физически потерял почти все, остались только непотухающая энергия молодости и страстное желание быть чем-нибудь полезным своей партии, своему классу».

Врачи делали отчаянные попытки спасти ему жизнь. Он был в сознании во время последней, одной из многих сложнейших операций — его измученный болезнью организм не смог бы перенести наркоза. Во время этой операции он не издал ни единого стона. Он был уверен, что будет жить. Он не боялся смерти, он ненавидел, презирал ее. Жить во что бы то ни стало! Жить и работать, написать еще одну, хотя бы одну книгу!

«Если тебе позвонят и передадут, что я умер,— говорил Николай одному из своих друзей,— не верь до тех пор, пока сам не придешь и не увидишь. А если придешь и увидишь, что я мертв, не пиши, как обычно пишут в некрологах: «Он мог бы еще жить!» Знай, если бы хоть одна клетка моего организма могла бы жить, могла бы сопротивляться, я бы жил, я бы сопротивлялся...»

Островский умирал в те далекие уже сейчас дни, когда немецкий фашизм репетировал мировую войну в многострадальной Испании. И человек, жить которому оставалось считанные часы, думал о тех, кто в далекой Испании боролся с гитлеризмом. Он требовал правдивых сведений о судьбе Мадрида. Узнав, что Мадрид упорно держится, он сказал: «Буду бороться и я до последней капли. У меня еще большой долг перед страной и комсомолом».

22 декабря 1936 года в 19 часов 50 минут смерть настигла его.

Но кто решится сказать сегодня, что Николай Островский мертв? Есть болезни, перед которыми еще бессильна медицина. Есть случаи, когда ни лекарства, ни скальпель искусного хирурга не могут заставить отступить смерть.

Но когда в борьбу со смертью вступает человеческая мысль, человеческий разум, вдохновленный великой идеей, тогда смерть сдается.

Николай Островский всю жизнь сражался за дело коммунизма. Боролся за дело партии. И он побеждал. Он вышел победителем и в последней своей схватке. Он вновь

рядом с нами. Он рядом с вами, молодые люди шестидесятых годов. Он рядом с вами, ударники коммунистического труда. Он рядом с вами, молодые ученые в лабораториях, рядом с вами, строители коммунизма.

В ГОСТЯХ У БИТНИКОВ

Это не рассказ об английских битниках, а скорее зарисовки их быта, нравов, настроений. Мне хочется поговорить не о творчестве битников, а о них самих, точнее — о социальном явлении, которое известно у нас лишь в общих чертах.

Битническая среда, битническая идеология не просто «вещь в себе». Она питает некоторые стороны творчества таких получивших широкую известность в Англии молодых писателей, как Силлитоу или Макинес. Более того, не познакомившись с этим явлением ближе, трудно понять состояние умов многих и многих молодых рабочих, клерков, официантов, шоферов, которым кажется, что они выбирают «честный путь», стоя «над схваткой» и ненавидя «всякую» политику, презирая буржуазию и не доверяя коммунистам, активно участвуя в демонстрациях против атомных баз и сочиняя поэмы о рок-н-ролле и проститутках.

Поэтесса Кэтрин (назовем ее этим именем), ее друг Джек (мне так и не удалось узнать, чем он занимается) и я весь вечер бродили по Сохо — лондонскому району увеселений. Я слышал о существовании в этом районе общественно-литературного клуба «Левая книга». Вокруг него группировались литераторы, чьи убеждения представляли колоритную смесь анархизма, левацкого сектантства, бурного темперамента, нигилизма и активного, хотя чаще всего неосознанного, протеста против условий человеческого существования при капитализме. Мне захотелось посмотреть, что это такое. Оказалось, однако, что этот клуб уже не существует. На его месте появился новый клуб — «Партизан», с кафе и баром. В этот бар мы и пришли в холодный майский лондонский вечер.

Вопреки традиционным, навеянным американскими фильмами представлениям об этом типе учреждений «общественного питания» бар «Партизана» оказался просто длинной, плохо освещенной и очень грязной, захламленной

комнатой, забитой стоящими впритирку столиками. Посетители сами брали у прилавка питье — как правило, чашечку кофе или бутылку воды — и возвращались к своему столику.

Бар клуба «Партизан» расположен в десяти минутах ходьбы от самой респектабельной, самой буржуазной, самой представительной части Лондона — площади Пиккадилли. Тем более странно было видеть здесь, в клубе, столь небрежно, я бы сказал, столь бедно, столь плохо одетых людей. Создавалось впечатление, что они захватили из дома все, что у них было и что могло бы их согреть. Какие-то потрепанные кофты, стариковские шали, кашне, свитера, очевидно уже сослужившие долгую службу отцам и матерям этих молодых людей, стоптанные ботинки, пиджаки, часто явно с чужого плеча...

Мы с трудом отыскали два места. Джек принес нам, Кэтрин и мне, две чашечки тепловатого кофе, а сам встал у стенки, засунул руки в карманы. «Ничего,— сказала Кэтрин,— он постоит».

Я прислушался, стараясь вникнуть в оживленные разговоры окружавших меня людей. По-видимому, здесь только что закончилась какая-то дискуссия, и сейчас до меня доносились ее отголоски. Сидящий неподалеку парень, ударяя раскрытой книжкой в бумажном переплете по липкому, залитому кофе и водой столику, доказывал, что «автор — подонок». Девушка, сидящая напротив, утверждала, что надо было «не демонстрировать, а просто бить морду». Юноша с бородкой голландского шкипера прошлых веков невозмутимо что-то писал в тетрадке.

Я спросил Кэтрин:

— Кто они, все эти молодые люди?

— Разные,— ответила она.— Есть рабочие, есть мойщики стекол в домах и магазинах, официанты. В то же время большинство из них — писатели. Они пишут...

— Битники? — спросил я.

— Если хотите... Впрочем, мы не любим этого слова.

Разговор о битниках кончился тем, что я получил приглашение на вечеринку к этим самым битникам,— Кэтрин имела к ним близкое отношение.

Представьте себе дом, один из тех, что так любили показывать итальянские неореалисты. Облупившаяся крас-

ка. Запущенная, полутемная лестница, по которой я взбирался на пятый этаж. И наконец комната. Довольно большая комната, площадью метров в двадцать, с низким потолком. По стенам этак будто небрежно прошлись чем-то вроде скребницы: местами сохранилась поблекшая краска, кое-где коробились остатки обоев. К ним были пришпилены вырезанные из журналов рекламные объявления на самые неожиданные темы.

Меня встретили Кэтрин и тот же молчаливый Джек. Кроме них, в комнате находились еще двое молодых парней, один из которых был африканец.

Мы обменялись стандартными «хау ду ю ду». Расселись. В комнате стояли большая тахта-кровать, старенький столик и диван, несколько стульев. Молчаливый Джек колдовал над парой бутылок и чайником с горячей водой. Подходили все новые и новые люди, юноши и девушки. Как правило, вновь прибывшие ни с кем не здоровались и сразу же усаживались на свободные места. Кровать-тахту захватил какой-то длинный юноша со своей подругой в узких по щиколотку брюках.

Африканец, высокий, прекрасно сложенный парень, вытащил книжку и преспокойно углубился в чтение. Кто-то завел стоящий около тахты на тумбочке патефон, не проигрыватель, а именно патефон, очень старый и дребезжащий. Джек и одна из девушек стали разносить угощение. Джек нес на подносе стаканы с красной, теплой, чуть отдающей алкоголем жидкостью, а девушка, на другом подносе,— еду: кусочки крекера с положенными на них ломтиками сыра, рыбы или колбасы. Никто не танцевал. Никто ни на кого не обращал внимания. Почти никто друг с другом не разговаривал. Все сидели, и мне показалось, что все они, эти странно одетые ребята, думают о чем-то одном — какую-то одну думу. Меняется обстановка, меняются улицы и стены, которые их окружают, а они, эти молодые люди, сосредоточенно и хмуро думают и думают... О чем?

Я сидел у окна и посматривал, куда бы пересесть: холодный ветер с улицы дул в щели плохо пригнанной рамы,— и вдруг услышал явно обращенный ко мне голос:

— Не желаете ли?

Я повернулся и увидел невысокого юношу со шкиперской бородкой, протягивающего мне круглую жестяную

баночку с зеленоватым порошком. Промелькнули страшные мысли о наркотиках, несовершеннолетних преступниках и весь комплекс связанных с этим представлений. Деланно бодрым голосом я спросил:

— Что это?

— О-о,— протянул парень, видимо совершенно обескураженный моей неграмотностью.— Табак!

С этими словами он преспокойно взял из баночки щепотку табаку и таким же точно жестом, каким это, наверное, делал екатерининский вельможа, отправил понюшку сначала в одну ноздрю, потом в другую. Через мгновение лицо парнишки стало расплываться как бы в широкую улыбку, потом, наоборот, собираться в страдальческую гримасу, и наконец он чихнул.

— Меня зовут Вильям,— сказал парень, пряча в карман свою коробочку,— можно к вам подсесть?

— Конечно,— сказал я и спросил, улыбнувшись: — А что, в Англии это принято сейчас? Вот так нюхать табак?

— Н-не думаю,— ответил Вильям.— Можно и мне спросить вас кое о чем?

— Конечно.

— В вашей стране есть свобода слова?

Переход от нюхательного табака к социологии был несколько неожидан.

— Прежде чем ответить на ваш вопрос, Вильям, разрешите узнать, что вы понимаете под словом «свобода»? Например, в вашей стране она существует?

— Разумеется. Мы, например, можем делать что хотим и писать о чем хотим.

— Чудесно. Могу я узнать вашу профессию?

— Писатель.

— Профессионал?

— Не совсем. Работаю на заводе.

— Кем?

— Подручным слесаря.

— Прилично зарабатываете?

— Гм... Пять в неделю.

(«Негусто,— подумал я.— Двадцать фунтов в месяц — жизнь впроголодь».)

— Родители?

— В Ливерпуле.

— Есть квартира?

— Снимаем маленькую комнату с приятелями. Втроем.

— Что написали?

— Роман, поэму, два сценария.

— Издано? Поставлено?

— Гм... Пока еще нет.

— О чем роман?

— Это не вопрос, когда говорят о литературе.

— Извините, но я же не могу пойти и купить вашу книгу.

— Да, пожалуй, вы правы... Как бы вам объяснить... Мы пишем о том, как хорошо бы съездить по физиономии разным сытым мордам. О том, чтобы все нас оставили в покое и дали бы заниматься тем, чем мы хотим. О том, что взрослые нас не понимают и никогда не поймут. И чтобы не было этой болтовни о политике. И чтобы прекратили все эти фокусы с бомбой. Ну и про рок-н-ролл, конечно...

Теперь была моя очередь произнести «гм», но я сделал это про себя. Вслух я сказал:

— Итак, вы свободны получать пять фунтов в неделю, делить комнату с двумя товарищами, писать книги, которые пока не издают. Отлично. Между прочим, вы любите ваш завод?

— Простите?

— Любите ли вы ваш завод, ну, словом, место, где вы работаете?

— Завод не девочка. Впрочем, пожалуйста: я его ненавижу.

— Все ясно,— сказал я,— теперь я готов ответить на ваш вопрос. Повторите его, если нетрудно...

Молчаливый Джек и сопровождающая его девчушка снова стали разносить подносы с красной теплой жидкостью и крошечные бутерброды. Одна пластинка на патефоне сменялась другой. Все мелодии были старыми, что-то из слышанного нами в тридцатых годах. Сидящие на постели парень и девушка о чем-то тихо разговаривали между собой. Время от времени они целовались, но как-то очень лениво, точно нехотя. Этот парень и девушка вели себя так, словно, кроме них, в комнате никого не было. Они сидели, как страусы, опустив головы и, очевидно, воображая, что они одни в пустом и темном парке, одни в пустой комнате, одни на улице, где угодно, но одни. Я побывал во многих капиталистических странах и всюду на-

блюдал эту способность некоторых молодых людей чувствовать себя в одиночестве под взглядами сотен прохожих, посетителей кафе.

В таких случаях мы, как правило, говорим: вот бесстыдная молодежь! Что ж, кое-что тут есть и от бесстыдства. Но, может быть, еще больше от отчаяния. От бездомности. От сознания, что все шатко в их жизни и нельзя упускать момент. А может быть, и кое-что от отравленности той самой «концепцией свободы» — суррогатом в привлекательной упаковке.

— Меня зовут Филипп,— сказал, подходя ко мне, юноша в очках. Филипп оказался композитором и дирижером и начал морочить мне голову вопросами о том, кто в СССР предварительно утверждает план музыкального произведения и есть ли в Советском Союзе композиторы, пишущие в разной творческой манере.

Из ребят, с которыми я беседовал, никто не бывал в СССР. Они отгорожены от нас железным занавесом буржуазной лжи. Отвечая Филиппу, я спросил его:

— Но вы же не могли не слышать музыки Шостаковича или Хачатуряна?

Филипп ответил, что слышал в грамзаписи.

— А тогда вы уже имеете ответ на свой вопрос: пишут ли у нас композиторы в разной манере.

— Пожалуй, да,— согласился Филипп. Видимо, он оказался не в состоянии проверить утверждения газетной пропаганды своим собственным опытом. А попробуй ему сказать, что он, Филипп, находится под бесконтрольным влиянием буржуазных газет, мой новый знакомый обидится: он терпеть не может газет,— все это «грязная политика».

Нет, эти ребята не были стилягами в нашем смысле этого слова или «тедди-боями» — в английском, несмотря на все их экстравагантные бороды, затасканные свитеры и брюки по щиколотку. Те, сытые и одетые, из аристократического Вест-энда, которые держат в специальном шкафу одежду битников, кому наскучили оргии в шикарных апартаментах под звуки стереофонической музыки, и они переносят их в специально декорированные «трущобы»,— это они подлинные стиляги и тедди-бои!

У этих же ребят просто нечего было больше надеть. Они никому не подражали. Они просто жили так. Они не могли не быть антипатичны человеку иного, социалистического мира, антипатичны своим «нигилизмом», необразо-

ванностью, скептицизмом и самоуверенностью; и вместе с тем, глядя на них, я испытывал чувство жалости. Они были бедны, бедны по-настоящему. Они ходили в стоптанных башмаках и засаленных свитерах не потому, что следовали моде, а потому, что пара приличных туфель в Лондоне стоит не менее пяти-шести фунтов, да и свитер не дешевле.

Они были от природы неглупые ребята, напористые, острые в суждениях, хотя и безнадежно невежественные во всех вопросах социальной жизни и советского искусства. Они, если хотите, были жертвами всех несообразностей, всего уродства капиталистического бытия и с этой точки зрения вызывали только сочувствие.

Я никогда не забуду, как на той же вечеринке ко мне подошел парень, скорее мальчик, хорошо, если ему исполнилось семнадцать лет, очень худой, очень бледный и очень агрессивный. Он оказался поэтом и по совместительству мойщиком окон. Звали его Тони.

Он подошел ко мне с явным намерением доказать, что страна, которая не признает рок-н-ролла, обречена и что современные литература и искусство могут быть вскормлены только питательной средой того же самого танца.

С этого начался наш разговор. А закончился он моим рассказом о том, как живут и что делают молодые поэты в нашей стране, и о Литературном институте имени Горького, в котором я сам когда-то учился, и о многом, многом другом. А умолкнувший Тони сидел и слушал. И его детский рот был полуоткрыт. И какие-то образы, должно быть, проплывали перед его так мало видавшими глазами...

Я опустил голову и поднял ее, услышав слова:

— Вам не скучно здесь?

Передо мной стоял африканец. Тот самый, высокий.

— Нет,— сказал я,— скучно — это не то слово. Скука — это безразличие. А мне очень интересно слышать и видеть.

— Я не подходил к вам... решил: пусть поговорят эти парни,— сказал юноша.

— А разве вам самому не интересно узнать что-либо о жизни и литературе Советского Союза? — спросил я.

— О-о! Очень интересно,— ответил африканец,— но я скоро сам буду там, у вас... Я буду учиться в Университе-

те дружбы. Я сам из Тринидада. Я так счастлив. Меня зовут Джон...

Была уже полночь, когда я вышел на лестничную клетку и стал спускаться по выщербленным ступеням едва освещенной лестницы.

Я шел и думал о том, что если битники — это, так сказать, объективная реальность капиталистического бытия, то и этот Джон, африканец из Тринидада, рвущийся в Москву, в Университет дружбы народов,— тоже реальность нашего сложного, противоречивого и быстротекущего времени. Тысячи Джонов — черных, белых, желтых — стремятся вырваться из тупика, на который обрекает молодежь капитализм. Они знают, где и как искать выход...

ПРИЗРАЧНЫЙ МИР, ЖЕСТОКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

О «ДЕТЯХ-ЦВЕТАХ», ИХ ПРОДАВЦАХ И ПОКУПАТЕЛЯХ

Время моего пребывания в Лондоне было ограничено двумя неделями и насыщенной программой. В нее входило чтение лекций на тему «Писатель и общество», участие в телевизионной дискуссии Би-Би-Си и (вместе с аккредитованными в Англии советскими журналистами) встреча «Вопросы и ответы», на которую мог прийти каждый желающий.

Направляясь в Лондон, я поставил перед собой одну «сверхзадачу» — составить представление о современной английской молодежи. Точнее, об одном весьма странном на первый взгляд движении среди определенной части этой молодежи, называемом «дети (или люди) цветы».

«Молодежь» — слишком емкое слово. «Дети-цветы», о которых пойдет речь,— это, конечно, не вся английская молодежь, а очень небольшая ее часть. Более того, в Англии есть тысячи, десятки тысяч молодых людей, с движением этим не имеющих ничего общего и относящихся к нему иногда резко отрицательно, иногда со снисходительной иронией, иногда просто равнодушно.

И если я посвящаю свою статью «цветам», то не потому, что вижу в них современную молодую Англию,— нет, это было бы нелепо,— но потому, что данное явление отражает определенную грань жизни в современном буржуазном обществе и дает повод для серьезных размышлений.

Итак, что же я знал об этом, так сказать, экзотическом феномене до того, как встретился с ним воочию?

Мне было известно, что существует английское слово «хиппи», которое происходит от слэнгового «хеп», означающего «знать», «понимать», «проникать в суть».

Звук «е» перешел в «и», и слово «хиппиз» стало обозначать участников некоего молодежного движения, а может быть, точнее, моду, возникшую в США, в Сан-Франциско, но быстро перелетевшую через океан.

Ныне признанным центром хиппиз стала Англия — не привилось только слово. Английские хиппиз стали называть себя «flower-children» — «дети-цветы».

Это во-первых.

Во-вторых, я слышал, что «цветы» отличаются от «устарелых» битников экзотичностью нарядов и склонностью к употреблению наркотиков.

Это во-вторых.

И наконец, если для поведения битников была характерна подчеркнутая агрессивность, то «цветы» скорее склонны к меланхолии, замкнутости и сами по себе шума не производят, если не считать звуков колокольчиков и бубенцов, которыми нередко себя увешивают.

Вот, пожалуй, и все, что я знал. Немного, чтобы составить себе более или менее цельное представление о новом явлении, но более чем достаточно, чтобы пробудить интерес к дальнейшему с ним знакомству.

Об этом своем желании я и сказал миссис Пертон, деятельнице Общества культурных связей с СССР, которая обещала попытаться мне помочь.

Надо ли говорить, что я был очень рад, когда мне позвонила г-жа Пертон и сказала:

— Двое молодых людей изъявили желание повести вас в наиболее известный молодежный клуб. Правда, это займет почти полночи.

Я, конечно, согласился...

Моими спутниками были Райан Блэйн, музыкальный критик, специалист по джазу, и Майлс Кинтон, молодой профсоюзный работник. Примерно в половине двенадцатого ночи малолитражка Кинтона доставила нас к сумрачному зданию, где на уровне второго этажа находилась дверь, к которой вела прямо с улицы железная лестница.

— Давайте договоримся так,— сказал Блэйн,— сначала практика, потом теория. Сначала вам следует увидеть. Вопросы потом. Этот клуб называется «УФО».

— Что это значит? — спросил я, нарушая условие.

— Начальные буквы,— пояснил Кинтон.— «Unindentified flying objects».

— «Неопознанные летающие объекты»? — недоуменно повторил я, тотчас же вспомнив, что этими словами много лет тому назад обозначались на Западе пресловутые «летающие блюдца».

— Именно так.

— Но какое отношение... — начал было я, но Блэйн прервал меня словами:

— Полагаю, что мы пришли сюда не в поисках элементарных логических связей.

Да, он был прав, мой спокойный, доброжелательный и слегка ироничный спутник. Искать привычную логику, стоя на пороге четвертого измерения, было бы слишком наивно. Мы поднялись по лестнице и открыли дверь...

Мы вошли... нет, куда там! — мы стали проталкиваться сквозь стену людей. Вот мое первое впечатление: полумрак, скорее темнота, стена плохо различимых людей и грохот джаза. Мои спутники стали пробиваться вперед. Единственное, о чем я думал сейчас,— не потеряться. Я поймал себя на том, что крепко держусь за полу пиджака Блэйна. Через минуту глаза мои стали привыкать к темноте, и я увидел, что Кинтон ведет с кем-то переговоры — я угадывал это по движению губ Майлса и его собеседников: все покрывал грохот джаза. Наконец стена людей чуть раздалась, образуя узкий проход. Теперь мы двигались вдоль деревянного барьера, потом очутились возле длинного низкого деревянного стола, за которым сидели какие-то ребята, один из них оглушительно крикнул мне:

— Руку!

Я растерянно протянул руку, полагая, что со мной хотят поздороваться. Но парень схватил меня за кисть, с размаху шлепнул чем-то по ладони — потом я увидел на ней отпечаток — изображение цветка,— еще несколько шагов вперед, и...

Теперь мы стояли в огромном зале. У меня зарябило в глазах и закружилась голова. Гремел усиленный десятками амплифайеров джаз. Вдоль стен, высоко над головами людей, было расположено несколько длинных прямоуголь-

ных киноэкранов, и на них... Вам приходилось когда-либо смотреть в микроскоп, наблюдая причудливую игру простейших организмов? Представьте себе это зрелище в свете и увеличенное в миллионы раз. Нечто напоминающее амеб, протоплазму, дождевые капли и черт знает что еще появлялось на киноэкранах. Эти «нечто» делились, вытягивались и сужались в размерах, размножались, умирали и появлялись снова — синие, красные, зеленые, оранжевые; джаз на эстраде рвал барабанные перепонки, и под всем этим в клубах дыма, сигаретного и еще какого-то другого, едкого и чуть сладковатого, танцевали люди — юноши и девушки.

Их одежда? Представьте себе, что были разом ограблены костюмерные и бутафорские мастерские Большого и Малого театров и грабители впопыхах напялили на себя одежды всех веков и народов, предварительно смешав все эти фраки, латы, мини юбки, лохмотья, индийские сари, цыганские шали, бальные платья, шорты, плащи, лорнеты, монокли, бусы, фальшивые диадемы, короны, парики и бог весть что еще.

Они танцевали. Нет, не все. Большинство стояло у стен, точно застыв в трансе, но в центре зала происходило нечто напоминавшее вальпургиеву ночь. Примерно тридцать — сорок молодых людей обоих полов производили странные конвульсивные движения, по сравнению с которыми добрый старый рок-н-ролл и самый горячий шейк выглядели бы похожими на вальс в дореволюционном институте благородных девиц.

Это был даже не фруг, не ватуси — наиболее модерные вариации спазматического жанра в танце. Это вообще не было танцем, даже в отдаленном к нему приближении. Это были конвульсии в их чистом, клиническом, так сказать, проявлении.

Каждый танцевал сам по себе. Не было ни партнеров, ни партнерш. Каждый конвульсировал в одиночку. Я выбрал одну из «веселящихся единиц» и стал непрерывно за ней наблюдать в течение нескольких минут. Это было существо женского пола, возраст которого даже приблизительно не поддавался определению из-за густо положенного грима. Этот грим превращал лицо в ровную блеклую маску, и только на лбу у этой маски красовался отпечаток какого-то многолепесткового красно-желто-лилового цветка.

Несколько позже меня познакомили с одним из организаторов, а может быть, и хозяев клуба. Это был мужчина лет тридцати, хорошо подстриженный, в скромной темной рубашке, заправленной в брюки, и аккуратно повязанном галстуке.

— У меня к вам только один вопрос,— сказал я после того, как мы познакомились и обменялись несколькими общими фразами,— что приводит сюда этих ребят?

Мой собеседник молчал.

— Желание послушать музыку и потанцевать? — продолжал спрашивать я.— Секс? Наркотики? Алкоголь? Или просто некое чувство стадности, возникающее как противовес «некоммуникабельности» людей, о которой так модно говорить сейчас на Западе?

Мой собеседник пожал плечами и сдержанно ответил:

— Всего понемногу.

— Но одного больше, другого меньше, не так ли? — допытывался я.— Скажем, влияния алкоголя я почти не замечаю. Пьют, по-моему, мало или почти не пьют, хотя у вас тут есть и бар. У нас бы его быстро осушили.

— Серьезно? — оживился мой собеседник.— Жаль, что мне не разрешат открыть у вас бар.

Разговора не получалось. Передо мной стоял не социолог, не философ, а бизнесмен.

Я вернулся домой под утро. Когда Кинтон подвез меня к гостинице, я еще долго не вылезал из его маленькой машины, стараясь получить от Райана некоторые общие, так сказать, объяснения всему недавно увиденному мною.

— Вы получите их завтра,— сказал Кинтон.— Завтра вам предстоит посетить «Индика-шоп».

— Что это такое?

— Увидите.

Мы попрощались.

«Индика-шоп» — название книжного магазина. Но здесь продаются не только книги. Большой зал отведен для выставки и продажи плакатов. Плакаты разных стран, разных времен. В том числе и репродукции советских революционных плакатов.

Магазин как магазин?

Нет. Это нечто вроде идейного центра «детей-цветов». Это также база для распространения специальной газеты — да, да, газеты, которая является своего рода «Ц. О.»

«цветов» и носит название «International Times» — «Международный таймс», сокращенно «ИТ». «It» — английское местоимение «оно», «это». Следовательно, вы можете читать название газеты, как вам заблагорассудится.

Одного из организаторов магазина и хозяев газеты зовут Билл. Это человек лет тридцати. Мы знакомимся.

Я говорю ему:

— Вот что, Билл, по приезде домой я попробую рассказать своим читателям о «детях-цветах». Разумеется, я попытаюсь как-то осмыслить это явление. Но прежде всего мне хочется предоставить возможность самим «цветам» сказать то, что они о себе думают. Поэтому я взял с собой этот маленький магнитофон. Мне хотелось бы записать наши разговоры. С тем чтобы потом воспроизвести их без всяких искажений. Вы не возражаете?

Он не возражает. Мы спускаемся в подвальное помещение. На двух больших столах разложены книги и кипы газеты «ИТ».

Вот магнитофонная запись:

Я. Скажите, пожалуйста, Билл: что это за магазин, что означает его название?

Билл. Магазин называется «Индика-шоп». Слово «индика», точнее «каннабис-индика»,— это индийское название наркотика, известного на Западе под именем марихуана. Один из организаторов магазина является и издателем «Интернэшнл таймс».

Я. Расскажите о себе. Кто вы по профессии?

Билл. Учитель. В течение некоторого времени я преподавал в одном из американских институтов. Но вынужден был уйти.

Я. Почему?

Билл. Я разочаровался в системе. Как в таковой. Установившийся характер преподавания, или... скажем, шире... самой жизни, не дает положительных результатов. Я не чувствовал никакого удовлетворения.

Я. Расскажите о программе вашей газеты. Что вы отстаиваете? В чем пытаетесь убедить людей? Каков, так сказать, ваш символ веры?

Билл. Если говорить коротко, мы хотим, чтобы люди жили, сохраняя чувство достоинства и веселясь.

Я. Вы думаете, что это возможно в вашем сложном и противоречивом мире?

Билл. Нет, но я думаю, что мы должны переделать мир.

Я. Каким путем?

Билл. Ну... во-первых, путем внутренней реорганизации души человека. Каждый должен переделать самого себя. Во-вторых, убедить других людей в необходимости переделки.

Я. Допустим. Но все же, как это практически делается и кто должен убеждать людей?

Билл. Ну, скажем, вот эти три девушки...

Я выключаю магнитофон, оборачиваюсь и... застываю от изумления.

У стены на скамье тихо сидят, прижавшись к стене, три девчушки. Очевидно, они вошли во время нашего разговора.

Поверьте, тут было чему удивляться. Лица девушек украшали — если только это слово здесь уместно — изображения цветов на лбу и на щеках. На их шеях висели колокольчики. Длинные цветастые кофты спускались до колен, почти скрывая юбки, виднелась одна бахрома. Несмотря на холодный осенний день, все они были... босыми. На ступнях ног также изображение цветов. На одной из девушек была огромная старомодная, слегка придавленная соломенная шляпа.

Билл. Эти девушки пришли сюда за нашей газетой. Они пойдут ее продавать. Этим я косвенно отвечаю на ваш вопрос: «как это практически делается». Впрочем, вы можете, если хотите, поговорить с ними сами.

Я (нерешительно поднимая микрофон). Здравствуйте, девушки. Я советский писатель. Интересуюсь «детьми-цветами». Хотел бы по возвращении на Родину рассказать, что это такое. Кроме того, у меня есть двое детей, сын-студент и дочь-школьница. Возможно, они будут расспрашивать меня о вас. Я предпочел бы, чтобы они сами с вами поговорили. Но их здесь нет. Если вас не смущает эта штука (кивок на микрофон), я мог бы потом дать им возможность послушать вас самих. Не возражаете?

Первая девушка (в шляпе). Нет. (Чуть слышно.)

Я (бодро). Ну вот и отлично (включаю магнитофон). Прежде всего, как вас зовут?

Первая девушка (чуть громче). Сюзи. А ее — Кэтти. А ее — Джейн.

Я. Сколько вам лет?

Сюзи. Пятнадцать. Им тоже.

Я. Вы учитесь в школе?

Сюзи. Да. В пятом классе.

Я. Ну, а теперь скажите: в чем все-таки вы видите свою цель жизни, ну, к чему вы стремитесь?..

Долгое молчание. Потом.

Джейн. Ну... чтобы люди жили красиво... переделать... мир.

Я. Но, дорогие девушки, как переделать? Ведь вы знаете, в мире много зла — войны, расовая дискриминация, власть денег...

Кэтти. Мы не любим этот мир. Мы хотим его переделать...

Я. Но как, чем? При помощи этих колокольчиков? Или вы думаете, что вот эта ваша... ну, скажем, несколько необычная манера одеваться заставит людей делать добро?

Сюзи (уже энергичнее). Надо, чтобы люди забыли о деньгах, перестали думать только о себе и не обижали других. Ну, а насчет одежды... разве вам нравится, когда все люди одеты скучно, однообразно, одинаково?

Я. Гм... А вам не холодно ходить босиком?

Кэтти. А так гораздо удобнее. Попробуйте сами...

Билл. Теперь им пора идти. Вот вам газеты, девушки.

...Я уходил из «Индика» в полном смятении. Что же это все-таки такое — «дети-цветы»? Наивная смесь толстовства со своего рода футуризмом? Иисус Христос пополам с Бодлером? Евангелие, украшенное «цветами зла»? А может быть, не стоит ломать себе голову, не проще ли назвать этих ребят богемой, бездельниками, накипью капиталистического мира и поставить на этом точку? Эти жалкие, размалеванные, похожие на огородное пугало подростки, лепечущие что-то о «переделке» мира... Ха-ха! Ну стоит ли об этом говорить всерьез? Были «сердитые молодые люди», их сменили битники и хипстеры, теперь появились «цветы»... Мода! «И это пройдет»...

И все же...

— Не дадите ли вы мне, Билл, комплект вашего издания? Может быть, из него я сумею почерпнуть более...

— Охотно,— прерывает меня Билл. Из разложенных газетных кип он быстро берет по одному экземпляру. Теперь у него в руках довольно внушительная пачка. Он передает ее мне.

— Вот, возьмите.

Она лежит передо мной — пачка газет «Интернэшнл таймс».

Итак, каков же «символ веры» «детей-цветов»? Кто их духовные вожди? Куда ведут они свою паству? О чем же пишут в этих номерах?

Попробую изложить их главное содержание более или менее конспективно.

В одном из последних выпусков за прошлый год опубликовано обращение к... королеве Англии. Точнее, своего рода декларация. О чем в ней говорится?

Во-первых, о том, что «поэзия как художественное развитие языка является конкретной альтернативой в духовном вакууме современной повседневной жизни».

Во-вторых, о том, что «каждый человек — мужчина, женщина и ребенок, живущий среди нас,— уже поэт — на самом деле или потенциальный».

В-третьих, о том, что «те же слова, которые повседневно употребляются для сознательного насаждения зла и разделения людей, могут быть посредством поэзии использованы для создания единства и красоты».

Затем следует перечень проблем, которые, «по нашему мнению, недостаточно или неудовлетворительно разрешены в безоговорочно принятой системе политики, дипломатии и финансов».

Какие же проблемы? Вот некоторые из них.

Взаимопонимание и необходимость избегать вооруженных конфликтов.

Монополизация светской и духовной жизни бизнесменами через посредство правительства, с одной стороны, духовенства и церкви — с другой.

Отказ в предоставлении поэтам права играть справедливую роль в современной демократии.

Узаконение таких архаических институтов, оскорбительных для интеллектуальной жизни, как короли, королевы и т. д., поддерживаемых капитализмом и... коммунизмом. (! — *А. Ч.*)

Снятие «табу» с таких сфер, как секс, смерть, наркотики, ликвидация всяких границ, превращение любви в постоянно возвышенное и оригинальное чувство.

Я выписал наиболее кардинальные, программные, так сказать, пункты декларации. В передовой говорится, что «обращение к королеве» было составлено американским поэтом Паоло Лиони еще в 1965 году, подписано двадцать

одним поэтом и ныне перепечатывается, поскольку выражает мнение хиппиз — «детей-цветов».

Итак, короли, королевы, капитализм, коммунизм, борьба против «вооруженных конфликтов», поэзия, свобода, секс, наркотики, антиклерикализм, любовь — все смешано в одну кучу. Впрочем, подождем...

Читаем дальше. Специальная колонка посвящена обмену информацией потребителей наркотиков. Деловито перечисляются растения и травы и их наркотическое действие. Рассказ о Лондоне как о городе, символизирующем... мужское начало. Иллюстрации — сюрреалистические рисунки, фотографии унитазов. Рассказ о некоем Герберте Хуфф — «потенциальном поэте». Он специализируется на «поисках правды» — собирает стихи и надписи, нацарапанные на стенах уборных. И сам украшает эти стены своим творчеством. «Пусть он продолжает царапать»,— патетически восклицает автор очерка,— ибо «Герберт Хуфф, великий молчаливый наблюдатель, не спевший своих песен поэт, вооружен сознанием того, что в обществе мы всегда фальшивы и наше подлинное «я» явственнее видно на стенах уборных».

Другой номер газеты открывается выдержками из выступления Эзры Паунда по радио в Италии во время войны. Вот две из них: «Гитлер учил немцев хорошим манерам», «Я вижу, как Рузвельт и его евреи захватывают мировую торговлю».

Значит, еще и апология фашизма, и антисемитизм?

Нет. Оказывается, дело в другом. В примечании поясняется, что поскольку Паунд был осужден американцами за предательство и сотрудничество с фашизмом, то, значит, он относится к числу «гонимых».

А «цветы» — за гонимых. «Надо прощать всем».

Еще одна полоса (в другом номере). Против цензуры. Почему? Она запрещает порнографию. Рядом статья некоего Дэвида Мейровича в защиту порнографии.

Итак, наркотики, порнография, защита всех «гонимых», в том числе и фашистов? И это все? Нет, опять-таки нет.

Одна из передовых статей посвящена событиям во Вьетнаме. Критикуются как не достигшие цели всевозможные митинги протеста, сборы средств в пользу сражающегося Вьетнама и т. д. Ибо «какими бы крайними ни были выражения протеста, они остаются лишь жестами до тех пор, пока продолжается война во Вьетнаме, не удовлетво-

рены гражданские права, не разрешен жилищный вопрос, да и вся проклятая государственная машина продолжает беспрепятственно катиться вперед». Сказано довольно-таки определенно.

Что же делать? Надо, чтобы «десятки тысяч бездомных» отправились к «Букингемскому дворцу, мимо разряженной стражи, причем женщины и дети должны идти впереди. Вот тут-то наше представление и должно начаться. Мы можем разработать более мягкие и возможно более эффективные методы, нежели штурм здания. Мы должны дойти до того предела, когда угрозой революции мы можем вызвать революцию».

Видите как!

Рядом подборка писем: «В защиту непристойности». Разворот — он предоставлен американскому поэту Аллену Гинзбергу, выступающему в качестве «духовного вождя» хиппиз.

Затем «спецколонки»: «Колонка сна», «Колонка лунатика», «Магические кроссворды».

Следующий номер. Обличает полицию. Главным образом за то, что она конфискует «ИТ», сажает в тюрьму «наших парней» по обвинению в курении и пропаганде наркотиков. Предостережение: переодетые в штатское полицейские проникают в курильни.

Объявления:

«Любящая, маленькая, восемнадцатилетняя, с огромной волей к жизни и очень длинными волосами, ищет друзей обоего пола, которые помогли бы ей оправиться после разрыва с женихом». «Хладнокровный юноша 20 лет, воспитанный в Бирмингеме, ищет миролюбивую опытную женщину для совместных развлечений. Национальность, внешность не имеют значения». «Девушки с головой или потерявшие ее желательны для случайных половых связей».

И рядом:

«Хиппиз борются за перемены в социальном строе, ибо перемен жаждут все».

Что ж, заклеймим хиппиз? Посмеемся над ними — жалкими, размалеванными, одетыми, как огородное пугало, немытыми подростками? Разоблачим их «верования» — эту наивную, нелепую, причудливую смесь либерализма, эпатажа, всеядности, эротики, смешную и убогую, как одежда «человека-цветка»?

Нет, давайте подождем. Посмеяться мы успеем всегда. Сначала подумаем, поразмышляем.

В последние годы в иностранной интеллектуальной, так сказать, прессе можно было часто встретить такие слова, как «отчуждение», «некоммуникабельность». Для марксистов первое слово не ново. Потому что именно молодой Маркс, анализируя характер отношений между людьми, возникающих в результате разделения труда в капиталистическом обществе, описал странный, но вполне объяснимый феномен. Смысл отчуждения, если иметь в виду социально-политическую жизнь общества, заключается в стихийности его развития, в беспомощности человека перед созданными им неконтролируемыми силами. При этом в сознании людей их подлинные отношения искажаются.

Отчуждение — каинова печать классового общества. Не удивительно поэтому — впрочем, это уже другой вопрос,— что наши идеологические оппоненты всячески стараются объявить эту философскую концепцию всеобщей, распространить ее и на мир социализма. «Некоммуникабельность», то есть концепция одиночества человека в буржуазном обществе, тесно примыкает к понятию отчуждения и является темой многих современных книг и кинофильмов, выходящих на Западе.

Мне кажется, что движение (назовем его, если угодно, модой, манерой поведения) «детей-цветов» является одной из иллюстраций отчуждения.

Лежащее в первооснове чувство законного протеста против идиотизма буржуазного мира преломлено в сознании «цветов» сквозь призму искаженных представлений. И в результате — совмещение несовместимых чувств и потребностей, наивная и убогая эскапада.

Врач не может ненавидеть или высмеивать больного, покрытого язвами проказы.

Советский человек не может, не должен с высоты своих социальных знаний, с вершины своего, основанного на здоровой духовной основе общества высмеивать хиппиз, в умах которых ужасающе искаженные представления, посеянные практикой капиталистического бытия, прессой, кино, радио и телевидением, породили, в свою очередь, новые искаженные представления о возможностях выхода из тупика.

Но трагедия не только в самом существовании хиппиз, а в похожей на лоскутное одеяло «теории» и «практике» «детей-цветов». Трагедия простирается дальше.

Для современного развитого буржуазного общества характерен своего рода мидасов комплекс. Способность легендарного короля превращать своим прикосновением в золото все — не только мертвое, но и живое — усовершенствована мидасами современности. Они пытаются — и небезуспешно — превратить в предмет потребления все и вся, хотя бы это противоречило здравому смыслу и нормальным человеческим потребностям.

О, если бы дело ограничивалось тем, что мощная рекламная индустрия Запада заставляет человека приобретать все новые и новые, почти не отличающиеся друг от друга предметы, залезать для этого в неоплатные долги, подчиняя жажде приобретения свою жизнь!

Нет, дело не только в этом. Трагедия усугубляется тем, что предметом потребления, товаром становится и все то, из чего складывается духовная, интеллектуальная жизнь человека.

Если доходы приносит апология капитализма, она станет бизнесом. Если доходы может принести критика капитализма (разумеется, хорошо организованная, красиво упакованная критика), то и она становится товаром, включается в систему потребления.

Миллионы людей в буржуазном обществе негодуют в связи с расширением потребления наркотиков, видя в этом угрозу не только будущему поколению, но и своим детям. И газеты, радио, телевидение, учитывая эту ненависть, снабжают потребителя тысячами подробностей о «героической» борьбе полиции против торговли наркотиками.

Но немало людей слабых, отчаявшихся в жизни ищут забвения в призрачном мире марихуаны или ЛСД. И опять-таки всепроникающая индустрия рекламы в широком смысле этого слова продает этим людям «научно обоснованные» статьи, передачи и зрелища, прославляющие «смелость» человека, «преступающего запретное», живописующие «мир грез и символов», открывающийся перед наркоманом.

Да, само существование хиппиз, этих «цветов», возросших на почве больного общества, овеянных сладковатым запахом наркотических испарений, отражает и стремление людей вырваться из идиотизма повседневной буржу-

азной жизни, и в то же время их искаженные этой жизнью представления о том, как и где искать выход.

Самим фактом своего существования «дети-цветы», сами того не ведая, превратились в породившем их обществе в товар.

Современные мидасы хорошо знают, как растлевать души. Молодежь хочет свободной, яркой жизни, она голосует против войны, против расовой дискриминации, она хочет свободы от лицемерия и лжи буржуазного общества.

Что ж, это надо использовать. Хотите жизни яркой, небудничной, веселой?

И в десятках газет и журналов воспроизводится одежда «детей-цветов», заманчивые описания ночных клубов с их оглушающей музыкой следуют одно за другим — туда, туда, идите туда! Капитализм, коммунизм, классовая борьба, войны — все это одинаково плохо, в мире наркотиков, в конвульсиях танца найдете вы подлинную свободу!

Те же бизнесмены, которым шлют проклятия в своих декларациях «дети-цветы», поощряют их существование. Как грибы после дождя, растут клубы для хиппиз, партиями отгружаются колокольчики для хиппиз, магазины готового платья снабжают хиппиз кофтами, юбками, расшитыми всеми цветами радуги, торговцы наркотиками опутывают «цветы» своей паутиной.

Идеологи «цветов» думают, что они ведут поколение или часть его. Но на самом деле и этих идеологов, и идущих за ними подростков ведут совсем другие люди. Эти джентльмены неброско, респектабельно одеты, они с презрением относятся к мальчикам и девочкам, предающимся пляскам святого Витта в подвалах и голубятнях ночных клубов, они вовремя ложатся спать и не потребляют наркотиков. Но они, опытные дельцы, почуяли в хиппиз товар и будут продавать его до тех пор, пока существует спрос.

Нет, не для того, чтобы посмеяться над некоторыми из молодых лондонцев, написал я эту статью.

Пусть она послужит поводом для размышлений. Об обществе, на чьей жесткой, каменистой почве произрастают чахлые цветы. О том, как жестоки продавцы этих цветов. И о том, кому все это на пользу.

P.S. Уже в статье, открывающей этот сборник, я, кратко описывая свое первое, тогда еще, так сказать, заочное знакомство с хиппиз, напоминал читателю, что в наши дни

это движение претерпело определенные изменения. Мне кажется, что именно в послесловии к данной, специально посвященной хиппиз статье, и именно в связи с размышлениями «куда идут хиппиз?», целесообразно еще раз вернуться к этой теме.

В нашем мире все взаимосвязано, и внимательный аналитик может без особого труда обнаружить связь между явлениями, на первый взгляд весьма разнородными.

Например, что может быть общего между поисками пресловутого «третьего пути» меж «Сциллой коммунизма» и «Харибдой капитализма», на котором и ныне тщетно блуждают некоторые представители западной интеллигенции, и движением хиппиз?

Разумеется, время меняет терминологию, но каждый, кто внимательно проанализирует политико-психологические источники, скажем, напмоднейшей теории «конвергенции», легко обнаружит в этой утопической социалистическо-капиталистической амальгаме все ту же несбыточную мечту о «третьем варианте» социального развития человечества.

Разумеется, хиппиз куда менее интеллектуальны, чем авторы этой теории. И все же их движение объективно является поиском того же «третьего пути». Питая отвращение ко многим сторонам капиталистического бытия и имея деформированное, извращенное буржуазными средствами «массовых коммуникаций» представление о социализме, эти молодые люди вначале решили поставить себя «над схваткой», пытаясь звоном колокольчиков, какофонией поп-музыки и наркотиками заглушить в своих ушах звуки подлинной битвы, которая ни на минуту не прекращается в современном мире.

Но сознательно, а чаще всего бессознательно избрав этот «третий путь», хиппиз закономерно начали испытывать все его превратности.

В то время, когда эта книга уже сдавалась в набор, я вновь посетил ряд западных стран и могу подтвердить, что по-прежнему на улицах Парижа, Лондона и Копенгагена вы можете встретить немало хиппиз в, так сказать, классическом для них «обмундировании». По-прежнему они имеют свои клубы, где звуки гитар, многократно усиленные амплифайерами, рвут барабанные перепонки. И не надо обладать слишком изощренным обонянием, чтобы ощутить в этих клубах приторно-сладковатый запах марихуаны.

Но поставить на этом точку сегодня было бы неправильно. Я знаю, что немало хиппиз, из тех что вечером собираются в одном из своих клубов, днем принимали участие в демонстрации против американской интервенции во Вьетнаме. Не скрою, могло случиться, что они демонстрировали и совсем в других рядах, выкрикивая антикоммунистические лозунги.

Да, хиппиз без особых размышлений относительно противоречивости своих действий охотно размахивают самыми различными флагами — красными, черными, зелеными и любых других цветов, объявляя себя то коммунистами, то анархистами, то троцкистами, то маоистами, выкрикивая любые лозунги, если им кажется, что они имеют антикапиталистический характер.

Случается и другое. Не так давно мировую печать облетело сообщение о садистском убийстве, происшедшем на даче голливудского кинорежиссера. Прошло некоторое время, и выяснилось, что это бесцельное убийство нескольких человек совершено членами своего рода общины хиппиз, захватившей заброшенный сарай в предместье Лос-Анджелеса. Возглавляемые уголовно-религиозным маньяком, они в убийствах подобного рода видели путь к освобождению от условностей буржуазного образа жизни.

Жить в обществе и быть свободным от него нельзя — эту ленинскую мысль мы повторяем очень часто. Уверен, что именно в ней, в этой мысли, содержится ответ на вопрос: что происходит сегодня с хиппиз? Бессознательно выражая протест против идиотизма буржуазной жизни, лишенные социально-политического компаса, хиппиз неизбежно подчиняются всем закономерностям капиталистического общества: именно на «третьем пути» их встречают буржуазные ловцы душ человеческих.

Пока еще рано говорить, во что окончательно выродится движение хиппиз. Вернее всего, расслоение этого движения будет продолжаться. Лично я убежден, что какая-то часть хиппиз, пройдя суровую школу реальной жизни, сойдет с «третьего пути» и встанет на тот единственно верный, который ведет в ряды сознательных бойцов против империализма. Другие накрепко завязнут в трясине политической реакции, третьи пополнят «кадры» уголовного мира.

Будущее покажет...

III. ЗА КОММУНИСТИЧЕСКУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ

ПРОТИВ ПОШЛОСТИ

ЗАМЕТКИ ГАЗЕТЧИКА

Хочется поделиться с читателями и товарищами журналистами сомнениями, уже не раз возникавшими у меня при чтении некоторых газетных материалов на так называемые морально-этические темы.

Одним из благотворных последствий борьбы партии за дальнейшую демократизацию общества явилось бесспорное улучшение качества большинства наших газет.

Они стали «человечнее», ближе к реальной жизни во всех ее многообразных проявлениях. Газеты теперь пишут о народе не «вообще», но хотят отразить жизнь человека в ее индивидуальном своеобразии. И это можно только приветствовать. Воспитание советских людей, и молодежи в особенности, в духе коммунистической нравственности является одной из важнейших задач нашей партии и, следовательно, советской печати.

К сожалению, наряду с материалами, безусловно, полезными, соответствующими целям, ради которых они печатаются, на страницы наших газет проникает большое количество публикаций не только ненужных, но, будем говорить прямо, пошлых, обывательских, ничего общего с задачами воспитания коммунистической нравственности не имеющих.

Если вы дадите себе труд перелистать подшивки газет (центральных, республиканских, областных) за последние три-четыре года, то в глаза вам бросятся такие заголовки:

«Можно ли полюбить в 17 лет», «Схожу-ка я замуж...», «Поруганное чувство», «Ребро адамово», «Любовь не кар-

тошка», «У любви свои законы», «Дела семейные», «Такая любовь», «Стрекозлы» и «Стрекозы», «Мужской разговор», «Если в доме свадьба», «Глаза любимой» и «Любовь победила», «Почему в семье разлад?», «Только не в пожарном порядке» (о любви подростков), «А что подумают о тебе?», «Покупки молодоженов», «Поэзия» и «права» семейной жизни» и т. д. и т. п.

Скажу без обиняков: создается впечатление, что под лозунгом борьбы за коммунистическую нравственность мы нередко как бы расширяем замочную скважину, к которой вожделенно припадает обыватель.

Но, может быть, опасения мои безосновательны?

В редакцию комсомольской газеты пришло письмо. Некая девушка лет шестнадцати — семнадцати подробно описывает, как она ехала в поезде, познакомилась с молодым человеком, они обменялись двумя-тремя фразами и... решили пожениться. Далее идет рассказ о том, как мучилась эта девушка, посылая своему жениху безответные письма, потом, похудев и пожелтев от горя, истратила много денег на дорогу, а парень не захотел ее даже встретить.

В этой связи неудачливая невеста просит газету, во-первых, помочь (?) ей, во-вторых, объяснить, следует ли считать любовью то, что у нее было с Сережей, и, наконец, сообщить, как вообще можно узнать, любит ли тебя человек или не любит...

Мне кажется, что наша молодежная газета должна была бы ограничиться коротким ответом своей корреспондентке лично.

Вместо этого редакция публикует письмо девушки и (что уж совсем не допустимо) указывает полностью фамилии и адреса героев, а затем печатает отклики на него. Начинается дискуссия. И вот люди, никогда в глаза не видавшие ни Оли, ни Сережи, не знающие ни их характеров, ни их жизненного поведения, бросаются к письменным столам.

И... «пошла писать губерния». Одни обвиняют его, другие ее. Одни утешают, другие гневаются. Третьи морализируют примерно на таком уровне: «Верить человеку — это не значит вешаться ему на шею, тем более при первой встрече».

В наши дни «моральные» материалы чаще всего печатают молодежные газеты. Это естественно и закономерно. Незакономерна лишь та бездумность, которой эти материалы нередко отличаются.

Например, одна комсомольская газета часто публикует статьи под рубрикой «На темы морали», «Ты и общество». У этих статей много общего, и прежде всего их объединяет стремление к живописанию фактов и пренебрежение анализом.

Так, в опубликованной несколько месяцев тому назад статье «За компанию» подробно рассказывается, как двое десятиклассников избили третьего. Причина — ревность. Деталь: один из нападавших имел первый разряд по боксу. У пострадавшего сотрясение мозга... Что ж, случай горький, тяжелый. Опубликованный материал давал возможность автору статьи и газете поставить ряд серьезных вопросов. Например, о любви и ревности. О спортивной чести (использование спортсменом своего умения против нетренированного человека, использование не для самозащиты, не для помощи другому, а для нападения). Очень важно было бы объяснить, почему в школьной комсомольской организации мнения при оценке поступка хулиганов раскололись. Однако ни объяснений, ни комментариев подобного типа в данной статье нет.

Другая газета, посвященная вопросам просвещения, публикует материал о склоках в одной из орловских школ. Живописуется завуч, которая отстала, ушла в хозяйственные заботы, оторвалась от коллектива. Факты, печальные для человека любой профессии. Но ведь в данном случае речь идет об учителе! И как уместен был бы здесь разговор о педагоге как носителе высоких нравственных качеств, о том, почему такое могло случиться в учительской среде, и т. д. Однако в статье нет подобного аналитического разговора. Есть лишь призыв поехать с учениками в Спасское-Лутовиново и вдохновиться идеями Тургенева.

Одна из всесоюзных газет недавно в трех номерах печатала большими кусками криминалистический очерк «Капроновый след» — о том, как был разоблачен некий восемнадцатилетний выродок, убивший ради наследства своих родителей.

Сенсация налицо. А вот социального, нравственного анализа происшедшего нет. Но ведь только такой анализ

мог придать смысл подобной «трехсерийной» публикации в массовой газете.

Может быть, довольно примеров?

Итак, сын убил родителей. Папа ушел от мамы. Мама — от папы. Я его люблю — он меня нет. Я думала, он хороший — он плохой. Можно ли полюбить с первого взгляда? Со скольких лет можно начинать любить? Он меня оскорбил, я дала ему пощечину — рассудите нас, люди, права ли я? Я думал, что она полюбила меня первого, а на самом-то деле... Надо ли разводиться, если прошла любовь?.. Господи, зачем вся эта погоня за сенсациями? Откуда вся эта пошлость полезла на страницы нашей хорошей, боевой прессы?!

Попытаемся ответить на этот вопрос. Появление плохих материалов на газетных страницах принято объяснять «нетребовательностью» той или иной редакции. Отчасти это справедливо. Но при анализе явления в целом объяснение надо искать прежде всего в том, что мы забываем некоторые марксистско-ленинские принципы подхода к проблемам нравственности.

Обратимся к Ленину. В своей работе «Экономическое содержание народничества» Ленин цитирует утверждение немецкого буржуазного экономиста Зомбарта, что в «самом марксизме от начала до конца нет ни грана этики», и, может быть, несколько неожиданно для «моралистов», считающих себя марксистами, замечает, что в этом Зомбарт прав.

Почему? Потому что, поясняет Ленин, в отношении теоретическом марксизм подчиняет «этическую точку зрения» «принципу причинности», а «в отношении практическом — он сводит ее к классовой борьбе».

Значит ли это, что марксизм и, следовательно, Ленин пренебрегали вопросами этики, морали?

Совсем не значит. Зомбарт был прав, утверждая, что марксизм не выделяет этику, нравственность в некие отвлеченные, общечеловеческие категории. Он распространяет и на них характерные для диалектического материализма социальные, классовые, партийные критерии. Но марксистский подход к проблемам этики никогда не означал отрицания этих проблем.

В своей речи на III съезде комсомола Владимир Ильич задавал вопрос: «...существует ли коммунистическая

мораль? Существует ли коммунистическая нравственность?» И тут же отвечал: «Конечно, да».

Но... «Всякую... нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем». «Мы говорим,— продолжал Ленин,— что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата». «Нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше...»

Так подходил Ленин к вопросам коммунистической морали, нравственности. У Ленина нет специальных работ, посвященных исключительно этическим проблемам. Но он обращался к ним неоднократно и по разным поводам. И каждый раз — каждый! — когда Владимир Ильич говорил о нравственности, морали, он всегда и самым решительным образом подчеркивал связь этих категорий с задачами переустройства мира, с сознательной борьбой за коммунизм.

Из чтения произведений Ленина, воспоминаний о нем, из бесед со старыми большевиками, имевшими счастье лично знать Ленина, я вынес убеждение, что Ленин ненавидел морализирование, то есть разговоры о морали, нравственности «как о таковых», как о своде норм и категорий, вытекающих из отвлеченного понимания этики. Он называл эту болтовню поповскими проповедями, высмеивал их. Слов нет, Ленин, партия всегда непримиримо относились ко всякого рода мелкобуржуазной распущенности в быту, несовместимой со званием коммуниста.

Но иные не в меру «бдительные» вмешивались в личную жизнь человека не только тогда, когда его поведение угрожало прийти в противоречие с «главной линией» жизни члена партии, комсомольца. Они нередко пытались регламентировать эту жизнь с чисто пуританских, то есть ничего общего с марксизмом не имеющих, позиций.

Хотели раз и навсегда ответить на вопрос, может ли женатый коммунист полюбить другую женщину (а женщина — мужчину)? Следует ли признавать любовь, если она не освящена браком?

Начетчик, подхалим, человек, подлый по отношению к товарищам, мог остаться «невредимым» и даже преуспевать, если никогда не разводился, если его никто не видел выпившим, если он не переступал порог ресторана и т. д.

И наоборот, отклонение от «норм», даже если «откло-

вившийся» отдавал и отдает всю свою жизнь делу партии и народа, бывало, каралось всяческими взысканиями.

Таким образом, сформировалась тенденция выводить моральные нормы, исходя из отвлеченного понимания морали «как таковой», тенденция идеалистическая, пуританская, квакерская, враждебная марксизму как на заре его формирования, так и в эпоху его торжества.

Эта чуждая марксизму антидиалектическая тенденция в значительно ослабленном виде нет-нет, но дает себя чувствовать и в наши дни. Она стихийно проявляется, как мне кажется, и в нашем подходе к публикации материалов на темы морали. Отличительная черта этой тенденции — стремление выводить нормы морали как бы из самой морали.

Так, например, марксист выступает против алкоголизма не просто потому, что в нем «зло», не только потому, что пьянство разрушает здоровье, но прежде всего из-за того вреда, который оно наносит революционному делу.

Мы же в своих газетных материалах нередко говорим о тех или иных нарушениях моральных норм в отрыве от этого главного дела и, подобно проповедникам, поучаем, что такое «хорошо» и что такое «плохо».

Нет, так нельзя! Разумеется, пьянство, разврат, хулиганство и т. д.— это всегда плохо. Но уход мужа от жены может быть в зависимости от конкретных обстоятельств подлостью, а может быть и оправданной неизбежностью. Любовь семнадцатилетней девушки и даже брак может, как все знают, быть проявлением благородного чувства, а может быть и суррогатом, признаком элементарной распущенности. Попытка оценивать нравственные поступки людей в отрыве от главного дела их жизни, как это свойственно классным дамам, да еще устраивать для оценки этих поступков чуть ли не всенародное голосование не имеют ничего общего с марксистским подходом к вопросам морали.

У всех свежа в памяти развернувшаяся во второй половине пятидесятых годов борьба против «стиля». Сколько было потрачено бумаги, какие ниагары слов были извергнуты, прежде чем мы наконец поняли, что хорошо сшитый модный костюм и пресловутые узкие брючки сами по себе «стилягу» не определяют, а отличительными чертами этого типа являются прежде всего безыдейность, эгоизм и т. д. (другой вопрос, что чрезмерное увлечение модой

редко совмещается с подлинной увлеченностью большим общественным делом).

Итак, речь идет о том, чтобы каждый раз, когда наша пресса касается вопросов морали вообще или оценивает конкретные поступки людей в частности, она делала бы это в неразрывной связи с тем главным, что определяет место человека в социалистическом обществе, то есть с главным делом его жизни.

И тут я слышу протестующий голос...

— Но вы же не можете отрицать,— восклицает мой невидимый оппонент,— что эти материалы — «на моральные темы» — охотно и заинтересованно воспринимаются читателями? Следовательно, они полезны. И кроме того, нередко именно они придают газете живость и остроту! Не будете же вы утверждать, что все читатели морально-этических рубрик — мещане и обыватели?

Ну, конечно, не буду, хотя уверен, что элемент нездорового интереса иногда тут присутствует.

Тем не менее утверждать, что все редакционные работники, подписывающие в набор «жгучие» материалы, заботятся лишь об отыскании сенсаций и что большинство читателей до них падко, было бы глупо, неверно.

Причины как публикации, так и «внешнего» читательского успеха материалов подобного типа в другом. Если говорить о журналистах, то ими руководит искреннее желание сделать свою газету популярнее, доходчивее, человечнее. И некоторые из них просто выбирают «кратчайший путь», линию наименьшего сопротивления.

Говоря же о читателях, нельзя забывать их жажду «высококалорийной» духовной пищи, материала для размышлений. Иногда, желая утолить эту жажду, они проглатывают суррогат, не питая никаких иллюзий насчет его качества. Другие принимают суррогат за, так сказать, оригинальный продукт. Ведь в иных «моральных материалах» по виду есть все для того, чтобы дать толчок работе мысли: реальная, конкретная ситуация. Острая сюжетная коллизия. Драматическая фактура. К тому же газета еще и прямо обращается к читателю с просьбой высказаться «за» и «против».

И все же это не подлинная духовная пища, а ее заменитель, поскольку настоящая борьба за коммунистическую нравственность должна быть неразрывно связана с борьбой за основу этой нравственности — за идейность.

А это значит, что любое морализирование становится или проповедью классной дамы, или откровенной «клубничкой», если объект описания, коллизия, в которой он участвует, не анализируются при помощи критериев, определяющих роль и место человека в обществе. Мораль того или иного человека или нескольких людей не может, не должна обсуждаться в отрыве от главной линии поведения его (или их) в обществе. Скажем попросту: трудно себе представить человека, ведомого в жизни благородной целью, занятого созидательным трудом и в то же время являющегося пьяницей, прожигателем жизни — словом, одним из героев рубрики «на моральную тему». Нет, такое сочетание противоестественно.

Но если человек не видит высшего смысла своего существования, если заботы о будущем своего народа, своей Родины ему чужды, то сколько бы мы такого человека ни уговаривали, сколько бы ни внушали ему, что пить плохо, что бросать жену с ребенком позорно, аморально, ему все это будет «до лампочки», поскольку в жизни своей он руководствуется лишь низменным принципом эгоизма...

Итак, борьба за коммунистическую мораль неразрывно связана с борьбой за коммунистическую идейность. Это звучит как азбучная истина. Но в своей практической пропагандистской работе мы часто забываем о ней. Цель этих заметок — напомнить об этой истине.

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

После опубликования моей статьи «Против пошлости» («Литературная газета, № 2 за 1967 г.) в редакцию поступило девяносто три читательских письма. Почти каждое из них заключается просьбой ответить.

Мне показалось правильным разделить все письма на две группы. Авторы первой выражают согласие с основными утверждениями статьи «Против пошлости» (таких писем получено семьдесят два). В этих случаях я хотел бы просто ограничиться благодарностью. Авторы второй группы не согласны с моей статьей или целиком, или с отдельными ее утверждениями.

В некоторых из полученных писем меня упрекают в искусственном отделении вопросов «морали» и «идейно-

сти», точнее, в снижении значения «моральных норм» за счет примата «идейности». «Создается впечатление, что сами этические нормы вы превратили в некое служебное «прилагаемое» к «главной линии» поведения марксиста-революционера»,— пишет М. Шнейдерис из Вильнюса. Поддерживает эту точку зрения и В. Кондратенко из Липецка. К этим утверждениям примыкают и упреки кандидата юридических наук В. Ионаса. По его мнению, в моей статье «резко противопоставлены друг другу два вида морали: отвлеченная, всечеловеческая мораль и мораль, подчиненная интересам переустройства мира, сознательной борьбе за коммунизм... С вашим противопоставлением двух видов морали,— продолжает товарищ Ионас,— нельзя согласиться потому, что оно игнорирует мораль, связанную с коммунистическим переустройством мира и вместе с тем *безусловную, общеобязательную, всечеловеческую* мораль, из которой как раз и следует выводить нормы поведения каждого человека. Мы имеем в виду моральный кодекс коммунизма...».

«Ваш основной тезис: «Была бы идейность — остальное приложится»,— пишет В. Скворцов,— не только легко опровергается, но и может оказаться вредным». И далее В. Скворцов пишет: «Ведь не так уж редко пьяница не получает должного осуждения, потому что он «наш» человек, в «главном» не выдаст. И не объясняется ли безуспешность нашей борьбы с некоторыми пороками тем, что мы их до сих пор называем «пережитками капитализма», выявляем их «классовый характер», не попытавшись вскрыть и устранить куда более простые причины?»

Как устранить эти «простые причины», В. Скворцов пишет далее, переходя уже к «практике»: «Надеюсь, что в жизни, увидев пристающего к женщине пьяницу, вы не будете объяснять ему, какой он вред наносит революционному делу, а также не станете возбуждать себя этим тезисом, а просто возьмете его за воротник и сдадите милиционеру».

А. Кубецкий из Кировограда, цитируя мои слова, что «трудно себе представить человека... занятого созидательным трудом и в то же время являющегося пьяницей, прожигателем жизни», восклицает: «Совсем нетрудно!»

Есть и другие письма, так или иначе примыкающие к упомянутым. В них тоже содержится упрек, будто я неправомерно требую рассматривать поведение человека в

связи с главным делом его жизни, переоцениваю фактор идейности и недооцениваю общечеловеческую мораль, критерии которой, по мнению ряда авторов, вполне достаточны, чтобы осмыслить как сущность нравственного явления, так и конкретное поведение человека.

Возможно, что я сам дал повод для перевода разговора в план социально-философский. Так или иначе письма моих оппонентов предопределяют характер ответа.

Что ж, товарищи, давайте разберемся.

Говорят, существовал некогда такой монах, который неустанно благодарил господа бога за то, что тот в неизреченной мудрости своей повелел рекам протекать вблизи больших городов. Ныне, наверное, ни у кого не возникнет сомнения в том, что наивный монах этот не видел дальше своего носа, перепутав причины и следствия.

Человек, который читает распоясавшемуся хулигану на улице «мораль», вместо того чтобы «взять его за воротник», будет выглядеть, конечно, смешным. Но тот, кто полагает, что с отрицательными явлениями, с пьянством и хулиганством, например, можно бороться *только* таким методом, при всей своей «радикальности» окажется, как это ни парадоксально, сродни упомянутому простодушному монаху.

Нет, только «простыми мерами» здесь не обойдешься. Уж если надо осушить озеро, то вычерпывать его ложкой бессмысленно, как бесцельно заливать водой воспламенившийся бензин или, не зная происхождения болезни, лечить ее внешнее проявление. Короче говоря, в любом серьезном случае без знания *причин,* видя лишь следствия, принять правильное решение невозможно. Так называемая «общечеловеческая» мораль (я ставлю это слово в кавычки, потому что имею в виду ту мораль, которая якобы была, есть и будет уже сейчас пригодна для всех времен и народов), как правило, имеет дело со следствиями и не хочет видеть истинных причин.

Мне кажется, что мои оппоненты недооценивают одно обстоятельство. Любая мораль, кроме коммунистической, не будучи по своей классовой природе в состоянии назвать истинные причины тех явлений, которые осуждает, обречена на вычерпывание моря посредством ложки. Десятки, сотни, даже тысячи практических дел можно решить без применения, скажем, теории относительности, даже не слышав о ней. Но без нее и ряда других научных

открытий *невозможно* составить имеющую шансы на успех *программу* освоения космоса. Вы согласны со мной, не правда ли?

Концепция социальности, классовости морали вообще и ее органической связи с делом строительства коммунизма является той самой суммой научных открытий в области философии, политики и социологии, не принимая во внимание которых *нельзя* по-настоящему бороться с отрицательными явлениями в нравственной сфере. «Взять за воротник» отдельного хулигана можно. А вот всерьез бороться с хулиганством только этим способом нельзя.

Если вы, уважаемые товарищи оппоненты, помните мою статью, то согласитесь, что в ней я возражал именно против тех выступлений в нашей печати, которые «берут за воротник», «соболезнуют», «осуждают», «доводят до сведения», но не пытаются связать частное с общим, соотнести причины и следствия, показать, что в подавляющем большинстве случаев безнравственность, безответственность и связанные с ним явления идут бок о бок с безыдейностью и мещанством, суть которых в противопоставлении своих интересов интересам всех остальных.

Подумайте, товарищи, когда кроха-сын пришел к отцу и спросил, «что такое хорошо и что такое плохо», то тем самым вряд ли поставил своего родителя в затруднительное положение. Тот, надо думать, ответил сыну, так сказать, «с ходу», опираясь на «общечеловеческую» мораль, и был, разумеется, прав. Но когда «кроха» станет взрослым человеком, то ответить на его «почему» при помощи четырех правил нравственной арифметики будет уже трудно. Почему в тот или иной период жизни общества увеличивается преступность? Как бороться с бюрократизмом? Почему учащаются разводы? Почему увеличивается количество внебрачных детей? Почему учащаются случаи хулиганства?

Да, товарищи, на первый взгляд может показаться заманчивым свести высшую математику социальных отношений к таблице умножения. На первый взгляд может показаться, что литератор или философ, «очищающий» мораль от всякого рода обусловленностей социального, классового характера, приводящий ее к элементарным формулам «хорошо — плохо», «порядочно — непорядочно», производит «смелую», вдохновленную «велениями совести» работу.

Но на деле такой литератор или философ уподобляется человеку, который убеждает капитана современного корабля: «Брось за борт компас! Разбей локатор! Выключи рацию! Верь только своим глазам. Доверяй только своему «морскому чутью». Они-то и приведут тебя в желаемый порт...»

Я говорю «на деле», то есть объективно. Потому что сознательно вряд ли кто-либо (разве что религиозный проповедник, да и то только представляющий наиболее мистический вариант религии) может обратиться с такими призывами в наш просвещенный век.

Между прочим, тем товарищам, которые упрекают меня в недооценке общечеловеческой морали, следовало бы вспомнить, что не только марксизм, но, пожалуй, ни одна из современных буржуазных философий не пользуется ею, как компасом, в сфере нравственности. Не оперирует ею прагматизм, который, как известно, отрицает философские нормы и признает лишь то, что дает практически полезные (а на практике выгодные буржуазии) результаты,— какая уж тут общечеловеческая мораль! Далек от нее и экзистенциализм — философия существования,— который признает лишь «ситуацию» и соответствующее ей «решение», помещает личность в мир независимых от нее духовных образований, оставляя за ней лишь право субъективной оценки. Пожалуй, только основные религии продолжают исповедовать абстрактное «добро» и «зло», но достаточно сравнить их догматы веры, чтобы увидеть, как разнятся между собой нормы поведения человека, которые каждый из этих догматов объявляет единственно правильными.

Я предвижу вопрос: почему вы не берете на вооружение уже сейчас слово «общечеловеческие»? Не находится ли ироническое отношение к этому понятию в противоречии с моральным кодексом коммунизма?

Нет, не находится. В Программе КПСС сказано: «Коммунистическая мораль включает основные общечеловеческие моральные нормы, которые выработаны народными массами на протяжении тысячелетий в борьбе с социальным гнетом и нравственными пороками». И если речь идет о том, к чему мы стремимся, об общечеловеческих нормах поведения людей, свободных от социальных различий, от угрозы войны, расизма, голода или от необходимости вести борьбу с чуждой идеологией, то есть лю-

дей, живущих в условиях коммунизма, то здесь, разумеется, ирония неуместна. Между прочим, могу, шутки ради, сказать, что «в принципе» у меня нет возражений и против христианских заповедей «не убий»; «не укради», «не прелюбодействуй», если только первая не адресуется вьетнамцам, сражающимся за свободу и независимость, вторая не относится к народу, национализирующему частную собственность, а третья не исключает превратностей подлинной любви.

Теперь хочу вернуться к замечанию читателя В. Кондратенко. Ему кажется, что ленинские высказывания о социальной обусловленности морали, сделанные в конкретной обстановке, ныне потеряли свою актуальность. «Вот уже около сорока лет в нашем обществе классовой борьбы нет...» — пишет В. Кондратенко. Да, правильно. Но какие же выводы надо сделать из этого напоминания?

Давайте поразмыслим. Классовой борьбы внутри советского общества у нас действительно нет. Нормы коммунистического поведения все более и более внедряются в жизнь людей. Но будем говорить честно, напрямик: разве нет в нашей жизни явлений, происхождение которых имеет не «чисто личный», а социальный характер? Согласитесь ли вы со мной, если я начну утверждать, что борьба идеологий (коммунистической и буржуазной) не имеет классового характера? Покажется ли вам убедительной мысль, что явления бюрократизма, от которого приходится страдать далеко не единицам, объясняется только «склонностью» тех или иных людей к волоките и бездушному отношению к делу? Поверите ли вы в то, что пережитки капитализма (к ним я еще вернусь) начисто исчезли из нашего сознания? Согласитесь ли с утверждением, что в нашей жизни полностью отсутствуют противоречия, конфликты, вытекающие из реальных, объективных сложностей нашего общественного развития?

Нет, уважаемые товарищи, я убежден, что даже самые решительные мои оппоненты не согласятся с подобной постановкой вопроса.

Но сказав «а», надо сказать и «б». Коммунизм мы еще не построили, и строим мы его в борьбе. В борьбе классовой, если иметь в виду международную арену и чуждую нам идеологию. В борьбе общественной, если иметь в виду такие явления внутри нашей страны, как факты антикоммунистического отношения к труду, бюрократизма,

как тунеядство, пьянство, хулиганство. Вы согласны с этим?

Если да, то согласитесь и с тем, что напоминание товарища Кондратенко о том, что «вот уже около сорока лет в нашем обществе нет классовой борьбы», ни в какой мере не снимает актуальности ленинских слов о социальной обусловленности морали.

Разрешите продолжить рассуждения на эту тему. Внимательное чтение писем моих оппонентов привело меня к выводу, что, говоря о проблеме идейности как *решающей*, когда речь идет о нравственной сфере, я, очевидно, недостаточно ясно высказал свое отношение к *личным* моральным качествам человека.

Хочу поставить точки над i. Как известно, великий Галилей, не выдержав пыток инквизиции, отрекся от учения Коперника и на коленях принес публичное покаяние. Его научная деятельность была великим вкладом в сокровищницу человеческого духа. Но Галилей-человек в конечном итоге не выдержал столкновения с самой мрачной и могучей силой своего времени — церковью.

Суд истории предоставил Галилею место в пантеоне славных сынов человечества, признав его великие заслуги в деле освобождения разума от тенет невежества и мракобесия. Но история знает также и то, что Галилей-человек проявил слабость.

Джордано Бруно был сожжен инквизицией на костре, не отказавшись от своих прогрессивных идей. И более чем три с половиной столетия не только мысль ученого о «безмерности и бесконечности вселенной», но и его стойкость являются для всех служителей науки примером новаторства и подлинной нравственности.

Нужны ли более поздние примеры? История современности знает бесчисленные факты, когда коммунисты, оказавшись во власти врагов, могли бы купить себе жизнь ценой отречения. Но они шли под топор, к смертной стене, на виселицу, гибелью своей прославляя идеи, за которые умирали.

Случалось и другое. Люди не выдерживали. Какие? Те, что были менее убежденными? Да, менее убежденными и более слабыми *нравственно*.

Нет, друзья, я далек от недооценки личных моральных качеств человека. Мы знаем, что люди, даже исповедуя одни

и те же передовые идеи, могут быть разными, то есть более или менее смелыми, последовательными, отзывчивыми. «Трудящаяся масса,— писал Ленин,— с величайшей чуткостью улавливает различие между честными и преданными коммунистами и такими, которые внушают отвращение человеку, в поте лица снискивающему себе хлеб...»

«Люди с чистой совестью» — называлась известная книга П. Вершигоры. Что такое чистая совесть с точки зрения коммуниста? Это преданность партии всегда и во всем. Предпочтение интересов партии, государства своим собственным. Жизнь, отданная народу, строительству коммунизма. Враги марксизма хотели и хотят убедить людей, что «чистая совесть» несовместима с пониманием морали как неразрывно связанной с идейностью. Они утверждают, что признание социальной обусловленности морали противоречит общечеловеческой нравственности, обрекает совесть человека на подчинение политической целесообразности, заменяет мораль политикой.

Мы не можем мириться с подобным истолкованием марксистского понимания морали.

Как же обстоит дело в действительности?

Во-первых, утверждение, что коммунизм *отождествляет* мораль и политику, не верно. Истина в том, что, по Ленину, вопросы общественной нравственности связаны с борьбой за коммунизм *потому*, что именно коммунизм является высшей формой общечеловеческой нравственности. Эта связь органична, в этом все дело.

Личные качества человека — его достоинство, честность, правдивость — никогда не умалялись учением Маркса — Ленина. Но суть вопроса в том, что Ленин призывал *не смешивать*, не отождествлять субъективную позицию человека, как бы честен он ни был лично, с его объективной в политическом, в общественном смысле позицией. Ибо личные намерения и объективные последствия этих намерений в условиях классовой, идеологической борьбы, случается, не совпадают. Реальная жизнь дает множество примеров таких несовпадений. Вот почему решительно не прав один из моих оппонентов, полагая, что ленинские высказывания о морали «потеряли актуальность».

Есть примеры и других несовпадений — здесь я возвращаюсь к письму товарища Кубецкого. Да, жизнь сложна, ее ситуации, конфликты дают и такие примеры, когда че-

ловек, по всем своим признакам кажущийся идейным, совершает поступки безнравственные,— опять-таки личные качества человека играют здесь серьезную роль.

Но никакие взятые из реальной жизни отдельные примеры не могут, как мне кажется, опровергнуть главную мысль: безнравственность обычно идет рука об руку с безыдейностью, с заинтересованностью в судьбах людей. И наоборот, идейность человека, преданность коммунистическому делу, как правило, определяют его поведение и в чисто нравственной сфере.

Автор другого уже упоминавшегося письма, товарищ Скворцов, ставит вопрос несколько иначе. Он пишет, что «не так уж редко пьяница не получает должного осуждения, потому что он «наш человек», и что, называя «некоторые пороки» «пережитками капитализма» и «выявляя» их «классовый характер», мы не пытаемся «вскрыть и устранить куда более простые причины».

Мне очень жаль, товарищ Скворцов, если вы оказались в заблуждении по моей вине. Очевидно, причина в том, что я недостаточно четко и убедительно выразил свою мысль в статье «Против пошлости». Но, ей-же-богу, мы говорим о разных вещах: вы — о том, что человека *выгораживают* от наказания *под предлогом,* что он якобы «наш», а я — о том, что *в действительности* идейность, преданность делу и безнравственность, как правило, не соседствуют. Что же касается до бытующей еще в нашей пропаганде тенденции объяснять многие недостатки «пережитками капитализма», то тут я с вами во многом согласен.

В чем причины этой тенденции? Думаю, что ее породили в свое время те неблагоприятные для идеологической, социально-исследовательской работы условия, которые были характерны для определенного периода нашей истории. Полагаю, что элементы волюнтаризма и субъективных оценок (которые были осуждены октябрьским Пленумом ЦК КПСС в 1964 году) также способствовали упрощенному подходу в анализе ряда жизненных явлений, в том числе и отрицательных. Следствием всего этого явилось и пренебрежение к советской социологии, которая только в самые последние годы стала активно развиваться и которая, бесспорно, внесет свой вклад в изучение и научное объяснение ряда отрицательных явлений, порожденных не *только* «пережитками», но и определенными сложностями нашего общественного развития.

Хочу добавить, что когда отрицательное явление имеет, по вашему выражению, «куда более простой характер», то «выявлять» его «классовый характер», разумеется, не следует,— в этом я с вами вполне согласен. Бесплодную болтовню, когда надо принять простые и конкретные меры, заклеймил еще дедушка Крылов, описывая монолог повара перед небезызвестным котом Васькой. Но, подчеркиваю, жизнь состоит далеко не только из таких «простых явлений».

Итак, мои читатели предложили мне разговор значительно более широкий, чем предусматривалось в статье «Против пошлости». Но в этом есть и нечто положительное. Смысл любой дискуссии в ее развитии, а не в простом повторении первоначальных мыслей и доводов.

Перед тем как поставить точку на последней, заключительной, странице этого сборника, мне хотелось бы сказать несколько слов.

Идейная борьба многообразна, и линия этой борьбы двух социальных миров проходит не только по государственным границам, но и по человеческим сердцам.

Казалось бы, какую актуальность имеют для развития нашей социалистической культуры проблемы и концепции, рожденные спецификой капиталистического бытия? Что нам до той части западной молодежи, которая мечется в поисках жизненного пути, молодежи, чей быт, взгляды кажутся нам настолько чуждыми и нелепыми, что заслуживают лишь иронической усмешки? И наконец, насколько закономерен именно в этом сборнике третий раздел, в котором речь идет о проблемах социалистической морали?

Мне кажется, что ответы на эти вопросы должны быть следующие. Мы, советские люди,— часть трудящегося человечества. Историей нам было суждено первыми проложить путь в будущее. Но это обстоятельство делает нашу заинтересованность в судьбах мира и чувство интернационального долга еще более активными.

Многие проблемы, о которых шла речь в первых двух разделах сборника, сами по себе не актуальны для советской жизни, поскольку родились на иной социальной поч-

ве. И тем не менее эти проблемы имеют для нас большое значение: анализируя их, мы глубже познаем противоречия капиталистического бытия, духовную жизнь интеллигенции, молодежи Запада.

Но этим наша задача не ограничивается. Дело в том, что многие теории, концепции, рожденные непреодолимыми противоречиями империализма, сегодня находятся на вооружении у его идеологов. Они используются буржуазными пропагандистами или для прямого экспорта в социалистический мир с целью разложить его изнутри, или в качестве аргументов в идеологических спорах с представителями социалистической культуры. Поэтому мы должны *знать,* какого рода оружие применяют наши идейные противники.

Мы не можем, не должны также забывать о том, что экспорт социально чуждых концепций в страну социализма не всегда проходит бесследно для тех наших людей, которые по уровню своего политического развития или по ограниченности жизненного опыта не в состоянии сразу распознать их антикоммунистический смысл. Некоторые из этих концепций имеют прямое отношение к сфере нравственности, морали и специально рассчитаны на доверчивое восприятие молодых умов. Нередко нам стараются навязать бесклассовые, асоциальные понятия этики, противопоставить их классовым, марксистско-ленинским критериям гуманизма. Поэтому мне показалось целесообразным дополнить книгу третьим разделом, в котором речь идет о ленинском понимании проблем добра и зла.

В идейной борьбе так же, как и на войне, побеждает более верное, более сильное оружие. И так же, как на войне, в идеологических схватках победа, как правило, остается за теми, кто наступает. Не старый мир, а мы, мир социализма, находимся в идеологическом наступлении.

Историческая обреченность идеологии империализма и ее наиболее ожесточенной формы — антикоммунизма — не освобождает нас от задачи совершенствовать свое идейное оружие. Более того, именно ожесточенность контратак антикоммунизма требует от нас повседневного изучения стратегии и тактики врагов.

Ради этой цели и написаны собранные в сборнике статьи.

1970

ДОКУМЕНТ, ВЫМЫСЕЛ, ОБРАЗ[1]

— Журнал «Знамя» недавно закончил публикацию четвертой книги романа «Блокада». Можно ли говорить в связи с «Блокадой» о вашем возвращении к военной тематике, и если можно, то какие личные, психологические и какие общественные причины определили такое возвращение?

— Я думаю, что писатель, хочет он того или нет, в творчестве своем постоянно возвращается «на круги своя». С годами он, разумеется, взрослеет, видит нечто новое для себя в окружающей жизни и нередко сам участвует в созидании этого нового не только своими книгами. Он умнеет (во всяком случае желательно, чтобы это было так), иные события, иные радости и горести проходят через душу писателя. Но когда он берется за следующую книгу, то сколько бы ни отличалась ее тема, «фактура», сюжет от предыдущей, жизненный опыт писателя незримо присутствует в ней.

Попытаюсь пояснить это на собственном примере. Самыми яркими периодами моей жизни, то есть такими, которые наложили отпечаток на все последующие годы, были первая пятилетка и война. События первой пятилетки,— наш завод, где я работал, первым в стране выполнил ее за два с половиной года,— вошли в мою плоть и кровь. Именно тогда, сознательно или бессознательно, в душе

[1] Из беседы, опубликованной в журнале «Вопросы литературы», 1973, № 8 (Беседу вел П. Топер). Печатается с сокращениями и изменениями.— *Ред.*

моей вырабатывались критерии отношения к людям, понятия добра и зла, если хотите. Именно тогда в сердце моем запечатлелись образы, воплощающие в себе эти понятия. С тех пор прошли десятилетия. Но нет ни одной написанной мной книги, в которой так или иначе не участвовал бы тот мой далекий опыт. Это не значит, что, описывая, скажем, рабочего или те или иные «производственные коллизии», я каждый раз «модифицирую» одни и те же ситуации, живущие в моем сознании. Речь идет о другом. Об ощущении. Это очень емкое слово. Недаром Хемингуэй как-то сказал, что все можно «восстановить», все «вернуть», кроме ощущения.

— *Вы хотите сказать, что неповторимое ощущение текущей жизни безвозвратно уходит в прошлое?*

— Нет, не в прошлое. Точнее, в глубины человеческой души. Заставить его полностью подняться на поверхность невозможно, как невозможно вернуть прошедшее мгновение, но оно, это ощущение, незримо входит в опыт писателя и так или иначе накладывает свой отпечаток на все, что он пишет.

Теперь о войне. Говорить о том, что она была своего рода энциклопедией человеческих чувств, не стану, с этим согласится каждый, кто был на фронте. Нет, пожалуй, ни одного человеческого качества, и хорошего и плохого, которое не обнаружилось бы на войне. Человек, в той или иной мере прошедший через военные испытания, запомнит их на всю жизнь. Не выстрелы, не трупы, не землянки, не окопы,— это с годами уходит из памяти,— но нечто другое — критерии оценки людей. Мне, например, они властно диктовали и человеческие характеры, и возникающие между ними конфликты. В любой книге. И в той, что более или менее удалась, и в той, где я потерпел неудачу.

Так могу ли я назвать «Блокаду» «возвращением»? Нет. Для меня эта книга скорее продолжение. На новой основе. С учетом общественного опыта, опыта народа, в том числе и своего собственного жизненного опыта.

— *...Каков же внутренний, глубинный импульс «Блокады»?*

— Не берусь формулировать. На словах это может прозвучать выспренне. Ведь от «любимой мысли» до ее адекватного воплощения — «дистанция огромного размера»... Ну... я думаю, преданность великой идее, готовность че-

ловека или людей, оставшихся наедине со своей совестью, идти по раз и навсегда избранному ими пути...

Желание взглянуть на события, в которых я так или иначе участвовал молодым человеком, с высоты миновавших с тех пор трех десятилетий, сыграло, видимо, не последнюю роль в появлении книги. Однако если говорить о побуждении чисто психологическом, то я бы назвал его «полемическим». Ведь вопросы, которые встают в «Блокаде», вопросы, связанные с осмыслением определенного периода нашей истории, присутствуют во многих моих книгах. Я считаю, что у нас должна быть полная ясность в оценке этого сложного периода, а стремление писателя высказаться по этому поводу — дело его совести.

Этот вопрос имеет и международный аспект. Все, что касается второй мировой войны, все, что пишется и говорится о ней, неизменно оказывается так или иначе связано с острейшей идеологической борьбой. А трактовка событий первых месяцев Отечественной войны принадлежит к самым острым моментам этого идеологического спора.

Каково было внутреннее положение Советского Союза накануне гитлеровского нападения? В чем причины успехов фашистских войск на первом этапе войны? Как объяснить тот факт, что фашисты, стоявшие на окраине Ленинграда, так и не сумели войти в город? Почему Ленинград выстоял? Почему враг, подошедший к самой Москве, был вынужден откатиться назад?

Таковы лишь некоторые иэ многих вопросов, до сих пор получающие самые противоречивые ответы на страницах мировой прессы и в исследованиях западных историков.

Чем объяснить эти противоречия? Полагаю, что ответ может быть только один: как и все в истории, эти события могут оцениваться и объективно и предвзято. Извращенные характеристики нашего предвоенного положения, действий советского Верховного Главнокомандования, с одной стороны, и ставки Гитлера — с другой, причин наших первоначальных неудач и последующих побед являются лишь звеньями в «тотальном» стремлении идеологов антикоммунизма объяснить разгром немецкого фашизма не сплоченностью советского народа вокруг своей партии, не преданностью его коммунистическим идеалам, не всевозрастающим искусством советских полководцев, не готовностью советских бойцов стоять насмерть, а лишь суммой «роко-

вых» военных просчетов как самого Гитлера, так и его генералов, неблагоприятными погодными условиями и т. д. и т. п.

Я не случайно назвал подобное стремление наших идеологических противников «тотальным». Оно именно таково, поскольку и сегодня в основе всех антикоммунистических акций лежит стремление доказать, что причина могущества Советского Союза и всего социалистического лагеря кроется в чем угодно, но только не в преданности народов коммунистическим идеалам, не в их сплоченности вокруг коммунистических партий. Когда-то Гитлер утверждал, что достаточно лишь сильно ударить в «советскую дверь» — и вся социалистическая система развалится. Как наш народ ответил на этот удар, ныне известно всему миру. Но, несмотря на этот исторический факт, несмотря на то, что в наши дни существует уже не один советский народ, а целая социалистическая система, наши враги, как видно, или «все забыли», или «ничему не научились».

И обо всем этом я не мог не размышлять, когда задумывал и писал «Блокаду». Сознаюсь, мне хотелось быть в этой книге не только летописцем, но и — солдатом. Именно этим объясняется открыто полемическое, публицистическое звучание многих ее страниц.

Почему же память о войне столь жива, почему для миллионов советских людей эта война и сегодня, спустя четверть века, не стала лишь достоянием истории? Только ли потому, что невозможно забыть те двадцать миллионов жизней — наших отцов, братьев, сыновей, наших матерей, сестер и жен, которые погибли в те далекие годы? Да, конечно, мы помним о них и никогда не забудем. Но не только в горечи утрат дело, как ни велика эта горечь. Война оставила по себе и другую память. Великий смысл этой войны заключался прежде всего в том, что это была смертельная схватка двух миров, двух идеологий. До войны наш строй, наша идеология доказали свою жизненность, вдохновляли советских людей на великие трудовые подвиги. Во время войны им предстояло доказать свою неистребимость, свою жизненную силу, пройдя испытание оружием. И они победили. Это вопрос не только нашего прошлого, но и настоящего и будущего.

Русскую литературу всегда и прежде всего занимал ответ на вопрос: как жить? Это вопрос морального обязательства писателя, его чувства ответственности. Я не считаю

себя по складу характера ни моралистом, ни учителем; как говорил Горький, сам учить не люблю, учиться люблю, чего и вам желаю. Меньше всего я сознательно хочу быть в своих книгах моралистом, учителем. Но, по-видимому, я и без рационалистического намерения иду в русле этого понимания морального долга писателя, заключающегося в том, чтобы разъяснить человеку, как оценивать то, что он прожил, и как ему жить дальше.

— И эта учительская позиция возвращает вашу творческую мысль к войне?

— Да, видимо, и это сыграло свою роль. Сложную задачу легче всего решать на остром конфликтном материале. Я уже не говорю о том, что война представляет собой часть моей жизни, как и миллионов других людей, и поэтому близка мне.

— В ваших книгах — не только в «Блокаде», но и в других — все военное связано так или иначе с Ленинградом.

— Очевидно, это потому, что мне пришлось воевать на Волховском фронте и время от времени находиться в осажденном Ленинграде. К тому же я родился в Ленинграде, хотя могу считать себя ленинградцем почти условно, я там «прожил» всего несколько месяцев. Может быть, все это сыграло свою роль... Во всяком случае, мне трудно говорить здесь о сознательном намерении. Все же ленинградская тема для меня не случайна.

— В годы войны вам приходилось много писать во фронтовых газетах, в течение почти всего 1944 года ваши корреспонденции печатались в «Известиях». Пригодилось ли это в вашей дальнейшей писательской работе, в том числе и в работе над «Блокадой»? И как вы сегодня относитесь к трилогии «Это было в Ленинграде»?

— Я думаю, что если говорить о готовых строчках, то нет, не пригодилось. А если говорить о продуманном и прочувствованном, о том, что отстаивалось в сознании, то без сомнения.

К отдельным частям трилогии «Это было в Ленинграде» я отношусь сегодня по-разному. Мне по-прежнему многое нравится в первой книге, и я не думаю, что в этой вещи, написанной почти тридцать лет тому назад, мне придется что-либо менять. Думаю, что и вторая книга «Лида» более или менее «на уровне». Что же касается последней повести трилогии — «Мирные дни», то я скорее всего не

буду переиздавать ее. «Это было в Ленинграде», условно говоря,— книга лирическая. В ней нет широкого показа военных действий, роли военного командования в обороне города, роли партийного руководства. «Блокада» — книга совершенно иная. В работе над ней я стремился к тому, чтобы показать эпопею ленинградской обороны не изолированно, а как часть всенародного подвига, в самых широких связях, в больших закономерностях истории.

— *Хотя в общих чертах, вы уже разъяснили смысл, который в данном случае вкладываете в понятие «полемический», хотелось бы попросить вас высказаться об этом подробнее, конкретней.*

— Я сказал бы неправду, если бы утверждал, что у меня не было желания высказать свою точку зрения на сложности и трудности первого периода войны в связи с некоторыми особенностями предвоенной жизни. Я должен заметить, что здесь мне не приходилось открывать ничего нового с точки зрения чисто аналитической,— необходимый ключ к проблеме во всей ее сложности дает Постановление ЦК КПСС от 30 июня 1956 года. В этом документе я нахожу формулировки, которые служат мне твердой основой для теоретического понимания противоречий того периода. Конечно, дело в том, чтобы суметь применить этот «ключ» к конкретным явлениям, к всем историческим событиям и историческим личностям. В этом была главная трудность моей задачи. Но исходные позиции ясны — они заключаются в признании того, что недостатки, которые были вскрыты партией уже много лет спустя, несомненно, наложили свой отпечаток на ход событий в первые дни войны. Вместе с тем наши огромные достижения во всех областях жизни, все положительные стороны нашего общества, преданность народа партии, вера в коммунистические идеалы позволили нам, несмотря ни на что, выстоять и потом перейти в активное наступление. Основа будущей победы была заложена именно в первые месяцы войны, благодаря героизму и беззаветной преданности советских людей, благодаря огромной организаторской работе партии.

Утвердить историческую правду — правду, включающую в себя, как и сама жизнь, и хорошее и плохое,— что может быть дороже писателю, когда он берется за историческую тему такой важности и актуальности!

Нельзя забывать, что в наши дни большинство населения земного шара состоит из людей, лично в войне не участвовавших. Не на это ли, между прочим, рассчитывают фальсификаторы истории? Наша обязанность — свидетелей и участников исторической битвы — неустанно восстанавливать факты. Это наш долг и перед теми, кто участвовал в войне, и перед молодым поколением.

— В работе над «Блокадой» вам, естественно, приходилось брать на себя роль историка, то есть не только знакомиться с огромным документальным материалом, но и осмысливать его. В каком виде «проработанные» вами фактические данные вошли в книгу, каковы их источники? Интересен ваш подход к документальному материалу, принципы его использования.

— То есть как происходит сочетание вымысла и документа? Романист, если в основе его сюжета лежит реальное историческое событие, не может ограничиться только вымышленными действующими лицами. Писателю, даже ставящему перед собой чисто беллетристические задачи, трудно было бы обойтись без включения в свое произведение реальных событий и персонажей, известных по реальной истории.

В «Это было в Ленинграде» взят в качестве главного лишь один аспект темы,— я бы назвал его «лирическим», эмоциональным. «Блокада» — это попытка художественного осмысления истории. Каковы источники фактических сведений, легших в основу романа? Первый, естественный путь — это работа с архивными документами. Во-вторых, у меня есть кое-какие личные впечатления о ленинградской блокаде, хотя я всячески подчеркиваю, что отнюдь не причисляю себя к «блокадникам». «Блокадниками» я называю людей, которые пробыли всю блокаду в Ленинграде или, во всяком случае, всю зиму 1941/42 года Со мной было не так, я приезжал в блокированный Ленинград только на определенные периоды в качестве специального корреспондента газеты Волховского фронта. Мой личный опыт дал много для написания книги «Это было в Ленинграде», но его, разумеется, не хватало для,— я боюсь употреблять слово «эпопея», потому что оно всегда несет в себе, помимо жанрового, какое-то оценочное содержание,— большого исторического полотна, хотя и в этом случае «эффект присутствия», несомненно, мне помогал. В-третьих, расспросы очевидцев и участников событий, бе-

седы с которыми дали мне исключительно много и для накопления фактического материала, и для его осмысления. Затем мемуарная литература. Сейчас мемуарная литература чрезвычайно распространена, и я не знаю ни одного сколько-нибудь известного военачальника, который бы не издал или не писал воспоминания. Эти книги в известной мере облегчают труд историка-беллетриста, но во многом его и осложняют. Осложняют потому, что в ряде мемуаров содержится немало естественных разночтений в трактовке конкретных военных операций, во взглядах на те или иные стратегические вопросы. Говорю я об этом не для того, чтобы кого-нибудь обличать, а просто для характеристики тех сложностей, которые встали передо мной. Другая трудность заключается в том, что писатель не может забыть, что тот или иной его герой уже сам написал книгу о себе и событиях, в которых участвовал, и веры ему у читателя больше.

В «Блокаде» действует ряд реальных личностей. Эти реальные личности живут на страницах книги своей жизнью, совершают те или иные поступки, высказываются и по тем или иным вопросам. А вопросы эти появились не в результате вымысла автора — они были поставлены реальным ходом событий, изменить я их не могу. Как следует поступить писателю: дать свой вариант того, что уже стало историей, свою трактовку тех или иных сцен, свой «текст»? Это бессмысленно, ибо существует человек, который прямо и точно рассказал, как было дело. Идти целиком за воспоминаниями, то есть просто воспроизводить написанное другим? Но тогда тебе скажут: зачем нужна твоя книга, если все это можно прочесть в мемуарах? Тут нужно как-то преодолеть эту сложность: с одной стороны, не уходить от свидетельства очевидца, а с другой — внести все же что-то свое, новое, причем не за счет голого вымысла, особенно если речь идет о важных исторических событиях, а за счет дополнений, сопоставлений с другими событиями, с фактами, отсутствующими у автора мемуаров, то есть задача состоит в том, чтобы найти новые аспекты, которых автор мемуаров не считал необходимым касаться, поскольку он писал о конкретных событиях, участником которых он был. Следовательно, я не могу ограничиться мемуарами, я должен их дополнить, сделать общую картину более объемной.

Хочу обратить внимание еще на одну трудность. Порой литература воспринимается как прямое и непосредственное отражение реальной жизни. Обычно это связано с неумением ясно представить себе, чем правда жизни отличается от правды искусства. Нет никаких сомнений, что правда жизни и правда искусства тесно переплетены между собой, и как только между ними начинается разрыв, литература тотчас же превращается из того, чем она должна быть, из литературы правдивой, реалистической, в средство самовыражения оторванного от жизни писателя. Но тем не менее общеизвестно, что у искусства — своя логика, своя специфика, и правда искусства не может быть механически «наложена» на правду жизни.

Сколько приходится вести разговоров о прототипах! Разговоры эти, признаюсь, у меня всегда вызывают недоумение. Что такое вообще «прототип»? Если под этим понятием имеется в виду какое-то конкретное лицо, «с которого» автор «полностью» писал портрет своего героя, то, мне кажется, таких прототипов в художественной литературе не бывает вообще. Во всяком случае, встречаются они крайне редко. Лично я их боюсь.

Реальная жизнь часто бывает меньше «похожа на самое себя», чем ее художественное воспроизведение.

Но когда речь идет об исторических событиях и о тех, кто в них непосредственно участвовал, недоразумения обостряются до крайности. Сколько бы вы ни говорили, что, хотя канва вашего произведения историческая, тем не менее это не научное исследование, а роман, убедить тех читателей, кто требует «буквального» воспроизведения жизни, бывает очень трудно. Их критика идет по двум линиям. Во-первых, пресловутое «отразил — недоотразил». Я прекрасно представляю себе, что если, допустим, человек в 1941—1942 годах был в партизанах Ленинградской области, рисковал стократно жизнью,— а мы прекрасно знаем, какую огромную роль сыграли партизаны в Великой Отечественной войне, и в ленинградской обороне в частности,— и не находит в «Блокаде» описания партизанского движения, то это вызывает у такого человека чувство протеста. Я не могу и не хочу на него обижаться и далек от мысли упрекать его в чем-либо. Но тут же встает вопрос, скажем, о летчиках, которые также сыграли огромную роль в обороне Ленинграда, потом с аналогичной претензией выступают, скажем, артиллеристы и т. д. и т. п.

С одной стороны, все эти упреки эмоционально закономерны. С другой стороны, если писатель встанет на путь «отражения» представителей определенных военных профессий, его роман уже погиб.

Замечу тут же, чтобы к этому не возвращаться, что иногда эти противоестественные требования соблюдения своего рода «норм представительства» выступают в несколько модифицированном виде. Они исходят из тенденции видеть в *каждом* художественном образе не только типизацию жизненного явления, но и, так сказать, типизацию «всеобщую». Поясню это на таком примере. В «Блокаде» действует некто Анатолий Валицкий, малодушный и трусливый человек. Возникает «глубокомысленный» вопрос: а не является ли это искажением облика молодежи вообще? «Той героической молодежи, которая...» ну и т. д.

Я отвечаю: нет, не является. Когда от меня, комсомольца 30-х годов, начинают защищать мой комсомол, можно прийти в ярость. А все дело-то и не в комсомоле совсем, а в пресловутых «нормах представительства», созданных примитивно-социологическим воображением некоторых критиков. Назвал одного из действующих лиц председателем месткома,— значит, хочешь не хочешь, «отражай» в его лице все наши профсоюзы. Затесался в комсомол моральный трус,— значит, исключай его из комсомола на первых же страницах...

Вторая линия, по которой идут возражения, касается точности описаний. Я пишу о Ленинграде, о вполне конкретных местах и действительно в некоторых случаях веду повествование день за днем, час за часом. Речь идет о широкоизвестных, сотни раз описанных событиях ленинградской блокады. И если я пишу, что, скажем, из города Луги герой — или несколько героев — едет на автомашине в таком-то направлении, скажем на юго-восток, и проезжает пятьдесят километров, и встречается там с комиссаром дивизии народного ополчения Королевым, то сейчас же получаю десяток возражений с точными указаниями по карте, что, если проехать от Луги в этом направлении пятьдесят километров, вы должны были попасть в расположение совсем другой дивизии и комиссаром ее был никакой не Королев, а, скажем, Иван Иванович Иванов, великолепный человек, заслуживающий того, чтобы о нем написали. «Почему Чаковскому понадобилось писать про какого-то Королева, которого никогда там не было?»

Опять-таки по-человечески, с точки зрения эмоциональной, я могу понять эти упреки и раздраженные вопросы, но не могу и не пожалеть о недостаточной подготовленности некоторых читателей к восприятию художественной литературы. Я всячески пытаюсь объяснить им, что нельзя к художественному произведению относиться как к документальному. В ответ на мои рассуждения мне, конечно, могут возразить, что если так, то автор исторического романа не связан никакими законами. Конечно, он связан законами, но это законы, которые диктуются основными закономерностями исторического процесса. Здесь я ничего не могу ни изменить, ни придумать.

Встает естественный вопрос: насколько «историчны» те эпизоды книги, которые касаются, например, событий в Ставке Верховного Главнокомандования или в Смольном, где находился центр ленинградской обороны? Насколько точны описания вражеского лагеря, описания врагов, таких, как Гитлер, Риббентроп, Геринг, их окружение? Что здесь «правда», а что «вымысел»?

Хочу еще раз сказать: рассматривать «Блокаду» как книгу строго документальную от начала до конца, от первой до последней строки нельзя. Впрочем, подобное предупреждение с одинаковым основанием могло бы относиться к любому художественному произведению на историческую тему. Разумеется, когда речь идет об исторических личностях, независимо от того, к какому лагерю они принадлежали, я пытаюсь высказать свою точку зрения на их характеры и поведение, на их роль в истории. Иначе не было бы смысла браться за перо. Однако при этом я старался быть далеким от какого бы то ни было эмоционального субъективизма, недопустимого в подобных случаях.

Почему Гитлер не смог войти в Ленинград? Почему он потерпел поражение под Москвой? В таких вопросах я непременно должен следовать непререкаемой правде истории. Но как был одет Жданов или что сказал Жданов Жукову — в этих описаниях я не должен был,— если это не противоречит логике их отношений, то есть не противоречит внутренней логике характеров,— отказываться от свободы творческой фантазии, иначе было бы вообще невозможно написать роман. Само собой разумеется, что эта свобода нужна мне для того, чтобы как можно лучше и правдивее передать поведение исторических личностей, их характеры.

— Сцена, когда Ворошилов по пути с Лужской оборонительной линии в Смольный оказался под бомбежкой и не захотел ложиться на землю,— это писательский домысел или воспроизведение реального факта?

— Нет, это не писательский домысел, но это и не реальный эпизод. У меня дома толстые тетради со стенограммами бесед с очень многими людьми, военными и гражданскими. В них не раз встречаются рассказы о бесстрашном поведении Ворошилова в бою, о его отказах идти в укрытие, нежелании «кланяться» пулям. Свидетельств такого поведения имеется очень много, но описанной в «Блокаде» конкретной сцены — встречи майора Звягинцева с Ворошиловым на фронтовой дороге и налета в этот момент немецкой авиации — в действительности не было.

— И слова Ворошилова: «Медведь ты, генерал!» — тоже принадлежат вам?

— Да, это мои слова. Точно так же, как и восклицание Ворошилова: «Стул командующему!» — во время заседания Военного совета Ленинградского фронта, когда туда неожиданно для всех явился Жуков с запиской от Сталина.

Кстати, тут возникает еще один вопрос, может быть, наиболее сложный. Это вопрос о том, как следует «соединять» героя реального с героем вымышленным. Думаю, что нет такого литературного произведения на историческую тему, в котором вымышленные герои не встречались бы с реальными. Поэтому мне кажется странным, когда об этом говорят как о чем-то новом, впервые возникающем перед писателем-историком. Возьмите хотя бы романы Вальтера Скотта. Возьмите Льва Толстого, наконец. Разговаривал ли в реальной жизни Кутузов с Болконским, да и существовал ли такой Болконский на самом деле? И какие разговоры вел Багратион с Кутузовым? У меня нет уверенности в том, что Кутузов во время военного совета в Филях кряхтел и покашливал. Может быть, если бы Кутузов был жив, когда вышел в свет роман «Война и мир», он написал бы протестующее письмо. Толстого, как известно, и критиковали именно с таких позиций, то есть с точки зрения дотошной достоверности.

Но оставим в покое Толстого, любое упоминание этого великого имени даже в такой чисто внешней связи звучит более чем нескромно. Я думаю, что пока и поскольку встреча реально существовавшего героя с героем вымышленным

не противоречит характеру исторического героя, а разговор их или коллизия, которая между ними возникает, не противоречит всему тому объективному, что отстоялось в сознании людей, непосредственно участвовавших в Великой Отечественной войне, в частности в обороне Ленинграда,— в этой мере подобного рода вымысел допустим. Но он абсолютно не допустим в том случае, когда автор пользуется вымыслом для навязывания историческому лицу каких-то надуманных, не согласующихся с логикой истории намерений и действий.

Будем говорить откровенно: читателю, если даже писатель с одинаковой, говоря условно, силой изображает вымышленное лицо и лицо историческое, все же интереснее читать про историческое лицо, разумеется, если этот характер интересен и в реальности.

— Реальные личности могут стоять и за героями, которые читателю кажутся вымышленными. Например, старый питерский большевик Королев или майор Звягинцев. Вы могли знать реального человека, старого путиловца, члена Ленинградского горкома. Вы могли знать реального майора, смело выступившего в 1940 году на столь ответственном совещании в Кремле.

— Королев — один из моих любимых образов не только в «Блокаде», но и в жизни. Это, однако, не значит, что он «списан» с кого-то. Но я знаю и помню таких людей. Я видел их, работая на московском Электрозаводе. Я встречал их во время ленинградской блокады. Королев для меня один из тех людей, в которых воплощены традиции революции и первых пятилеток. Он для меня нечто гораздо большее, чем просто литературный образ.

Звягинцев тоже не имеет за собой какого-либо одного, определенного прототипа. Кстати, мне не раз говорили, что офицер в звании майора не мог бы получить на том совещании в Кремле слова. Поэтому я и сделал его исполняющим обязанности начальника инженерного управления округа, то есть временно дал ему высокую должность. Это как раз одно из тех отступлений от исторической точности, которые мне кажутся вполне допустимыми, но которых не терпят люди, не понимающие разницы между историческим романом и историческим исследованием.

— Среди героев «Блокады» есть Сергей Афанасьевич Васнецов, один из организаторов ленинградской обороны.

За ним легко угадывается вполне определенное историческое лицо — А. А. Кузнецов, секретарь Ленинградского горкома партии в те годы. Но почему вы решили назвать его по-другому?

— Действительно, под Васнецовым я имел в виду А. А. Кузнецова, преданного коммуниста, одного из руководителей ленинградской партийной организации. Почему я изменил его имя? Ответ очень прост. Когда я начинал работать над «Блокадой», мне казалось, что в моем «распоряжении» должен быть хотя бы один из руководителей ленинградской обороны, с которым я мог бы поступить несколько более вольно, опять-таки не с точки зрения правды истории, а с точки зрения его личной биографии. Всем понятно, что я не мог поступить так, скажем, с Жуковым или Федюнинским, не говоря уж о Жданове, поскольку факты биографий здесь общеизвестны. Но мне нужен был человек из партийного руководства, с которым я мог бы «свободнее» обращаться. Вдруг он у меня влюбился бы в кого-нибудь? Назвав Кузнецова Кузнецовым, я, так же как и в случаях со всеми остальными историческими фигурами, был бы связан реальностью.

Однако в первой книге ни сюжет, ни логика событий не потребовали от меня каких-либо отклонений в биографии моего Васнецова от реального А. А. Кузнецова. Я убеждал себя, что такие отклонения, возможно, потребуются дальше. Это было ложное убеждение. Жизнь и деятельность Кузнецова настолько ярки, что вводить нарочитую «беллетризацию» не потребовалось. Но... первая книга была уже издана. И в ней действовал Васнецов. Я был уже связан чисто формальным обстоятельством: в середине романа менять фамилию невозможно. Пришлось мне так и оставить его Васнецовым. Теперь я очень жалею, что так получилось.

Но конечно, Васнецов, каким он обрисован в романе, со всех точек зрения предоставлял мне как писателю большую свободу действий, большую возможность для выражения моего личного отношения к нему. В четвертой книге роль его возрастает, еще больше она возрастет в пятой. Это соответствует и реальным фактам, и моему замыслу. Ведь и сила партийного руководства ленинградской обороной возрастала день ото дня.

— *Какие принципы легли в основу композиции «Блокады»? Перед нами не историческая хроника, а историче-*

ский роман, в котором не может не быть художественной логики.

— Мне очень трудно определить жанр «Блокады». Если кто-то считает, что это историческая хроника, у меня не будет никаких возражений: может быть, это историческая хроника. Если кто-то желает видеть в ней исторический роман, ну что же, тем лучше для «Блокады», пусть это будет исторический роман. Я меньше всего думал о жанре. Побудительным стимулом, как я уже говорил, была для меня потребность вмешаться в спор о том, чем была для нас война, и в частности ее первые дни. Концентрация замысла на Ленинграде объясняется тем, что эта тема близка мне биографически; кроме того, она и объективно заслуживает того, чтобы о ней писать: на примере великого героизма ленинградцев «легче» говорить о советском народе в Великую Отечественную войну. Я не могу утверждать при этом, что у меня заранее был разработан ясный план всего повествования во всех его сюжетных поворотах. Если это еще можно говорить о первой книге, то дальше меня вела очевидная логика истории, логика поведения самих действующих лиц. Ход исторических событий был тем объективным планом, который лег в основу романа; у меня не было возможности трактовать его произвольно.

Когда я начинал «Блокаду», то был уверен, что напишу одну, пусть большую, но в «нормальном» романном объеме книгу. План такой книги,— выражаясь профессиональным языком, листов на 25—30,— существовал и в моей голове, и на бумаге.

Но потом все пошло насмарку. Чем больше я «влезал» в материал, чем больше беседовал с людьми (у меня гора записанных на магнитофон таких бесед), чем больше работал в архивах, тем яснее отдавал себе отчет в том, что роман неимоверно разрастется. И я уже стал думать о планах отдельных его томов, но и они впоследствии менялись. Моим планом, в широком смысле этого слова, стала история самой ленинградской эпопеи, ее хронология, ее реальные события в сочетании с теми решающими, как мне кажется, эпизодами из общей летописи войны, которые я, как вы знаете, тоже включил в повествование.

— Противопоставление офицеров двух воюющих армий — майора Звягинцева и майора Арнима фон Данвица,— намеченное в первой книге, в последующих книгах

несколько теряется, майор Звягинцев надолго исчезает из повествования, и его место как бы занимает Суровцев, в чем-то по сюжетной роли и по характеру на него похожий. Вы согласны?

— У меня возникло ощущение, что майор Звягинцев превращается в какую-то вездесущую фигуру. Не мог же я и в самом деле отправлять его каждый раз туда, куда мне приходилось переносить действие, и я ввел Суровцева. Кроме того, на основе некоторых откликов у меня стало появляться ощущение, что читателю надо «отдохнуть» от Звягинцева. Впрочем, он еще появится.

— Много ли поступило читательских откликов на «Блокаду» и какого они характера?

Массовость читательских откликов — одна из «чисто советских» особенностей взаимоотношений писателя с читателем. Есть письма, в которых «Блокаду» хвалят, есть, разумеется, и такие, в которых книгу критикуют, и делают это нередко умно и квалифицированно. Однако мне хочется поговорить о других письмах. Они обусловлены тем, что в «Блокаде» я касаюсь, в меру своих сил и понимания, некоторых острых вопросов нашей истории. Не знаю, насколько мне это удалось, но я пытался рассматривать сложные периоды нашей истории диалектически, с присущими им положительными и негативными сторонами.

С удивлением я обнаружил, что некоторая часть читателей такой постановки вопроса не приемлет. Они требуют той дистиллированной ясности, которой в реальной жизни не бывает. Одни, например, хотят видеть в месяцах, предшествующих войне, и в начальном ее периоде чуть ли не преимущественно ошибки и просчеты. Другие склонны в любом упоминании об ошибках видеть «очернительство». Возьмем острейший вопрос — личность Верховного. Одним кажется, что изображение ошибок и просчетов зачеркивает его роль в руководстве войной вообще и «искажает действительность». Другим «искажение» мерещится в том, что, отдавая дань положительным качествам Сталина на посту Верховного Главнокомандующего, автор тем самым не видит его отрицательных черт. Почему-то этим людям не приходит в голову, что существует диалектический подход, что можно рассматривать сложное явление в его противоречиях. Именно этому учит нас партия. Те, кто считает, допустим, что деятельность Сталина следует рассмат-

ривать только со знаком минус, естественно, следуя своему догматическому мышлению, хотят для иллюстрации своей мысли рассматривать и весь первый период войны как период сплошных ошибок и поражений. Наоборот, противоположная точка зрения доходила до того, что утверждалось, будто мы в начале войны сознательно отступали, «заманивая врага», что, конечно, является чепухой.

Партия уже давно высказала точные и диалектичные, как сама жизнь, оценки и определенных событий истории, и ее деятелей. И с этим согласны миллионы и миллионы людей. Но когда некоторые из этих людей превращаются в читателей художественной литературы, им почему-то хочется диалектику заменить метафизикой.

— *Чем руководствуется писатель, отбирая для своего повествования факты истории?*

— Здесь скрываются несколько важных вопросов, имеющих, на мой взгляд, серьезнейшее значение для нашей литературы, поскольку они так или иначе связаны с проблемой партийности. Вряд ли я в силах сделать какой-либо новый вклад в разработку этой проблемы. Однако свою точку зрения попробую высказать.

Вопрос первый: утверждать «позитивное» или отрицать «негативное», говоря условно, возбуждать «гнев» или «восхищение»? И то и другое. И не для «равновесия»: писатель или критик, рассматривающий художественное произведение с аптекарскими весами в руках, заранее обречен на неудачу. Хорошее и плохое в нашем обществе находится в борьбе и, как правило, хорошее побеждает. Утверждение и развитие хорошего неразрывно связано, повторяю, с борьбой против плохого. Пропорции того или иного в художественном произведении? Странный вопрос. Книга (роман, поэма, рассказ) не существует в отрыве от читателя. Все дело прежде всего в том, с каким чувством читатель закрывает ее по прочтении. Если он расстается с произведением с чувством гордости за свою страну, готовности отдать свои силы торжеству великого дела коммунизма, если он охвачен желанием бороться против всего, что нам мешает, и яснее видит пути этой борьбы, если его духовный мир стал богаче, шире, значит, все «пропорции» в книге «соблюдены» правильно или — если отказаться от этой математической терминологии,— значит, книга правдива и партийна. Только очень наивный чело-

век может всерьез думать, что сила воздействия книги зависит от того, сколько в ней положительных или отрицательных персонажей или какую тональность — драматическую или оптимистическую — имеет последний в пей эпизод. Важно звучание книги в целом.

Теперь о принципе отбора явлений и фактов. Полагаю, что и в этом случае решает конечный результат. А результат этот во многом предопределяется целью, поставленной перед собой писателем. Все жанры хороши, кроме скучного, сказал Вольтер. Все факты «хороши», если они способствуют познанию правды, способствуют тому воздействию на читателя, о котором я только что сказал. Конечно, применительно к историческому произведению этот вопрос приобретает особый характер, и прежде всего в тех случаях, когда писатель касается каких-либо сложных и противоречивых периодов нашей истории. Попробую объяснить свою точку зрения. Я в принципе против любых «шатаний». Под словом «шатания» я вовсе не подразумеваю неизбежные и закономерные исторические переломы, возможную переоценку ценностей на основе приобретенного опыта. Без таких переломов вообще не может развиваться общество, тем более идущее по пути, по которому еще пикогда никто не шел. Такие переломы заложены в самой диалектике истории. Под «шатаниями» или, точнее, «шараханьем» я разумею совсем другое: нежелание принимать явления в их диалектической сложности. И как прямое следствие такого нежелания или неспособности — стремление сводить все к однозначным понятиям. Мою мысль можно легко проиллюстрировать на таком примере. Суровая критика ошибок и недостатков, присущих определенному периоду нашей истории, побудила многих людей (в том числе и некоторых писателей) самозабвенно распространять эту критику на весь период целиком, забывая о характерных для него великих свершениях. Другие же обнаруживали тенденцию полностью игнорировать эту, бесспорно, справедливую критику. Обо всем этом очень хорошо сказано в докладе Л. И. Брежнева на XXIV съезде партии.

Однако вернемся к проблеме отбора фактов. Есть люди, которые видят партийность писательской позиции в том, что писатель отбирает из истории только такие факты, которые непосредственно по самому своему характеру подтверждают силу социалистических идей, претворенных в жизнь. В некоторых письмах меня, например, спрашива-

ют: для чего вам понадобилось показывать, что Сталин какое-то время в самом начале войны пребывал в растерянности? Не умаляет ли это его роль как Верховного Главнокомандующего нашей армии, одержавшей великую победу? Хочу сказать прямо и недвусмысленно. Я глубоко убежден в том, что исторический опыт — это не только позитивные факты, но факты, взятые в сцеплении и противостоянии, это, если хотите, драматургия фактов. Долг писателя, партийность его позиции здесь состоит в том, чтобы было выдержано «сквозное действие» этой «драматургии» — неодолимое движение истории к торжеству наших идеалов. В этом суть исторической правды. История показывает, что любое сокрытие фактов оборачивается против правого дела. Даже из самых лучших побуждений нельзя забывать, что кроме тактики есть еще и стратегия и кроме сегодняшнего дня — день завтрашний. Любой замалчиваемый факт неминуемо через какое-то время — через год, через два или через три года — поступает на вооружение наших врагов. Если мы его не поймем и не объясним сами, мы услышим о нем в передачах разных буржуазных радиоголосов, где факт этот наверняка приобретет ложное истолкование и будет служить откровенно антисоветским целям. А пропагандистская тактика наших врагов в этом случае проста: раз вы скрываете одно, вам нельзя верить и в остальном. Это очень важный вопрос для нашей идеологической работы; важен он и для литературного развития, ибо литература, позволю себе сказать,— это ведь пусть особая, специфическая, но все же пропагандистская деятельность, пропаганда тех идей, которые писатель считает истинными. И когда меня спрашивают, зачем я ввожу в свою книгу некоторые тяжелые, драматические эпизоды нашей истории, я отвечаю: затем, что это исторический факт. Итак, дело не в том, чтобы обходить «неприятные» факты, а в их верном, партийном объяснении.

Хочу тут же заметить, что в любом историческом сочинении люди и события должны показываться на каждом своем этапе вне зависимости от дальнейшего хода истории, без всяких «поправок». Это ни в коем случае не означает, что вновь открытые факты или подробности не должны влиять на оценку людей и событий. Нет, история не просто перечень, но и осмысление. Однако замалчивание фактов или тенденциозная насильно навязанная их интерпрета-

ция, несомненно, вредны в любом случае. Уходить от исторических фактов нельзя и не надо, их надо правильно объяснять, помня, что история на нашей стороне и историческая правда — с нами.

В заключение мне хочется сказать следующее. Вопросы, которых я коснулся в этой беседе, и многие другие, которых мы не затрагивали, конечно же, лишь часть больших проблем, волнующих, как мне кажется, не только меня одного. Их, каждый по-своему, стараются решать писатели разных поколений и творческих индивидуальностей.

1973

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ

«Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению...» Этими образными, исполненными внутренней страсти и убежденности словами охарактеризовал Ленин только еще зарождавшуюся в России марксистскую коммунистическую партию.

Он написал их в самом начале двадцатого века, когда коммунизм уже перестал быть только призраком и приобретал реальные, все более грозные для старого строя очертания.

Пройдут годы и десятилетия. Победит Великая Октябрьская социалистическая революция, свершенная рабочими и крестьянами под водительством большевистской партии. Будут разгромлены белогвардейцы и интервенты. Коммунисты продемонстрируют всему миру не только умение разрушать старый, эксплуататорский социальный строй, но и создавать новый. Под их руководством будет преображен лик страны, разгромлены фашистские полчища, поднята из руин великая Родина. Советские «спутники», а затем и космические корабли устремятся в межзвездное пространство. Сама коммунистическая партия из «тесной кучки» превратится в многомиллионный, передовой отряд советского народа... А духовные наследники уже забытых историей врагов революции, правнуки царских жандармов вкупе с ревизионистами всех мастей будут снова и снова пытаться оклеветать нашу партию, принизить или исказить ее руководящую роль...

Всевозможные «советологи», «кремленологи» и «эксперты» по советским делам будут глубокомысленно рассуждать на эту тему, «забывая», что любым исследованиям советской истории должен предшествовать ответ на важнейший вопрос: почему неуклонно растет число коммунистов в мире? Почему непрерывно растет и крепнет КПСС? Однако наши политические противники, кажется, «не замечают» этого насущного вопроса или «не находят» ответа на него. А этот ответ лежит буквально рядом...

В самом деле: на что прежде всего мог рассчитывать человек, связавший свою судьбу с коммунистической партией на заре ее возникновения? На пулю в сердце, на удавную петлю, на равелин Петропавловской крепости, на удар казацкой шашки, короче — на смерть.

А наша партия росла и крепла.

На что мог рассчитывать в царской России большевик, ведущий людей на штурм Зимнего или затем сражающийся с белогвардейцами и интервентами? В случае поражения — на самую изощренную, самую мучительную казнь.

А в партию вступали все новые и новые тысячи рабочих и крестьян.

Великая армия строителей коммунизма голодала и холодала в далекие тридцатые годы, согреваемая мечтой о мощной советской индустрии, которую она создавала собственными руками. И тогда партия возложила на плечи коммунистов самую тяжелую ношу. Они первыми появлялись в безлюдных районах Сибири, в пустынной тайге, первыми закладывали фундамент великих строек, первыми подставляли свои лица леденящим порывам ветра или палящему солнцу, прежде всего в их сердце метила кулацкая пуля.

И тем не менее тысячи и тысячи новых людей вступали в ряды коммунистов. Они первыми приняли на себя удар самой мощной, самой безжалостной империалистической армии. Ее главарь маньяк, сочетавший в себе неимоверную жестокость с холодным расчетом, ненависть к коммунизму с оголтелым расизмом, начиная войну против Советского Союза, одним из первых своих приказов подписал зловещую директиву о комиссарах. Словом «комиссар» фашизм объединял отнюдь не только тех, кто носил это военное звание. Каждый коммунист, каждый беспартийный, принимавший сколько-нибудь активное участие в

строительстве социализма, был для гитлеровцев «комиссаром» и подлежал физическому уничтожению.

Когда фашисты стояли под Ленинградом и Москвой, наши враги пели отходную первому в мире государству рабочих и крестьян. Даже далекие друзья подчас сомневались в нашей способности выстоять. На что могли рассчитывать защитники Москвы и Ленинграда? На второй фронт? Пройдет три года, потребуется разгромить немцев под Москвой, пленить Паулюса и его армию под Сталинградом, разбить врага на Курской дуге, погнать немцев вспять, чтобы этот фронт наконец открылся.

Кто же по-прежнему стоял в первых рядах армии и народа, когда смертельная угроза нависла над нашей страной? Коммунисты и комсомольцы. Они первыми применили воздушный таран, идя «лоб в лоб» на фашистские самолеты, бросали свои машины в гущу вражеских войск, на скопления гитлеровских железнодорожных эшелонов. Они закрывали своей грудью амбразуры вражеских дотов. Только одно право давало обладание партийным или комсомольским билетом — право первыми идти в бой.

Что помогло ленинградцам выстоять в страшную зиму 1941/42 г., когда город, лишенный света, воды и топлива, казалось, застыл, окоченевший от голода и холода, когда почти прекратилась работа на многих ленинградских заводах?

Бывший парторг цеха номер 15 завода имени Калинина Б. А. Кутейников рассказывал, как в те дни ему было поручено проведать членов партии, чтобы выяснить, в каком физическом и моральном состоянии они находятся. Как это просто звучит сейчас — «проведать»!

Но вспомним, что в те дни город был занесен снегом, что транспорт бездействовал, что на улицах рвались немецкие снаряды, а перед ленинградцами неумолимо стоял призрак голодной смерти. И многие из них уже были не в состоянии прийти в свой цех... Нет, не просто для «учета» оставшихся в живых коммунистов был послан парторг Кутейников. Чтобы вдохнуть в измученных голодом и холодом людей силу, надо было сказать им, что парторганизация ждет их, коммунистов, верит в них... Эти люди проявляли нечеловеческую силу воли и духа, потому что ими двигали вера в великий идеал и сознание, что их примеру следуют другие.

Не известно, кто первым произнес слова: «Хочу идти в бой коммунистом!», но они закономерно вошли в историю нашей партии.

Нет, отнюдь не только презрение к смерти во имя правого дела руководило коммунистами в битве за свободу и независимость нашей Родины.

Их звала жизнь, они дрались с врагом во имя ее торжества, во имя осуществления тех великих идеалов, которые воодушевляют весь наш народ.

Вера в партию, убежденность в правоте ее дела, сознание, что за партией идет весь народ, лежали в основе ратного и трудового героизма коммунистов.

История ничему не научила сегодняшних антикоммунистов. Они по-прежнему не могут ответить на вопрос: почему партия коммунистов, несмотря на все испытания, с каждым годом растет и крепнет? Не могут и не хотят. Потому что ответить на этот вопрос — значит признать непобедимую силу марксистско-ленинских идей, признать, что десятки, сотни миллионов людей шли и идут за коммунистами, видя в них самоотверженных и честных борцов за благо народа.

Но выдавить из себя это признание враги коммунизма не в состоянии. Вместо этого они накануне XXIV съезда нашей партии снова и снова с маниакальной тупостью обрушили на мир ворох статей, «исследований и прогнозов», клевеща на партию, предвещая (в который раз!) провалы коммунистам.

История свидетельствует, что все попытки врагов коммунизма повернуть вспять ее колесо, восстановить старые капиталистические порядки всегда начинались с атак на руководящую роль партии рабочего класса.

Не только коммунисты всех стран, но и трудящиеся всего мира к этому уже привыкли. Советский народ, народы социалистических стран, отвечают на эти атаки еще большим сплочением вокруг КПСС, вокруг своих коммунистических и рабочих партий.

Если же говорить о трудящихся капиталистического мира, то империалистическим и неофашистским попыткам диверсий против коммунистических партий они отвечают мощными демонстрациями протеста, забастовками и другими акциями международной пролетарской солидарности.

Так всегда было в прошлом, так происходит в наши дни и так будет завтра.

Мы можем с полной уверенностью утверждать, что огромный авторитет КПСС, коммунистических партий вообще в наши дни вырос неизмеримо.

Чем можно это объяснить? Успехами в деле коммунистического строительства, которыми ознаменовалось особенно в последние годы с особой силой материальное и духовное развитие Советского Союза, всех стран мира и социализма?

Да, конечно, это очень важный фактор.

Но есть и другой, предопределяющий не только сегодняшний, но и завтрашний рост авторитета нашей коммунистической партии.

И смысл этого фактора заключен в том, что именно КПСС, выражая волю и жизненные интересы не только советских коммунистов, не только всего социалистического содружества, но и всех народов нашей планеты, явилась инициатором создания новой эры, новой эпохи в области международных отношений, которую стало уже привычно обозначать одним коротким словом: «разрядка».

Да, именно последовательное и неуклонное выполнение нашей партией, ее Центральным Комитетом, Советским правительством тех решений XXIV съезда КПСС, которые вот уже почти пять лет известны народам всех стран под именем «Программы мира», обусловило переход от периода «холодной войны», характерной для отношений между Востоком и Западом, к новому этапу в международных отношениях, основанному на здравом смысле, взаимной выгоде и, что самое главное, на исключении войны из жизни народов нашей планеты.

Нужно ли говорить, что этап этот еще далеко не завершен и что не случайно мы всегда употребляем слово «разрядка» в сочетании с задачей «сделать эту разрядку необратимой»? Нужно ли напоминать, что классовая сущность империализма не изменилась и что в мире есть еще немало людей, которые хотели бы строить свое благополучие, жиреть и богатеть на крови взаимоистребляющих народов?

Но констатируя эти общеизвестные факты, мы помним и знаем о том, что силы мира и социализма стали столь велики, а стремление народов к миру столь страстно, что имеются реальные возможности не только обуздать империалистическую реакцию, но и создать такую международную атмосферу, в которой миллионы людей могли бы жить и работать без опасения, что не только плоды их

творческого труда, но само их существование находится под угрозой уничтожения.

Да, у разрядки международной напряженности есть не мало врагов. Их подрывная активность протекает не только в сфере международной политики, они прибегают не только к диверсиям явным и тайным, стараясь раздуть очаги войны то на одном, то на другом краю земли. Противники разрядки международной напряженности пытаются скомпрометировать само это слово «разрядка», подвергая сомнению искренность миролюбивых намерений нашей партии.

Позволю себе остановиться лишь на одном примере. Когда мы говорим о своей неприязни к «холодной войне», нам задают провокационный вопрос:

— Почему же вы, в таком случае, не отрицаете идеологическую борьбу? Почему не ратуете за ее прекращение?.. Но если,— продолжают противники разрядки,— коммунисты не собираются прекращать идеологическую борьбу, то как можно говорить о прекращении «холодной войны»? Разве это не одно и то же?

Я уверен, что, ставя вопрос так, наши политические оппоненты допускают вольную или невольную фальсификацию.

Что такое «идеологическая борьба»? Это борьба идей. Ее основным оружием является убеждение, доказательство правильности определенных философско-политических концепций и идеалов и ложности других. Эта борьба идей предопределена фактом существования двух социальных систем на нашей планете и непосредственно из него вытекает, и об этом неоднократно говорил Л. И. Брежнев.

Я назвал бы «холодную войну» злонамеренно искаженным «продолжением» идеологической борьбы, перенесением ее в сферу межгосударственных отношений, распространением ее на практическую политику, то есть на все сферы — от торговой до чисто военной.

Соответственно меняется и метод. Если «оружием» идеологической борьбы являются убеждение и разъяснение, то оружием «холодной войны» становятся фальсификация, диверсия, как идеологическая, так и прямая, то есть вооруженная. Мирное сосуществование государств с различными социальными системами заменяется «конфронтацией», балансированием на грани войны «горячей». Люди начинают дышать воздухом, отравленным пропагандой не-

нависти, гонка вооружений поглощает те средства, которые могли бы быть использованы не только для роста материального благополучия народов, но и на развитие комплексных научных исследований, обмен культурными ценностями и т. д.

Наши враги не прекращают своих попыток задержать таяние льдов «холодной войны». И надо ли удивляться, что своей мишенью они избирают именно коммунистическую партию — вдохновителя и организатора всех творческих свершений нашего народа, инициатора и борца за международное сотрудничество?

Снова и снова умы и души людей бомбардируются книгами и статьями, преследующими одну цель: доказать, что советский народ и партия не связаны воедино, а сама партия не монолитна.

Снова и снова обрушиваются потоки клеветы на советский народ, его интеллигенцию, раздаются истерические вопли о «партийной прессе», «об эрозии» мирового коммунистического движения, о таинственных «оппозициях», которые только и ждут, чтобы покончить с социализмом и подставить шею народа под капиталистическое ярмо.

Заботясь о том, чтобы отвратить взоры людей от духовного и политического кризиса империализма, идеологи антикоммунизма пытаются подрывать социально-политическое и идейное единство советского общества, основанное на сплоченности вокруг партии коммунистов. Но усилия эти бесплодны.

Сегодня взгляды миллионов людей труда, людей доброй воли обращаются к Стране Советов к Коммунистической партии Советского Союза, на знамени которой написано: «Мир и социальная справедливость».

* * *

Скоро откроется XXV съезд коммунистов Советского Союза. В Кремлевский Дворец придут тысячи делегатов, облеченных доверием своих товарищей по партии. Сами будучи лучшими сынами советского рабочего класса и колхозного крестьянства, выдающимися деятелями науки и культуры, делегаты съезда являются творцами и организаторами тех великих свершений и побед советского народа, которых он достиг под руководством партии коммунистов.

Вместе с ними в кремлевский зал войдет наше замечательное Сегодня — могучее, несокрушимое братство советских народов.

Эти люди представляют не только великое Настоящее, но и славное Прошлое. За их плечами стоят шеренги братьев, отцов и дедов, штурмовавших Зимний, бойцов гражданской войны и войны Отечественной, героев первых пятилеток и послевоенного восстановления страны.

В Кремль придут герои девятой пятилетки,— лучшие из тех миллионов советских людей, чей ум, чьи руки, чья вера в неизбежную победу коммунизма подняли на новую, высшую ступень материальное и духовное могущество нашей страны.

Вся история партии коммунистов стоит сегодня за их плечами!

Итак, день вчерашний и день сегодняшний?..

Нет, и этого мало: делегаты съезда будут представлять не только наше Прошлое и Настоящее, но и Будущее. Потому что съезд соберется не только для того, чтобы подвести итоги, но и наметить путь вперед.

Этот путь будет нелегким. Многое надо свершить, многое из достигнутого закрепить, многое уточнить, улучшить... Но разве был в истории нашей партии отрезок пути, пусть самый короткий, который можно было бы назвать легким! Наша партия, встав на этот ведущий в коммунизм путь, никогда не сворачивала с него. Она шла вперед вопреки пулям, злым ветрам, вопреки клевете врагов. Благо народа было компасом Коммунистической партии, великая цель вдохновляла ее!

«Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки»...

Из тесной, но могучей кучки наша партия превратилась в многомиллионный передовой отряд трудового народа. Но по-прежнему идут вперед по трудному пути коммунисты, плечом к плечу, крепко взявшись за руки.

1974

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Борисович
ЧАКОВСКИЙ

Собрание сочинений в шести томах
том 3

Редактор Т. Сумарокова
Художественный редактор
В. Горячев
Технический редактор
Т. Таржанова
Корректоры
З. Тихонова и И. Тереховская

Сдано в набор 29/X 1974 г. Подписано в печать 24/VI 1975 г. А02110. Бумага типогр. № 1. Формат $84\times108^1/_{32}$. 16,0 печ. л. 26,88 усл. печ. л. 27,922 уч.-изд. л. Тираж 150 000 экз.
Заказ 1950. Цена 1 р. 45 к.

Издательство «Художественная литература», Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28

